

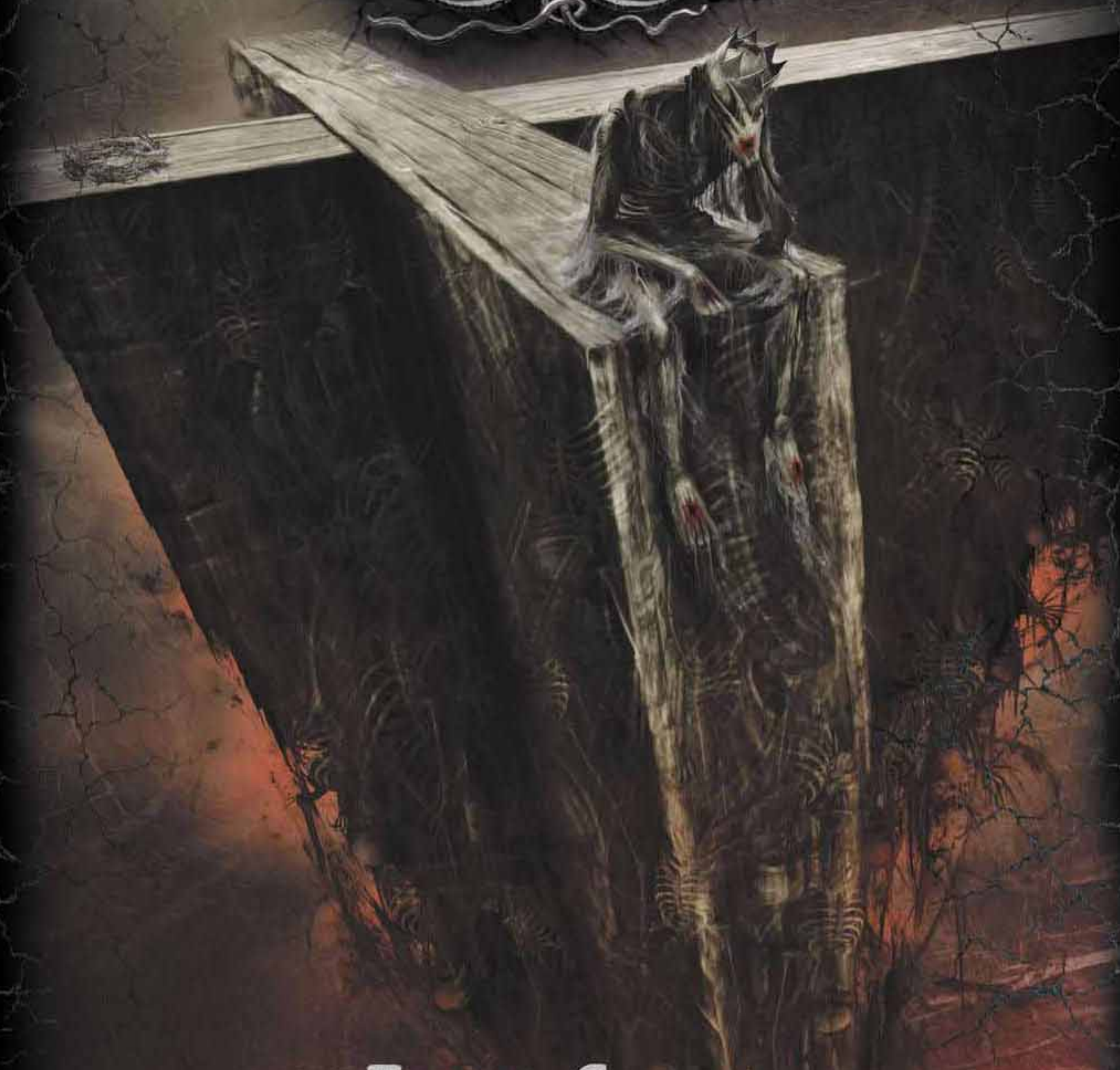
МАСТЕРА
УЖАСОВ



Томас Лиготти
ПЕСНИ МЕРТВОГО СНОВИДЦА
ТЕРАТОГРАФ



МАСТЕРА
УЖАСОВ



Томас Лиготти

ПЕСНИ МЕРТВОГО СНОВИДЦА
ТЕРАТОГРАФ



ТОМАС ЛИГОТТИ

ПЕСНИ
МЕРТВОГО
СНОВИДЦА
•
ТЕРАТОГРАФ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ

УДК 821.111
ББК 84(7Сое)

Л55

Серия «Мастера ужасов»
Thomas Ligotti
SONGS OF A DEAD DREAMER
GRIMSCRIBE: HIS LIVES AND WORKS

Печатается с разрешения автора при содействии
McIntyre Agency

Перевод с английского: Николай Кудрявцев,
Владислав Женевский, Григорий Шокин
В оформлении обложки использована иллюстрация
Валерия Петелина
Дизайн обложки: Юлия Межова

Лиготти, Томас

Л55 Песни мертвого сновидца. Тераптограф / Томас Лиготти. — Москва: Издательство АСТ, 2018. — 638, [1] с. — (Мастера ужасов).

ISBN 978-5-17-092145-4

Томас Лиготти – единственный из писателей, работающих в жанре ужасов, кого при жизни издали в престижной серии «Penguin Classics», тем самым официально включив в американский литературный канон. Его часто называют истинным приемником Эдгара По и Говарда Лавкрафта, а его произведения сравнивают с рассказами Франца Кафки, Бруно Шульца и Владимира Набокова. Книги Лиготти повлияли на множество писателей, стали источником вдохновения для первого сезона сериала «Настоящий детектив», послужив основой для монологов Расти Коула в исполнении Мэттью Макконахи. Распадающиеся города, иные пространства, древний и непознаваемый ужас, изысканная проза и раскалывающаяся реальность, в трещинах которой можно разглядеть подлинную тьму бездны – все это рассказы Томаса Лиготти, живой легенды хоррора.

© 2015 by Thomas Ligotti
© Николай Кудрявцев, перевод, 2018
© Григорий Шокин, перевод, 2018
© Владислав Женевский, перевод, 2014
© Валерий Петелин, иллюстрация, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2018

•

ПЕСНИ
МЕРТВОГО
СНОВИДЦА

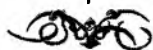
Моим родителям, Гасперу и Долорес Лиготти



ГРЕЗЫ ЛУНАТИКАМ

ПРОКАЗНИК

В прекрасном доме, стоявшем в прекрасной части города — города под названием Нолгейт, где находилась тюрьма штата, — доктор Мунк изучал вечернюю газету, а его молодая жена возлежала на софе поблизости, лениво перелистывая цветные страницы журнала мод. Дочь Мунков, Норлин, спала наверху, а может, без спросу родителей смотрела телевизор, который ей подарили на день рождения неделю назад. Если и так, ее непослушания родители не заметили, в гостиную не доносилось ни звука. На улице тоже было тихо, как днем, так и ночью. Во всем Нолгейте царило безмолвие, ибо в этом месте в темное время суток никто не развлекался, лишь в баре иногда собирались сотрудники тюремной охраны. От столь постоянной и навязчивой тишины жена доктора нервничала, жизнь в месте, что, казалось, на световые годы отстояло от ближайшего крупного города, ее беспокоила. Но Лесли не жаловалась на летаргию семейной жизни. Она знала, что муж очень серьезно относится к своим профессиональным обязанностям на новой работе. Впрочем, сегодня он,



кажется, был сильно разочарован в собственном деле, признаки чего не укрылись от внимательно-го взгляда Лесли.

— Как прошел день, Дэвид? — спросила она, ее сияющие глаза взглянули поверх журнальной обложки, на которой еще одна пара глаз мерцала глянцевитым блеском. — Ты молчал весь ужин.

— Все прошло как обычно, — ответил доктор Мунк, даже не посмотрев на жену.

— Ты есть говорить о работе ты не хочешь?

Только тогда он сложил газету, перестав закрываться ею от жены:

— Это так прозвучало, да?

— Совершенно верно. У тебя все нормально? — Лесли положила журнал на кофейный столик, вся обратившись во внимание.

— Меня мучают сомнения, — сказал доктор с отстраненной задумчивостью.

Лесли поняла, что ей представился шанс узнать побольше о том, что думает муж.

— Ты сомневаешься насчет работы?

— Практически постоянно.

— Тебе налить?

— Буду премного благодарен.

Лесли прошла в другую часть гостиной и из большой горки вытащила несколько бутылок и бокалов. Из кухни принесла ледяные кубики в коричневом пластиковом ведерке. Плюшевую тишину комнаты нарушало лишь звяканье посуды и стук льда. Шторы были задернуты на всех окнах, кроме одного, в углу, где стояла скульптура Афродиты, откуда открывался вид на пустынную, освещенную фонарями улицу да месяц над густой листвой весенних деревьев.



— Вот. Немного выпить для моего трудолюбивого мужа,— сказала Лесли, передавая доктору бокал, толстый у основания, а сверху настолько тонкий, что казалось, он растворялся в воздухе.

— Спасибо, сейчас это очень кстати.

— Почему? Проблемы в больнице?

— Я бы хотел, чтобы ты перестала называть это заведение больницей. Я работаю в тюрьме, и тебе об этом прекрасно известно.

— Да, разумеется.

— Ты бы могла хоть изредка произносить слово «тюрьма»?

— Хорошо. Так как идут дела в тюрьме, дорогой? Начальство достает? Узники бунтят? — Лесли одернула себя, прежде чем разговор не обернулся ссорой. Сделала глубокий глоток и попыталась успокоиться.— Извини за язвительность, Дэвид.

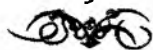
— Нет, я ее заслужил. Я проецирую свою злость на тебя. Думаю, ты уже давно поняла то, что я не в силах признать.

— Что же?

— Что, возможно, переехать сюда и принять сию святую миссию на свои плечи психолога было не самым мудрым решением.

Судя по всему, муж был расстроен гораздо сильнее, чем думала Лесли. Но его слова не приободрили ее так, как она желала. В мечтах она уже слышала, как к дому подъезжает фургон для перевозки мебели, но почему-то этот звук более не казался таким приятным, как прежде.

— Ты говорил, что хочешь чего-то большего, что тебе надоело лечить городские невроты. Ты хотел чего-то более значимого, трудного.



— Я из мазохистских побуждений хотел устроиться на неблагодарную, невозможную работу. И я ее получил.

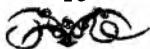
— Все так плохо? — поинтересовалась Лесли, не до конца веря, что подбадривает мужа и скептически относится к реальной серьезности положения.

Она поздравила себя с тем, что для нее самооценка Дэвида стоит выше желания уехать из Нолгейта, пусть Лесли и считала последнее крайне важным.

— Боюсь, что да. Когда я впервые посетил психиатрическое отделение тюрьмы и встретил других врачей, то поклялся, что никогда не стану столь безнадежно циничным, как они. Что у меня все будет по-другому. Но я чрезвычайно себя переоценил. Сегодня двое заключенных, то есть, прости, «пациентов» избили санитаров. На прошлой неделе жертвой стал доктор Вальдман. Вот почему я так нервничал на дне рождения Норлин. Мне пока везет. Достаются только плевки от подопечных. В общем, сейчас я считаю, что все они могут сгнить в этой дыре, и мне на них совершенно наплевать.

Дэвид почувствовал, как его слова чуть ли не зримо заполнили комнату, осквернив спокойствие, царящее в гостиной. До сих пор их дом был убежищем, существовавшим вне порчи тюрьмы, внушительного здания, находящегося за пределами города. Теперь ее духовное влияние простигло физические границы. Внутреннее расстояние сократилось, и Дэвид почувствовал, как тени массивных тюремных стен наползают на уютный район снаружи.

— Ты знаешь, почему я сегодня пришел так поздно? — спросил доктор жену.



— Нет, почему?

— У меня была долгая беседа с человеком, у которого до сих пор нет имени.

— Тем самым, о котором ты рассказывал? Тот, что никому не говорит, откуда он или как его зовут?

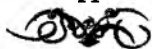
— Да, с ним. Выдающийся экземпляр тлетворной чудовищности этого места. Этот парень очень красив. Идеальный материал для исследования. Абсолютное безумие, соседствующее с острой пронизательностью и умом. Из-за игр с именами его посчитали неподходящим для тюремной камеры, и потому он попал к нам, в психиатрическое отделение. Правда, по его словам, он имеет множество имен — не менее тысячи, но ни одно из них он не снизошел произнести в чьем-либо присутствии. Трудно представить, что его зовут как обычного человека. И мы ничего не можем с ним поделать: ни личность установить, ни диагноз поставить.

— И как вы его зовете — Безымянным?

— Может, и следовало бы, но нет, мы зовем его по-другому.

— И как же?

— Ну, ему предъявили обвинение как Джону Доу, и с тех пор все обращаются к нему так. Полиции пока так и не нашла его документы. Он появился словно ниоткуда. Его отпечатки не проходят ни по одному делу. Его взяли в угнанной машине прямо перед школой. Бдительный сосед сообщил, что некий подозрительный человек часто появляется поблизости. Полагаю, все было настороже после последних исчезновений школьников, и полиция установила наблюдение. Они увидели,



как он ведет новую жертву к машине. Тогда и арестовали. Но у него другая версия истории. Он говорит, что прекрасно знал о преследователях и ждал их — даже хотел, чтобы его поймали, обвинили и отправили в тюрьму.

— Зачем?

— Зачем? Кто знает? Когда просишь психопата объяснить причины его поведения, все запутывается еще больше. А Джон Доу — сам хаос.

— Ты о чем? — спросила Лесли.

Ее муж лишь отрывисто засмеялся, а потом замолк, словно пытаясь найти подходящие слова.

— К примеру, вот небольшая сцена из сеанса, который у нас был сегодня. Я спросил его, знает ли он, по какой причине оказался в тюрьме.

«За проказы», — ответил он.

«И что это значит?»

«Плохой, плохой, плохой. О, ты очень плохой, вот ты кто».

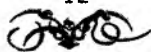
Его детские истерики звучали так, словно он пародировал своих жертв. Уже был конец дня, я был сыт работой по горло, но опрометчиво продолжил сессию.

«Ты знаешь, почему не можешь уйти отсюда?» — спокойно продолжил я, хотя и понимал, что всего лишь перефразировал свой первый вопрос.

«Кто говорит, что не могу? Уйду, когда захочу. Сейчас у меня просто нет желания».

«Почему же?» — естественно, заинтересовался я.

«Я только сюда попал. Подумал, что пора отдохнуть. Мои проказы иногда отбирают столько сил. Но я хочу быть там, с остальными узниками. У них же, полагаю, царит такая воодушевляющая атмосфера. Когда я смогу к ним попасть, ну когда?»



Ты можешь в это поверить? Будет варварством бросить его к остальным заключенным, хотя — чего тут говорить — он такую жестокость заслужил. Обычные пациенты плохо смотрят на преступления вроде тех, которые совершил Доу. Они считают, что такие поступки плохо отражаются на них, ведь у нас-то, конечно, сидят самые заурядные грабители, убийцы, и кого там только нет! Всем нужно чувствовать превосходство хотя бы над кем-то. Я не могу предсказать, что случится с Доу, если мы отправим его в общий блок, а там выяснят, за что его сюда посадили.

— Значит, ему придется остаться в психиатрическом отделении до конца срока? — спросила Лесли.

— Он так не думает. Он считает тюрьму особого режима своего рода курортом, помнишь? Полагает, что может уйти, когда захочет.

— А он может? — спросила Лесли, и в голосе ее не слышалось даже намека на иронию.

От жизни в тюремном городе ее терзал жуткий страх — ей постоянно казалось, что неподалеку орда изуверов планирует побег, и от дома Мунков заключенных отделяют лишь очень тонкие, чуть ли не бумажные, стены. Воспитывать ребенка в таких условиях Лесли не желала и именно поэтому возражала против новой работы мужа.

— Лесли, я уже говорил тебе, что из этой тюрьмы практически никто не сбегал. Если пациент выбирается за периметр, то его первый импульс — это практическое самосохранение. Он старается уехать как можно дальше от этого города, и поэтому Нолгейт — самое безопасное место в случае



такого невиданного события. Да и в любом случае, даже если кому-то и удастся выбраться, их задерживают через несколько часов после побега.

— А такие, как Джон Доу? У него есть чувство «практического самосохранения», или же он будет слоняться поблизости и заниматься своим делом там, где ему удобнее?

— Такие, как Джон Доу, если все идет своим чередом, вообще никогда не сбегают. Они бьются о стены, а не прыгают через них. Ты понимаешь, о чем я?

Лесли сказала, что поняла, но ее страх не ослаб, так как источник его крылся в воображаемой тюрьме воображаемого города — такого, где могло случиться что угодно, и чем ужаснее, тем вероятнее. Она никогда не отличалась болезненностью или мнительностью, и столь непривычные черты в собственном характере ее отвращали. И пусть Дэвид ревностно убеждал ее в полной безопасности тюрьмы, он сам был явно глубоко встревожен. Сейчас он сидел совершенно неподвижно, держа бокал между коленями, и, кажется, к чему-то прислушивался.

— Что случилось, Дэвид? — спросила Лесли.

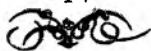
— Кажется, я услышал... какой-то звук.

— Какого рода?

— Не могу точно описать. Словно отдаленный шум.

Он встал и осмотрелся, словно желал увидеть, не оставил ли звук красноречивую подсказку где-нибудь в тишине дома, возможно, грязный и жирный акустический след.

— Пойду проверю, как там Норлин, — сказал он, поставив бокал на столик рядом со стулом.



Затем пересек гостиную, поднялся по лестнице на второй этаж. Заглянув в щель приоткрытой двери, Дэвид увидел, что маленькая фигурка дочери спокойно лежит, обняв плюшевого Бэмби. Иногда она все еще спала с игрушечными друзьями, хотя уже была довольно взрослой. Но психолог-отец старался не давить на дочь и не оспаривал ее право на собственный уют. Прежде чем покинуть комнату, доктор Мунк опустил створку окна, приоткрытую из-за теплого весеннего вечера.

Когда он вновь вернулся в гостиную, то сообщил жене восхитительно обыденную новость о том, что Норлин спокойно спит. Лесли налила еще два бокала, и в ее жестах виднелись еле заметные отголоски радостного облегчения, после чего сказала:

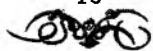
— Дэвид, ты говорил, что у тебя была «очень долгая беседа» с этим Джоном Доу. Не то чтобы я испытывала болезненное любопытство — ничего подобного, но, может, ты все-таки смог его разговорить? И он рассказал что-нибудь о себе? Хотя что-нибудь?

— О да, — ответил доктор Мунк, перекатывая во рту кубик льда. Теперь психиатр, казалось, чуть расслабился. — Можно сказать, он рассказал о себе все, но нес полную чушь — маниакальный бред. Я совершенно между делом задал ему вопрос, откуда он родом.

«Ниоткуда», — ответил он, словно безумный проstack, не знающий собственной семьи.

Я попытался снова: «Ниоткуда?»

«Да, совершенно верно, герр доктор. Я же не какой-нибудь сноб, который будет напускать на себя



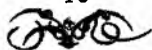
важный вид и притворяться, что родом из какой-то важной точки в вашей географии. Ге-о-гра-фи-я. Какое смешное слово! Мне нравятся все ваши языки».

«Где ты родился?» — спросил я, измыслив альтернативную форму вопроса.

«В смысле, в каком времени, замысловатый ты наш?» — ответил он и так далее. Я еще долго могу пересказывать этот диалог..

— Ты прекрасно имитируешь Джона Доу. Не могу не заметить.

— Спасибо, но долго так продолжать я не могу. Уж слишком трудно будет симитировать все его разные голоса, акценты и степени внятности речи. Я не уверен, но, возможно, у него синдром множественной личности. Мне надо будет еще изучить записи наших сеансов, посмотреть, нет ли там каких-нибудь последовательных паттернов, чего-нибудь, что поможет детективам установить его подлинное имя. К сожалению, даже если мы узнаем, кто же такой Джон Доу на самом деле, сейчас это будет лишь формальностью, мы всего лишь подчищаем хвосты. Его жертвы мертвы, и смерть их была ужасной. Больше ничто не имеет значения. Конечно, когда-то Доу был чьим-то любимым сыном. Но я больше не могу притворяться, что детали его биографии хоть чем-то мне интересны: имя в свидетельстве о рождении, где он вырос, почему стал именно таким. Я — не эстет патологий. Я никогда не хотел изучать умственные болезни без надежды излечить их. Так почему я должен тратить свое время на помощь таким, как Джон Доу? С психологической точки зрения, он живет в ином мире, отличном от нашего. Я раньше верил в реа-



билитацию, отрицал исключительно карательный подход к преступной деятельности. Но эти люди, эти твари в тюрьме — они лишь уродливое пятно на нашей планете. К черту их! Будет больше пользы, если их всех пустить на удобрения, я так скажу.

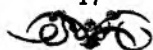
Доктор Мунк одним глотком осушил бокал, так что кубики в нем застучали.

— Еще налить? — спросила Лесли спокойным увещающим тоном.

Дэвид улыбнулся, столь нелиберальный выпад, казалось, отчасти лишил его былой раздражительности.

— Давай лучше напьемся и будем валять дурака, а?

Лесли забрала у мужа бокал, чтобы вновь наполнить его. У них действительно появился повод отпраздновать, так как Дэвид решил бросить работу не из-за своей академической неэффективности, а от злости — злости, что быстро превращалась в равнодушие. Теперь все станет как прежде; они смогут покинуть этот тюремный городок и отправиться домой. Боже, они могут отправиться куда угодно, может, сначала взять отпуск подольше, отвезти Норлин куда-нибудь поближе к солнцу. Такие мысли вертелись в разуме Лесли, пока она разливала напитки по бокалам в тишине этой прекрасной комнаты — тишине, которая сейчас говорила не о безмолвном застое, но о прелестной, успокаивающей прелюдии к грядущему. Неясное будущее счастье согревало Лесли вместе с алкоголем: ее переполняли приятные предчувствия. Возможно, настало время завести еще одного ребенка, маленького братика или сестричку для



Норлин. Но это могло подождать... впереди лежала целая жизнь возможностей. Рядом словно замер в ожидании дружелюбный джинн. Осталось лишь загадать желание — и все их мечты сбудутся.

Прежде чем вернуться в гостиную, Лесли зашла на кухню. Она хотела сделать мужу подарок, и сейчас, кажется, наступило подходящее время. Небольшой сувенир. Пусть работа Дэвида оказалась печальной тратой его драгоценных усилий, Лесли тоже ее поддерживала, пусть и по-своему. Держа по бокалу в каждой руке, она зажала под мышкой маленькую коробочку, которую принесла из кухни.

— Что там? — спросил Дэвид, беря бокал.

— Небольшой подарок для любителя искусства, который скрывается в тебе. Я купила его в магазинчике, где продают вещи, которые делают ваши заключенные. Там есть очень качественные работы: пояса, драгоценности, пепельницы — ну сам знаешь.

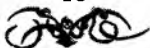
— Знаю, — протянул Дэвид, его голос и на долю не отражал энтузиазма Лесли. — Я и не думал, что это барахло кто-то покупает.

— Ну я покупаю. Я подумала, что так поддержу тех заключенных, которые предпочитают хоть как-то созидать, а не только... разрушать.

— Творчество — не всегда признак доброго нрава, — предостерег ее Дэвид.

— Не суди, пока не увидишь, — сказала она, открыв коробку и поставив фигурку на кофейный столик. — Вот... Разве не мило?

Доктор Мунк рухнул на такую глубину трезвости, на какую можно погрузиться, лишь прежде воспарив к высочайшим алкогольным вершинам.



Он посмотрел на сувенир. Он видел его раньше, смотрел, как эту статуэтку нежно ваяли, ласкали заботливые руки, смотрел, пока к горлу не подступила тошнота, и доктор не отвернулся. Это была голова мальчика, совсем еще ребенка — прекрасная работа, вылепленная из серой глины и покрытая голубой глазурью. От работы шло сияние выдающейся и интенсивной красоты, лицо статуэтки выражало нечто вроде экстатической безмятежности, извилистой простоты визионерского взгляда.

— Ну и как она тебе? — спросила Лесли.

Дэвид взглянул на жену и мрачно произнес:

— Пожалуйста, положи это обратно в коробку. И потом избавься от нее.

— Избавиться? Но почему?

— Почему? Потому что я прекрасно знаю, кто из пациентов это сделал. И он очень гордился статуэткой, и мне даже пришлось нехотя похвалить его за искусность работы. Но потом он рассказал о том, с кого ее лепил. И когда этого мальчика нашли в поле шесть месяцев назад, на его лице было далеко не такое выражение безмятежности и покоя.

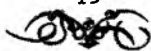
— Дэвид, нет! — воскликнула Лесли, словно не желая слышать то, что сейчас скажет ее муж.

— Одна из недавних «проказ», и, по его словам, самая запомнившаяся.

— Боже,— тихо пробормотала Лесли, приложив правую руку ко лбу. Потом она аккуратно упаковала голову мальчика обратно в коробку и почти неслышно произнесла: — Я верну ее в магазин.

— И поскорее, Лесли. Я не знаю, сколько еще мы будем жить по этому адресу.

В утрюмой тишине Лесли на мгновение задумалась о том, как легко и открыто прозвучали его



слова о переезде, о бегстве из Нолгейта. А потом она спросила:

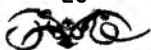
— Дэвид, а он когда-нибудь рассказывал о том, что сделал? В смысле о...

— Я понимаю, о чем ты. Да, рассказывал, — ответил доктор Мунк с профессиональной вескостью.

— Дэвид, мне так жаль, — сказала Лесли, искренне сочувствуя ему, теперь, когда уже не нужны были уловки, чтобы убедить его бросить эту работу.

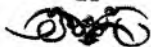
— Знаешь, это странно, но ничего ужасного в рассказах Доу не было. Наши беседы можно даже назвать стимулирующими, с клинической точки зрения. Он описывал свои «проказы» в крайне образной манере, можно сказать увлекательной. Странная красота той штуки в коробке — пусть она и крайне отталкивающая — в некотором смысле отражает язык, который он использовал, говоря об этих несчастных детях. Иногда я не мог не отметить, что его рассказы меня завораживают, хотя, возможно, как психолог я просто отстранялся от своих подлинных чувств. Иногда приходится держаться на расстоянии от реальности, хотя так становишься менее человечным.

Я понимаю, о чем ты, но ничего жестокого он не описывал. Он рассказывал о своей «самой памятной проказе» скорее с неким удивлением и ностальгией, пусть это и кажется шокирующим. Он словно скучал по дому, хотя его «дом» — лишь ветхие руины его собственного разума. Психоз Доу явно породил какую-то ужасающую волшебную страну, которая пациенту кажется совершенно реальной. И несмотря на тысячи имен, несмотря на явную манию величия, там он кажется себе фигу-



рой малозначительной — заурядным придворным в разрушенном царстве кошмаров и зеркал. Эта скромность крайне любопытна, если принять во внимание то самовлюбленное великолепие, с которым многие психопаты описывают себя и свой безграничный воображаемый мир, где они могут сыграть любую роль. Но Джон Доу не таков. Он — довольно ленивый полудемон из Нетландии, где головокружительный хаос — норма, именно на нем Джон и процветает с бесконечной прожорливостью. Что, впрочем, прекрасно описывает метафизическую экономику любой безумной вселенной.

По правде сказать, география его страны грез довольно поэтична. Он рассказывал мне о мире, который больше похож на космос скрюченных домишек и забитых мусором узких переулков, на трущобы посреди звезд. Возможно, это искаженное отражение его собственной жизни, проведенной в бедном квартале, — попытка переиграть травматические воспоминания детства в измерении, где злые улицы реальности пересекаются с вымышленным миром воображения, где царит фантасмагорическое смешение ада и рая. Именно туда он и уходил «проказничать» со своей, как он сам говорит, «охваченной благоговением компанией». Скорее всего, он уводил своих жертв в заброшенное здание или даже в канализацию. Доу часто упоминал о «веселой реке отходов» и «острых тюках в тени», и это вполне может быть безумными трансформациями вполне прозаического пустыря, какой-то замусоренной и уединенной среды, которую его разум превратил в аттракцион странных чудес. Не столь очевидны его воспо-



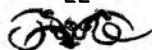
минания об озаренном лунным светом коридоре, где кричат и хохочут зеркала, о каких-то темных вершинах, что никак не желают оставаться на месте, и о лестнице, «сломанной» неким очень странным способом, хотя последняя вполне подходит к описанию обветшалой помойки. В его разуме постоянно царит парадоксальное смещение некой заброшенной, разрушающейся топографии и сверкающих храмов, святилищ — оно практически гипнотизирует...

Доктор Мунк осекся, не желая дальше продолжать в том же духе невольного восхищения.

— Но несмотря на сновидческие пейзажи в воображении Джона Доу повседневные свидетельства его проказ указывают на преступления вполне обычной и даже приземленной природы. Его жестокость посредственна, если так вообще можно говорить о том, что он совершил. Но Доу отрицает, что в его зверствах есть хоть что-то заурядное. Он говорит, что специально все устроил так для тупых масс, что под «проказами» имеются в виду некие другие действия, — более того, противоположные злодеяниям, в которых он обвиняется. Столь любимый им термин, возможно, имеет некое основание в прошлом Доу.

Доктор Мунк остановился, крутя в руках пустой бокал и позвякивая кубиками льда. Лесли, казалось, погрузилась в собственные мысли, слушая мужа. Она зажгла сигарету и сейчас облокотилась о ручку дивана, положив ноги на подушки так, что ее колени были обращены в сторону Дэвида.

— Когда-нибудь тебе нужно бросить курить, — заметил тот.



Лесли опустила глаза, как ребенок, которого слегка пожурили:

— Я обещаю, что как только мы переедем... Я брошу. Договорились?

— Договорились,— ответил Дэвид.— И у меня есть еще одно предложение. Для начала я хочу сказать, что точно подам заявление об увольнении.

— А не слишком ли быстро? — спросила Лесли, надеясь, что не слишком.

— Поверь мне, никто не удивится. Я не думаю, что там кому-то есть до меня дело. В общем, у меня следующее предложение: давай завтра возьмем Норлин и снимем место на пару дней где-нибудь к северу отсюда. Можем на лошадях покататься. Помнишь, как тебе понравились такие поездки прошлым летом? Что скажешь?

— Звучит прекрасно,— согласилась Лесли, не скрывая радости.— Просто замечательно.

— А по дороге назад заедем к твоим родителям и оставим Норлин у них. Пусть поживет там, пока мы занимаемся переездом и ищем новый дом. Я так думаю, они не будут возражать и поживут с ней недельку или около того?

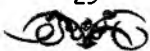
— Нет, конечно нет, они с радостью согласятся. Но к чему такая спешка? Норлин еще в школе, ты же знаешь. Может, подождем, пока год закончится? Это же всего лишь через месяц.

Дэвид замолчал, явно собираясь с мыслями.

— Что случилось? — спросила Лесли с еле заметным волнением в голосе.

— На самом деле ничего, совершенно ничего. Но...

— Что «но»?



— В общем, дело в тюрьме. Я знаю, что казался тебе излишне самоуверенным, когда говорил, насколько тут все безопасно, и я не отрекаюсь от своих слов. Но этот человек, Джон Доу, он очень странный, как, я уверен, ты уже поняла. Да, он — совершенно точно психопат-детоубийца... и все же. Я действительно не знаю, что сказать.

Лесли удивленно посмотрела на мужа:

— Ты же говорил, что заключенные вроде него только бросаются на стены, а не...

— Да, почти всегда именно так и происходит. Но иногда...

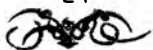
— Дэвид, о чем ты? — Беспокойство, которое Дэвид так тщательно старался скрыть, проникло и в Лесли.

— Дело в том, что сказал Доу сегодня, когда я с ним говорил. Ничего определенного. Но мне будет гораздо спокойнее, если Норлин поживет у твоих родителей, пока мы тут решаем проблемы.

Лесли зажгла еще одну сигарету и решительно произнесла:

— Расскажи мне о том, что тебя так сильно тревожит. Я должна знать.

— Когда я расскажу, ты, наверное, подумаешь, что я тоже схожу с ума. Но ты с ним не говорила. А я говорил. Не слышала его речь. Ее особенности, вычурность. Не видела это постоянно меняющееся выражение лица. Во время сеанса у меня было постоянное чувство, словно он ведет какую-то игру, которой мне не понять, хотя я уверен, что это лишь причуды воображения. Обыкновенная тактика психопата — запутать своего доктора. Это дает им ощущение власти.



— Просто скажи мне, в чем дело,— настаивала Лесли.

— Хорошо. Впрочем, считаю, что будет ошибкой придавать этому слишком большое значение. Но сегодня в конце сеанса, когда мы говорили обо всех этих детях, он произнес одну фразу, которая мне совсем не понравилось. Он тогда снова забавлялся, разговаривал с преувеличенным акцентом — то просторечным, то немецким. И я дословно воспроизвожу его слова: «У вас-то мальчуган не озоровал бы, а вот девчушку вашу пожурить бы для остротки, нор лень, да, профессор фон Мунк?» А потом он молча мне улыбнулся. Теперь я думаю, что он просто старался сбить меня с толку. Ничего больше.

— Но эти слова, Дэвид: «девчушку вашу», «нор лень».

— Правильно, разумеется, должно быть «но», а не «нор», но я уверен, что это лишь случай дурной грамматики, не более.

— Ты же никогда не упоминал при нем о Норлин, так?

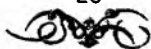
— Разумеется, нет. На такие темы я с этими людьми не разговариваю.

— Тогда почему он так сказал?

— Понятия не имею. Он обладает очень странным умом, постоянно говорит туманными намеками и тонкими шутками. Возможно, он слышал обо мне от персонала. Или все это лишь невинное совпадение.

Доктор взглянул на жену.

— Ты, скорее всего прав,— охотно согласилась Лесли, испытывая сомнительное желание безоглядно поверить мужу.— И все же я прекрасно по-



нимаю, почему ты хочешь отвезти Норлин к моим родителям. Ничего, конечно, не случится...

— Ничего. Нет никаких причин для беспокойства. Разумеется, это тот случай, когда пациент перехитрил своего доктора, но мне на это уже наплевать. Любой разумный человек будет слегка напуган, проводя день за днем в суматохе этого места, в его почти физической опасности. Все эти убийцы, насильники, отбросы из отбросов. В таких условиях невозможно вести нормальную семейную жизнь. Ты видела, какой я был на дне рождения Норлин.

— Я понимаю. Не лучший район, чтобы растить ребенка.

Дэвид медленно кивнул:

— Когда я поднимался к ней недавно, то почувствовал себя, не знаю, словно уязвимым. Она обнимала игрушку, с ними ей лучше спиться.— Он сделал плоток из бокала.— Кстати, игрушка была новая. Ты купила ее сегодня, когда ходила по магазинам?

Лесли взглянула на мужа, недоумевая:

— Сегодня я купила только это,— она указала на коробку, лежащую на кофейном столике.— Ты о чем?

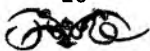
— О плюшевом Бэмби. Может, он был у нее раньше, а я просто не заметил,— ответил он, отчасти решив не продолжать эту тему.

— Если он и был у нее раньше, то не от меня,— решительно заметила Лесли.

— И не от меня.

— И я не помню, чтобы игрушка была в комнате, когда я укладывала Норлин спать.

— И тем не менее она держала ее в руках, когда я ходил наверх, услышав...



Дэвид замер. Судя по выражению на его лице, он словно обдумывал тысячу мыслей разом, словно что-то искал, лихорадочно, суетливо копошась в каждой клеточке своего мозга.

— Что случилось, Дэвид? — Голос Лесли вдруг ослабел.

— Я точно не уверен. Я словно что-то знаю и не знаю одновременно.

Но доктор Мунк уже начал понимать. Он прикрыл левой ладонью затылок, ему стало холодно. Откуда-то из другой комнаты дуло? Этот дом был не из тех, где гуляют сквозняки, — не разбитой халупой с дырами в стенах, куда ветер забирается сквозь древнюю черепицу на чердаке и погнутые оконные рамы. Снаружи действительно разбушевалась буря: Дэвид видел, как она рыщет в окне за скульптурой Афродиты, как беспокойно мечутся ветки деревьев. Богиня томно позировала, запрокинув свою безупречную голову, устремив слепые глаза в потолок или же куда-то за его пределы. Но что там было? По ту сторону пустого хрипа холодного и мертвого ветра? И сквозняка.

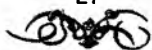
Что?

— Дэвид, тебе не кажется, что откуда-то дует? — спросила Лесли.

— Да, — ответил он, словно некая мысль только сейчас пришла ему в голову. — Да, — повторил он, быстро миновал гостиную, взлетел по лестнице и побежал по второму этажу. — Норлин, Норлин, — звал он, еще не добравшись до полуприкрытой двери ее комнаты.

Сквозняком тянуло именно оттуда.

Он знал и не знал.

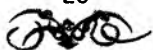


Дэвид щелкнул выключателем. Тот находился низко, чтобы ребенок мог дотянуться. Зажегся свет. Девочка исчезла. Окно в комнате было распахнуто настежь, белые, почти прозрачные занавески трепетали на ворвавшемся внутрь ветру. На кровати в одиночестве лежала порванная плюшевая игрушка, ее мягкие внутренности были разбросаны по матрасу. Внутри кто-то засунул скомканный листок бумаги, разворачивающийся подобно распускающемуся цветку. И доктор Мунк уже видел в его складках шапку официального тюремного бланка. Но в ней не было ничего официального. Послание не напечатали, а написали, и в этом почерке смешалось все: от аккуратного курсива до неразборчивых детских каракулей. Дэвид, казалось, целую вечность смотрел на записку, не понимая ее смысла. Но потом тот медленно проскользнул в его разум.

«Доктор Мунк, мы оставляем вас в ваших столь умелых и способных руках, ибо начнем проказничать в канавах, полных черной пеной, на задворках рая, в промозглом беззаконном мраке межгалактического подвала, в пустых жемчужных завитках морей из сточных вод, в беззвездных городах безумия, в их трущобах... я и мой олененок, охваченный благоговением и восхищением. До встречи, ваш безымянный Джонатан Доу».

— Дэвид? — Доктор услышал голос жены с первого этажа. — Все хорошо?

А потом царству тишины в этом прекрасном доме пришел конец, ибо в нем зазвенел яркий и льдистый крик смеха — совершенный звук для проходного анекдота родом из какой-то малоизвестной преисподней.



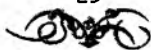
LES FLEURS

17 апреля

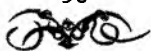
Цветы отосланы ранним утром.

1 мая

Сегодня — а я уже думал, что этого никогда не случится, — я встретил кое-кого, о ком, думаю, могу питать надежды. Ее зовут Дэйзи. Она работает в цветочном магазине! Магазине, смею добавить, куда я нанес визит, дабы купить скорбных цветов для Клары, которая для остального мира все еще считается пропавшей. Поначалу, разумеется, Дэйзи была вежлива и сдержанна, когда я попросил чего-нибудь поярче, на могилу близкого мне человека. Вскоре я излечил ее от этой отстраненной манеры. Своим глубоко застенчивым и дружелюбным голосом она рассказала о других цветах, тех, что не несли на себе символической печати утраты. Она с радостью провела для меня экскурсию по радужному прейскуранту своей



лавки. Я признался, что не знаю практически ничего о растениях и товарах, выставленных на продажу, а также обратил внимание на ее энтузиазм, выразив надежду, что хотя бы отчасти ее воодушевление вызвано моим присутствием. «О, я люблю работать с цветами,— сказала она.— Они мне кажутся такими интересными». А потом она спросила, знаю ли я о том, что у некоторых растений цветы распускаются только ночью, а отдельные виды фиалок расцветают лишь во тьме, под землей. Поток моих мыслей и ощущений неожиданно ускорился. Хотя я уже почувствовал, что передо мной девушка особого воображения, но только сейчас я увидел, насколько она необычна. А потому рассудил, что попытки узнать ее лучше будут не напрасны, как в случае с другими. «О, это действительно интересно»,— заметил я, растянув губы в теплично-теплой улыбке. Последовала пауза, которую я заполнил собственным именем. Затем она сказала мне свое. «Какого рода цветы вам нужны?» — спросила Дэйзи. Я степенно попросил собрать букет, приличествующий могиле моей покойной бабушки. Прежде чем уйти, я сказал, что, возможно, еще зайду к ним, коли снова испытаю потребность в цветочных услугах. Казалось, она не возражала. С растениями в руке я, мелодично звякнув колокольчиком над дверью, вышел из магазина, после чего сразу отправился на кладбище Чэпел-гарденз. Какое-то время я искренне пытался найти надгробие, на котором по случайности было бы выбито имя моей потерянной возлюбленной. Сгодился бы даже год рождения. Я подумал, что хотя бы это она заслужила.

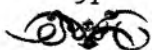


Но порыв иссяк, и мой памятный букет принял некто по имени Кларенс.

16 мая

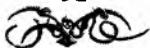
Дэй, как я теперь зову ее с глазу на глаз, впервые посетила мои апартаменты и влюбилась в их причудливый интерьер. «Я обожаю хорошо сохранившиеся старые здания», — сказала она. И мне показалось, что она не лукавила. Я подумал, что она искренна со мной. Она также заметила, что несколько растений в убранстве моих древних комнат сотворили настоящее чудо. Дэй очень серьезно отнеслась к отсутствию украшений естественного толка в моем холостяцком жилище. «Цветущие по ночам эхиноцереусы?» — спросил я, стараясь не слишком много вкладывать в этот вопрос, и, разумеется, выдал себя с головой. Нежная улыбка появилась на ее лице, но сейчас я решил не заострять внимание на поднятой теме. И даже сейчас нажимаю пером на страницы этого блокнота с немалой деликатностью.

Дэй походила по квартире, а я наблюдал за ней, словно за экзотическим животным — грациозным оцелотом, например. А потом я понял, что совершил досадный промах. Она же не упустила ничего. Оно стояло на низком столике около высокого окна, между внушительных размеров занавесками. На мой взгляд, оно довольно вульгарно бросалось в глаза, так как я не планировал показывать ей нечто в подобном духе на столь ранней стадии наших отношений. «Что это?» — спросила она, и в голосе ее слышалось некое возмущенное, даже

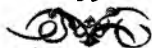


яростное любопытство, граничащее с простым возмущением. «Всего лишь скульптура. Я говорил тебе, что занимаюсь такого рода вещами. Она, правда, не слишком хороша. Даже глупа». Она внимательнее осмотрела вещицу. «Осторожно», — предупредил я. Она еле слышно ахнула, после чего поинтересовалась: «Это будет что-то похожее на кактус?» На секунду показалось, что произведение искусства ее искренне заинтересовало. «У нее тут крохотные зубы, — заметила Дэй, — на этих языкоподобных штуках». И действительно, они похожи на языки — мне это раньше и в голову не приходило. Какое изобретательное сравнение, если подумать. Я уже понадеялся, что ее воображение нашло плодородную почву, в которой могло бы пустить корни, но вместо этого в голосе Дэй послышалась холодность и даже отвращение. «Тебе лучше говорить, что это животное, а не растение, или скульптура растения, или что уж там по замыслу. У него такая густая шерсть, и такое впечатление, что оно сейчас куда-то уползет». Я тогда и сам желал куда-нибудь уползти. Спросил ее как квази-ботаника о том, что разве не существует на свете растений, которые напоминали бы птиц или других животных. То были мои слабые попытки снять с собственного творения обвинения в неестественности. Странно, но порой ты вынужден принять критическую точку зрения на самого себя, взглянуть на собственное «я» чужими глазами. Наконец я смешал пару коктейлей, и мы перешли к другим темам. Я включил музыку.

Вскоре, впрочем, во вкрадчивую гармонию звуков ворвался неуместный диссонанс. Этот детек-



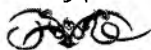
тив (Брайсберг, кажется) решил вновь устроить мне допрос по делу Клэр. К счастью, мне удалось сдерживать его вместе с надоевшими вопросами в холле. Вновь произошел диалог, который у нас уже был. Я снова заявил, что знаю Клэр только по работе, что держался с ней дружелюбно из профессиональных побуждений. Оказывается, некоторые из моих сослуживцев, имена которых детектив не стал разглашать, подозревали, что я и Клэр состоим в некоей романтической связи. «Офисные сплетни», — парировал я, зная, что она была девушкой, которая знала, как держать в тайне свои секреты, пусть ей совершенно нельзя было доверить чужие. Извините, повторил я, понятия не имею, куда она могла исчезнуть. Тем не менее исподволь я намекнул, что не удивился бы, коли Клэр в неожиданном приступе невротического отчаяния решила, повинаясь сиюминутной прихоти, переехать в какой-то другой город, где бы ее сердце чувствовало себя привольно. Я лично с немалой скорбью выяснил, что за столь темными и притягательно мрачными оградками Клэр таится удручающее царство грез, переполненное белыми заборчиками и занавесками в цветочек. Нет, ничего подобного я детективу не сказал. К тому же, поведал я далее, в офисе все прекрасно знали, что Клэр начала с кем-то встречаться за семь—десять дней (моя личная оценка срока ее неверности) до исчезновения. Так зачем в таком случае беспокоить именно меня? На то, как я выяснил, была отдельная причина: Брайсбергу сообщили, как он мне сказал, что я состою в некоем странном обществе. Я ответил, что в серьезных философских исследованиях нет ничего странного.



Более того, я был художником, о чем полицейский прекрасно знал, а любому известно, что натуры артистического склада имеют естественную склонность к штудиям подобного рода. Я подумал, что он поймет, о чем я. Он понял. Судя по виду, этот человек был доволен каждым моим словом. И действительно он, казалось, сам жаждет вывести меня из круга подозреваемых лишь для того, чтобы я обрел чувство ложной безопасности и нечаянно не обронил бы признание в деяниях самого мерзкого рода. «Речь шла о девушке с твоей работы, той, которая исчезла?» — спросила Дэйзи потом. Я лишь хмыкнул в ответ. Сидел угрюмо, ничего не говорил, надеясь, что она воспримет мое поведение как скорбь по странной девушке из офиса, а не по досадно несовершенному вечеру с Дэйзи. «Наверное, я лучше пойду», — сказала она и ушла. Впрочем, свидание было уже не спасти. Когда она покинула меня, я изрядно напился ликером со вкусом полевых цветов, или, по крайней мере, так казалось. Я также воспользовался возможностью и перечитал историю о группе людей, решивших отправиться в белую пустыню полярной страны чудес. Скорее всего, сны мне сегодня не привидятся, я уже и так изрядно насытился этой арктической фантазией. Братство рая — воистину странное общество!

21 сентября

Дэй посетила прохладные, чистые офисы «Д. Р. Пэйси» — рекламной компании, на которую я работаю, так как мы договорились встретиться и вместе отправиться на ленч. Я показал ей мой заку-



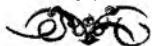
ток коммерческих художеств и привлек внимание к последнему проекту. «О, как красиво,— заметила она, когда я указал на рисунок нимфы с цветами в волосах, недавно вымытых шампунем.— Очень мило». Замечание про «мило» чуть не испортило мне весь день. Я попросил Дэй взглянуть пристальнее на цветы, запутавшиеся в локонах мифического создания. Было едва заметно, что один из стеблей то ли вырастает из головы нимфы, то ли, наоборот, уходит в нее. Дэй, кажется, не слишком оценила ловкость моего ремесла. А я-то думал, что мы уже прошли такой путь по «странным» дорогам. (Чертов Брайсберг!) Пожалуй, мне лучше дожждаться нашего возвращения из путешествия, прежде чем показывать картины, которые я припрятал в доме. Я хочу, чтобы она подготовилась. Ну хотя бы с отпуском нет проблем. Дэй наконец-то нашла кого-то, кто присмотрит за ее кошкой.

10 октября

До свиданья, дневник. Увидимся, когда я вернусь.

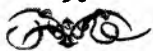
1 ноября

После периода задумчивого молчания я запишу небольшой мемуар о тропическом жителстве меня и Дэй. Не уверен, что конкретно представляют события, о которых пойдет речь: тупик или же поворотную точку в наших отношениях. Возможно, здесь есть некий нюанс, которого я совершенно не понимаю. В общем, я по-прежнему



в неведении. Я уже был там прежде, с Клэр, и надеялся, что эскапистская интерлюдия с Дэй все расставит по местам или же максимально подведет к определенности, а не оставит меня в сомнениях. Как бы там ни было, я все еще считаю, что этот эпизод достоин тщательного документирования.

Полночь в гавайском раю. На самом деле мы просто смотрели на пляжную роскошь с веранды отеля. Дэй была немного пьяна после нескольких коктейлей с цветами на пенных шапках. Я был в том же состоянии. Несколько минут хмельной тишины, прерываемой лишь редкими вздохами Дэй. Мы слышали хлопанье невидимых крыльев, разрезающих теплый воздух в темноте. Слушали, как растут черные орхидеи, пусть их и не было вокруг. («Мммм», — промычала Дэй.) Мы были готовы к фантазии, единой на двоих. И у меня была кое-какая на уме, правда, я тогда не знал, смогу ли ее проверить. «Чувствуешь ли ты запах загадочного эхиноцереуса?» — спросил я, одной рукой обнял ее за плечи, а другой театрально взмахнул над джунглями, видневшимися вдаль, проведя черту вдоль горизонта. «Чувствуешь?» — повторил я завораживающе. «Да», — игриво ответила Дэй. «Но сможем ли мы найти их, Дэй, увидеть, как они распускаются в лунном свете?» «Сможем, сможем», — легкомысленно, нараспев произнесла она. Мы смогли. Без всякого предупреждения гладкокожие листья ночного сада начали тереться о нас, столь же гладкокожих. Дэй остановилась, потрогала цветок, то ли оранжевый, то ли красный, но пах он темным фиолетом. Я подбодрил ее, сказал топнуть по усеянной цветами земле. Мы погрузились еще глубже

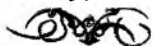


в сад снов. Все быстрее, быстрее и быстрее мимо нас проносились звуки и запахи. Оказалось легче, чем я думал. В какой-то момент безо всяких усилий мне удалось полностью оторвать нас от известной географии. «Дэй, Дэй,— закричал я.— Мы здесь. Я никогда и никому не показывал этого, и какой мукой было держать все в тайне от тебя. Нет, не говори ничего. Смотри, смотри». О, эта дрожь, этот трепет, когда приводишь свою спутницу, свою любовь в темный рай! Как же я жаждал показать ей этот великолепный мир в полном цвете, заставить узреть его с околдованной радостью. Дэй была где-то рядом, во тьме. Я выждал мгновение, в разуме своем увидел ее в тысяче образов, прежде чем взглянуть на реальную Дэй. И я взглянул. «Что случилось со звездами, с небом?» Это все, что она смогла сказать. Она дрожала.

Следующим утром за завтраком я аккуратно расспросил ее о впечатлениях и суждениях, оставшихся от прошлой ночи. Но она мучилась от тяжелого похмелья и помнила о том, что пережила, отрывочно. Что ж, по крайней мере, не ударилась в истерику, как моя прежняя страсть, Клэр.

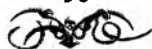
С самого нашего возвращения я работал над картиной под названием «Sanctum Obscurum»¹. И пусть я уже рисовал нечто подобное много раз, в эту я включил детали, которые, надеюсь, подстегнут память Дэй и низвергнут ее в воспоминания не только о той ночи на островах, но и обо всех тонких и не столь тонких намеках, которые я пытался ей передать. Молю лишь о том, что она все поймет.

¹ Святая тьма (лат.).



Звезды катастрофы! Земное, а не потустороннее, не звезды, а астры — вот чего алчет сердце Дэй. Она слишком влюблена в естественную флору, чтобы стать чем-то иным. Теперь я все знаю. Я показал ей свою работу и даже вообразил, что картина вдохновила ее. Но теперь думаю, что она просто хотела увидеть, каким дураком я себя выставлю. Она сидела на диване, нервно теребя нижнюю губу указательным пальцем. Напротив нее я сдернул атласное покрывало. Она взглянула вверх, встрепенувшись, словно где-то раздался громкий хлопок. Сам я был не полностью удовлетворен картиной, но этот показ преследовал цели, выходящие за пределы чисто эстетических. Я смотрел в глаза Дэй, искал отражение понимания, волну эмпатического озарения. «И как?» — спросил я, и слова эти колокольным звоном возвестили о моей судьбе. Ее взгляд уже сказал мне все, и роковая ясность послания напомнила о другой девушке, которую я знал. Дэй дала мне второй шанс, взглянув на картину с показной пристальностью.

Что там было? Комната, убежище, сильно напоминающее мои собственные апартаменты, чье внутреннее убранство собралось у окна непропорциональной ширины, тем самым направляя взгляд зрителя наружу, за пределы стекла. Там открывался вид, совершенно чуждый земной природе, а возможно и всему тому, что мы считаем человеческим. Снаружи раскинулось великолепное царство сверкающих красок и бархатистых джунгледоподобных форм, измерение искаженных

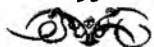


радуг и искаженных сияний. Невероятно сверкающие оттенки приглушало стекло, чтобы их странная насыщенность не угрожала хроматической цельности мира внутри. Некоторые звезды, окрашенные в переливчатые краски спектра, расцветали во тьме наверху. Внешний мир мерцал в звездном свете, каждая замысловатая форма рассыпалась зеркальными просверками. А в окне виднелось размытое отражение одинокой фигуры, смотрящей на весь этот иномирный рай изнутри комнаты.

— Очень хорошо,— ответила Дэй.— Очень реалистично.

О нет, совсем нет, Дэйзи Дэй. Не реалистично ни по манере, ни по сути.

На несколько неприятных секунд повисла тишина, и тут Дэй сказала, что у нее назначена встреча, и что она уже опаздывает. Кажется, у нее были какие-то женские планы отправиться с подругой туда, где собираются такие, как она, и занимаются своими женскими делами. Я сказал, что все понимаю. И я понял. Я не сомневаюсь в том, какой пол будет у спутника Дэй в эту ночь, а может, и был в другие ночи, о которых мне ничего не известно. Но я смотрел с такой тоской ей вслед по совсем другой причине. Что-то в каждом ее движении, выражении, что-то, уже виденное мной прежде, выдавало подозрения Дэй обо мне и моей личной жизни. Конечно, она уже знала о собраниях, которые я посещаю. Я даже рассказывал ей, пусть и не вдаваясь в подробности, о тех дискуссиях, которые ведутся на наших встречах, скрывая их подлинное значение под все более прозрач-

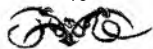


ными масками, надеясь в один прекрасный день показать ей истину без прикрас. Тем не менее, как и Клэр, Дэй раньше срока узнала слишком много обо мне и о других. И боюсь, она решит передать эти сведения не тем людям. Настырному детективу Брайсбергу, например.

16 ноября

Сегодня мы провели экстренное совещание, и наше собрание в кризисе. Остальные считают, что есть проблема, и, разумеется, я понимаю: они правы. Лишь только я встретил свою последнюю любовь, то почувствовал растущее недовольство, бывшее их исключительным правом. Теперь же все окончательно изменилось: моя романтическая ошибка стала тому порукой. Мысль о том, что посторонний столько знает о нас, приводила их в абсолютный ужас. Я и сам его чувствую. Теперь Дэй — лишь незнакомка, чужая, и я не могу не думать о том, что столь словоохотливый человек способен рассказать о своем бывшем друге, уж не говоря о тех, кто присутствует на собрании. Великой силе угрожает разоблачение. Незаметность, столь необходимая нам, может быть утеряна безвозвратно, а с ней и ключи к странному царству.

Мы уже сталкивались с подобными ситуациями прежде. Я — не единственный, кто поставил под удар нашу секретность. Конечно, друг от друга у нас никаких тайн нет. Они знают все обо мне, а я — о них. Они ведали о каждом шаге в моих отношениях с Дэйзи. Некоторые даже предсказали их исход. И хотя я думал, что прав, рискуя, но теперь



должен считаться с их пророчествами. Эти одинокие души, *mes frères!* «Ты хочешь, чтобы мы все устроили?» — спросили они множеством голосов. Я согласился — не сразу, но согласился, разразившись множеством двусмысленных, неуверенных фраз. А потом они отослали меня прочь, в мое убежище, лишенное цветов.

Никогда больше я не поставлю себя в подобное положение, пообещал я себе, хотя прежде приносил подобную клятву. Я долго, слишком долго не мог отвести глаз от бритвенных зубцов на моей шерстистой скульптуре. То, что моя бедняжка Дэй сочла за языкоподобные отростки, безмолвствовало: естественно, ведь зарок молчания — единственная их цель. Помню, как Дэйзи однажды шутя спросила, что послужило мне моделью для этой работы.

17 ноября

В Эдем со мной ты не уйдешь, не будет в доме жить
Извивистых, изломанных карнизов.

И в комнате своей ты берегись, не будь покойна,

Впуская кошку в дом, не забывай про свет!

Оно скользнет к тебе и спрячется во тьме,

Змееподобное чудовище из рая,

В нем языки цветут, они ползут к тебе,

смеясь, лакая и алкая.

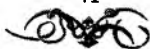
И ты исчезнешь!

Я пишу это, чтобы время пролетело незаметно.

Только для этого.

17 ноября

Полдень. Цветы.



ПОСЛЕДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ АЛИСЫ

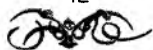
— Престон, прекрати хохотать. Они съели весь наш двор. Они съели любимые мамины цветы! Престон, это не смешно.

— Ааааа хе-хе-хе-хи-хи-хи. Ааааааа ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.

Престон и голодные тени

Когда-то давным-давно Престон Пенн решил не обращать внимания на проходящие года и пополнил ряды тех, кто навеки остался в полумире, что существует между детством и отрочеством. Он решил не расставаться ни с лихой радостью от поедания насекомых (особенно ему нравились зажаренные до хруста мухи), ни с тем особенным хмелем детского разума, который невозможно повторить, как только взрослая трезвость берет свои права. В результате Престон удачно выторговал себе несколько десятилетий, на расстояние вытянутой руки не приблизившись к юности. Остановившись в развитии, он дерзко бросался в самые разные, порой крайне странные приключения.

ПЕСНИ МЕРТВОГО СНОВИДЦА

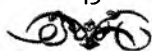


И он до сих пор живет на страницах написанных мною книг, пусть я и прекратила сочинять их несколько лет назад.

Был ли у него прототип? Можно сказать и так. Нельзя просто изобрести такого героя, как Престон, пользуясь лишь жалкими силами воображения. Он был вымыслом, сваренным из реальности, став материалом для моей популярной серии детских книг. Положение Престона как в реальности, так и в воображении всегда представляло для меня особенный интерес. Впрочем, за прошедший год оно потребовало внимания столь властно, что вызвало раздражение и даже тревогу с моей стороны. Хотя, может, я просто старею.

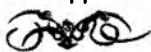
Мой возраст — не секрет, его легко можно узнать по многим литературным источникам. Двадцать лет назад, когда появилась первая книга о Престоне («Престон и перевернутое лицо»), один критик довольно раздражительно и высокомерно назвал меня «„Проклятой дамой“ крайне особенного сорта детской литературы». Какой сорт имеется в виду, вы можете вообразить, если, конечно, уже не знаете, если не выросли — или же не растете, — читая о приключениях Престона с Мертвой Маской, Голлодными Тенями или Одиноким Зеркалом.

Еще маленькой девочкой я знала, что хочу стать писательницей; и более того, я прекрасно знала, какие истории хочу рассказывать. Пусть кто-то другой знакомит детей с жизнью и любовью, ведет их через бурные годы, когда что угодно может пойти не так, и счастливо оставляет на берегах начинающейся зрелости. Не такой была моя судьба. Вместо этого я начала писать про шаловливого маленького



озорника, черты характера которого позаимствовала у моего друга детства, о чьих проказах знал весь город, где я родилась и выросла. В обличии Престона Пенна мой давний друг сбросил оковы материального существования и принялся исследовать тайны перевернутой, вывернутой наизнанку, слегка зловещей и всегда искаженной вселенной. Воплощение беспорядка, Престон завоевал репутацию чемпиона по проказам и авантюриста, чей взгляд проникал по ту сторону самых повседневных вещей: луж дождевой воды, потускневших зеркал, освещенных луной окон, — и находил источник подлинного колдовства, которым поражал извечного врага: диктаторский мир взрослых. Маг, творящий изысканные кошмары, он насылал на своих зрелых противников судороги и бессонницу. Он не был дилетантом в необычном — он был его олицетворением. Такова духовная биография Престона Пенна.

Но, воздавая должное там, где необходимо, я должна сказать, что искру для историй дал мне отец, а не только реальный прототип Престона. В большом и взрослом теле папы бежала кровь ребенка, и она переполняла фантазиями утонченный и умудренный опытом мозг профессора философии из колледжа Фоксборо. Типичной для его характера была любовь к книгам Льюиса Кэрролла, и именно здесь кроется происхождение моего имени. Когда я подросла и стала достаточно сообразительной, мама рассказала, что, когда была мной беременна, отец повелел мне стать маленькой Алисой. Да, он вполне мог сказать нечто в подобном духе.



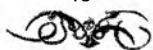
Помню один случай, когда отец в очередной раз читал мне «Алису в Зазеркалье». Неожиданно он остановился, закрыл книгу и сказал мне, словно доверив большой секрет, что в историях про Алису сокрыто больше, чем кому-либо ведомо. Но он-то, конечно, знал каждую их тайну и однажды обо всем мне расскажет. Для отца создатель Алисы, как я поняла гораздо позднее, был символом психического превосходства, безукоризненным идеалом не знающего границ разума, манипулирующего реальностью волею своих капризов и получающего нечто вроде объективной силы посредством умов других людей. И для отца было очень важным, чтобы я воспринимала книги «Мастера» в том же свете.

— Видишь, милая,— говорил он, перечитывая мне «Алису в Зазеркалье»,— видишь, как умненькая крошка Алиса сразу замечает, что в комнате по ту сторону зеркала не «такой порядок, как у нас»¹. Не такой порядок,— веско повторил он профессорским тоном, но одновременно хихикал, как дитя, странным смешком, который я от него унаследовала.— Не такой порядок. Мы-то знаем, что это значит, так ведь?

И я поднимала голову, смотрела ему в лицо и кивала со всей торжественностью, на которую была способна в свои шесть, семь, восемь лет.

И я действительно знала, что это значит. Чувствовала признаки тысячи уродливых чудес — событий, искаженных множеством любопытных способов; края света, где бесконечная лента

¹ Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье (пер. Н. Демуровой).



дороги продолжается в пространстве сама по себе; вселенной, переданной в руки новых богов.

Казалось, отцовское воображение работало без остановки. Прищурившись, он смотрел на мое круглое детское лицо, говоря: «О, только посмотрите, как ярко она сияет!» и называл меня «луноликой».

— Сам ты луноликий,— отвечала я, подхватывая игру.

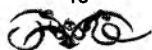
— Нет, ты,— возражал он.

— Нет, не я.

— И не я.

Так мы продолжали, пока оба не покатывались со смеху. Но потом я стала старше, в чертах моего лица появилась угловатость, и тем самым я невольно предала отцовское видение его маленькой Алисы. Думаю, было только благом, что он не дождался до старости и не увидел, как я уступаю насилию времени; от столь жестокого разочарования его спас неожиданный взрыв в мозге прямо во время лекции в колледже. Отцу так и не выпал шанс рассказать мне, что же такого он знал об Алисе, чего никто другой не ведал.

Возможно, он ощутил бы, что моя зрелость поверхностна, что я лишь легкомысленно вторила привычкам любой стареющей души (нервному срыву, разводу, второму браку, алкоголизму, вдовству), стойчески терпя эту второсортную реальность, но не уничтожила ту Алису, которую он любил. И она выжила, по крайней мере, мне нравилось так думать, иначе кто же написал все эти книги о ее задушевном друге Престоне, пусть за долгое время она не сочинила ни строчки? О, годы, эти годы!

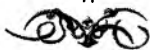


Но довольно о прошлом.

Сейчас я хочу разобраться с одним-единственным годом, тем, что заканчивается сегодня,— уже совсем скоро, если судить по часам, что недавно прозвонили одиннадцать в тени с другой стороны кабинета. За прошедшие триста шестьдесят пять дней в моей жизни произошло множество крайне любопытных случаев, их количество и странность с течением месяцев лишь возрастали. Иные я замечала только мельком, но вокруг стало явственно не хватать порядка, как сказал бы кто-то, хотя, возможно, отчасти это произошло потому, что я снова начала много пить.

Некоторые из этих эпизодов столь иллюзорны и несущественны, что рассказывать о них было бы сущим наказанием, если только не говорить исключительно о причудах настроения, что оставляют после себя отчетливые следы, похожие на отпечатки пальцев. Их я уже научилась читать подобно пророческим знакам. Моя задача будет не столь тягостной, если я ограничусь только серьезными инцидентами. Вспоминая о них, я тем самым придам событиям прошедшего года подобие смысла и структуры, а они мне сейчас необходимы. Устрою уборку, можно сказать,— чтобы все было чистенько, выверено и по полочкам, как эти зеленые линии на желтой бумаге передо мной.

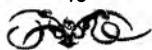
Следует начать с того, что сегодня у нас тот самый непоколебимый праздник, который Престон всегда соблюдал с фанатичным рвением, особенно в «Престоне и призраке тыквы» (пусть время торжеств почти истекло, если судить по часам, тикающим за спиной; правда, их стрелки застыли



на цифре, о которой я писала пару абзацев назад. Возможно, я просто ошиблась ранее). Уже несколько лет в эту ночь я регулярно проводила в местной библиотеке чтения одной из своих книг, и это было одним из главных событий для детей во время празднования Хеллоуина. Сегодня я смогла прийти снова, но, скажем так, встреча с читателями прошла не совсем обычно. Хотя в прошлом году я на ней вообще не появилась и костюмированную вечеринку пропустила. И здесь я подхожу к первому (по крайней мере, я так думаю) из целой серии странных явлений, что в течение года появились в моей жизни, прежде не отмеченной чем-то выдающимся, кроме эпизодов обычного повседневного хаоса. Приношу свои извинения за то, что на каждый шаг вперед вечно делаю два шага назад. Я — человек бывалый в области повествования и понимаю, что такой подход всегда рискован, когда пытаешься привлечь внимание читателя. Но уж как есть.

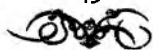
Ровно год назад я отменила чтение в библиотеке, так как должна была уехать из города, посетить похороны знакомого из собственного прошлого. Того самого, чьи подвиги послужили вдохновением и *prima materia*¹ для книг о Престоне Пенне. Впрочем, я отправилась в поездку из чистой ностальгии, ибо не видела этого человека с моего двенадцатого дня рождения. Вскоре после того дня мой отец умер, а мы с матерью уехали из нашего дома в городе Норт-Сейбл, штат Массачусетс (можете взглянуть на фотографию этого старень-

¹ Исходным материалом (*ит.*).



кого двухэтажного здания в книге «Детские писатели и дома их детства») и отправились в большой город, прочь от печальных воспоминаний. Местный учитель, знавший о моих книгах и их корнях, отправил мне статью из газеты «Страж Сейбла», в которой шла речь о кончине моего бывшего товарища по играм, и даже упоминалось о его обретенной при жизни литературной славе, пусть и с чужого плеча.

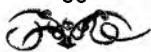
Я прибыла в город очень тихо, и меня поразило то, насколько мало тут все изменилось, словно все эти годы он пребывал в анабиозе и воскрес лишь недавно исключительно в моих интересах. Казалось, я сейчас столкнусь с нашими старыми соседями, школьными друзьями и даже с мистером Как-его-там, владельцем магазина мороженого, который, к моему удивлению, все еще работал. По ту сторону витрины крупный мужчина с усами, как у моржа, набирал мороженое из больших картонных цилиндров, а два пухлых ребенка прижались животами к прилавку. Мужчина за эти годы совершенно не изменился. Он увидел меня, и, казалось, в его опухших глазах промелькнула искра узнавания. Но это было невозможно. Он просто не мог разглядеть под моей древней маской то детское лицо, которое некогда знал, даже если это действительно был мистер Как-его-там, а не сильно похожий на него человек. (Сын? Внук?) Так мы и стояли: два незнакомца, таращащихся друг на друга, актеры на одной сцене, играющие разные пьесы. Я сразу вспомнила об одной из своих ранних книг «Престон и двуличные часы», где время идет так быстро, что замирает.



Я вострепелась, вышла из этой черной комедии ошибок, разыгравшейся у магазинчика с мороженым, и отправилась к своей цели, где меня ждал лишь еще один фарс квипрокво. На несколько секунд я остановилась, изучая надпись на архитраве этого холодного здания в колониальном стиле: «Д. В. Несс и сыновья, распорядители похорон». К слову, о времени, чей бег столь быстр, что оно замирает или вроде того. Когда я жила в Норт-Сейбле, то заходила в это заведение лишь однажды («Прощай, папочка»). Но такие места всегда кажутся знакомыми: всем похоронным домам в мире свойственна эта безучастная, нейтральная атмосфера — что этому, в моем родном городе, что другому, в пригороде Нью-Йорка («Скатертью дорожка, муженек»), где я сейчас веду затворническую жизнь.

Я незаметно прошла в комнату, где проходило прощание с покойным, еще одна безымянная скорбящая женщина, слишком застенчивая, чтобы подойти к гробу. Я, конечно, привлекла к себе несколько взглядов, типичных для маленького городка, но элегантная пожилая писательница не столь уж сильно выделялась в толпе, как ей хотелось бы. Вне зависимости от известности я все же намеревалась представиться вдове как подруга детства ее покойного мужа. Правда, мои планы пошли ко всем чертям, когда двое быкоподобных мужчин встали со своих мест по обе стороны от жены в трауре и грузно направились ко мне. По какой-то причине я запаниковала.

— Вы, должно быть, папина кузина Винни из Бостона. В семье за эти годы о вас столько слышали, — сказали они.

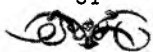


Я широко улыбнулась, глубоко сглотнула, что они, похоже, приняли за утвердительный кивок. Подвели меня к «маме» и представили под неумышленным псевдонимом старой женщине с красными от слез глазами, явно пребывающей в некотором помрачении. (Почему, спрашиваю себя, я не стала исправлять эту ошибку?)

— Рада наконец встретить вас, и спасибо за прекрасную открытку, которую вы прислали,— сказала она, громко шмыгая носом и протирая глаза нелепо грязным платком.— Я — Элси.

Элси Честер, тут же подумала я, хотя и не была полностью уверена, что это та же самая женщина, которая в детстве продавала поцелуи, и не только мальчикам из начальной школы Норт-Сейбла. Значит, он женился на ней, кто бы мог подумать? Может, им пришлось жениться, возникла язвительная мысль. По крайней мере один из сыновей был достаточно взрослым, чтобы сойти за плод подростковой нетерпеливости. Да уж... Вот вам и обет Престола жениться не на ком-нибудь, а на самой Королеве Кошмаров.

Но впереди меня ждали еще большие разочарования. Поболтав с вдовой, я откланялась, дабы отдать дань уважения усопшему. До сих пор я намеренно не смотрела в сторону — туда, где в окружении огромного количества цветов стоял сверкающий, жемчужно-серый гроб с мертвецом, который лежал, как гонщик в «Странствующей могиле», которую покойный придумал еще в детстве. Эта часть погребального обряда всегда напоминает мне о разглядывании трупов, которому против своей воли подвергались дети в XIX веке,



дабы ознакомиться с собственной брэнностью. В моем возрасте о смерти и так прекрасно помнишь, а потому позвольте мне подытожить эту сцену несколькими трагическими, но неизбежными словами...

Лысый, кожа в пятнах, впрочем, этого я ожидала. Вот только я его совершенно не узнавала, и это было неожиданно. Мальчик с лицом комара, мой друг детства, теперь отвратительно раздулся, опух, его кожа свисала складками, а губы набрякли, как у безвестного трупа, найденного полицейскими в реке. На помпезном банкете жизни он явно переел и вяло оттолкнулся от стола, прежде чем лопнуть. Создание, лежащее передо мной, являло собой портрет всего сгинувшего, использованного. Это было воплощение абсолютного взрослого. (Но, возможно, после смерти, утешала я себя, ребенок внутри него прямо сейчас срывает с себя лицо переростка, покоившегося предо мной.)

Отдав дань останкам памяти, я выскользнула из комнаты со скрытностью, которой бы гордился сам Престон. Оставила лишь конверт со скромным вспомоществованием в фонд вдовы. Я чуть не решила отправить в погребальную контору букет распустившихся черных орхидей с запиской, подписанной именем Летиции Симпсон, карлицы-спутницы Престона. Но такое могла учудить лишь другая Алиса — та, что написала все эти жутковатые книжки.

Я же села в машину и отправилась из города в ближайший приличный отель, где нашла прелестный номер — плюсы удачной литературной карье-

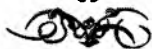


ры — и бар. И эта краткая ночевка отправит нас по еще одной боковой дорожке (или проселку, если вам так угодно) моего сюжета. Пожалуйста, никому да не уходите.

Поздним вечером толпа расселась в коктейль-баре отеля, избавив меня от необходимости пить в одиночестве. После парочки скотчей со льдом я заметила молодого человека, который смотрел на меня с другой стороны зала. По крайней мере на расстоянии он казался молодым. Осмелев от выпитого, я направилась к его столику. И с каждым моим шагом незнакомец словно старел на несколько лет. Теперь он был лишь относительно молодым — максимум с точки зрения пожилой вдовы. Его звали Хэнк Де Вере, и он торговал садовыми инструментами и чем-то в таком же духе. Но давайте не будем притворяться, что нас заботят детали. Позже мы вместе поужинали, а потом я пригласила его к себе в номер.

К слову сказать, именно следующее утро дало старт однолетней серии происшествий, которые я сейчас методично раскладываю перед собой, желая выбрать наиболее характерные примеры. Полушаг к преддверию начала: королевская пешка не на e4, но на e3.

Я проснулась во тьме, характерной для гостиничных спален, ненормально тяжелые шторы застилали утренний свет. Тут же стало ясно, что в кровати я лежу одна. Мой новый знакомый, кажется, обладал бóльшим чувством такта и уместности, чем я от него ожидала. По крайней мере такая мысль поначалу пришла мне в голову. Но потом я взглянула через открытую дверь в другую

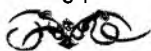


комнату, где на стене висело выпуклое зеркало в деревянной раме.

Его выпученный глаз отражал второе помещение, и я заметила в нем какое-то движение. Там, казалось, кружилась крохотная уродливая фигурка, подпрыгивала и вертелась безумно, так, что я должна была ее слышать. Но я ничего не слышала.

Я едва сумела вспомнить имя мужчины, с которым вчера познакомилась, окрикнула его. Ответа не последовало, но движение в зеркале прекратилось, а фигурка (что бы это ни было) исчезла. Очень осторожно я встала с кровати, накинула халат и заглянула за угол, как любопытный ребенок в рождественское утро. Когда же стало понятно, что в номере никого и ничего нет, на меня нахлынула странная волна облегчения и смятения одновременно.

Я подошла к зеркалу, наверное надеясь найти там что-нибудь, какой-нибудь крохотный изъян, вызвавший иллюзию. Мои воспоминания о том мгновении туманны — в то время я страдала от похмелья. Но одно я помню с примечательной живостью. Помню то, что увидела на несколько секунд, всматриваясь в то зеркало. Неожиданно стеклянную сферу передо мной заволочло таинственным туманом, из глубин которого проступило восковое лицо трупа. Облик того самого мертвеца, которого я видела в похоронном бюро, только теперь его глаза были распахнуты и смотрели прямо на меня. Или же так казалось на мгновение, пока я не надела очки. И тогда передо мной предстало мое собственное лицо... физиономия как у мертвеца, если он там вообще был. Прямо как в «Престоне и ушпире

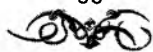


из Зазеркалья», подумала я, почувствовав такой прилив вдохновения, что снова захотела взяться за перо.

Вдохновение вновь проснулось во мне, когда чуть позже я выписывалась из отеля. Клерк ковырялся со счетом, а я случайно взглянула в окно рядом, за которым два щекастых ребенка возились на газоне. Через несколько секунд они заметили, что за ними наблюдают. Остановились и уставились на незваную публику, замерев в неподвижности в точности бок о бок друг с другом. Потом показали мне языки и убежали. (Как же они походили на близнецов Хартли из «Престона и говорящей могилы»!) Комната закружилась, хотя заметила это только я, другие постояльцы спокойно занимались своими делами. Возможно, в этом опыте повинны лишь моя забывчивость и отсутствие лекарств, избавляющих от последствий излишеств прошлой ночи. Старые нервы вконец истрепались, да и желудок спуска не давал. Но здоровье не подводило меня долгие годы, так что домой я доехала без каких-либо происшествий.

Это произошло год назад. Теперь приготовьтесь к гигантскому шагу вперед: в игру вступает старая королева.

В последующие двенадцать месяцев похожие случаи преследовали меня, хотя все они происходили с разной степенью ясности. Большая часть обладала столь мимолетной натурой, что больше походила на дежавю. Малую же я вполне могла придумать сама, и лишь некоторым не хватало какого-то определенного источника. Я могла увидеть фразу или какой-то кусочек картинки, от

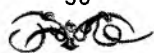


которого сердце сразу прыгало (не самое приятное чувство в моем возрасте), а разум принимался за поиски совпадений, возбуждивших столь сильное чувство узнавания: звука отдаленного эха с неясными истоками. Я рылась во снах, полуосознанных ощущениях и искаженных воспоминаниях, но в результате осталась лишь цепь случайностей со звеньями, столь же слабыми, как дымные кольца.

Но теперь, когда тыквы зловеще ухмыляются на ступеньках домов, а призраки из наволочек раскачиваются на ветвях деревьев, эти малоубедительные события приобрели вещественную плотность. Все началось сегодня утром и продолжалось весь день, и их проявления становились все определеннее и выразительнее. И снова я надеюсь, что смогу привести в порядок собственную психику, если расскажу обо всем и начну с того, что теперь кажется прообразом грядущих событий. Нужна четкая и ясная экспозиция. Итак.

Место: ванная. Время: около восьми часов утра.

Вода каскадом лилась в раковину ради моего утреннего туалета, пусть и несколько шумновато для моих чувствительных ушей. Ночью меня одолел приступ жуткой бессонницы, и с ней не смог справиться даже мой любимый и неприкосновенный запас «Гардсмена». Я очень обрадовалась, когда солнечное осеннее утро пришло мне на помощь. Зеркало в ванной, впрочем, не дало забыть о беспокойной ночи, и я причесывалась и напommаживалась, не замечая явных улучшений. Чесси была со мной, лежала на бачке и пристально рассматривала воду в унитазе под собой. Выглядела она очень настороженной и напряженной.

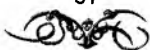


— Что там, Чесси? — спросила я со снисходительностью любого владельца домашних животных.

Ее хвост зажил собственной жизнью; она встала и зашипела, а потом завывала ужасающе демоническим фальцетом всех перепуганных кошачьих. А потом резко выбежала из ванной, хотя в последний раз оставляла противнику поле боя еще котенком.

Я стояла с другой стороны комнаты — сонный свидетель неожиданного события. Зажав в руке большую пластмассовую расческу, я отправилась на расследование. Всмотрелась в те самые воды. И поначалу они показались мне чистыми, но вскоре из фарфоровой червотчины что-то появилось. Правда, оно почти мгновенно метнулось обратно, в канализацию, и разобрать, что же это, я толком не успела. Остался лишь извивающийся отпечаток в моей памяти. Но ментально сфокусироваться на нем я не могла, как будто одновременно видела эту тварь и не видела. Что бы это ни было, оно породило во мне сумятицу образов, как после путаного кошмара, который оставляет человеку лишь боль от ужаса. Я бы даже не стала говорить сейчас об этом событии, если бы не полагала, что оно связано с другим, которое случилось позже.

В полдень я начала готовиться к встрече с читателями, которая должна была пройти в библиотеке. Подготовка, по большей части, была алкогольной. Это ежегодное испытание никогда не вызывало во мне особой радости, и я мирилась с ним из чувства долга, тщеславия и по другим, не столь ясным, мотивам. Может, именно поэтому я



с такой радостью ухватилась за возможность пропустить его в прошлом году. И в этом я тоже не хотела туда идти, если бы только могла выдумать повод, достаточно уважительный для читателей — и, что важнее, для себя. Неужели я хотела разочаровать детей? Разумеется, нет, хотя лишь Бог знает почему. Дети пугали и раздражали меня с тех пор, как я сама перестала быть одной из них. Наверное, я потому и не завела своего ребенка — то есть не усыновила, — так как врачи давным-давно сказали мне, что я плодородна, как лунные моря.

Зато другой Алисе дети и все детские штучки очень нравятся. Иначе как бы она написала «Престон и смеющееся то» или «Престон и дергающееся это»? Поэтому, когда приходит время встречи с читателями, я стараюсь выставить на сцену ее — как можно больше ее, и с каждым годом это становится все труднее. Странно, правда, что моя такая взрослая склонность к алкоголю столь эффективно вытаскивает наружу другую Алису. С каждым плотком скотча я чувствую себя спокойнее.

Когда я добралась до маленькой одноэтажной библиотеки, солнце уже садилось за горизонт, полыхая огнем тыквенного цвета. Вокруг слонялись дети в костюмах: оборотень, черная кошка с длинным изогнутым хвостом, пришелец, у которого было меньше пальцев, чем у человека, зато больше глаз. По дорожке шла фея Динь-Динь под руку с пиратом. Наперекор себе я не смогла не улыбнуться при виде такой сцены. Впервые за долгие годы этот пышный маскарад напомнил мне о собственном детстве, когда отец водил меня на Хеллоуин выпрашивать конфеты. (Он любил эту ночь так



же сильно, как и Престон.) Проникнувшись духом вечера, я с уверенностью вошла в библиотеку, где столкнулась с группой подростков. Но чары разрушились под чужой злонамеренностью, когда какой-то умник крикнул из толпы:

— Эй, вы только взгляните на ее маску!

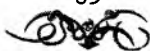
После этого я пробежала несколько залов с полами, покрытыми линолеумом, в поисках дружелюбного взрослого лица.

Наконец я прошла мимо открытой двери крохотной аккуратной комнатки, где несколько женщин и главный библиотекарь, мистер Грош, пили кофе. Мистер Грош сказал, что рад меня видеть, и представил матерям, которые помогали готовить праздник.

— Мой Уильям прочитал все ваши книги,— сказала полная и округлая миссис Харли.— Просто не могу оторвать его от них.

Причем пытаешься часто, подумала я, судя по тихой ярости в ее голосе. Я в ответ лишь чинно улыбнулась.

Мистер Грош предложил мне кофе, но я отказалась: плохо для желудка. Затем он лукаво продолжил, что на улице уже темнеет, и пришло время для начала празднования. Я должна была прочитать хорошую и страшную историю, чтобы «все вошли в настроение» и начали веселиться. Правда, для начала я сама должна была войти в настроение и, извинившись, отправилась в дамскую комнату, где могла восстановить силы и успокоить трепещущие нервы с помощью фляжки, припасенной в сумочке. Соблюдая странный и неловкий ритуал, мистер Грош решил подождать меня прямо перед уборной.



— Я готова, мистер Грош,— сказала я, гневно воззрившись на него с высоты тужель с не по возрасту высоким каблуком.

Он откашлялся, и я уже подумала, что библиотекарь сейчас возьмет меня под локоть, решив отвести в зал. Но он всего лишь протянул руку, дежурно и по-джентльменски указав, куда идти. Кажется, даже слегка поклонился.

По коридору он повел меня к детскому отделению, где, по идее, должны были состояться чтения, как в прошлые годы. Но мы прошли мимо — сама секция оказалась темной и пустой — и отправились к лестнице, ведущей в подвал библиотеки.

— Наш новый объект,— похвастался мистер Грош.— Мы переделали одно из складских помещений в зрительный зал или вроде того.

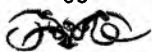
Мы встали перед большой железной дверью, выкрашенной в казенный зеленый цвет. Выглядела она так, словно вела в палату сумасшедшего дома. С другой стороны раздавались крики, которые мне казались скорее воплями душевнобольных, чем шумом неугомонной детворы.

— И что вы сегодня будете читать? — спросил мистер Грош, глядя на мою левую руку.

— «Престон и Голодные тени»,— ответила я, показав томик, который держала в руке.

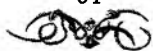
Он улыбнулся и сообщил, что это одна из его любимых книг. Потом открыл дверь, с усилием толкнув ее обеими руками, и мы вошли в комнату ужасов, о которых я еще ничего не ведала.

На стульях сидели, стояли или подпрыгивали около пятидесяти детей. На сцене, расположившейся в начале длинной и узкой комнаты, крича-



ла ведьма в остроконечной шляпе, рассказывая зрителям о том, какие их ждут увеселения на сегодняшнем празднике. Когда же она увидела меня и мистера Гроша, то начала рассказывать детям о «большом подарке для нас всех», подразумевая, что сейчас пьяная писательница начнет свою неподготовленную речь. «Давайте похлопаем как можно громче»,— сказала она, аплодируя, пока я влезала на сцену, довольно хлипкую на вид. Я поблагодарила всех за приглашение и положила книгу на кафедру с прикрепленной лампой, дерево покрывал орнамент из высохших кукурузных стеблей. Стремясь разогреть публику, я скороговоркой принялась рассказывать про историю, которую они все сейчас услышат. Как только прозвучало имя Престона Пенна, несколько детей захлопали в ладоши, ну или, по крайней мере, один в конце комнаты. Я предположила, что именно там сидел Уильям Харли.

Как только я начала чтение, случилось нечто, чего я совсем не ожидала,— отключили свет. («Со всем вылетело у меня из головы»,— извинился потом мистер Грош.) Во тьме я заметила, что по обеим сторонам комнаты напротив друг друга стоят ряды светильников в виде тыкв, мерцающих оранжевым и желтым с вышины. У всех были одинаковые лица, они казались зеркальным отражением друг друга, с треугольными глазами и носами, со ртами, похожими на воющие буквы «о». (Ребенком я была уверена, что тыквы растут на грядках именно так: с вырезанными физиономиями и свечением внутри.) Они словно висели в воздухе: подставки, на которых они покоились, скрывала



тьма, как и лица детей. Так эти тыквы стали моими единственными слушателями.

Но, пока я читала, настоящая публика вновь заявила о себе шарканьем ног, шепотом и крайне необычным скрипом складных деревянных стульев. А еще я слышала «дьявольское хихиканье»: так я описывала тихий смех того самого проказника, о чьей истории шла речь. Уже в конце чтения откуда-то, с другой стороны зала, раздался громкий стон: казалось, один из стульев упал вместе с тем, кто на нем сидел.

— Все в порядке,— раздался взрослый голос.

Открылась дверь, вспышка яркого света разрушила страшные чары, и наружу вышли какие-то тени. Когда в конце истории зажегся свет, я заметила, что на одном из сидений в последнем ряду не хватает зрителя.

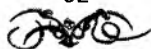
— Хорошо, дети,— сказала ведьма из родителей после непродолжительных аплодисментов для Престола,— пожалуйста, сдвиньте стулья к стене, чтобы освободить пространство для игр и развлечений.

В комнате воцарился тихий шум. Наступила власть детей в масках, которые удовлетворяли свою страсть к сладостям, бессмысленному беспорядку и веселому безумию. Я стояла на границе этого хаоса, болтая с мистером Грошем.

— А что произошло? — спросила я.— У ребенка случился какой-то припадок?

Библиотекарь глотнул сидр из пластикового стаканчика и неприятно причмокнул:

— О, не стоит волноваться. Видите вон ту девочку в костюме черной кошки? Она, кажется,

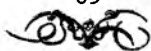


упала в обморок. Но, как только мы вывели ее наружу, ей сразу стало хорошо. Она не снимала кошачью маску все время, пока вы читали, думаю, бедняжка слишком перевозволновалась или что-то вроде того. По ее словам, она что-то увидела и сильно испугалась. В общем, как видите, сейчас она в полном порядке, и даже опять носит свою маску. Поразительно, как быстро дети все забывают и приходят в себя.

Я согласилась с тем, что это поразительно, а потом спросила, что же привиделось девочке. Я не могла не думать о другой кошке сегодня утром, которая тоже чего-то испугалась.

— Она толком не объяснила,— ответил мистер Грош.— Нечто: оно просто пришло и исчезло. Ну, вы знаете, как это бывает с детьми. Осмелюсь сказать, что вы-то точно знаете — вы же всю жизнь писали о них.

Я притворилась, что знаю, как это бывает с детьми, хотя прекрасно понимала, что мистер Грош говорит не обо мне, а о ней. Не хочется излишне заострять внимание на странном предположении о том, что между мной и моей профессиональной личностью существует раскол, но иногда я чувствую его очень остро. Пока я читала детям книжку о Престоне, то пережила необъяснимое чувство, не узнавая собственные слова. Конечно, писатели часто говорят что-то в таком духе, для них это банальность, и в моей карьере подобное случалось множество раз. Но никогда так сильно. Я читала слова кого-то, кто был мне абсолютно чужд. Их написала какая-то другая Алиса. И я — не она, по крайней мере, теперь.



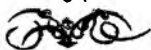
— Я надеюсь,— сказала я мистеру Грошу,— что не моя история перепугала девочку. У меня и так немало проблем с разозленными родителями.

— О, я уверен, что вы тут ни при чем. Нет, конечно, вы рассказали по-настоящему страшную сказку. Я не говорил, что она не страшная. Но вы же понимаете, сейчас такое время года. Воображаемое должно казаться реальнее. Как ваш Престон. Он же всегда любил Хеллоуин, я прав?

Я заверила его, что он совершенно прав, но дальше развивать тему не стала. Тогда мне совсем не хотелось говорить о «воображаемом». Я засмеялась, попытавшись хотя бы так прогнать мысли о нем. И знаешь, отец, это был твой настоящий смех — пусть всего на секунду,— а не унаследованная пародия.

К всеобщему сожалению, я не задержалась на празднике. От чтения я протрезвела, и мой уровень терпимости упал почти до нуля. Да, мистер Грош, я обещаю, что приеду в следующем году, сделаю все, что вы скажете, только отпустите меня к моей машине и моему бару.

Поездка домой оказалась тем еще испытанием, тревожным и рискованным из-за пешеходов, гуляющих по улицам. Костюмы меня нервировали. (Один и тот же призрак и вовсе был повсюду — худой маленький дух, который, казалось, преследовал меня до самого дома.) Маски тоже. А уж престонские тени, мечущиеся по двухэтажным фасадам (и почему я выбрала именно эту книгу?), и вовсе чуть не свели с ума. Алиса — другая Алиса — легко переносила любое безумие, любой кошмар, в который бросал ее создатель. Этот ужасный

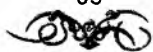


преподобный Доджсон. Мне наплевать, есть ли в его книгах что-то, неведомое другим. Я не хочу об этом знать. Как бы я хотела никогда о нем не слышать, об этом развратителе детских умов. Я просто хочу все забыть. «Алиса и исчезающее прошлое». Доктор Гардсмен, принесите свое лекарство в высоких бокалах... но только не зазеркальных.

И теперь я в безопасности, дома, и высокий бокал основательно стоит на столе, наполненный до краев, пока я пишу. Лампа из цветного стекла (сделанная примерно в 1922 году) льет дружелюбный свет на страницы, заполненные за последние несколько часов. (Хотя стрелки часов так и не сдвинулись за то время, пока я работаю.) В окно перед моим столом светит фонарь, и в черном зеркале стекла я вижу лестное отражение себя. Дом безмолвен, а я — богатая писательница-вдова, отошедшая от дел.

Есть ли у меня проблемы? Я на самом деле не уверена.

Я хочу напомнить вам, что пью с самого начала вечера. Напомнить, что я стара и прекрасно знакома с тайнами гериатрических неврозов. Напомнить, что часть меня написала серию детских книг, главный герой которых — настоящий апостол странностей. Напомнить о том, какая сегодня ночь и в какие дали может унести воображение накануне Дня Всех Святых. И тем более мне не нужно лишний раз напоминать вам о том, что наш мир — место более странное, чем мы думаем. И уж точно за последний год он стал таким для меня. И прямо сейчас я вижу, что его странность возросла многократно, — и, скажем прямо,

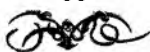


в нем действительно царит какой-то другой порядок.

Первое доказательство. За окном во тьме висит осенняя луна. Я должна признаться, что особо не разбираюсь в лунных фазах («глупых фразах», как сказал бы Престон), но с тех пор, как я в последний раз выглядывала на улицу, она изменилась — как будто развернулась. Раньше ее внутренний изгиб был направлен вправо, а теперь туда обращен внешний, последняя четверть сменилась на первую, или что-то в этом духе. Но природа тут ни при чем — полагаю, все дело в моей памяти. И тревожит меня не луна. Тревожит меня все остальное: то, что я могу разглядеть во тьме, освещенной лишь уличными фонарями. Вроде надписи, которую можно прочесть лишь в зеркале, вроде силуэтов снаружи — деревьев, домов, слава богу, хоть людей нет, — которые теперь выглядят неловко и неправильно.

Второе доказательство. К списку причин моей снижающейся дееспособности я бы хотела добавить неожиданно возникшее отвращение к алкоголю. Последний глоток из стакана, стоявшего на столе, на вкус оказался ужасным, тошнотворным настолько, что я сомневаюсь, захочу ли еще. Я чуть не написала и, чего уж, прямо напишу сейчас, что спиртное словно вывернули наизнанку. Разумеется, некоторые болезни способны превратить любимый напиток в адское снадобье. Возможно, я пала жертвой подобного недуга. Но стоит напомнить, что пусть мой разум и безнадежно опьянен, он всегда оставался *in corpora sano*¹.

¹ В здоровом теле (лат.).



Третье доказательство (последнее) Отражение в зеркале передо мной. Возможно, какой-то изъяз в сплаве. Мое лицо. Окружающие тени закрывают его понемногу, как жуки, сбежавшиеся на сладкое. Но сладкая в Алисе только кровь — за годы пьянства туда перекочевало немало сахара. Так что же это, а? Тени маразма? Или те голодные твари, о которых я еще недавно читала детям, вернулись для представления на бис? С каких пор чтение превратилось в заклинание, вызывающее образы в реальности, а не в воображении?

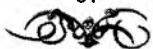
Что-то вывернутое здесь есть. В углу: *шах и мат*.

Наверное, я зря поднимаю тревогу, пусть и говорю со всей искренностью, на которую способна. Возможно, я напрасно беспокоюсь, и то, что я прямо сейчас слышу, — лишь хеллоуиновский трюк моего взбодороженного разума.

Я имею в виду смех, доносящийся из коридора. То самое демоническое хихиканье, которое я уже слышала в библиотеке. Даже сосредоточившись, не могу сказать точно, где раздается этот звук: снаружи или внутри моей головы. Словно смотришь на игрушечную картину, где одна сцена сменяется другой в зависимости от того, как ее повернуть, а под определенным углом они и вовсе сливаются воедино. Но смех где-то рядом. И голос такой знакомый.

Ааааа хе-хе-хе-хе-хе.

Четвертое доказательство (снова тени). Теперь они уже заволокли все мое лицо. Срывают его, как в той книге. Но под старой маской ничего: там нет детского лица. Престон. Это же ты, да?



Я никогда не слышала твой смех — только в собственном разуме. Но именно таким и представляла. Или же воображение и тебя наградило унаследованным смехом с чужого плеча?

Я только одного боюсь: что это не ты, а какой-то самозванец. Окно, луна, часы, бокал. Все в твоём стиле, только совсем не смешно. Совсем не смешно. Остановись, Престон, или кто бы ты ни был. Кто ты? Кто это может делать? Я же была хорошей. Я лишь постарела, вот и все. Пожалуйста, прекрати. Тени в окне выходят наружу. Нет, только не лицо. Не мое лунное лицо. Луноликое.

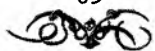
Я больше ничего
Не вижу
Больше ничего.

Помоги мне
Папа

СОН МАНЕКЕНА

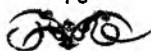
Однажды в среду, ровно в два часа дня, в мой кабинет вошла девушка. Это была ее первая сессия, и представилась она как Эми Локер. (Разве ты не рассказывала, что когда-то у тебя была кукла с тем же именем?) В сложившихся обстоятельствах я не вижу грубого нарушения профессиональной этики в том, чтобы использовать реальное имя пациентки, когда буду рассказывать тебе про ее случай. Определенно нас объединяет этика, *ma chere amie*. Кроме того, мисс Локер дала мне понять, что ко мне ее направила именно ты. Ничего зловещего в этом как будто не было; возможно, рассуждал я, вас с девушкой связывают такие отношения, что принимать ее в качестве пациентки тебе неловко. Собственно говоря, для меня до сих пор остается неясным, любовь моя, насколько глубоко ты замешана в том, что принесла мне встреча с миниатюрной мисс Л. Потому прошу простить мне возможные глупости, которые могут в голос заявить о себе по ходу этого послания.

Поначалу, когда мисс Локер устроилась на стуле с кожаной обивкой — едва ли не боком, как на



дамском седле,— у меня сложилось впечатление, что передо мной напряженная и взбудораженная, но в целом деятельная и даже своекорыстная молодая женщина. Ее одежда и аксессуары, как я отметил, были выдержаны в классическом стиле, который обычно предпочитаешь и ты. Не буду расписывать подготовительную часть нашей беседы, типичную для первой сессии (хотя мы можем обсудить этот и другие вопросы за обедом в субботу, если только захочешь). Вскоре мы уже перешли к непосредственному поводу, вынудившему девушку обратиться ко мне. Им оказалось, как тебе, может быть — а может и не быть,— известно, тягостное сновидение, посетившее мисс Локер не так давно. Далее последует изложение этого сна в том виде, в каком я перенес его с диктофонной записи от 10 сентября.

Во сне у нашей пациентки новая жизнь — по крайней мере, наяву у нее другая работа. В начале разговора она сообщила мне, что уже около пяти лет занимает должность секретарши в фирме, производящей инструменты и промышленные штампы. (Быть может, этот изящный штрих — твоих рук дело? Заштамповать до беспамятства.) Однако во сне она оказывается сотрудницей модного магазина одежды, причем с большим стажем. Как у свидетелей обвинения, которым власти в целях безопасности измышляют новые личности, у нее в грезах существует пусть невысказанная, но все же полноценная биография: удивительный выверт сознания. Судя по всему, в ее новые профессиональные обязанности входит менять одежду на манекенах, стоящих в уличной витрине, причем

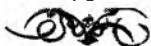


согласно какому-то таинственному, непонятному графику. Более того, у нее возникает чувство, что все ее существование рабски подчинено единственной цели — одеванию и раздеванию этих кукол. Такая участь крайне ее угнетает, и ее анимус¹ целиком сосредоточен на манекенах.

Таков общий фон сновидения, которое теперь начинается как таковое. В один особенно унылый день в пределах этого рабского бытия наша одевальщица манекенов приходит на работу. Ей досадно и страшно; последняя эмоция на этом этапе сновидения — некая иррациональная «данность». Ее дожидается небывалое количество новой одежды, в которую нужно облачить толпу манекенов в витрине. Их тела, не теплые и не холодные, неприятны на ощупь. (Обрати внимание на редкий пример восприятия температуры в сновидениях, пускай даже и нейтральной.) Она с тоской озирает ряды лиц, словно нарисованных пастелью, а затем говорит: «Довольно танцев, пора одеваться, спящие красавицы». В этих словах нет ничего спонтанного — как будто они ритуально произносятся перед началом каждого одевания. Но ход сна меняется, прежде чем пациентка успевает сделать что-то хоть с одним из манекенов, которые установились в пустоту «предвкушающим» взглядом.

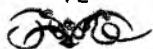
Рабочий день закончился. Она вернулась в свою маленькую квартирку, там ложится спать... и видит сон. (Мисс Локер всячески подчеркивает, что этот сон уже не ее, а одевальщицы манекенов!)

¹ Анимус — согласно К. Г. Юнгу, мужской элемент в женской психике.



Одевальщице снится, что она у себя в спальне. Однако эта ее «спальня», судя по всему, представляет собой залу со старинной обстановкой и размером с небольшой театр. Помещение тускло освещено настенными лампами, отделанными драгоценными камнями; свет «как-то стеклянно» ложится на ковер со сложным узором и антикварную мебель, массивную и обильно лакированную, расставленную по комнате тут и там. Спящая воспринимает эти предметы скорее как чистую идею, нежели физические объекты, поскольку очертания их расплывчаты и повсюду лежат тени. Тем не менее одна деталь видится ей весьма четко — это главная особенность залы: одна из стен полностью, от пола до потолка, отсутствует. Вместо нее открывается вид на усеянную звездами черноту, которую пациентка видит либо через огромное окно, либо, иррациональным образом, в не менее огромном зеркале. Так или иначе, этот лабиринт из звезд и черноты подобен колоссальной фреске и намекает на неопределенное расположение комнаты, которая до той поры казалась уютно размещившейся на перекрестии известных координат. Теперь это лишь точка, затерянная в неведомой вселенной сна.

Спящая находится на противоположном конце помещения относительно звездной бездны. Сидя на краю какого-то дивана без подлокотников и спинки, отделанного изысканной парчовой тканью, она смотрит перед собой и ждет «без дыхания, без сердцебиения» — ее сновидческой личности эти функции без нужды. Все погружено в тишину. Эта тишина, однако, неким образом наполнена



странными колебаниями сил, которых спящая не может толком описать,— безумная физика, электризующая атмосферу демоническими токами, которые таятся сразу за порогом физического восприятия. Все это воспринимается посредством каких-то смутных, чисто сновидческих чувств.

Затем возникает новое ощущение, несколько более конкретное. От того большого зеркала или окна тянет стужей — возможно, теперь это всего лишь зияющий проем безо всяких окон, выходящий в холодную пустоту. Внезапно нашу спящую охватывает совокупный ужас перед всем, что с ней происходило, происходит и еще произойдет. Не сходя со своего неудобного дивана, она обшаривает помещение взглядом в поисках источника этого ужаса. Многие места для ее взора недоступны — как на картинке, которую местами заштриховали,— но ничего особенно пугающего она не видит и на мгновение успокаивается. Но ужас захлестывает ее с новой силой, когда она осознает, что не проверила позади себя — и, кажется, физически не способна на это.

У нее за спиной находится нечто. Вот жуткая истина. Она почти знает, что это за сущность, но некая онейрическая¹ афазия² не дает ей ни говорить, ни ясно мыслить. Ей остается только ждать, надеясь, что вскоре внезапное потрясение вырвет

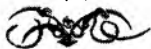
¹ Онейрический (греч. *oneiron*) — связанный со сном и сновидениями.

² Афазия — расстройство речи, обычно обусловленное органическими причинами. Выделяют множество видов афазии.



ее из сна,— теперь она понимает, что «она спит», по какой-то причине думая о себе в третьем лице.

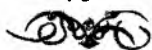
Слова «она спит» неким образом становятся мотивом, пронизавшим все окружающее: это подпись под самым сном в самом низу; это голоса, эхом разносящиеся по зале; это надпись на полосках бумаги (как в печеньях с предсказаниями), спрятанных в ящиках комодов; это заезженная пластинка, которая крутится и крутится на старом патефоне в голове спящей. Потом все слова, составляющие эту монотонную формулу, выбираются из своих разнообразных укрытий и опускаются где-то за спиной спящей, словно стая птиц. Там они какое-то время щебечут — как на застывших плечах статуи в парке. Спящей все именно так и представляется, включая сравнение со статуей. Позади нее нечто, по природе схожее со статуей, и оно приближается. Это нечто излучает ауру жгучего напряжения и подбигрывается вплотную, его громадная тень падает на пол и растекается вокруг ее собственной. Она по-прежнему не в силах обернуться, суставы и все тело одеревенели. Может, получится закричать, думает она и делает попытку. Ничего не выходит, потому что рот ей уже зажала ладонь — уверенная, еле теплая. Ощущение от пальцев на губах спящей — как от толстых пастельных мелков. Затем она видит, как из-за ее левого плеча вытягивается длинная тонкая рука и трясет у нее перед носом какими-то грязными обносками, «заставляя их плясать». И в этот момент бесстрастный шипящий голос шепчет ей в ухо: «Пора просыпаться, куколка».



Спящая пытается отвести взгляд — только глаза ее и слушаются. Тут она впервые замечает, что в комнате повсюду — в затененных местах — лежат люди, одетые как куклы. Их тела осели, рты широко разинуты. Они не выглядят живыми. Некоторые и вправду обратились в кукол, их плоть утратила податливость, глаза — влажный блеск. Другие пребывают в различных промежуточных состояниях между человеком и куклой. Спящая с ужасом осознает, что и ее рот широко открыт и почти не закрывается.

Но вот наконец, обретя силу в страхе, она поворачивается лицом к зловещей силе. Тут сон достигает крещендо, и пациентка просыпается. Однако не в кровати одевальщицы манекенов, видевшей сон во сне, — она перенеслась на спутавшиеся, но реальные простыни, которые принадлежат ее секретарской ипостаси. Не вполне уверенная, кто она и где она, первым делом после пробуждения мисс Локер стремится закончить движение, которое начала во сне: то есть обернуться и посмотреть, что находится позади нее. (Гипнопомпическая¹ галлюцинация, которая за этим последовала, стала для нее «весомым поводом», чтобы обратиться к услугам психиатра.) Взглянув себе за спину, она увидела не только привычное изголовье и голую стену над ним: из этой лунно-белой стены выдавалось лицо женского манекена. В этой иллюзии пациентку больше всего встревожило то

¹ Гипнопомпический (греч. *hypnos* — сон + *pompos* — сопутствующий, шествующий) — возникающий при пробуждении от сна.



(и здесь мы забираемся еще глубже, хотя и так уже были на зыбкой почве), что лицо не растворилось на фоне стены, как обычно бывает, когда видишь что-то спросонок. Скорее этот выступающий лик одним плавным движением ушел обратно, в стену. На крики пациентки сбежалось немало обеспокоенных людей из соседних квартир.

Конец сна и связанных с ним переживаний.

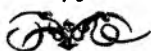
* * *

Дорогая моя, ты наверняка можешь представить мою реакцию на вышеизложенное психическое повествование. Каждая нить, за которую я тянул, вела к тебе. Характер сновидения мисс Локер и по атмосфере, и по сюжету живо напоминает о вопросах, которыми ты занимаешься вот уже несколько лет. Разумеется, я имею в виду всеобъемлющее космическое настроение сна мисс Локер и то, как пугающе он соотносится с определенными идеями (хорошо, *теориями*), которые, на мой взгляд, заняли чересчур важное место и в твоих *oeuvre*, и в твоей *vie*¹. В частности, я говорю об «иномирье», которое ты, по твоим словам, открыла путем сочетания оккультных практик с глубоким анализом.

Позволь мне отклониться от темы и коротко прокомментировать сказанное.

Милая, не то чтобы я против, чтобы ты изучала гипотетические модели реальности, но почему именно эту? Зачем приписывать этим «мелким

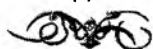
¹ *Oeuvre* (фр.) — труды, работы, *vie* — жизнь.



зонам», как ты их называешь, такие отталкивающие атрибуты — точнее, антиатрибуты (если уж использовать твой жаргон)? Эксцентричные шутки об этом странном предмете и фразочки вроде «очаги интерференции» и «космостатические помехи» создают неверное впечатление о твоих талантах в качестве мыслящего представителя нашей профессии. Ну и прочее: непредставимая жуть, искажение связей, которое якобы имеет место в таких зонах, эти «игры с реальностью» и прочая трансцендентная чушь. Знаю, стараниями психологии на картах сознания можно найти и донельзя своеобразные территории, но ты настолько углубилась в ультраментальные задворки метафизики, что можешь, боюсь, и вовсе не вернуться (по крайней мере, без ущерба для своей репутации).

Если рассмотреть сновидение мисс Локер через призму твоих идей, то можно заметить некоторые параллели, особенно в запутанном сюжете ее грез. Но знаешь, когда эти параллели прямо-таки сразили меня, как удар молотом? После того как она закончила свой рассказ. Уже приняв нормальную позу, мисс Локер высказала несколько замечаний, которые явно были призваны передать весь масштаб ее мук. Очевидно, она сочла *de rigueur*¹ сообщить мне, что после эпизода со сном у нее стали зарождаться сомнения относительно того, кто она на самом деле. Секретарша? Одевальщица манекенов? Кто-то другой? Или другой другого? Конечно же, она сознавала свое истинное, действитель-

¹ *De rigueur* (фр.) — в порядке вещей.

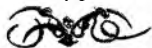


ное «я», просто некое «новое чувство нереальности» делало эту уверенность неполной.

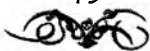
Как ты, несомненно, видишь, упомянутые личностные фокусы соответствуют «агрессии против „я“», которая характерна для этих твоих зон, как ты заявляешь. И каковы же границы «я»? Нет ли общности между внешне не связанными предметами? Как соотносятся одушевленное и неодушевленное? Радость моя, ну скучно же... хррр.

Это напомнило мне ту затасканную притчу про китайца (Чжуан-цзы?), которому снилось, что он бабочка, но когда он проснулся, то сделал вид, будто не знает, кто он: человек, которому снился сон про бабочку, или бабочка, которой сейчас снится сон, и т. п. Вопрос вот в чем: «Снятся ли бабочкам сны?» (Отв.: нет. Обратись к научным трудам по теме, ну хотя бы раз.) На том и делу конец. Однако — возразишь ты, без сомнения: если сновидец не человек и не бабочка, а то и другое сразу... или не то и не другое? Или, допустим... и вот так мы могли бы продолжать очень долго — и продолжали. Наверное, самая отвратительная концепция, которую ты разработала в рамках темы, это твой так называемый «всевышний мазохизм», или доктрина о Большом «Я», терроризирующем собственные мелкие осколки, то самое Что-то Совсем Иное, что терзает человека-бабочку жуткими подозрениями, а не ведется ли в его совокупной голове некая игра.

Проблема в том, возлюбленная моя, с каким упорством ты настаиваешь на объективной реальности всего этого — и что порой тебе удается

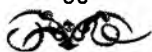


заражать своими специфическими воззрениями других. Меня, например. Выслушав рассказ мисс Локер, я поймал себя на мысли, что подсознательно анализирую ее сон с твоих позиций. Умножение ее ролей (в том числе обмен ролями с манекеном) действительно заставило меня задуматься о некоей божественной сущности, которая разбивается на осколки и пугает саму себя, чтобы развеять космическую скуку, что вроде бы не редкость среди немалого числа почтенных богов мировых религий. Я также вспомнил о твоём «всевышнем сновидении» — этой штуке, которая в собственном мире всесильна. Размышляя о мире из сна мисс Локер, я глубоко прочувствовал тот старый трюизм о солипсическом грезящем божестве, которое повелевает всем, что видит, и все это — лишь оно само. И мне даже пришло на ум неизбежное следствие, вытекающее из солипсизма: если в любом сновидении во вселенной некто вынужден всегда допускать, что существует и другая вселенная, вселенная после пробуждения, а потом встает вопрос, как в случае с нашим соней-китайцем, когда некто в самом деле спит и что собой может представлять его «я» из яви, то этого нашему некто не узнать никогда. Тот факт, что подавляющее большинство мыслителей отвергают доктрину солипсизма во всех формах, говорит о неотъемлемом ужасе и омерзительной нереальности его выводов. В конце концов, кошмарное чувство нереального намного чаще возникает (у некоторых людей) в рамках того, что мы называем человеческой «реальностью», чем в человеческих снах, где все абсолютно реально.



Видишь, до чего ты меня довела! По хорошо известным тебе причинам, я всегда пытаюсь поддержать твою аргументацию, любовь моя. Не могу удержаться. Но, по-моему, тебе не стоит распространять свое влияние на невинных людей вроде этой девушки. Должен признаться, я загипнотизировал мисс Локер. Ее бессознательные показания во многом изобличают тебя. Она чуть ли не настаивала на гипнозе, считая, что так будет легче всего доискаться до источника ее проблем. Уступив ее отчаянным мольбам, я согласился. По счастливой случайности, меня ожидало одно открытие.

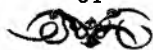
Она оказалась прекрасным объектом гипноза. Мы решили ограничиться проникновением в тайну ее сна. По моей просьбе мисс Локер начала рассказывать все заново, поскольку в гипнотическом состоянии память работает точнее. Предыдущий вариант оказался поразительно полным, за исключением важной детали, до которой я скоро дойду. Я велел ей подробнее остановиться на том, какие чувства она испытывала во сне и какой смысл усматривала в происходящем, если вообще усматривала. Ее ответы на эти вопросы сбивались временами на бессвязный язык сновидений и бреда. Она рассказывала ужасающие вещи про жизнь, про иллюзорность, про «грезы о плоти». Думаю, нет нужды передавать здесь этот жуткий вздор, поскольку примерно то же самое говорила мне и ты в одном из своих «состояний». (Ну серьезно, ты так много говоришь и думаешь об этих своих зонах метафизически освежеванного «я», что даже противно.)



Та мелочь, о которой мисс Локер упомянула только под гипнозом и которую я опустил чуть выше, объясняла весьма многое. И намекала на тебя. Когда пациентка описывала сцены из своей сновидческой драмы в первый раз, она забыла — либо просто не пожелала распространяться — о присутствии еще одного персонажа, скрывающегося на заднем плане. Это была хозяйка упомянутого модного магазина — властная начальница, роль которой исполняла некая дама-психоаналитик. Не то чтобы ты появлялась на сцене, даже эпизодически. Тем не менее в состоянии гипноза мисс Локер мимоходом обмолвилась о работодателе своего онейрического «я» — это была одна из многочисленных предпосылок, образующих основу сна. То есть ты, дорогая, присутствовала в гипнотической повести мисс Локер не только душой.

Это открытие оказало мне неизмеримую помощь в обобщении улик против тебя. Однако же природа улик была такова, что я не мог исключить и возможности сговора между тобой и мисс Локер. Поэтому я воздержался от вопросов касательно отношений моей новой пациентки с тобой, а также умолчал о сведениях, озвученных ею под гипнозом. Я решил считать ее соучастницей, пока не будет доказано обратное.

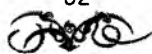
Впрочем, я рассматривал и другие версии, особенно когда выяснилось, что мисс Локер необыкновенно восприимчива к гипнозу. Разве не может быть такого, счастье мое, что невероятный сон мисс Локер был подсказан ей путем постгипнотических внушений, в которых ты достигла такого мастерства? Насколько я знаю, лабораторные



эксперименты в этой области проходят порой с пугающим успехом, ну а пугающее, безусловно, твоя специальность. Еще один вариант — изучение телепатических снов, к которым ты питаешь немалый интерес. Так чем же ты занималась в ночь, когда мисс Локер мучилась со своим сном? (Ты была не со мной, уж я-то знаю!) И сколько из этих фантомов было спроецировано на ментальный экран моей бедной пациентки из внешнего источника? Это лишь горстка из тех диковинных вопросов, которые в последнее время возникают сами собой.

Но ответы на подобные вопросы проясняют лишь средства, избранные тобой для этого преступления. Как насчет мотива? Здесь мне не придется особо задействовать свои умственные резервы. Кажется, ты не остановишься ни перед чем, лишь бы навязать свои идеи остальному человечеству: пациентам (увы), коллегам (назойливо) и мне (с любовью, надеюсь). Понимаю, одинокой провидице наподобие тебя трудно оставаться безгласной и незамеченной, но ты избрала столь эксцентричный путь, что, боюсь, лишь единицам хватит смелости последовать за тобой в эти царства иллюзий и страданий — по крайней мере, по доброй воле.

И это возвращает нас к мисс Локер. К концу нашей первой — и единственной — сессии я все еще не определился, сознательно она тебе содействует или нет, поэтому на твой счет помалкивал, как воды в рот набрал. Она также не указала на тебя хоть с какой-то конкретностью, за исключением, конечно же, признания под гипнозом. Как бы то

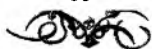


ни было, она и в самом деле производила впечатление искренне встревоженной молодой дамы — и попросила выдать ей рецепт. Подобно доктору Бовари¹, который пытался избавить свою супругу от тягостных снов, прописывая ей валериану и камфорные ванны, я подсказал мисс Локер план обретения покоя, частью которого были валиум и общение (последнее я рекомендую и нам с тобой, куколка). Далее мы договорились встретиться ровно через неделю, в то же самое время. Мисс Локер как будто была исполнена благодарности, хотя и не настолько, если верить моей секретарше, чтобы внести плату за прием. Куда она попросила нас направить счет, ты узнаешь чуть позже.

В следующую среду мисс Локер на встречу не явилась. Это меня не особенно насторожило, поскольку, как тебе известно, многие пациенты — вооруженные рецептом на транквилизаторы и единственным сеансом терапии — приходят к выводу, что дальнейшая помощь им не требуется. Однако к тому времени я проникся личным интересом к случаю мисс Локер и потому был крайне разочарован, что мне не представится возможности работать над ним и дальше.

Когда истекли пятнадцать минут ожидания, я попросил секретаршу позвонить пациентке по оставленному ею номеру. (С моей предыдущей секретаршей — ах, бедняжка! — это было бы сделано автоматически; в общем, новая девочка вовсе не так хороша, как вы говорили, доктор. Не стоило

¹ Доктор Бовари — один из основных персонажей романа Гюстава Флобера «Госпожа Бовари» (1856).



идти у тебя на поводу и брать такую работницу... но это уже мой промах, верно?) Несколько минут спустя Мэгги вошла в мой кабинет — в теории, уже попытавшись связаться с мисс Локер. С каким-то даже загадочным нахальством она предложила мне набрать номер самому, положив передо мной карточку со всеми данными новой пациентки. Затем она покинула комнату, не сказав более ни слова. Сколько же наглости в этой будущей безработной!

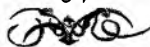
Я позвонил по номеру — при этом на моем кнопочном телефоне случайно сложилась мелодия песенки про Мэри и барашка ¹, — и после второго гудка трубку взяли. Голос принадлежал молодой женщине, но никак не мисс Локер. Так или иначе, ответ подразумевал, что номер неверный (правильный, но неверный). Тем не менее я поинтересовался, можно ли по этому или какому-то добавочному номеру связаться с некой мисс Локер, но голос сознался в полном неведении относительно существования человека с таким именем. Поблагодарив женщину, я повесил трубку.

Прошу меня простить, радость моя, но к тому времени я начал чувствовать себя жертвой чьего-то розыгрыша — твоего, точнее говоря.

— Мэгги, — спросил я по интеркому, — сколько еще пациентам назначено на сегодня?

— Одному, — незамедлительно ответила она, а затем, хотя ее не просили, добавила: — Но я могу отменить, если хотите.

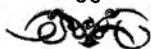
¹ «У Мэри был барашек» (Mary Had a Little Lamb) — детский стишок (впоследствии и песенка), известный с 1830-х годов.



Я сказал, что хочу, и что до конца дня меня не будет. В мои планы входило нанести визит мисс Локер по адресу, указанному в ее карточке, — тоже фальшивому, скорее всего. У меня было подозрение, что адрес приведет меня в ту же географическую точку, что и связующая электронная нить подложного телефонного номера. Разумеется, мне не составило бы труда уточнить это, не выходя из офиса, но, зная тебя, милая, я предположил, что личный визит себя оправдает. Так и оказалось.

Дом находился в часе езды, в фешенебельном районе на противоположном конце города от того фешенебельного района, в котором располагается мой офис. (И мне хотелось бы, чтобы ты тоже сменила адрес, разве что по какой-то причине тебе требуется пребывать рядом с трущобами — этим источником излучения, вещающим на частотах хаоса и запустения, как ты и сама наверняка утверждала бы.) Я припарковал свой большой черный автомобиль на указанной улице, которая оказалась главной в торговом районе пригорода.

Это было в прошлую среду, и, если помнишь, день выдался довольно необычный (данное обстоятельство я не считаю частью твоих происков, имевших целью устроить мне приключение). Большую часть утра погода была пасмурная и хмурая, а во второй половине дня так преждевременно стемнело, что на небе четко виднелись звезды. Собиралась гроза, и воздух был наэлектризован уместной тревогой, предшествующей потопу. Витрины магазинов излучали мягкий свет, а ювелирный салон, который я заметил краем глаза, мерцал электрическим великолепием. Я шел в

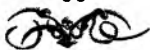


тишине вдоль шеренги деревьев, каждый тонкий ствол у тротуара был обложен затейливой мозаикой, все до единого листочки трепетали.

Конечно же, нет необходимости и дальше расписывать атмосферу места, где ты, любовь моя, и сама бывала много раз. Я всего лишь хотел показать, насколько остро проникся неким зловещим настроением, насколько созрел для последовавших вскоре хорошо спланированных фокусов. Отличная работа, доктор!

Что же до расстояний, то уже через несколько унылых кварталов я оказался перед домом, где якобы жила наша мисс Л. К той минуте было яснее ясного, чего мне ждать. Пока что сюрпризов не было. Оглядев неоновую вывеску, я услышал голос молодой женщины, шепчущей мне в ухо: «Мадемуазель Стилль». С искусственным французским акцентом. Силь ву пле. А ведь это именно тот — разве нет? — магазин, где ты, похоже, и сама покупаешь немалую долю своих очаровательных одеяний. Однако со своими ожиданиями я забежал вперед.

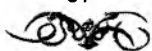
Чего я не ожидал, так это небывалых ухищрений, на которые ты пошла, чтобы разжечь во мне чувство странного откровения. Скажи, прошу, не для того ли это было сделано, чтобы прочнее связать нас всевышними узами нереального? В общем, в витрине «М-ль Стилль» я увидел то, что, по твоему замыслу, и должен был увидеть, — как мне представляется, по крайней мере. Он даже был одет в тот же комплект с клетчатой юбкой, в котором, помнится, мисс Локер явилась на нашу первую встречу. И, должен признать, я был несколько шокирован — возможно, отчасти это объясняется



странными погодными условиями того дня,— когда присмотрелся к застывшему лицу манекена. Опять-таки не исключено, что я подсознательно стремился найти сходство между мисс Локер (твоей сообщницей, знает она об этом или нет) и фигурой в витрине. Вероятно, ты догадываешься, какую особенность имели (как мне показалось) глаза манекена,— черту, которую, по твоим расчетам, мне надлежало воспринять как некоторую влажность этого неподвижного взгляда. Кому в среду выпал срок, тот познает тяжкий рок!¹

К сожалению, у меня не было времени окончательно убедиться в верности своего наблюдения, поскольку в этот момент начался средней силы ливень. Я бегом бросился к ближайшей телефонной будке, где меня так и так ждали кое-какие дела. Выудив из памяти номер модного магазина, я позвонил туда во второй раз. Это было несложно. Несколько сложнее оказалось симитировать тебя, тонкоголосая любовь моя, и спросить, отправили ли уже из бухгалтерии магазина ежемесячный счет на мое, то есть твое, имя. Судя по всему, моя имитация удалась, так как голос в трубке напомнил мне, что я уже оплатила все последние расходы. Ты поблагодарила продавщицу за информацию, извинилась за забывчивость и попрощалась. Наверное, надо было спросить у девушки, не она ли наряжала манекен в витрине под мисс Локер,

¹ Вариант перевода строчки из детского стишка «В понедельник кто рожден...» (Monday's Child), который использовался (и используется до сих пор) для запоминания дней недели, а также для гадания. Ребенка, родившегося в среду, ничего хорошего не ожидало — «горе ему».



хотя все могло обстоять и наоборот, и это мисс Локер оделась под магазинный манекен. Во всяком случае, я установил явную связь между тобой и магазином. Казалось, у тебя везде могут быть сообщники, и, признаться честно, в той тесной телефонной будке меня одолела легкая паранойя.

Когда я сломя голову кинулся к своему седану, дождь припустил пуще прежнего. Слегка намочив, я некоторое время сидел в машине и протирал очки носовым платком. Как было сказано, у меня началась легкая паранойя, и дальнейшее это подтверждает. Сидя без очков, я как будто бы что-то увидел в зеркале заднего вида. Зрительная беспомощность в сочетании с клаустрофобией от пребывания в машине с залитыми дождем стеклами спровоцировала во мне кратковременный, но совершенно отчетливый приступ паники. Естественно, я быстро надел очки и убедился, что на заднем сиденье ничего нет. Суть, однако, в том, что мне пришлось проверять это, чтобы снять спазм тревоги. Ты добила своего, дорогая, заставив меня пережить мгновение «я-ужаса», и в это мгновение я также стал твоим сообщником в заговоре против себя. Браво!

Ты и вправду своего добила — при условии, что мои заключения в основе своей верны: даже в большей степени, может, чем думаешь или рассчитывала. Теперь, сделав это признание, я могу перейти к истинному предмету этого письма и «весомому поводу», стоящему за ним. Это уже в гораздо меньшей степени связано с Э. Локер и в большей — с нами, драгоценная моя. Прошу тебя проявить сочувствие и, прежде всего, терпение.

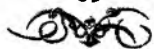


В последнее время я чувствую себя нехорошо, и причина тебе прекрасно известна. Эпизод же с мисс Локер отнюдь не поспособствовал более полному взаимопониманию между нами и только усугубил ситуацию. Меня каждую ночь терзают жуткие кошмары. Это меня-то! И они напрямую обусловлены благонамеренным (я полагаю) воздействием, которое оказали на меня ты и мисс Локер. Я опишу один из этих кошмаров и, соответственно, их все. Больше о сновидениях не будет, обещаю.

Во сне я сижу у себя в спальне на расстеленной кровати и одет в пижаму (ах, неужели ты ее так никогда и не увидишь?). Через окно в комнату проникают лучи уличных фонарей, частично освещая ее. Еще мне кажется, хотя непосредственно я этого не наблюдаю, что свет также исходит от целой галактики созвездий: мертвенное сияние, которое неестественно выбеливает всю верхнюю половину дома. Мне надо в туалет, я сонно плетусь в коридор... и там меня ждет потрясение всей жизни.

В выбеленном проходе — не могу сказать «в залитом светом», потому что похоже скорее, будто все покрывает какой-то очень мелкий люминесцентный порошок, — тут и там валяются эти штуки: на полу, на верхней площадке лестницы и даже на самой лестнице, уходящей в более темные пространства. «Штуки» — это люди, одетые куклами, или куклы, одетые под людей, которые одеты под кукол. Помню свое замешательство на этот счет.

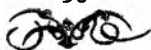
Но будь это люди или куклы, все головы уже повернуты в мою сторону, когда я выхожу из спальни, и глаза их сияют в белом мраке. Пара-



лизованный — да! — ужасом, я лишь отвечаю неподвижным взглядом, гадая, а не сияют ли и мои глаза точно так же. Затем одна из человекокукол, сутуло привалившаяся к стене слева от меня, поворачивает голову на негнущейся короткой шее и смотрит мне в глаза. Что хуже, она заговаривает. И ее голос — ужасающее кудахтанье, пародия на речь. Еще ужаснее ее слова: «Стань как мы, малыш. Умри в нас». Внезапно я чувствую слабость, как будто из меня высасывают саму жизнь. Собрав все свои силы, мне удается нырнуть обратно в спальню и завершить сон.

Потом я с криком просыпаюсь, сердце в груди колотится, как сумасшедший арестант о решетку, и не успокаивается до утра. Это меня очень тревожит, потому что в исследованиях, связывающих ночные кошмары с остановкой сердца, есть доля истины. Некоторым несчастным этот воображаемый инкуб, усевшийся на груди, может причинить реальный ущерб — в медицинском смысле. И я не хочу стать одним из них.

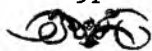
Ты мне можешь помочь, солнышко. Знаю, ты не хотела доводить до такого, но изощренная шутка, которую ты сыграла надо мной с помощью мисс Локер, меня всерьез проняла. Разумеется, сознательно я по-прежнему придерживаюсь намеченной выше критической позиции относительно твоих изысканий, абсурдных в самой основе своей. С подсознательной точки зрения, однако, ты как будто открыла мне глаза на некий пласт (зону, как наверняка поправила бы ты) необъяснимого ужаса в моем сознании-душе. По меньшей мере, я готов признать, что в твоих идеях заложена мощ-



ная психическая метафора, но не более. Хотя достаточно и этого, правда? Достаточно хотя бы для того, чтобы заставить меня взяться за это письмо, в котором я прошу твоего внимания, поскольку никакими другими способами привлечь его не удалось. Я так больше не могу! Ты имеешь странную власть надо мной — как будто ты этого раньше не знала. Пожалуйста, сними с меня свои чары, давай начнем нормальные отношения. Кому вообще какое дело до метафизики незримых сфер? По-настоящему важны не абстракции, а эмоции. Любовь и ужас — истинная реальность, какие бы непознаваемые механизмы ни крутили их шестеренки, да и наши собственные.

Полагаю, ты направила ко мне мисс Локер в качестве иллюстрации к твоим самым глубоким убеждениям — любовного письма, если угодно. Но что, если я начну признавать странности, связанные с мисс Л.? Допустим, некоторым образом, что она мне только снилась. (А значит, и моей секретарше, потому что та ее видела.) Допустим даже, что мисс Локер была вовсе и не девушкой, а сущностью с множеством «я» — отчасти человеком, отчасти манекеном, — и с твоей помощью какое-то время грезила о существовании, воспроизвела себя в человеческой форме, как мы воспроизводим самих себя в бесконечном множестве образов и обликов — всех этих олицетворений твоей плоти? Тебе хочется, чтобы я думал о таких вещах. О таинственных связях между всем, что есть в этом мире и других мирах. Ну и что, если они есть? Мне плевать.

Забудь про другие «я». Забудь про взгляд на жизнь от третьего (четвертого, n-го) лица: имеют



значение только первое и второе (я и ты). И во что бы то ни стало забудь про сны. Лично я уверен, что я — не сон. Я настоящий, доктор. (Ну как, приятно, когда тебя обезличивают?) Так что будь так добра признать мое существование.

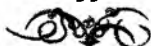
Сейчас уже за полночь, а я не ложусь — боюсь, что опять приснится кошмар. В твоих силах избавить меня от этой участи, если того пожелает твое сердце. Но тебе лучше поторопиться. Наше время истекает, любовь моя, как для меня истекают последние минуты бодрствования. Скажи, что для нашей любви еще не слишком поздно. Прошу, не разрушай всего. Ты лишь сделаешь больно сама себе. И вопреки твоей возвышенной теории мазохизма, ничего божественного в нем нет. Так что довольно твоих чудных психических иллюзий. Будь проще, будь умницей. Ох, как же я устал. Говорю «доброй ночи», но не до

свидания, мой неразумный возлюбленный. Спи своим одиноким сном и грезь о множестве других. Они тоже часть тебя, часть нас. Умри в них и оставь меня в покое. Я приду за тобой позже, и ты навсегда останешься со мной в своем особом уголке, как когда-то моя маленькая Эми. Этого ты хотел, это и получишь. Умри в них. Да, умри в них, простачок, дурак, любовник, глупенькая куколка. Умри с прекрасным ярким сиянием в глазах.

ТРИЛОГИЯ НИКТАЛОПОВ

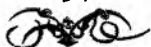
І. Химик

Здравствуйте, мисс. Да, по правде сказать, я действительно ищу компанию на этот вечер. Меня зовут Саймон, а вас... Розмари. Забавно, я сегодня как раз грезил наяву в духе розенкрейцерства. Не обращайтесь внимания. Пожалуйста, садитесь, только берегитесь заноз в вашем стуле, не то можете зацепиться одеждой. Кажется, здесь уже все истерлось и выщербилось. Может, этому старому месту и не хватает утонченности в декоре, но все его недостатки затмевает атмосфера, вам так не кажется? Да, вы совершенно правы, она действительно служит своей цели. Правда, когда дело доходит до обслуживания столиков, тут все несколько небрежно. Боюсь, напитки придется изыскивать самим. Спасибо, я рад, что моя речь кажется вам изысканной. Так могу ли я заказать для вас что-нибудь? Прекрасно, я принесу вам пиво. Но прошу, сделайте мне одолжение: прежде чем я вернусь, вытащите комоч жвачки изо рта. Спасибо, а я незамедлительно принесу нам напитки.



А вот и я, Роза, и пиво из бара. Только, пожалуйста, постарайтесь без отрыжки, и мы с вами поладим. Я рад, что вы уже избавились от жевательной резинки, надеюсь, вы не стали ее глотать. Кишечник любого человека должен оставаться в неведении, каково это: уместить жвачку и пиво в едином пищеварительном сеансе. О, я знаю, что это ваш кишечник, но мой глубочайший интерес составляет внутренняя работа любого человеческого сосуда. Да, вы не ослышались — сосуда. Хотите, чтобы я произнес это слово по буквам? Нет, я не смеюсь над вами. Просто дело в том, что необходимо всегда учитывать определенные взаимосвязи, когда рассматриваемый нами сосуд — это тонкая система Homo sapiens, а не потир в церкви либо пенициллиновый флакон в лаборатории. Именно, именно, этот не слишком стерильный бокал в вашей безупречной ладони и есть сосуд, да, вы все поняли правильно.

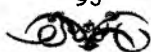
Мой бокал? Да, здесь много красного. Я люблю красные напитки. Этот я создал сам. Назвал его Джинни Красный ром. Белый ром, джин, светлый имбирный эль и в идеале клюквенный сок, хотя местному бармену пришлось заменить его на мараскино, в котором нет ни богатого красного цвета, ни даже отдаленного подобия терпкости вашей улыбки. Прошу, сделайте глоток. Если не понравится, так и скажите. Да, непривычный — это правильное слово, источник того интереса, который он вызывает. Даже строго придерживаясь установленных миксологических формул, невозможно избежать определенных различий, которые можно ощутить в банальнейших коктейлях,



не говоря уже о других смесях из алкогольного словаря. Нужно лишь взращивать в себе чувствительность, дабы замечать такие особенности. Спросите любого сомелье. И эту чувствительность можно распространить на каждый опыт в нашей жизни. Пусть мы думаем, что делаем одно и то же одним и тем же способом каждый день, но отклонения от нормы и есть норма. Как говорил философ, нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Каждое проходящее мгновение следует иным курсом, отклоняется от предыдущего и порой в очень странных направлениях.

Если мне будет позволено сказать, я — большой ценитель разнообразия. О, вы улыбаетесь, услышав, какой акцент я делаю на последнем слове. Вам кажется, вы уже что-то знаете обо мне. И да, возможно, так и есть. Вы — проницательная девушка! Но извращенность, о которой вы, без сомнения, сейчас думаете, это лишь одна из наиболее нарочитых форм разнообразия. И именно отклонения задают тон для танца жизни, даже на субатомном уровне.

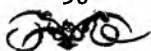
Однако как быстро вы справились с вашим пенным напитком. Не хотите ли еще бокал, а может, я позволю вам предложить нечто собственного изобретения? Да, я придумал и другие коктейли. Есть еще один красный напиток, который мной изобретен, вариация стандартной формулы. Кисло-сладкая Кровавая Мэри — смесь из высококачественной водки, тоника, сахара, ломтика лимона и кетчупа. Она действительно чем-то походит на еду. Очень укрепляет. Нет, с сожалением вынужден испортить вашу шутку — моя склонность к



алым коктейлям не простирается до вампирского нектара, что течет в каждой шее. К тому же я вполне могу работать в дневные часы.

Где? Думаю, могу сказать вам, разумеется, исключительно конфиденциально, что занимаю должность химика в фармацевтической компании, находящейся неподалеку. Да, именно. Прекрасно, что вы сразу разглядели во мне не самого обычного парня, который лишь ищет себе развлечений на ночь. Вы так догадливы! Тем не менее я действительно пришел сюда сразу после работы, где мне пришлось трудиться сверхурочно. Пока я был у барной стойки, заметил, как вы смотрели и трогали носком ноги дипломат, который я принес с собой и незаметно поставил под стол. Как вы, наверное, догадались, иногда мне приходится носить с собой «рабочие материалы», среди прочего. В точку, дорогая моя,— было бы крайне опрометчиво оставлять хоть что-то важное в машине, коли приехал в квартал красных фонарей.

Ну я бы не сказал, что эта часть города — просто «дыра». Разумеется, так и есть. Но ваш коллоквиализм даже в малой степени не описывает разнообразные измерения ветхости местной географии. Ветхости, Ро. В значении этого слова кроется и ваша «дыра», и много всего, помимо нее. Я говорю, исходя из опыта, причем он куда более обширен, чем вам сейчас кажется. Весь этот город — лишь жалкий труп, это совершенно определено, но район, лежащий за стенами нашего бара, подобен зачахшему сердцу покойного. А я — страстный исследователь его анатомии, своего

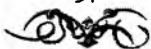


рода патологоанатом, интересующийся некрозами, что избегают внимания остальных.

Например, вы были в месте под названием Спикси? Хорошо, тогда вам знакома эта искаженная ностальгия — гнилое разложение прошлого. Да, вверх по лестнице внутри старого кафешантана находится бальный зал с высоким потолком, где разносится эхо, с остатками убранства в духе ар-деко на арках зеркал и хромированными подсвечниками. И там, на изогнутых стенах веселятся огромные нарисованные силуэты костлявых модниц и изможденных Гэтсби, они возвышаются над танцполом, их траурная элегантность высмеивает неловкое вращение живых. Старый сон под новой личиной. Знаете, это поразительно, как порой забытое безумие обновляют и стилизуют в омерзительной попытке сохранить его. Наше время — пора подержанных фантазий и устаревших развлечений.

Но в этом городе есть и другие виды, которые, на мой взгляд, гораздо интереснее. И последнее место среди них занимают фронтоны храмов различных сомнительных деноминаций. Один такой находится на пересечении Третьей и Дикерсон, он носит название Храм Истинно Разделяющего Света, полагаю, для того, чтобы его не путали с тем ложным сиянием, которое ослепило уже так много страждущих глаз. Странно, но из окон этого серого приземистого здания не пробивается ни единого луча света, а я всегда ищу хотя бы проблеск, когда проезжаю мимо.

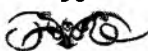
Говорю вам, никто не чтит этот город более меня. Особенно его остроумие, явленное в соседстве, ког-



да одна странность расположена рядом с другой, и вместе они производят причудливость совершенно невероятных масштабов. Одним из самых гротескных примеров подобного феномена служит маленький магазин, в чьей витрине выставлена примечательных размеров выставка протезов, и находится он в непосредственной близости от «Секонд-Хенд Сити». Есть и другие места — вы тоже замечали их, я уверен, — зловеще двусмысленные, причем по-разному. Хорошим примером тут может послужить коробка, выкрашенная в черно-розовую клетку, бар «Попойка у Билла» с кричащей неоновой рекламой, обещающей «ночные развлечения». И чем больше смотришь на эту вывеску, тем больше значений приобретает слово «ночные» — это уже не просто отрезок времени между закатом и рассветом. Скоро простой термин становится воистину экспрессивным, словно бы кодом для самых экзотических забав. И к слову о забавах, я должен упомянуть фирму, чей владелец — без сомнения большой знаток мюзиклов — дал ей название «Парни и куколки»¹. Какой гений вульгарности, особенно если принять во внимание то, что занимается он исключительно продажей и покупкой манекенов. Или же это лишь прикрытие для борделя марионеток? У меня даже в мыслях не было намерения вас оскорбить, Розали.

Я могу продолжить — речь еще не шла о «Париках мисс Ванды» или о том древнем и убогом

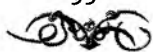
¹ Имеется в виду классический мюзикл 1950 года, созданный Фрэнком Луссером на либретто Джо Сверлинга и Эйба Барроуза.



отеле, который хвастается «Ванной в каждой комнате», — но, возможно, вам уже стало скучно. Да, я понимаю, о чем вы говорите, что все эти вещи через какое-то время перестаешь замечать. Разум становится тупым и самоуверенным, я знаю. Иногда и со мной такое случается. Но стоит мне с радостью завязнуть в самодовольстве, на пути обязательно попадетсЯ какая-нибудь встряска.

Возможно, я буду сидеть в машине, ждать зеленого сигнала светофора. Отверженный, пьяный или больной мозгом подойдет к моему незащищенному автомобилю и примется стучать в стекло — двумя кулаками, вот так, — требуя сигарету. Он прикоснется к растрескавшимся губам пальцами, чтобы донести свое послание, ибо уже давным-давно оставил речь в прошлом. Сигарету? Я — химик, добрый господин, а не табачник. Сменится сигнал светофора, и я поеду прочь, наблюдая в зеркало заднего вида за тем, как согбенная фигура бродяги исчезает вдаль. Но иногда я беру его с собой, и призрачная фигура с затуманенным взором сидит рядом и бессвязно бормочет о бессмысленных и заволаживающих вещах, излагает автобиографию беспорядка. Проходит немного времени, и я вновь настороже.

Трогательная история, не правда ли... Да, полагаю, вы правы, действительно уже поздно, а мы еще так плохо знаем друг друга. Поедем к вам? Думаю, это нормально. Нет, у меня нет никаких идей касательно того, где нам стоит заняться делом. Ваша квартира прекрасно подходит. А где она, кстати? Не шутите? Это же новое прозвище Темпл-Тауэрс. Прекрасно, наша поездка пройдет

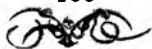


через район, лежащий в тени пивоварни. На каком этаже вы живете? О, настоящий пентхаус, городская крепость. Чем выше, тем лучше, я так скажу.

Пойдем тогда? Моя машина припаркована прямо перед баром.

Надеюсь, дождя нет. Нет, прекрасная ночь. Но смотрите, рядом с моим автомобилем стоит полицейский. Не суетитесь. Я точно ничего не скажу, если вы не скажете. А вы ненароком не офицер из отдела нравов под прикрытием, а, Розикранц? Вы же не предадите своего ничего не подозревающего Гамлета? Обыкновенного «нет» вполне хватило бы. Если вы еще раз воспользуетесь выражением подобного рода, то я сдам вас властям прямо сейчас, а потом увидим, как много приводов скопилось у вас за время вашей блистательной карьеры. Молчите, так будет лучше. Я все возьму на себя. А вот и он.

Здравствуйте, офицер. Да, это моя машина. Проблем с парковкой нет, я надеюсь? Боже, какое облегчение. На секунду я подумал... Мои права и паспорт? Разумеется. Вот, возьмите. Прошу прощения? Да, полагаю, я далеко ватно забрался от дома. Но я работаю поблизости. Я — биржевой брокер, вот моя визитная карточка. Знаете, я в бизнесе уже довольно давно и буквально по виду человека могу сказать, есть ли у него инвестиции на рынке. Спорим, что у вас они есть? Вот видите, я знал, что не ошибусь. И неважно, если у вас нет серьезных вложений. Кстати, а когда вы в последний раз беседовали со своим советником по инвестициям? Лучше поговорите. Там много чего

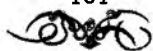


происходит. Люди болтают об инфляции, рецессии, депрессии. Забудьте. Если вы знаете, куда вложить деньги, в смысле, реально знаете, то наплевать, пусть даже на календаре пятница, тринадцатое, а улицы залиты кровью корпоративных покойников.

Дельный совет — вот что вам нужно. Он всем нужен. Например — и я сейчас говорю это только для того, чтобы доказать свою позицию, — прямо в нашем городе недалеко отсюда есть компания под названием «Лаборатории Локмайера». Они разработали новый продукт и теперь готовы выпустить его на рынок. Я вообще не понимаю, в чем там соль с технологической точки зрения, но знаю, что эта штука устроит настоящую революцию в области — как там она называется? — психофармакологии. Она все изменит, как раньше антидепрессанты. Она будет больше антидепрессантов. Понимаете, о чем я? Вот о каких вещах нужно знать.

Да, именно так, офицер. «Лаборатории Локмайера». Просто шикарная компания. Я и сам ее акционер. Да какой совет, черт побери? Не нужно меня благодарить. Прошу прощения? Совет мне? Ну, теперь, когда вы об этом упомянули, я тоже склоняюсь к мысли, что для такого человека, как я, есть районы и получше. Обещаю вам, офицер, что здесь вы меня больше никогда не увидите. Ценю вашу заботу, офицер. Я запомню. А вы не забудьте про «Лаборатории Локмайера». Хорошо, спасибо. Доброй вам ночи.

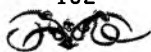
Рози, подожди, пока его машина свернет за угол, прежде чем садиться в мою. Пусть законник думает, что его предупреждение вывело меня на путь



истинный, пусть думает, что теперь-то я разглядел неприглядность этого места и неприглядные черты в характере моей спутницы. Он посмотрел на тебя, как старый друг. Мы оба могли попасть в затруднительное положение. А ты — умная девочка, раз села за мой столик сегодня. Наверное, его удивил мой дипломат, как думаешь? Хорошо, теперь можем сесть в машину.

Да, я действительно вытащил нас из крайне щекотливой ситуации. Но я надеюсь, что когда ты упомянула некую букву «С» относительно всей этой сцены со служителем закона, то имела в виду мою степень бакалавра науки, которую я получил еще в двенадцать лет. Это последнее предупреждение об употреблении грязных идиом. Теперь открой окно, проветри свою речь, пока мы едем. А насчет того, что я солгал офицеру — нет, ничего такого не было. Нет, я — не биржевой брокер. Я сказал тебе правду о своем ремесле химика. И я сказал правду этому кротоглазому патрульному, когда посоветовал вложить деньги в «Лаборатории Локмайера», так как мы действительно скоро выведем на рынок новое лекарство для разума, которое сделает наших инвесторов довольными, как амфетаминовых наркоманов в круглосуточном кофешопе. Как я вообще узнал, что он играет на бирже? Странно, да? Думаю, мне просто повезло. Сегодня ночью мне вообще везет — как и тебе.

А ты не слишком-то любишь *policia*, а, Ррроза? Ну конечно, я виню тебя, почему нет? Где были бы преступники без полицейских? Что бы мы получили? Только рай без законов... а рай — это такая скука. Насилие без правонарушений и свято-

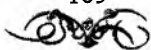


татств — лишь шум, который никто не слышит, самый ужасающий звук во Вселенной. Нет, я понимаю, что ты не имеешь ничего общего с насильем. Я не это имел в виду. Да, я могу отвезти тебя в бар, когда мы закончим наши дела. Разумеется.

А сейчас просто насладимся поездкой. Что значит «чем тут наслаждаться»? Разве не видишь? Мы подъезжаем к пивоварне. Смотри, вон золотистопивной знак, возвещающий об алхимическом поиске, что трансмутирует основные ингредиенты в жидкое золото. Алхимическом, Розетта. И я сейчас не об «Элайд Кем», этих дешевках. Только взгляни на обвалившиеся дома, грязные витрины, ведь каждая из них — сакральное место для этого города, его святилище, если можно так сказать. Нельзя? Ты их видела уже миллион раз? Трущобы есть трущобы? Они всегда одинаковые. *Всегда?*

Никогда.

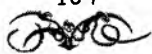
Что скажешь о той поре, когда идет дождь и бурые кирпичи этих старых зданий сочатся влагой, темнея? И дымно-серое небо — это дымное зеркало твоей души. Ты смотришь на ряд заброшенных зданий, а потом моргаешь на миг из-за молнии, на фоне которой ярко проступают их силуэты. И вот вопрос: моргают ли они в ответ? Или же подобное происходит только во время других бурь, когда окна хмурятся из-за хлопьев снега, пропитанных городской грязью? Не при таких ли обстоятельствах впервые приходит в голову мысль обо всех холодных и темных местах Вселенной, обо всех промозглых, ослизлых подвалах и мрачных чердаках творения? Гнетущих закоулках, о которых и не думал бы, но сейчас не можешь отвлечься на что-



то иное. Но придет иное время. Ни одна минута не похожа на другую. Ни одна жизнь. Мы все как чужие друг для друга. Странствуя по этим улицам с незнакомцами, ты вынужден считаться с тем, как они видят все вокруг, прямо как сейчас, когда тебе приходится иметь дело с моим стопроцентным зрением, а мне — с твоей пресыщенной близорукостью. Подумай, те ли это выпотрошенные дома, что ты видела прошлой ночью или даже секунду назад? Или же они подобны плавящимся облакам, что кружатся над трубами и деревьями, а потом исчезают?

Алхимические трансмутации бесконечны и непрерывны, они трудятся всегда, как рабы в Великой Лаборатории. Ну давай скажи мне, что не чувствуешь их стараний, особенно в этой части города. Особенно там, где очарование и здравомыслие былых дней теперь носят маску из крыс и гнили, где старый стиль самым временем преобразован в пародию на самого себя, пародию, которую ни один человек не смог предвидеть, где ширятся разломы, отделяющие формы прошлого от бесформенности будущего, и, наконец, где эволюцию, ведущую к абсолютному разнообразию, можно подсмотреть как будто в магическом зеркале.

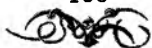
Именно это и есть настоящая алхимия, как ты уже, наверное, поняла, а не та, что строила теории о некоем процессе, благодаря которому все на свете стремится к золотоносному совершенству. Свинец в золото, низшая материя в высокий дух. Нет, ничего подобного. На самом деле все совсем наоборот. Пожалуйста, не надо засовывать этот



комок жвачки себе в рот. Выбрось его в окно не-медленно!

Как я говорил, все в мире есть вариация без темы. О, пожалуй, и существует некий неизменный идеал, некий твердый абсолюте. Полагаю, с научной точки зрения, мы можем допустить подобную невозможность. Но достичь такого идеала значит отправиться в безнадежный путь к гипотетически высоким мирам. Вот только по дороге наши идеи станут все лихорадочнее и запутаннее. Изначально одинокая истина вскоре размножится, подобно злокачественным клеткам в теле сна, теле, чей подлинный силуэт навсегда останется неизвестным. Возможно, именно поэтому нам следует быть благодарными причудам химии, капризам обстоятельств и тайнам личного вкуса, которые дают нам такое огромное разнообразие исключительно локальных реальностей и желаний.

Нет, я не всегда мыслю настолько «наркомански», как ты изволила выразиться. Но я могу практически точно сказать, когда начал видеть суть вещей. Я был неопытным первокурсником в колледже, неопытнее многих, если принять во внимание мое не по годам быстрое развитие. Однажды что-то словно изменилось в моем химическом строении, по крайней мере, мне нравится так думать. Сначала я чувствовал себя ужасно. Но со временем понял, что изменение шло от ложной химии к подлинной. Да, именно тогда я решил сделать карьеру в этой научной области, почувствовал свое призвание. Но эта история требует долгого рассказа, а мы уже добрались до твоего дома.

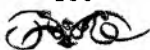


Прошу, не стоит хлопать дверью так громко, как ты намереваешься. Нет нужды привлекать внимание к нашему присутствию. Ты права, поблизости действительно нет никого особо внимательного. Местные уличные паразиты, похоже, зарылись в свои норы. Черт, чуть не забыл свой кейс. Не хотелось бы оставить его без присмотра в таком-то районе, да? Мой кейс вызывает у тебя улыбку, не так ли, Мэрироуз? Ты опять думаешь, что о чем-то доподлинно знаешь. Ну, пожалуйста, думай, если тебе так хочется. Всем нравится представлять, что у них есть некая информация, сокрытая от остальных. Тут полицейский, к примеру. Ты же видела, как он обрадовался, когда стал осведомленным человеком, хотя всего-то получил инсайдерскую наводку о каких-то фондах на рынке. Каждый хочет знать, что к чему, *scientia arcana*¹, истинный наркотик.

Да, возможно, в кейсе у меня действительно лежит что-нибудь дурманящее. С другой стороны, возможно, это всего лишь реквизит, сосуд с пустотой внутри. Но ты уже знаешь, что я работаю на фармацевтическую компанию. Думала об этом, не так ли? Давай поднимемся в твою квартиру и все выясним.

Какое уютное лобби в твоём доме. Но, боюсь, атмосфера проделывает странные трюки вон с теми папоротниками в горшке. Да, я знаю, что они искусственные. Но это значит лишь то, что Природа, один из Великих Химиков, сотворила их за одно движение, вот и все. Сюда — лифт, кажется,

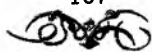
¹ Тайное знание (лат.).



работает, хотя и шумит изрядно. После вас, леди Р. Двадцать второй этаж, если я правильно запомнил, а я всегда запоминаю правильно. О, полагаю, в лифте запрещено курить, если не возражаешь. Спасибо. Вот мы и на месте, спорим, твоя квартира находится вон там. Видишь, я всегда прав. Не забавно ли? Да, я иду, уже иду.

У твоей квартиры очень красивая дверь. Нет, ты ошибаешься. Не существует ничего, похожего на «все остальное». Твоя совершенно другая, разве ты не видишь? И сегодня ночью твоя дверь зримо отличается от всех тех мгновений, когда ты смотрела на нее. И я сейчас не о себе, не о своем уникальном присутствии на пороге твоего дома. Ты понимаешь, о чем я? Прошу прощения, если тебе кажется, что я весь вечер читаю лекции. Я когда-то преподавал, что, полагаю, очевидно. Просто есть несколько важных положений, которые я бы хотел до тебя донести, прежде чем мы закончим. Хорошо? Ну а теперь зайдем внутрь и посмотрим, какой вид открывается из твоих окон.

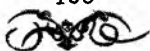
Не включай свет, пожалуйста, чтобы я не видел двойника этой захудалой комнаты, отражающегося в стекле. Одна из тусклых ламп вполне подойдет. Вот, вот так хорошо. А из твоего окна действительно открывается прекрасный вид на город. По моему, он идеален, так как ты живешь не слишком высоко. Я обитаю в двухэтажном доме и, находясь здесь, понимаю, чего лишен. Из этой возвышенной крепости я бы мог следить за городом и его постоянными изменениями. Каждую ночь — другой город. Да, Роза, вынужден признать, что ты права — пусть и говоришь саркастически, — город



и сам сосуд. Причем такой, что послушно принимает форму своего крайне странного содержимого. Великие Химики выводят неведомые и немислимые формулы там, внизу. Взгляни на огни, что подчеркивают улицы и дороги. Взгляни на эти линии и перекрестки. Они как чей-то скелет.. скелет сна, скрытый каркас, готовый в любой момент изменить структуру для поддержки новой формы. Великие Химики постоянно грезят нечто новое и рискуют проснуться во время своих грез. Если это когда-нибудь произойдет, будь уверена, наказание будет очень суровым.

Мое воображение? Нет, я совсем не считаю его живым. Напротив, оно недостаточно могущественно. Мои образные способности крайне бедны, им всегда нужны... расширения. Вот поэтому я здесь, с тобой. Ты снова улыбаешься, даже глумишься, как я вижу. Забавное слово, глум. Похоже на фамилию прищельца. Саймон Глум. Как тебе такое на слух?

Да, возможно, мы действительно тратим впустую слишком много времени. Но нам придется выдержать еще одну заминку, пока я роюсь в кейсе и достаю то, чего ты так страстно желала. Ты надеешься, что у меня тут припасена неплохая дурь, да? Прекрасно, у тебя будет шанс все выяснить, коли ты с таким нетерпением жаждешь стать сосудом для моих химических веществ. Нет, сиди там, где ты сейчас находишься, пожалуйста. Нет причин для того, чтобы ты увидела каждый эликсир, который у меня здесь есть. Единственная вещь, что может тебя заинтересовать, находится в прямоугольном маленьком контейнере,



плотно закрытом черной крышкой... кстати, вот и он!

Да, это действительно походит на бутылку с порошком из света. Ты крайне наблюдательна. Что это? А я думал, к этому времени ты уже догадаешься. Вот, протяни руку, так ты сможешь разглядеть все получше. Небольшая кучка прямо посередине твоей потной ладони, одна понюшка, если быть точным. Правда, оно походит на измельченные бриллианты? Оно сверкает, о да. Я не виню тебя за то, что ты думаешь, будто его опасно вдыхать. Но если ты внимательно приглядишься к этой волшебной пыли, то увидишь, что с ней ничего делать не надо.

Смотри, она растворилась в тебе. Исчезла полностью, осталось лишь несколько крупинок. Но о них не беспокойся. Расслабься, жжение скоро пройдет. Нет смысла в попытках стереть наркотик с руки. Он уже в твоём организме. А волнение точно не поможет, как и угрозы. Пожалуйста, не вставай с кресла.

Чувствуешь что-нибудь? Ну, кроме того факта, что теперь ты не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой. Это лишь начало нашего ночного увеселения. Мерцающая субстанция, которую ты только что вобрала в себя, делает возможным крайне интересное взаимоотношение между нами, моя алая роза. Наркотик сделал тебя фантастически чувствительной к формирующему влиянию определенного рода энергии, энергии, что производится мной, или, скорее, посредством меня. Если говорить романтически, сейчас я грежу тебя. Иначе я не могу объяснить происходящее так, чтобы ты

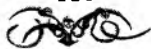


все поняла. Я не грежу о тебе, как в какой-нибудь песни о любви. Я грежу тебя. Твои руки и ноги не подчиняются командам мозга, потому что я грежу о ком-то, кто неподвижен, как статуя. Надеюсь, ты оценишь, насколько это необычно и замечательно.

Черт побери! Полагаю, ты сейчас пыталась крикнуть. А ты действительно в ужасе, да? Лишь ради безопасности пусть мне пригрезится кто-то, у кого нет возможности кричать. Вот, так лучше. Хотя да, ты выглядишь довольно странно. Но это только начало. Такие мелкие трюки — не более чем детская игра, и я уверен, что пока ничем тебя не поразил. Но вскоре я покажу, что действительно умею производить впечатление, как только приложу к процессу свой разум.

Кажется, я вижу что-то в твоих глазах? Да, совершенно точно. Вопрос. Прямо сейчас ты бы спросила, если бы, конечно, по-прежнему обладала средствами для общения, что же станет со старой доброй Розы? Ты должна знать, это вполне справедливо.

Прямо сейчас мы вступаем в совершенную гармонию, мои грезы и моя девочка грез. Ты вскоре станешь калейдоскопом моего воображения, созданным из плоти и крови. На поздних стадиях этой процедуры может произойти все что угодно. Твоя форма познает безграничность разнообразия, когда в дело вступят сами Великие Химики. Вскоре я вручу свой сновидческий дар потрясающему восстанию сущности, и тогда, я уверен, мы оба сильно удивимся. Это единственная вещь, что никогда не меняется.



Тем не менее у этого процесса по-прежнему есть одна проблема. Он несовершенен и уж точно негоден для продажи, как мы говорим в нашем пилульном бизнесе. Но если бы он был идеален, разве не стал бы скучен? Я хочу сказать, что под давлением столь различных метаморфоз изначальная структура объекта каким-то образом ломается. Последствия очень простые: ты никогда не сможешь быть прежней. Мне очень жаль. Тебе придется остаться в той любопытной инкарнации, которую ты приобретешь, когда сон закончится. И она сведет с ума любого человека, который будет иметь несчастье найти тебя. Но не волнуйся, ты не проживешь долго после того, как я уйду. И к тому времени испытаешь богоподобные силы протейизма, силы, которые я даже не надеюсь познать, и неважно, сколь глубоко я этого желаю.

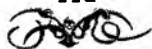
А теперь, полагаю, мы можем приступить к тому, что всегда было твоей судьбой. Ты готова? Я полностью готов и постепенно отдаюсь тем силам, что ходят своими тропами и заберут нас с собой. Чувствуешь, как нас затягивает буря трансфигураций? Чувствуешь возбуждение этого химика? Силу моего сновидчества, моего сновидчества, моего сновидчества, моего...

А теперь, Роза безумия,— ЦВЕТИ!

ТРИЛОГИЯ НИКТАЛОПОВ

II. Испей же в честь меня одними лишь глазами лабиринтными

Все на вечеринке отпускают замечания по их поводу. Спрашивают, не изменил ли я их каким-то способом, предполагают, что я ношу странные кристаллические линзы под веками. Я говорю им «нет», что я родился со столь выдающимися органами зрения. Они — не какой-то трюк из набора оптометриста, не результат хирургического шабаша. Разумеется, людям сложно поверить в такое, особенно после того, как я говорю, что также родился со способностями гениального гипнотизера... и после этого стал быстро развиваться, углубляясь в месмерические дебри, где прежде, да и сейчас, не ступала нога ни одного человека моего призвания. Нет, я не веду речь о «бизнесе» или «профессии» — я говорю о призвании. А как еще называть то, для чего ты предназначен с рождения, отмечен стигматами судьбы? Когда беседа достигает этой точки, гости начинают вежливо улыбаться, говорят, что шоу им очень понрави-



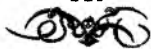
лось, а я действительно хорош в том, чем занимаюсь. Я отвечаю, что благодарен им за возможность показать представление для столь элегантных гостей в столь элегантном доме. Неуверенные, в какой мере я высмеиваю их, они нервно крутят тонкие стебельки бокалов для шампанского, напиток сверкает, а хрусталь мерцает под калейдоскопическим сиянием люстры. Несмотря на всю красоту, силу и престиж, что общаются ныне в этой чрезмерно барочной зале, я думаю, что глубоко в душе все они знают то, насколько обыкновенны. Я и моя ассистентка производим на них немалое впечатление, я же прошу помощницу поговорить с гостями, развлечь их так, как они того хотят. Один джентльмен с раскрасневшимся лицом в порыве животного магнетизма смотрит на мою партнершу, глотая свой напиток.

— Хотите с ней встретиться? — осведомляюсь я.

— Еще спрашиваете, — отвечает он.

Они все хотят. Они все хотят тебя узнать, мой ангел.

Чуть ранее, этим вечером, мы показали этим милым людям наше представление. Я дал указания распорядителю вечеринки не подавать алкоголь гостям перед выступлением и расставить мебель в этой перегруженной деталями комнате так, чтобы каждому открывался прекрасный вид на небольшой помост и нас. Распорядитель, естественно, с готовностью подчинился. Он также уступил моей просьбе и выдал плату авансом. Такой покладистый человек, с такой готовностью подчиняющийся воле другого.

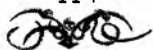


В начале представления я стою один перед безмолвной публикой. Все освещение отключено, кроме единственного прожектора, который я разместил на расстоянии двух целых и двух десятых метра от сцены на полу. Свет сфокусирован на паре метрономов, их маятники в совершенном унисоне качаются туда-сюда, как дворники автомобиля во время дождя: медленно и плавно в одну сторону, в другую; в одну сторону, в другую; в одну сторону, в другую. На конце каждого находится копия моего глаза, и она качается вправо-влево, и каждый видит их, а мой голос обращается к ним с той части сцены, что скрыта в тенях. Сначала я даю небольшую лекцию о гипнозе, о происхождении этого термина и его природе. Потом говорю:

— Леди и джентльмены! Пожалуйста, обратите ваше внимание на этот глянцеви́тый черный ящик. Внутри него стоит самое прекрасное создание, которое вам когда-либо доводилось видеть. Она спустилась с самих небес, она — истинный серафим. И сейчас для вашего увеселения она уже погружена в глубокий транс. Вы увидите ее воочию и поразитесь.

Следует драматическая пауза, во время которой я внимательно смотрю на сборище перед собой, сборище, которое я держу под контролем. Когда я перевожу взгляд на ящик, потайная дверца распаивается как будто бы по своей воле.

Словно в один голос, публика тихо ахает, и на секунду меня охватывает паника. А потом раздаются аплодисменты, и они уверяют меня, что все в порядке, что им нравится фигура, выставленная перед ними напоказ. То, что они видят, стоит

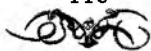


прямо внутри ящика, ее тонкие руки лежат абсолютно неподвижно вдоль тела. Она носит крохотное, расшитое блестками платье — вульгарный костюм, чье неистовое сияние каким-то образом превосходит клише, оживляет его низкосортную душонку. Ее глаза как два голубых драгоценных камня в алебастровой оправе, а их взгляд устремлен в бесконечность. Когда публика рассматривает ее во всех подробностях, я говорю:

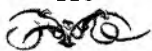
— А теперь, мой ангел, ты должна упасть.

По этому сигналу она начинает трястись внутри ящика. Наконец, качнувшись, падает вперед. В последний момент я хватаю ее за шею рукой и останавливаю негнущееся тело за пару дюймов до того, как оно ударилось бы об пол. В ее прическе не потревожен ни единый локон, усыпанная драгоценностями тиара крепко держится на голове. Звучат аплодисменты, пока я ставлю свою длинноногую и длиннорукую ассистентку в вертикальное положение.

А вот теперь представление начинается по-настоящему — целый набор месмерических трюков с небольшой толикой магии. Я помещаю негнущееся, загипнотизированное тело сомнамбулы горизонтально между двумя стульями и прошу какого-нибудь толстяка из публики подойти и сесть на нее. Мужчина соглашается с превеликой радостью. Потом я приказываю сомнамбуле стать нечеловечески гибкой, чтобы я мог поместить ее в невероятно маленькую коробку. Но ассистентка недостаточно податлива и помещается в ящик лишь наполовину. Тогда я сообщаю зрителям, что должен сломать ей шею и другие кости, чтобы затолкнуть внутрь



все тело. Наблюдатели напряжены, ожидая развязки, а я умоляю их сохранять присутствие духа, хотя они и могут увидеть, как вокруг краев крышки проступает кровь, когда я закрываю ящик. Они в восторге, когда девушка медленно поднимается на ноги, невредимая и незапятнанная. (Тем не менее, как и любая толпа на представлении, где есть или может быть элемент риска, втайне они желают, чтобы какой-то трюк пошел не по плану.) Затем наступает очередь «человеческой куклы вуду», когда я втыкаю длинные иглы в плоть помощницы, а она не морщится и даже звука не издает. Мы выполняем еще пару обязательных фокусов, отрицая смерть и боль, а потом переходим к трюкам с памятью. В одном из них я прошу всех в зале быстро выкрикнуть их полное имя и дату рождения. Потом приказываю сомнамбуле повторить эту информацию по просьбе случайно выбранных людей из публики. Она называет правильно имена — разумеется, зрители изумлены и сбиты с толку, — но вот все даты не из прошлого, а будущего. Некоторые дни и годы, цифры, которые она произносит равнодушным, механическим голосом, отстоят довольно далеко от настоящего, другие же находятся подозрительно близко. Я удивляюсь тому, как ведет себя моя сомнамбула, и объясняю зрителям, что обычно предсказание судьбы в представление не входит. Извиняюсь за столь прискорбную демонстрацию предвидения и обещаю, что они будут вознаграждены невероятным финалом, дабы отвлечь мысли зрителей от мрачных предчувствий. В такую минуту вполне был бы уместен даже глас небесных труб.



По моему сигналу ассистентка переходит в самый центр сцены. Здесь она встает, раздвинув ноги так, чтобы нижней частью тела образовать перевернутую букву V. Еще сигнал — и она поднимает руки, раскидывает их, как крылья, растягивает до предела. По финальному сигналу она поднимает склоненную до того голову, пока шея не напоминает переплетенную жилами мускулов колонну, а глаза не сверкают, воззрившись на зрителей. И в то же самое время публика столь же пристально смотрит на нее.

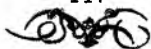
— А теперь,— предупреждаю я собравшихся,— должна быть абсолютная тишина. Это значит, что никто не кашляет, не сопит и не зевает.

Неразумное условие, как может показаться, но они с удовольствием подчиняются. Они безмолвны, как могила самоуверенности.

— Леди и джентльмены,— продолжаю я,— сейчас вы увидите нечто такое, что не нуждается в представлении или многословной преамбуле. Моя ассистентка сейчас находится в самом глубоком трансе из возможных, и каждая частичка ее естества невероятно чувствительна к моей воле. По моей команде она начнет невероятную метаморфозу, в ходе которой откроется то, о чем некоторые из вас помышляли, но что никто даже не осмеливался увидеть. Ни слова больше. Дорогая моя, можешь начинать изменение формы, твое имя Серафим.

И вот она стоит — руки, ноги, высоко поднятая голова — пятиконечная сомнамбула: звезда.

— Вы уже видите, как она светится,— говорю я публике.— Она начинает расцветать. Начинает



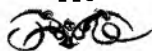
пылать. А теперь сверкает так, что почти исчезает в сиянии, — она раскалена сверхъестественным пламенем до самого края смертного существования. Но никакой агонии нет, больно лишь глазам.

Никто в зале не щурится, разумеется, ведь лучи, расходящиеся от ее тела — этот лабиринт света! — это лучи грез без физических свойств.

— Не отводите глаз, — кричу я, указывая на ассистентку, чей костюм с блестками превратился в легкий, словно паутина, саван, парящий вокруг ее силуэта. — Вы видите белоснежные крылья, вырвавшиеся из ее плеч? Разве ее материальная оболочка не утратила всю чувственность и не превратилась в небесную икону? Разве она сейчас не квинтэссенция неземной бесплотности — ангельский светоч пред звериным обликом человека?

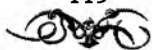
Но я не могу долго удерживать это состояние. Прямо на глазах зрителей свет меркнет, затухает с каждой секундой, и ассистентка вновь возвращается в свое земное воплощение. Я истощен. Что еще хуже, все наши старания, кажется, пропали втуне, так как публика отвечает на зрелище лишь равнодушными, небрежными аплодисментами. Я не могу поверить, но финал провалился. Они не поняли. Притворная смерть и фальшивая боль понравились им гораздо сильнее. Вот что их очаровывает. Какая мерзость! Убогая мерзость. Что же, веселитесь, пока можете, олухи. Представление еще не закончилось.

— Благодарю вас, леди и джентльмены, — говорю я, когда включается свет и скудные аплодисменты окончательно сходят на нет. — Надеюсь, моя ассистентка и я не ввергли вас в сон этим вечером.



Вы, кстати, действительно выглядите довольно сонными, словно и сами уже ненароком вошли в транс. Довольно приятное чувство, не правда ли? Погружение в нежную тьму, отдых души на подушках, набитых мягкими тенями. Но распорядитель говорит мне, что вскоре обстановка несколько оживится. Определенно все вы проснетесь, когда легкий колокольчик отдаст вам приказ очнуться. Помните, как только вы услышите его звон, пришла пора просыпаться,— повторяю я.— А теперь, полагаю, мы можем перейти к дальнейшим увеселениям этого вечера.

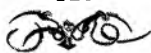
Я помогаю ассистентке спуститься со сцены, и мы присоединяемся к остальным гулякам. Подают напитки, шум в зале возрастает на несколько децибелов. Толпа на званом вечере начинает сгущаться, свертываться, как кровь, образуя тут и там отдельные группки. Я ухожу из громогласного столпотворения, окружившего ассистентку и меня, но никто, кажется, этого не замечает. Они заморожены моей расшитой блесками сомнамбулой. Она ошеломляет их, ослепляет — солнце в центре однообразной вселенной, ее костюм ловит лучи света от чудовищной люстры, подмигивающей тысячами глаз. Каждый старается завоевать взгляд моей ассистентки. Но она только улыбается, такая пустая и изящная, даже не пригубив напиток из бокала, который кто-то сунул ей в руку. Они же все заморожены, словно паучихи во время брачного ритуала. В конце концов, разве я сам не сказал им, что моя загипнотизированная долговязая помощница — это само воплощение красоты?



Но и у меня есть поклонники. Один зануда в темном костюме спрашивает, не могу ли я помочь ему бросить курить. Другой осведомляется о том, не может ли гипноз каким-то образом поспособствовать его рекламному бизнесу, хотя, разумеется, ничего незаконного, не подумайте. Я даю каждому по визитке, где на облачно-сером фоне с жемчужным отливом напечатан несуществующий номер телефона и поддельный адрес в реальном городе. Что же до имени: Козимо Фанцаго. А чего еще ждать от непревзойденного выступающего месмериста? У меня есть и другие карточки с именами вроде Гауденцио Феррари и Джонни Тьеполо¹. Пока еще никто меня не поймал. Но разве я не такой же художник, как и они?

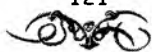
Пока ко мне пристают люди, которые нуждаются в помощи, в лечении от их приземленности, я наблюдаю за тобой, моя дорогая сомнамбула. Наблюдаю, как ты вальсируешь по этому великолепному залу. Он не походит на другие комнаты в этом огромном доме. Кто-то позволил Фантазии воцариться здесь самым экстраординарным способом. Здесь чувствуется связь с временами, с прошедшими столетиями, когда сомнамбулические предшественники нынешних гостей исполняли трюки снохождения на званых вечерах

¹ *Козимо Фанцаго* (1591—1678) — итальянский архитектор и скульптор, один из видных итальянских архитекторов эпохи барокко, работавший преимущественно в Неаполе. *Гауденцио Феррари* (1475—1546) — итальянский художник и скульптор эпохи Возрождения. *Джованни Баттиста Тьеполо* (1696—1770) — крупнейший художник итальянского рококо.



высшего общества. Ты так хорошо подходишь к компании в этом оазисе буйного рококо. Одно удовольствие видеть, как ты прокладываешь себе путь по неровной окружности помещения, где стена колеблется плавными волнами и впадинами, а поверхность испещрена извивистыми узорами шинуазри. В этой просторной комнате из-за змеиных очертаний трудно отличить углубления от выступов. Некоторые гости склоняются к стене, но нащупывают лишь воздух, чуть не падая вбок, как комедианты в старом кино. Но у тебя, моя прекрасная сомнамбула, таких проблем нет. Ты опираешься о стены в правильное время и в правильных местах. И твои глаза красиво играют на любую камеру, которая фокусируется на тебе. Ты принимаешь столько сигналов от других, и можно даже заподозрить, что собственной жизни у тебя нет. Искренне хочется надеяться, что это не так!

И вот я наблюдаю за тем, как чванливое ничтожество в смокинге приглашает тебя сесть в кресло, обитое ослепляющей парчой, чья цветастая ткань вобрала в себя все мягкие цвета из женской косметички, а грациозные ручки текстурой напоминают хрящи. Твои высокие каблуки оставляют еле заметные точки в ковре, протыкая его прихотливые узоры воображения. И вот я наблюдаю, как хозяин вечера призывает тебя выбрать алкогольный напиток из богато обставленного бара. Он с гордостью указывает на множество бутылок, выставленных напоказ, как барочной, так и нормальной формы. Бутылки барочных форм творят более причудливые вещи со светом и тенью, чем их нормальные братья, и ты указываешь на одну



из них с точностью робота. Под твоим пристальным взглядом он наполняет два бокала, и ты наблюдаешь за ним, а я наблюдаю за тобой. Потом хозяин праздника отводит тебя в другую часть зала, показывает полку с изысканно выполненными фигурками, парализованными в неестественных позах. Он кладет одну в твою руку, и ты вертишь ее перед глазами, не можешь сосредоточить взгляд, словно стараешься вспомнить о чем-то, что сможет тебя пробудить. Но это напрасно, ты способна очнуться только с моей помощью.

А теперь он отводит тебя туда, где играет тихая музыка и танцуют люди. Но в этом помещении нет окон — только высокие дымчатые зеркала, и когда ты проходишь из одного конца зала в другой, то попадаешь в западню между двумя туманными зазеркальями, близнецами, смотрящими друг на друга, создавая бесконечные ряды сомнамбул в ложной бесконечности за стенами. Потом ты танцуешь с хозяином, он не может отвести от тебя глаз, ты же устремляешь безучастный взгляд в потолок. Боже, этот потолок! По сравнению с дизайном остального зала, где изгибы переплетаются и выются до умопомрачения, поверхность над нами потрясает простотой, это плоскость бледно-голубого цвета без единого намека на завитушки. В своей чистоте она вызывает ощущение то ли бездонного озера, то ли неба, очищенного от облаков. Ты танцуешь в вечности, моя дорогая. И танец этот долог, ибо уже другой хочет перехватить тебя у нашего радушного хозяина и стать твоим партнером. И другой. Все они хотят тебя обнять. Все они увлечены твоей бесстрастной элегантностью,



твоей осанкой, позами, как у замерзшей розы. А я лишь жду, пока все прикоснутся к твоему телу, столь полному животной притягательностью.

Наблюдая, я замечаю неожиданного зрителя, смотрящего на нас сверху. За широкой аркой в конце зала находится лестница, ведущая на второй этаж. И там сидит он, стараясь высмотреть всех взрослых, его одетые в пижаму ноги свисают между доорических столбиков балюстрады. Я вижу, что он предпочитает классический декор, преобладающий в остальном доме. Со сдержанной ловкостью я оставляю публику на первом этаже и наношу визит на балкон, который оставил без внимания во время представления.

Тихо прокравшись по трем пролетам лестницы, пробравшись по коридору, покрытому белым ковром, я сажусь рядом с ребенком.

— Ты видел мое представление с дамой? — спрашиваю я его.

Он качает головой, рот крепко сжат, как нераскрывшийся бутон тюльпана.

— А ты видишь даму сейчас? Ты знаешь, о ком я говорю.

Я вынимаю сверкающую хромированную ручку из внутреннего кармана пальто и указываю вниз, где вечер идет полным ходом. С такого расстояния фигуру моей блистающей сирены толком не разглядеть.

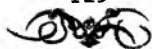
— Так ты видишь ее?

Он кивает. Тогда я шепчу:

— И что ты думаешь?

Его губы размыкаются, и он беззаботно отвечает:

— Она... она мерзкая.

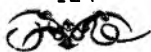


Теперь я дышу свободнее. С такой высоты она действительно кажется всего лишь «мерзкой», но никогда не знаешь, что может разглядеть острый глаз ребенка. И сегодня я шокировать детей не желаю.

— Слушай меня внимательно,— говорю я ему тихим, но не снисходительным тоном, уверившись, что внимание ребенка полностью приковано к моему голосу, а взгляд сосредоточен на сверкающей ручке.

Для маленького мальчика он ведет себя идеально, так как в таком возрасте разум и взгляд вечно так и норовят отвлечься. Он соглашается, что действительно довольно сильно устал.

— Теперь возвращайся в кровать. Ты заснешь через несколько секунд, и тебе приснится замечательный сон. И ты не проснешься до самого утра, и неважно, какие звуки будут раздаваться за твоей дверью. Ты понял? — Он кивает.— Очень хорошо. За то, что ты — такой покладистый молодой человек, я собираюсь сделать тебе подарок и даю эту прекрасную ручку из чистого серебра, которую ты всегда будешь носить с собой как напоминание о том, что на свете всё — не то, чем кажется. Ты понимаешь, о чем я? — Его голова двигается вверх-вниз, а на лице — леденящее душу выражение глубокой мудрости.— Тогда прекрасно. Прежде чем ты вернешься в свою комнату, я хочу, чтобы ты сказал мне, есть ли тут запасная лестница, по которой я бы мог уйти.— Он пальцем указывает в зал и налево.— Благодарю тебя, мой мальчик. Большое спасибо. А теперь отправляйся в кровать, и сладких тебе снов.



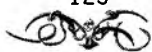
Секунду я стою, вглядываясь в веселое сборище внизу, где грубый смех и придурковатые танцы достигли апогея. Моя непостоянная сомнамбула, кажется, попала в сеть вечеринки и забыла о своем хозяине. Оставила меня не у дел, непостоянная девушка без кавалеров. Но я не ревную. Понимаю, почему они забрали тебя. Они же не могут иначе, ведь так? Я сам сказал им, как ты прекрасна, как совершенна, и теперь они не могут тебе противиться, любовь моя.

К несчастью, они не смогли оценить лучшую часть тебя, предпочли затеряться в обмане грубых иллюзий. Разве я не показал этой благонамеренной публике твою ангельскую версию? И ты видела их реакцию. Им было скучно, они застыли в своих креслах, как сборище ничтожеств. Разумеется, чего ты ждала? Им хотелось смерти, хотелось боли. Всего этого яркого мусора. Они хотели целых возов агонии, кульбитов в огнях преисподней, прыжков ранимой плоти в мясорубку жизни. Они хотели пощекотать себе нервы.

И теперь, когда их веселое торжество достигло вершины, думаю, пришла пора разбудить эту толпу от гипнотического сна и ударить ей по нервам в полной мере.

Время для звонка.

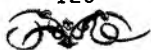
Там, куда указывал мальчик, действительно оказывается запасная лестница, которая выводит меня в запасной коридор, запасную комнаты и, наконец, к запасному входу. По этим проходам я добираюсь до обширного двора, где луна оттеняет силуэт сада, а вдалеке шелестит небольшой лес.



Густой газон скрадывает мои шаги, пока я обхожу изысканный фасад дома.

Сейчас я стою на парадном крыльце, между высокими колоннами, под лампой, висящей на конце длинной бронзовой цепи. Я замираю на мгновение, смакуя каждую чувственную секунду. Безмятежные созвездия наверху понимающе мне подмигивают. Но даже эти глаза недостаточно глубоки, чтобы переглядеть меня, чтобы обмануть обманщика, наслать иллюзию на иллюзиониста. Сказать по правде, я очень плохо поддаюсь месмеризации, меня практически невозможно втянуть в рай Гипноса. Ибо я прекрасно знаю, как легко можно провести любого мимо этих сияющих врат, но лишь только вы окажетесь внутри, откроется потайной люк западни. И вы полетите вниз! Я уж лучше побуду слугой, слоняющимся за стенами Лабиринта Месмера, а не его обольщенной жертвой, неуклюже толкающейся внутри.

Говорят, что смерть — это великое пробуждение, выход из мистификаций жизни. Ха! Я вынужден засмеяться. Смерть — это свершение бренности, и — поведаю вам большой секрет — она лишь усиливает человеческое несовершенство. Разумеется, нужен большой мастер, чтобы раскрыть мертвые глаза после того, как их накрепко сшил Доктор Жнец. И даже после эти существа практически ни на что не годны. Как собеседники они чрезвычайно слабы. Не говорят ничего, кроме милых банальностей. Тем не менее польза от них все-таки есть, если только мне удастся достать их неуклюжие формы из мавзолеев, госпиталей, моргов, медицинских школ или похоронных домов,



куда я с большой изобретательностью проникаю. Когда на меня находит настроение, я рекрутирую мертвецов для представления. Они полностью лишены своей воли и превосходно исполняют все, что я им скажу. Правда, есть одна большая проблема: сделать их красивыми просто невозможно! А волшебников-то нет!

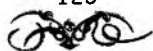
Но зато есть превосходные менталисты, необычайно умелые гипнотизеры. И тогда можно подсказать публике, чтобы она узрела в усопшей красавицу, ошибочно приняла ее за чарующую обольстительницу. Можно сделать хотя бы это.

Даже сейчас я слышу, как эти пошляки из высшего света смеются, танцуют, суетятся вокруг моей обворожительной и мертвой куклы. Мы показали им, кем ты могла быть, Серафита. Теперь пришла пора показать, кто ты есть. Мне лишь надо нажать на маленькую кнопку дверного звонка, чтобы прозвучал колокольчик, который их разбудит, чтобы благовест раскатился по всему дому. Тогда они увидят могильные раны: глаза, запавшие в глазницах, утопленные в гниющей пропасти — этих запутанных глубинах! Они проснутся и увидят, что их красивые одежды заляпаны гнилотной жижей. Они несказанно удивятся.

ТРИЛОГИЯ НИКТАЛОПОВ

III. Глаз рыси

Я уже давно настроился на ее психическую частоту, но другие дела откладывали нашу встречу во плоти. Во время стылых месяцев прошлого года я был очень занятым и очень непослушным мальчиком. Соответствующие институты наконец распознали тип, который мне нравится, и молва понеслась из уст в уста, из губ в губы, ярко окрашенные определенными оттенками, по большей части кроваво-красными, но иногда и траурно-черными. Подпольный мир, в котором я вращался, насторожился: не говори с незнакомцами, и все в таком духе. Осторожность подобного рода лишь еще больше подстегнула мои порывы, а количество «пропавших девушек в готических костюмах», как один журналист довольно глупо описал мои занятия, лишь возросло. А потому моя встреча с ней все откладывалась из-за незапланированных препятствий, по крайней мере, так я думал в то время. Но теперь я стоял на тротуаре рядом с местом ее работы. Дверь в убогое здание из

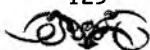


шлакоблоков была довольно неумело выполнена в виде замка с зубчатыми мерлонами. Я посмотрел на светофор, который раскачивался на зимнем ветру, завывающем на каждом углу этого пустынного города. Янтарный свет сменился красным. Я снова взглянул на дверь. Она явственно скрипнула, когда я ее открыл.

Внутри меня встретило собрание девушек, развалившихся на чем-то, что походило на старые церковные скамьи, расставленные вдоль стен. Узкий вестибюль искрился красноватым туманом, что казался даже не светом, а скорее электрическим паром. В дальнем углу от входа, у потолка, висела камера наблюдения, присматривающая за всеми нами, и мне сразу стало интересно, как линза объектива переведет эту алую комнату в голубоватые оттенки на мониторе системы безопасности. Впрочем, это совершенно не мое дело. Все мы можем быть электронно вшиты в безумный пурпурный гобелен, и, по мне, это просто замечательно.

Светловолосая девушка в джинсовых слаксах и кожаном пиджаке встала и подошла ко мне. В этом свете ее локоны выглядели скорее как томатный суп или жирный кетчуп, а не как свежая земляника. Она механически поприветствовала меня словами «Добро пожаловать в Дом Цепей» и все продолжала, и продолжала, перечисляя различные услуги, а завершила свою речь юридическим уведомлением, дабы убедиться, что я не из числа слугителей правопорядка.

— Определенно нет,— сказал я.— Я увидел в местной газете вашу рекламу, ту, что набрана таким шипастым готическим шрифтом, словно



страница из старой немецкой Библии. Я пришел в правильное место, не так ли?

«Это точно», — подумал я про себя.

— Это точно, — эхом отозвалась блондинка в кровавом сиянии, пронизывающем это извращенное заведение.

«Что будет сегодня ночью?» — спросил я себя.

— Что будет сегодня ночью? — осведомилась она вслух.

— Вам уже что-то приглянулось? — одновременно спросили мы меня.

По выражению моего лица и взглядам куда-то в глубину клаустрофобического пространства вестибюля она уже поняла, что мне ничего не приглянулось. Мы были на одной инфракрасной волне.

На секунду мы замолчали, она сделала большой плоток чая со льдом из банки. Именно тогда я осознал, почему так долго сюда добирался. Я приберегал ее напоследок, так как она была редким представителем своей породы. Не дилетантом в делах тьмы и вырождения, а настоящей профи. Вдобавок интенсивность и сосредоточенность ее романтической натуры говорили, что я не проиграю. Снаружи она притворялась суровой и дерзкой, но я все видел: ее нижнее «я» грезило о преследованиях и риске столь же ярких, как у любой готической героини. Я бы мог расстегнуть ширинку и овладеть ею прямо там. Но я рад, что подождал.

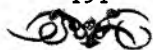
Повернув голову, она нажала кнопку на интеркоме, висящем на стене за ее спиной. Голос девушки звучал так, словно она — начальник, раздающий приказы подчиненным.

— Замените меня у двери, — сказала она веско.



Какая ирония! Она — надзирательница этого места, верховная госпожа, директриса школы для плохих мальчиков.

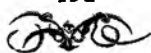
Она снова повернулась ко мне и смерила взглядом фиолетовых глаз. И что сказали мне эти глаза? Они поведали о жизни, которую их обладательница вела в фантазиях: в готической сказке о баронессе, лишенной титула и наследства крупным мужчиной с кустистыми бровями, которые он иногда посыпал блестками. Этот блескобровый злодей, что однажды весной вышел из леса, пока она искала убежища в монастыре кармелиток, намеревался ввергнуть баронессу в свой плен, лишив состояния. Но высокорожденная леди не уступит никогда или же только тогда, когда будет готова. И теперь большую часть своего времени она проводит, призраком бродя по барахолкам и магазинам подержанных вещей, пытаясь вновь собрать свои аристократические аксессуары и предметы, рассеянные по миру коварным поклонником. Пока у нее все получалось, она умудрилась собрать многие из вещей, утерянные из-за махинаций злосердечного лиходея, который со временем неминуемо овладеет ее телом и душой. В коллекции баронессы есть несколько платьев ее любимого монашеско-черного цвета. Каждое из них сильно сужается под грудью, а на уровне талии расходится колоколом. Лиф застегивается пуговицами от груди до самой шеи, которую обхватывает полоса черного бархата, заколотая жемчужной брошью. На запястье тонкая цепочка с медальоном в форме сердца, внутри него — водоворотом закрученный локон светлых волос. Разумеется, баронесса носит



перчатки, длинные и мучнисто-бледные. И извивистые шляпки от безумного шляпника, с ниспадающей вуалью, напоминающей экраны из проволочной сетки в исповедальне. Но больше всего ей нравятся объемные капюшоны, вроде тех, что собираются множеством складок на плечах тяжелых плащей с подкладкой из атласа, сияющего, как черное солнце. Плащей с глубокими карманами как снаружи, так и внутри для хранения драгоценных сувениров, плащей с серебряными шнурами, затягивающимися вокруг шеи, плащей с утяжеленным подолом, которые тем не менее невесомо развеваются под порывами полуночного ветра. Их она горячо любит.

Именно так она одета, когда блескобровый злодей смотрит в ее комнату, проклиная оконный переплет и ее мечты. И что она может сделать? Только сжаться от ужаса. Вскоре она уже размером с куклу в черном кукольном костюме. Куклу, что набита трепещущими костями и лихорадочной кровью, ее внутренности щекочат могильные перышки страха. Она перелетает в угол комнаты и съезживается в огромных тенях, иногда грезя там всю ночь — о колесах экипажа, грохочущих в лавандовой дымке, или жемчужном тумане, о перламутровых коштрах, дрожащих за пределами сельских дорог, об утесах и звездах. А потом просыпается, засовывает в рот мятный леденец, который, уже развернутый, лежит на прикроватном столике, потом выкуривает половину сигареты и выбирается из кровати, гримасничая от света послеполуденного солнца.

— Идем,— говорит она, засунув руки в кожаные карманы.



И ее громкие каблуки выводят меня из комнаты, где на каждом лице играет притворный румянец.

— Так вы мне сейчас проведете экскурсию от управляющего? — спрашиваю я мою госпожу.— Я не из города. Там, откуда я родом, ничего такого нет. Я же получу то, за что заплачу, правильно?

Она ухмыляется:

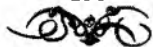
— Удовлетворение гарантировано,— говорит с надменностью, призванной скрыть ее мучительно послушную, подчиняющуюся, натуру.

Она совершает несколько нерешительных движений, но потом направляет меня к металлической лестнице, которая лязгает, пока мы спускаемся в мельтешение алых теней, ядовитый пар преследует нас, волоочась рядом, как безумно преданный дух.

Удивительно, но в несколько казенном подвале Дома Цепей было окно. Впрочем, это оказалась лишь симуляция, сделанная из пустых оконных рам, за которыми располагался нарисованный пейзаж, освещенный тусклой лампочкой. Великие пустоши поднимались к горам, вздымающимся в туманной мгле. Вдалеке проступали очертания замка, похожие на дурное предзнаменование. Я чувствовал себя как ребенок перед витриной в магазине, изображающей мастерскую Санты. Но настроение картина создавала, это точно.

— Красивая вещь,— сказал я своей спутнице.— Очень жуткая. Мои поздравления художнику.

— Художник польщен,— холодно ответила она.— Но здесь, внизу, смотреть нечего, если вы, конечно, хотите именно посмотреть. Лишь несколько комнат, зарезервированных для особых



клиентов. Если вы желаете чего-то действительно жуткого, то пройдите в конец коридора и откройте дверь справа.

Я последовал ее указаниям. На дверной ручке висел довольно большой ошейник для животных с поводком-цепью. Та зазвенела, когда я толкнул дверь. Из-за красного света в коридоре я едва видел, что там, внутри, но ничего и не было, кроме маленькой пустой комнаты. Голый цементный пол с подстилкой из соломы. Запах стоял ужасный.

— Ну? — спросила она, когда я вернулся.

— По крайней мере что-то, — ответил я, еле заметно подмигнув.

Мы просто стояли секунду, смотря друг на друга в сиянии цвета свежего мяса. Потом она повела меня вверх.

— А вы откуда приехали? — спросила она, и шумная лестница превращала каждый наш шаг в раскатывающеся эхо, словно мы волочились по залу в средневековом замке.

— Это очень маленькое место, — ответил я. — Где-то в ста милях от города. Его даже на картах нет.

— И вы никогда не были в месте вроде этого?

— Нет, никогда, — солгал я.

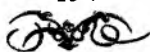
— Некоторые клиенты сходят с ума, когда испытывают в реальности то, что видели лишь в журналах и фильмах. Вы понимаете, о чем я?

— Я ничего такого не сделаю, обещаю.

— Тогда хорошо, следуйте за мной.

И мы пошли.

И по пути увидели немало — целую кукольную панораму с героями всех мастей и палками для

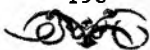


порки. Каждая сцена перелистывалась как страница в извращенной книге.

Запертые двери не были препятствием для моих глаз.

За одной, где каждая стена комнаты была выкрашена тяжелыми черными решетками от пола до потолка, Королева боли — стек поднят высоко над головой — сидела на человеческой лошади. Животное хромало, бежать не могло — только неуклюже переваливалось, а она росла из его спины, как сиамский близнец: королевская кровь и кровь зверя теперь бежали вместе, потоки из отдаленных миров слились в гибридной гармонии. Тварь тяжело дышала, пока Королева хлестала ее по бокам обжигающим стеклом. Все сильнее и сильнее она взнуздывала своего жеребца, пока он не замер, потный, в пене. Пора остыть, лошадка.

За следующей дверью с коряво намалеванной свастики разворачивалась сцена, похожая на предыдущую. Внутри цветные прожекторы понулили головы, а крохотный человек по-видимому с искусственным горбом стоял на коленях, уткнувшись лбом в пол. Его руки затерялись в паре огромных перчаток с бесформенными пальцами, которые трепыхались, словно десять пьяных чертиков из табакерки. Один из пальцев был зажат под острым каблуком. Узри забавного клоуна! Или скорее шута в колпаке с бубенцами. Его обведенные кольцами глаза терпеливо смотрели вверх, во тьму, внимая глухому голосу, что сыпал оскорблениями с вышины. Тот издевался над несоответствием между гордой обладательницей высоких каблуков и униженным уродом на полу,



противопоставлял возвышенные радости воина и шутовское бремя забав. «Но разве радость согбенного горбуна не может быть прекрасной?» — шептали его глаза своими эллиптическими ртами. «Но неужели...» Молчи! Сейчас маленький дурак свое получит.

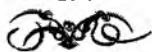
А в комнате, скрывшейся за третьей дверью без каких-либо примечательных отметок, горела единственная свеча, едва разгоняя крошечную тьму. Было сложно сказать, сколько там человек, — не двое, это точно, но и не целая орда. Все в одинаковых нарядах, множество молний, больших и малых, серебряными швами рассекали их костюмы. Я мог поклясться — у самого маленького в зубцы попала ресница. В остальном они вполне могли быть человеческими тенями, что сливались друг с другом, выкрикивая угрозы, обещая устроить настоящее побоище и потрясая опасными бритвами неестественно огромных размеров. Но пусть сверкающие клинки и были угрожающе подняты, они не опускались. Опять притворство, как и все, что я видел в Доме Цепей.

Следующая дверь, а для меня последняя, была концом утомительного восхождения. Я уже думал, что мы каким-то образом оказались в башне.

— Здесь вы получите все, за что платили, мистер, — сказала моя спутница на ночь. — Я всегда могу сказать, чего хотят мои клиенты, даже если они сами этого не знают.

— Покажите свою самую худшую сторону, — сказал я, разглядывая крохотную дверь.

Тут все было яснее ясного, как и прежде. Только сейчас в дело пошли не лошади, жалкие клоу-



ны или параноидальные тени. Тут разыгрывалась драма злой ведьмы и ее раба-марионетки. Неуклюжую маленькую тварь, по-видимому, поймали с поличным. Теперь ведьма должна была поставить ее на место, каркая о том, что марионетки должны делать, а чего не должны в свободное время. Она прошла по комнате, завернувшись в побитую молью накидку, которую взяла с крюка в стене, лицо утонуло в слишком просторном капюшоне. Позади нее витражное окно сияло всеми преданными анафеме оттенками греха. В свете этой адской радуги подернутого рябью целлофана она надела на марионетку ошейник и приковала к внушительно выглядящей каменной стене, которая, впрочем, прогнулась, как алюминиевая, стоило кукле к ней прислониться. Баронесса склонила свое скрытое капюшоном лицо и прошептала в деревянное ухо:

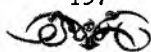
— Знаешь ли ты, что я делаю с такими плохими маленькими куклами, как ты? Знаешь?

Марионетка задрожала, подергалась немного для вида, не выходя из образа. На ней, возможно, даже проступил бы пот, будь она сделана из плоти, а не из дерева.

— Я тебе скажу, как я поступаю с непослушными куклами,— продолжила ведьма не без ласки в голосе.— Я заставляю их прикоснуться к огню. Жгу их от самых ног.

И тут совершенно неожиданно марионетка улыбнулась и спросила:

— А что ты будешь делать со своими старыми платьями, перчатками, вуалями и плащами, когда я уйду? Что ты будешь делать в своем



дешевом замке, когда некому будет смотреть — а брови его из сверкающего серебра — в окна твоих снов?

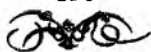
Похоже, кукла все же вспотела, так как ее лоб мерцал от крохотных искр звездного света.

Ведьма отошла назад и сорвала капюшон, открыв белокурую голову. Ей хотелось знать, как я выведал то, о чем она не рассказывала ни одной живой душе. Она обвинила меня в подглядывании, во взломе ее квартиры и в непристойном любопытстве.

— Сними с меня цепи, и я все тебе расскажу, — ответил я.

— Забудь об этом, — ответила она. — Сейчас я позову охрану, и тебя отсюда вышвырнут.

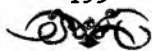
— Тогда мне придется освободиться самому, — и при этих словах оковы вокруг лодыжек, запястий и шеи открылись сами по себе... а цепи спали. — Не стоит отрицать: что-то во мне показалось тебе знакомым. В конце концов, мы были предназначены друг для друга после всего того, что сделали вместе, снова, и снова, и снова. Понимаешь, я всегда знаю желания моих клиентов, если их можно так назвать. Журналисты называют их жертвами. Показывают их лица по телевизору. Я делаю из клиентов знаменитостей, пусть моя роль и остается для всех тайной. А тайна привлекает тебя, ведь так? Трепет от незнания того, что случится в следующий момент. Но я расскажу все, по порядку. Ты слишком надолго застряла в этом нелепом месте. А для людей вроде тебя такая атмосфера может оказаться смертельной. Ты всегда знала о том, что ты — особенная, не отрицай. Всегда вери-



ла, что однажды — ведь судьба ждет буквально за углом, правда? — с тобой случится нечто невероятное, что тебе предстоят возвышенные приключения, пусть сейчас не слишком ясные, но, когда придет их время, совершенно реальные. Столь же реальные, как и бархатные объятия любимого плаща с серебряной цепочкой, что стягивает его похожие на занавес крылья на твоей груди. Столь же реальные, как и высокие свечи, которые ты зажигаешь в грозные ночи. И ты любишь эти бури, когда вереницы капель хлещут по окнам, правда же? И весь этот бедлам сводит тебя с ума. А еще ты представляешь зачаровывающие жестокости, что приносит тебе в сиянии свечей мужчина с блистающими бровями. Представляешь, как беспомощно замираешь от них.

Но сейчас ты в опасности и можешь потерять все, что любишь. Потому я здесь. Тебе нужно выбраться из этого нищенского балагана. Он для деревенщин, он ничтожен. Ты можешь гораздо лучше. Я могу унести тебя туда, где нет конца бушующим штормам и жестокому рабству. Пожалуйста, не уходи от меня. Тебе некуда идти, и я по твоим глазам вижу: ты хочешь того же, что и я. Если ты волнуешься о тяготах странствий к странному неведомым землям — не стоит! Ты уже почти добралась туда. Просто пади в мои объятия, в мое сердце, в... Вот, как легко, правда же?

И теперь она была внутри меня вместе со всеми остальными — ценный экземпляр в моей коллекции хрупких куколок с душами, склонными к бурным ночам, грозам и садистским злодеям. Как я люблю играть с ними!



После ассимиляции я вернулся по своим следам: лестницами вверх и вниз, по коридорам алой тьмы.

— Доброй ночи всем! — попрощался с девушками в вестибюле.

Уже на улице я остановился и проверил, надежно ли она заточена во мне. На ранних стадиях есть вероятность того, что новая пленница сможет растянуть меня изнутри, так сказать, и выломать ворота. Она действительно попыталась освободиться. Впрочем, ничего серьезного. Пьяница, мимо которого я прошел, увидел, как в его сторону из-под моей рубашки вырвалась рука, прямо на уровне груди, под идеальным прямым углом относительно тела. Бродяга отшатнулся, потом с веселым озорством пожал руку, слепо тянущуюся сквозь прутья своей клетки, и отправился своей дорогой. А я пошел своей, как только затолкал ее внутрь невероятной тюрьмы, заключенную моего сердца и его неисчислимых покоев. Какие интересные времена нас ждут: меня, ее и остальных. Я смогу делать с ними что захочу, а хочу я многого. Но им не придется выносить мое отношение вечно. Как только ударит первый мороз в следующем году, я снова отправлюсь в путь, мне снова понадобятся тела, чтобы согреться. К тому времени старые невольницы растают, как сосульки, в промозглых кишках моего родного замка. А пока же я буду зорко высматривать тех, кто идет по этому миру, с охотой подчиняясь мраку.

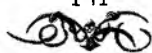
Пока я шел в приятном расположении духа, шел по захудалой улице прочь от Дома Цепей, сигнал на светофоре сменился с янтарного на красный — предзнаменование для моей новой возлюбленной и меня. Теперь мы едины и во плоти, и в снах.



ЗАМЕТКИ О ТОМ, КАК ПИСАТЬ УЖАСЫ: РАССКАЗ

Уже довольно давно я обещал сформулировать свои взгляды на то, как писать рассказы о сверхъестественных ужасах. И тем не менее постоянно откладывал этот вопрос. В свое оправдание могу сказать лишь то, что у меня совершенно не было времени. Почему? Я был слишком занят, писал их, моих любимых и родненьких. Но немало людей по самым разным причинам хотели бы стать писателями ужасов и жаждут совета о том, как к этому приступить. Мне об этом известно. К счастью, сейчас наступил момент, когда мне удобно поделиться своими знаниями и опытом об этом литературном призвании. Что ж, полагаю, сейчас я готов как никогда. Приступим, пожалуй.

Я намерен придерживаться довольно простого плана. Сначала набросаю основной сюжет, персонажей и другие детали рассказа ужасов. Затем изложу свое видение того, как с этими базовыми элементами можно обойтись, используя несколько основных стилей, к которым писатели ужасов прибегали годами. Если все пройдет гладко, нови-

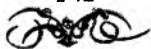


чок в нашем ремесле сбережет немало времени и стараний, которые потратил бы, если бы до всего доходил сам. По дороге, когда будет уместно, я проанализирую особенности различных техник, приду к крайне предвзятым выводам об их намерениях и целях, а также дам общий комментарий о философии хоррора и так далее.

Но прежде всего я бы хотел пояснить, что далее изложу примерный план рассказа, который в своей законченной форме должен был появиться в числе опубликованных работ Джеральда К. Риггерса (это мой литературный псевдоним, если вы не знали). Тем не менее я его так и не завершил. Я просто не смог дистанцироваться от этой истории. Такое случается. Возможно, далее мы разберем подобные случаи непоправимых неудач. Возможно, нет. Как бы там ни было, голый скелет этого сюжета вполне подходит для демонстрации того, как писатели ужасов делают то, что делают. Прекрасно. Тогда вот история перед вами, рассказанная моими собственными словами.

Сюжет

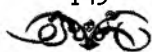
У главного героя, мужчины тридцати лет, назовем его Натан, свидание с девушкой, на которую он страстно хочет произвести впечатление. Именно поэтому небольшую роль в его плане должна сыграть прекрасная новая пара брюк, которую он хочет найти и купить. На пути перед ним предстают несколько препятствий, полностью реалистических, но в конце концов он приобретает желаемый предмет гардероба по разумной цене.



Брюки пошиты идеально, это очевидно. Пока все идет хорошо. Даже очень хорошо, ведь Натан полагает, что личные вещи человека обладают определенными свойствами и качествами. Например, пальто Натана — это красивое и прекрасно сшитое одеяние, которое он заказал у крайне уважаемого продавца элитной одежды; его наручные часы — совершенный хронометр, завещанный Натану родным дедом; его машина — изысканный, но не слишком бросающийся в глаза автомобиль. С точки зрения Натана, определенные сущности есть не только в вещах, но также в некоторых местах, событиях, происходящих во времени и пространстве, а также в манерах поведения. Натан полагает, что каждый аспект человеческой жизни должен сиять сущностями, смыслами, так как именно они делают индивидуума по-настоящему реальным. Так что это за сущности? С течением времени Натан сузил их список до трех: волшебства, вечности и глубины. И пусть мир вокруг него, по большей части, лишен этих трех элементов, Натан считает, что в его собственной жизни их количество хоть и меняется, но всегда остается приемлемым. Есть они и в его новых брюках, определенно; и сейчас Натан впервые в жизни надеется, что будущий роман — который он намерен закрутить с некой Лорной Макфикель — тоже не будет их лишен.

Пока все идет хорошо. Пока не наступает ночь первого свидания Натана.

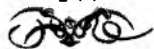
Мисс Макфикель живет в респектабельном пригороде, но дорога от дома Натану к ее дому протекает через самые опасные районы города. Нет проблем: Натан держит машину в идеальном



состоянии. Если он не будет открывать двери и окна, все пройдет безупречно. Несчастливый жребий, разбитые бутылки на разбитой улице и спущенная шина. Натан паркуется у обочины. Он запирает часы деда в бардачке для перчаток, снимает пальто, аккуратно складывает его и прячет под приборной доской. Что же касается брюк, то ему просто придется с невероятной аккуратностью и в рекордные сроки поменять шину в районе города, известном как Лазейка Надежды.

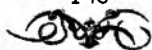
И вот, пока Натан меняет шины, он чувствует в ногах нечто странное. Он мог бы счесть, что виновником тому физический труд, которым он занимается в брюках, не слишком подходящих для подобных издевательств. Впрочем, так он лишь обманул бы себя. Ведь Натан помнит, что ему уже было не по себе, пусть и не так явно, когда он примерил брюки дома. В магазине ощущения от них казались совершенно иными, иначе он бы не купил их. И Натан бы вернул эту пару, но до свидания с Лорной Макфикель оставалось слишком мало времени, и найти другие, столь же хорошо сидящие брюки было невозможно, хотя они и оказались далеко не столь идеальными, как только начали странно воздействовать на Натана. Но насколько странно? Кожу слегка покалывает, а еще она как будто дрожит. Чуть — Натан всего лишь нервничает из-за встречи с прекрасной Лорной. И трудности, с которыми он столкнулся, не слишком помогают успокоиться.

Вдобавок ко всем несчастьям, уже обрушившимся на Натана, за тем, как он меняет шину, наблюдают два неопрятных подростка. Он стара-



ется не обращать на них внимания, и ему это удастся, даже слишком. Он не замечает, как один из явных преступников подходит к машине и открывает переднюю дверь. Ужасное невезение — Натан забыл ее запереть. Дерзкий хулиган крадет пальто нашего героя, и оба малолетних ничтожества исчезают в полуразрушенном здании.

Дальше все происходит очень быстро. Натан кидается в погоню за грабителями, забегает по видимому в нежилой многоквартирный дом и там падает, скатываясь по лестнице в грязный подвал. И дело не в гнилых ступеньках, нет. У Натана откалывают ноги. Они больше не работают. Покалывание и дрожь усилились и вывели из строя все тело от поясицы и ниже. Натан пытается снять брюки, но они не слезают, словно стали его второй кожей. Со штанами явно произошло что-то ужасное. Далее идет объяснение, что же именно. За несколько дней до того, как Натан купил брюки, некая женщина пришла в магазин и вернула их, потребовав назад деньги. Она сказала, что ее мужу брюки не понравились, так как вызывали странные ощущения в ногах, и это было истинной правдой. Правда, она не сообщила, что ее супруг умер от сердечного приступа буквально через несколько минут после того, как примерил обновку. Желая спасти хотя бы что-то после трагедии, женщина одела покойного в пару из грубой парусины, прежде чем сделать следующий ход. Бедному Натану, разумеется, ничего об этом не рассказали. Тем временем хулиганы, укравшие его пальто, видят, что он лежит беспомощный в мерзости подвала, решают воспользоваться ситуацией и изба-

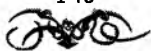


вить нашего героя от ценных вещей... начав с дорогого выглядящих брюк и тех сокровищ, что таятся в их карманах. Но когда они снимают их с протестующего и парализованного Натана, то оставляют все мысли о дальнейшем грабеже. Они видят ноги Натана — зловонные конечности разлагающегося человека. Нижняя часть тела нашего героя гниет на глазах, и верхняя тоже должна умереть в плену бесчисленных теней этого проклятого здания. В агонии и безумии от осознания своей скорой кончины Натана переполняет отвращение и тоска при одной мысли: скорее всего мисс Макфикель решит, пусть и ненадолго, что он обманул ее уже на первом свидании, первом из числа множества встреч, что по велению самой судьбы должны были увенчаться волшебным, вечным и глубоким союзом двух сердец.

Между прочим, если бы этот рассказ получил свое воплощение, то скорее всего получил бы название «Романс мертвеца».

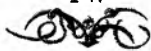
Стили

Как я уже говорил, существует несколько способов написать рассказ ужасов. Истину или ложность подобного заявления легко продемонстрировать. В этом разделе мы проанализируем три основные техники, которые авторы довольно давно используют при создании рассказов ужасов. Это *реалистическая техника, традиционная готическая и экспериментальная*. Каждая служит тому, кто решил ею воспользоваться, по-разному, они нужны для решения разных задач — это оче-



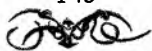
видно. Только изучив собственную душу, перспективный писатель хоррора может осознать, какую из этих техник ему следует выбрать для достижения своих целей. Итак.

Реалистическая техника. С тех самых пор, как появилось на свете сознание, неутомимые языки спрашивали: реален ли мир и живущие в нем люди? Да, отвечает реалистическая литература, но только когда и он, и они нормальны. Сверхъестественное и все, что оно представляет,— явление глубоко неправильное и, следовательно, нереальное. Мало людей готово поспорить с этими умозаключениями. Прекрасно. Поэтому высочайшая цель писателя, работающего в русле реалистического хоррора,— доказать в реалистических терминах то, что нереальное реально. Встает вопрос: можно ли это сделать? И есть ответ: разумеется, нет. Исполняя подобный трюк, трудно не выставить себя дураком. Следовательно, автор реалистического хоррора, пусть и в совершенстве овладев искусством пустых доказательств и постулатов, довольствуется лишь видимостью того, что сглаживает этот неразрешимый парадокс. Для достижения такого эффекта сверхъестественный реалист должен досконально знать нормальный мир и считать само собой разумеющейся его реальность (ему поможет, если он и сам будет нормален и реален). Только тогда ирреальное, аномальное и сверхъестественное можно контрабандой протащить в сюжет под видом простой коричневой коробки с надписью: «Надежда, Любовь и Печенья с предсказаниями» и маркой «Граница Незведанного». И не только неизведанного, но и кресла любезного читателя.



В финале, разумеется, сверхъестественное объяснение истории будет полностью зависеть от придуманного иррационального принципа, который в нормальном мире выглядит так же неуклюже и глупо, как розовощекий фермерский паренек в логове зловонных дегенератов. (Возможно, их стоит поменять местами, чтобы получился розовощекий дегенерат в логове зловонных фермерских пареньков.) Тем не менее такой фокус можно с успехом проверить. Это очевидно. Просто помните, что читателя надо успокаивать, и по всему тексту в определенных местах необходимо расставить маячки, говорящие: сейчас можно и даже нужно поверить в невероятное. Вот как историю Натана можно рассказать, пользуясь реалистической техникой. Вперед!

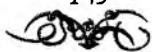
Натан — нормальный и реальный персонаж, или, по крайней мере, близок к этому. Возможно, он не столь нормален и реален, как ему бы хотелось, но он стремится к этой цели. Пожалуй, даже слишком, но все же не переходя за грань нормальности и реальности. Мы уже выяснили, что у Натана есть фетиш на «волшебство» (и это слово сейчас лучше заключить в кавычки, помня о том, что хоть протагонист и вкладывает в него позитивное значение, оно будет полностью сметено к концу рассказа, когда мир черной магии обрушится на голову Натана), «вечность» (и снова кавычки — для кого как, а для нашего героя время точно истекает) и «глубину». (В этом понятии есть сложность, которой в других нет. «Волшебство» и «вечность» иронически и довольно банально связаны с событиями рассказа. С «глубиной» все не так. У этой



«сущности» нет ауры, по крайней мере, для реалистического писателя. Пока не будем ее трогать.)

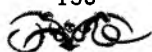
Натан постоянно ищет эти качества, что может показаться несколько необычным, но уж точно не аномальным или сверхъестественным. (А чтобы сделать главного героя еще более реалистическим, снабдите его пальто, часы и машину названиями каких-нибудь брендов, автобиографически позаимствовав их из собственного шкафа, с запястья или из гаража.) Троичная формула, преследующая Натана — похожая на девиз с фамильного герба, напичканного латинизмами, — призраком следует по тексту рассказа, словно рефрен в песне. Можно выделить ее курсивом, как монотонный речитатив, ритуально звучащий в подсознании нашего антигероя, можно не выделять. (Постарайтесь без искусственности: помните, у нас тут реализм.) Натан хочет, чтобы его роман с Лорной Макфикель, как и все в жизни, что он считает ценным, был волшебным, вечным и, в некоем расплывчатом смысле, глубоким. Для Натана именно эти свойства дают ощущение нормальности и реальности в беспорядочной вселенной, где все вокруг постоянно угрожает стать аномальным и ирреальным для любого человека — не только для него.

Хорошо, идем дальше. Значит, Лорна Макфикель представляет собой все добродетели нормальности и реальности. В избранном нами стиле ее можно показать более нормальной и реальной, чем Натан. Может, наш главный герой довольно невротичен; может, ему слишком сильно нужны нормальные и реальные вещи, я не знаю. (А если бы знал, то, возможно, сумел бы написать этот



рассказ.) В общем, Натан хочет завоевать нормальную, реальную любовь, но у него не получается. Он проигрывает, даже не получив шанса сделать первый ход. Проигрывает безоговорочно. Почему? Для ответа мы можем обратиться к очень популярной теме в рассказах ужасов: будь осторожен в своих желаниях, ибо ты точно получишь нечто совершенно им противоположное. Натан стал слишком жадным. Он захотел того, чего человеческий опыт предложить не может,— совершенства. И чтобы высветить эту реальность, некие внешние сверхъестественные силы были введены в повествование, дабы преподать Натану, а вместе с ним и читателю урок. (Реалистические рассказы ужасов могут быть крайне нравоучительными.) Но как такое может быть? Вот в чем суть любого сверхъестественного рассказа ужасов, даже реалистического. Каким образом в жизнь Натана сквозь врата, что бдительно охраняют стражи Нормальности и Реальности, проскользнуло сверхъестественное? Просто иногда оно ступает аккуратно, приближается неслышно, дюйм за дюймом, пока в один прекрасный момент не заявляется без приглашения.

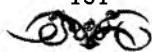
Итак, в истории о Натане источник сверхъестественного кроется внутри таинственных брюк. Они сшиты из материала, которого наш герой никогда не видел; у них нет ярлыка с названием производителя; других таких, пусть иного размера или цвета, в магазине не находят. Когда Натан спрашивает о них продавца, мы вводим в повествование Доказательство номер один: брюки были получены, словно ниспосланные свыше, портным, которому Натан благоволит. Они не



должны были находиться в той партии одежды, с которой пришли, продавец все просматривает досконально. И никто в магазине ничего не может сказать о них Натану, и это также проверяют не раз и не два. Все эти факты превращают брюки в настоящую тайну, причем совершенно реалистическим способом. Читатель улавливает намек, что какие-то странные дела творятся с этими штанами, и потом легко позволит такой странности перейти в сверхъестественное.

Вот тут внимательный ученик может спросить: даже читатель действительно признает, что брюки волшебные, почему они производят такой эффект, почему разлагают тело Натана? Для ответа на этот вопрос нам потребуется ввести Доказательство номер два: Натан — не первый владелец брюк. Незадолго до того, как они стали его волшебным, вечным и глубоким имуществом, их носил человек, чья жена придерживалась правила «чего добру пропадать», и потому стянула с него новенькие, с иголки штаны, когда ее суженый рухнул на пол и отошел в мир иной. Но эти «факты» ничего не объясняют, ведь так? Разумеется. Тем не менее может показаться, что они объясняют все, если только подать их правильным способом. Для этого надо лишь связать Доказательства номер один и номер два (их может быть и больше) внутри схемы реалистического повествования.

К примеру, Натан может найти в штанах некий предмет, который приведет его к выводу, что он — не первый владелец своей обновки. Возможно, лотерейный билет на значительную, но не слишком заманчивую сумму. Будучи нормальным честным

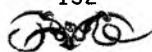


человеком, Натан звонит в магазин, объясняет ситуацию, и вместе с продавцом они вытаскивают на свет божий имя и телефон джентльмена, который купил эти брюки, а потом вернул их то ли сам, то ли отправил поверенного — подпись на бланке возврата трудно разобрать (как реалистично). Вполне возможно, что лотерейный билет принадлежал ему. Натан совершает еще один звонок — нашего героя не расстраивает то, что он не первый владелец штанов, ведь они идеально подходят для его планов, и выясняет, что одежду вернул не мужчина, а женщина. Та самая женщина, которая объясняет Натану, что она и ее муж — забудем об обширном инфаркте — могли бы извлечь немало пользы из своего скромного выигрыша.

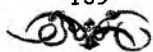
К этому времени разум читателя сосредоточен вовсе не на лотерейном билете, а на том факте, что Натан — владелец и будущий носитель брюк, которые, кажется, уже убили одного человека и бог знает сколько еще. Так они ассоциирует штаны с брэнностью и распадом, со злом, вплетенным в удручающую ткань жизни, злом, что под разными личинами (в виде брюк, ручек, рождественских игрушек) сбивает спесь со своих хозяев, когда те решают пойти против правил мира. И вот когда почти реальный, почти нормальный Натан теряет всякую надежду достичь полной нормальности и реальности, читатель знает почему: не то время, не те брюки и ошибочные ожидания от жизни, которой наплевать на все наши представления о нормальности и реальности.

Реалистическая техника.

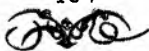
Это легко. Теперь попробуйте сами.



Традиционная готическая техника. Определенного рода люди и тем более определенного рода писатели всегда воспринимали мир вокруг в готической манере — в этом я практически уверен. Возможно, на свете когда-то жил маленький обезьяночеловек, который, узрев доисторическую молнию в доисторической ночной тьме без дождя, почувствовал, как его душа одновременно вздымается и падает при виде этой возвышенной и ужасающей борьбы. Кто знает, возможно, именно такое зрелище стало вдохновением для первых плодов воображения, не связанных с повседневной жизнью и суровым выживанием. Не потому ли все первобытные мифологии человека — готические, то есть страшные, фантастические и бесчеловечные? Я только задаю вопрос, вы видите. Возможно, во время своих ежегодных миграций по бесприютным пейзажам из скалистых утесов или по скелетным пустошам из зазубренных льдов наши шерстистые переваливающиеся предки по ночам жались в тени, усеченной луной, а страшные раскаты громовых ужасов пронизывали их насквозь, в абстрактном смысле слова, конечно. Эти древние создания не сомневались, что существует иной мир, устрашающий, фантастический и бесчеловечный, ведь ему даже не нужно было выставлять свою реальность напоказ перед ними, они чувствовали ее в своей крови. Наивные, лежковерные создания! И по сей день страшное, фантастическое и бесчеловечное держит наши души в крепкой хватке. Это воистину бесспорно.

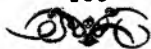


Поэтому у традиционной готической техники даже для современного писателя есть два главных преимущества. Во-первых, отдельные сверхъестественные случаи не смотрятся глупо в готическом рассказе, в отличие от реалистического, ибо последний подчиняется жесткой школе реальности, тогда как первый признает лишь университет снов. (Конечно, весь готический рассказ может показаться нелепым отдельным читателям, но это уже вопрос темперамента, а не техники исполнения.) Во-вторых, готическая история остается в разуме читателя с упорством, не свойственным любому другому виду повествования. Конечно, она должна быть правильно исполнена, вне зависимости от того, что вы сами подразумеваете под словами «правильно исполнена». Значит ли это, что Натан должен жить в монументальном замке, больше похожем на тюрьму, в таинственном пятнадцатом веке? Нет, но он может жить в замкообразном небоскребе, больше похожем на тюрьму, в столь же таинственном современном мире. Значит ли это, что Натан должен быть мятущимся и мрачным готическим героем, а мисс Макфикель — неземной готической героиней? Нет, но в психологии нашего героя может появиться чуть больше одержимости, а мисс Макфикель может казаться ему не образцом нормальности и реальности, а воплощением чистого, подлинного Идеала. Реалистическая история верна нормальности и реальности, а мир готического повествования, напротив, фундаментально аномален и ирреален, сущности волшебства, вечности и глубины в нем настолько сильны, что реалистическому Натану



они бы не явились даже в его снах. А потому не будем лукавить: чтобы создать правильный готический рассказ, автор должен обладать чертами воинственного романтика, который излагает сюжет волнующим, полным грез языком. Отсюда берет начало известная напыщенность риторики, свойственная готическому повествованию, но для сочувствующего читателя она — не просто надувной плот, на котором воображение плывет, как ему вздумается, по волнам высокопарности, но скорее паруса души готического художника, раздуваемые ветрами экстатической истерии. Поэтому трудно рассказать кому-то, как писать готический рассказ — с этим даром нужно родиться. К сожалению. Можно лишь предложить ученикам уместный пример: готическую сцену из «Романса мертвеца» Джеральдо Риджерини, переведенную с родного ему итальянского языка. Эта глава называется «Последняя смерть Натана».

Сквозь треснувшее окно, испещренное полосами голубой пыли, что завораживает душу возвышенным чувством запустения, рассеянный свет сумерек просачивался на пол, где лежал Натан, потеряв всякую надежду обрести былую подвижность. «Во тьме ты — нигде, — подумал он, — как дитя, что прячется под одеялом». Все вокруг окутывал плащ ночи, и зрение окончательно потеряло смысл; в голубоватом полусвечении каменного подвала Натан более не видел ничего, кроме предзнаменований мрачного фатума. С мучительными усилиями он приподнялся на локте, смотря в грязно-лазурную тьму, невольно прищурившись



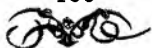
из-за слез унижения. Сейчас он казался себе пациентом, брошенным в операционной, что нервно оглядывается вокруг с единственной мыслью, мятущейся в разуме: не забыли ли его на этом ледяном столе? Если бы только его ноги могли, как некогда, двигаться, если бы только эта парализующая боль чудесным образом исцелилась! Да где же эти проклятые врачи, снова и снова лихорадочно спрашивал он себя. А, вот и они, стоят в бирюзовом тумане операционных ламп.

— Кончился паренек, — сказал один своему коллеге. — Давай заберем все его побрякушки.

Но когда они сняли брюки Натана, операция бесцеремонно завершилась, и пациента бросили в синих тенях безмолвия.

— Боже, ты только взгляни на его ноги, — закричали врачи.

О, если бы он только мог так кричать, подумал Натан, а в его голове роился хаос предсмертных мыслей. Если бы он только мог воззвать к ангельской деве, чтобы она услышала его! Тогда бы он принес извинения за свое неизбежное отсутствие в их волшебном, вечном и глубоком будущем, которое на самом деле было столь же мертво, как и две ноги, разлагавшиеся прямо у него на глазах. Неужели даже сейчас он сможет лишь шептать, сейчас, когда колющая мука расплавляющихся конечностей стала проникать во все его существо? Но нет. Это было невозможно — невозможно издать звук такой громкости, — хотя через некоторое время он все же сумел закричать себя до смерти.



Традиционная готическая техника.

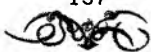
Это легко, если вы созданы для такой работы. Попробуйте сами и все поймете.

* * *

Экспериментальная техника. Каждую историю надо рассказывать правильным способом. И иногда этот способ может ввести публику в замешательство. На самом деле в ремесле автора нет такого понятия, как экспериментальность, в смысле проб и ошибок. Рассказ — это не эксперимент, эксперимент — это эксперимент. И никак иначе. «Экспериментальный» автор просто следует велению истории, он должен рассказать ее так, как нужно, и неважно, сбивает это кого-то с толку или нет. Писатель — это не рассказ, рассказ — это рассказ. Только так.

А сейчас мы должны задать себе следующий вопрос: требует ли сюжет о Натане подхода, находящегося за пределами традиционных техник, реалистической и готической? Возможно, хотя бы для цели этих «заметок». Так как я практически отказался от идеи завершить «Романса мертвеца», то, думаю, не будет ничего плохого в том, чтобы еще немного усложнить голый скелет сюжета, пусть даже это может не пойти ему на пользу. Вот какие богохульные опыты безумный доктор Риггерс стал бы ставить на своем рукотворном Натанштейне. Секрет жизни, мои отвратительные Игори, заключается во времени... времени... времени.

Экспериментальная версия этого рассказа могла бы быть следующей: две истории, проис-



ходящие «одновременно», каждая развивается в альтернативных частях, происходящих в параллельных хронологиях. Одна часть начинается со смерти Натана и идет обратно во времени, тогда как вторая стартует со смерти первоначального владельца магических брюк и развивается вперед. Понятно, что в части Натана факты надо расположить так, чтобы повествование казалось понятным с самой первой страницы, то есть с финала. (Не рискуйте — не стоит вводить в замешательство своих достопочтенных читателей.) Две истории встречаются на перекрестке в финальной части рассказа, когда судьбы двух героев сталкиваются, то есть все происходит в магазине, где Натан совершает роковую покупку. На входе он сталкивается с кем-то, занятым пересчетом денег, то есть с той самой женщиной, которая вернула брюки, вновь отправленные на прилавок.

— Прощу прощения, — говорит Натан.

— Смотри, куда идешь, — отвечает женщина.

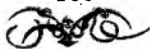
Разумеется, в этот момент мы уже знаем, куда идет Натан и какие «волшебные» и «глубокие» неприятности ждут его по мере того, как он кружит по «вечной» нарративной петле.

Экспериментальная техника.

Это легко. Теперь попробуйте сами.

Другой стиль

Все стили, которые мы проанализировали, упрощены для целей обучения, понимаете? Каждый представляет собой дистиллированный пример своего рода — не будем себя обманывать.

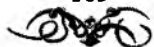


В реальном мире литературы ужасов все три вышеупомянутых техники сплетаются довольно странными путями, причем зачастую до такой степени, что с практической точки зрения мое предыдущее обсуждение иногда кажется совершенно бессмысленным. Но такое смешение служит нашей скрытой цели, которую я приберегаю напоследок. И прежде чем мы перейдем к ней, я бы хотел достаточно кратко описать еще один стиль.

История Натана очень близка моему сердцу и, я надеюсь, своей травматичностью сердцу многих других людей. Я хотел написать этот рассказ таким образом, чтобы читателей встревожила и опечалила не только катастрофа Натана, но само существование мира, где такая катастрофа возможна. Я хотел сотворить историю, которая вызвала бы к жизни скорбную вселенную, независимую от времени, пространства или персонажей. Героями рассказа должны были стать сама Смерть во плоти, Желание, щеголяющее в новой паре брюк, Децидирата, воплощение цели, находящаяся на расстоянии вытянутой руки, и Рок в любых возможных проявлениях.

Я не смог этого сделать, друзья мои. Я взялся за написание рассказа, который, с моей точки зрения, был бы исключительно глубоким. (Вот, наконец, я выдаю причину, по которой Натан считает эту сущность важной.) Но я просто не смог найти в себе достаточно решимости завершить ее.

Это непросто, и я не советую пробовать подобное вам.



Финальный стиль

Теперь, когда эти заметки подходят к концу, настало время раскрыть мои личные взгляды на то, как следует писать рассказ ужасов. Не забывайте, это только мой взгляд, мое личное мнение, но у ужаса есть свой собственный голос. Какой же? Старого сказителя, который не дает заснуть слушателям у пламенного костра? Документалиста, что делает доклад о подслушанных беседах, в которых участия не принимал, и о событиях, исторических или современных, которых сам не видел? Или даже бога, что плетет ткань бытия, видит незримое и ради читательского удовольствия повествует со всеведущей точки зрения о страшном и пугающем? По зрелом размышлении я утверждаю, что ни эти голоса, ни те, которые мы анализировали раньше, не являются голосами ужаса. Настоящий голос ужаса — это одинокий зов в полночной тьме. Иногда он еле слышен, словно стрекот крохотного насекомого в закрытом гробу, но иногда гроб трескается, как хрупкий экзоскелет, и изнутри раздается пронзительный чистый крик, рассекающий чернильный мрак. Другими словами, настоящий голос ужаса — это голос *личной исповеди*.

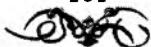
Если вы подыграете мне немного, я постараюсь обосновать выдвинутое мною предположение. Ужас — не ужас, если только он не ваш собственный, если только он не знаком вам лично. Возможно, вы не сумеете показать его исключительно глубоко, но именно так начинается создание подлинного хоррора. А истинный он, потому что



исповедающийся рассказчик всегда хочет что-то сбросить с души, и пока излагает историю, мучается под грузом своего кошмарного бремени. С моей точки зрения, нет ничего более очевидного. Правда, пожалуй, в идеале рассказчик и сам должен быть писателем ужасов, если не по профессии, то по характеру. И это столь же очевидно. И так будет лучше. Но как применить *исповедальную технику* к рассказу, с которым мы работаем? Его герой — не писатель ужасов, по крайней мере, я его таким не вижу. Нам явно придется внести некоторые поправки.

Как читатель мог заметить, Натана можно изменить в соответствии с разными литературными стилями. В одном он может склоняться к нормальности, в другом — к аномальности. Его можно трансформировать из реалистической личности в экспериментальную абстракцию. Он может играть любое количество человеческих и нечеловеческих ролей, представляя практически все, что захочет писатель. Но когда я впервые придумал его и его незавидную судьбу, я хотел, чтобы он воплощал мою реальную жизнь. Ибо под маской псевдонима, под Джеральдом Карлоффом Риггерсом скрываюсь я — не кто иной, как Натан Джереми Стейн.

Потому не будет слишком надуманным, если Натан станет писателем ужасов, который желает рассказать путем художественной литературы о кошмарных превращениях собственного опыта. Возможно, он мечтает о достижении готической славы, создавая тексты ни много ни мало волшебные, вечные, а дальше вы и сами знаете.

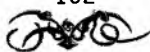


Он — страстный потребитель аномального и иррационального: искатель призрачных рынков, посетитель распродаж нереальности, завсегдатай барахолок в глубочайших подвалах неизведанного. И каким-то образом он смог раздобыть свою мечту об ужасе, даже не поняв, что купил или чего ему это стоило. Как и другой Натан, этот в конце концов выяснил, что он приобрел далеко не то, на что рассчитывал, — кота в мешке, а не красивую пару брюк.

О чем я? Сейчас объясню.

В исповедальной версии рассказа о Натане у главного героя должна быть некая ужасная тайна, о которой он расскажет, нечто, что опишет его как упертого фанатика всего устрашающего, фантастического и бесчеловечного. Решение очевидно. Натан поведаст о том, как глубоко погрузился в аберрации УЖАСА. С тех пор как себя помнит, а может, еще раньше, он испытывал страсть к сверхъестественному. Другими словами, Натан — ни нормальный парень, ни реальный.

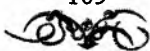
Как и в предыдущих вариантах, переломной точкой в биографии Натана как человека (или творения) ужаса стал неудавшийся роман с Лорной Макфикель. В других версиях рассказа персонаж, известный под этим именем, это особа переменной значимости: нашему влюбленному она кажется то сверхреальной, то суперидеальной. Исповедальный «Романс мертвеца» тем не менее дает ей новую личность — непосредственно самой Лорны Макфикель, которая живет напротив меня в готическом замке небоскреба с двумя башнями, сотами квартир и коридорами, выстланными новыми



коврами. Но в остальном между главной героиней вымышленной истории и ее аналогом в рассказе, основанном на фактах, не так уж много разницы. Лорна из рассказа запомнит Натана как мерзопакостного типа, испортившего ей вечер, разочаровавшего ее, а реальная Лорна, нормальная Лорна чувствует себя так же, или же чувствовала, так как я сомневаюсь, что она даже думает о ком-то, кого назвала *самым отвратительным существом на планете*. И пусть эта гипербола сорвалась с ее уст в пылу негодования и напряжения, полагаю, ее отношение было искренним. Тем не менее я никогда не раскрою причину ее ярости — даже под пытками. Мотивация персонажей не слишком важна для этого рассказа ужасов, тем более по сравнению с событиями, которые произошли с Натаном после чересчур откровенного отказа Лорны.

Ибо теперь он понимает, что его нездоровая природа — не какой-то каприз психологии, нет, всю его жизнь им управляли сверхъестественные влияния, а он сам подчиняется лишь одной власти — власти демонических сил, которые желают вернуть в свои объятия изгнанника из бездн тень. Короче говоря, Натан никогда не был человеческим существом, не рождался таковым, и эту истину он должен принять. Трудно. И он знает, что однажды демоны придут за ним.

Пик кризиса приходится на вечер, когда силы писателя ужасов окончательно иссякли. Он попытался выразить свою сверхъестественную трагедию в рассказе — своем последнем рассказе, но просто не смог достичь кульминации подходящей интенсивности и воображения, которая бы оправ-



дала космический масштаб его боли. Он не сумел воплотить в словах полуавтобиографическую скорбь, а все эти игры с вымышленными именами лишь сделали ее еще мучительнее. Отвратительно прятать свое сердце в псевдонимах внутри псевдонимов. Наконец, писатель ужасов, по-прежнему сидя за письменным столом, начинает кричать, рыдать над рукописью незаконченного рассказа. И так продолжается некоторое время, пока единственным желанием Натана не остается жажда простого человеческого забытья в человеческой постели. Несмотря на все свои изъязны, горе — это великое снотворное, которым можно одурманить себя и отправиться в бесшумный, бессветный рай вдали от агонизирующей вселенной. Пусть будет так.

Немного погодя кто-то начинает стучать в дверь Натана, причем колотит довольно нетерпеливо. Кто же это? Надо ответить и выяснить.

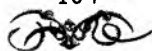
— Эй, ты это забыл, — сказала красивая девушка, бросая шерстяной свертки мне в руки.

Она уже собралась уходить, но тут повернулась и чуть пристальнее всмотрелась в черты моего лица. Иногда я перевоплощаюсь в других людей: странного Нормана или же пару-тройку Натанов, и этой ночью вновь натянул маску.

— Прошу прощения. Я думала, ты — Норман. Это его квартира, как раз напротив моей. — Она повернулась и махнула рукой в сторону своей двери. — А ты кто?

— Я — друг Нормана.

— Ой, ну извини тогда. Я в тебя его штаны бросила.



— Ты их заштопала или что? — невинно спросил я, осматривая брюки, словно в поисках шрамов от починки.

— Нет, у него просто не было времени надеть их, когда я выкинула его из квартиры, понимаешь, о чем я? Я съезжаю из этой жуткой помойки, только чтобы быть подальше от него. Можешь ему так и передать.

— Не стой в коридоре, тут такой сквозняк, заходи внутрь, скажешь ему сама.

Я улыбнулся ей, и она довольно участливо улыбнулась в ответ. Я закрыл за ней дверь.

— Так имя-то у тебя есть? — спросила она.

— Пенцанс. Зови меня Пит.

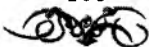
— Ну хоть не Гарольд Уэкерс, или какое там имя стоит на убогих книжонках Нормана.

— Полагаю, ты имеешь в виду Уикерса, Г. Д. Уикерса.

— Да в любом случае ты вообще не похож на Нормана или кого-то, с кем бы Норман дружил.

— Уверен, это комплимент, судя по тому, что я уже знаю о ваших отношениях. Но я тоже пишу книги, чем-то похожие на творения Г. Д. Уикерса. Моя квартира на другом конце города, там затеяли ремонт, все в краске, и Норман был достаточно добр — пригласил пожить у себя, даже одолжил свой письменный стол.— Я рукой указал на орошенный слезами объект моего последнего замечания.— Норман и я иногда сотрудничаем, пишем под общим псевдонимом и прямо сейчас работаем над новым проектом.

— Как мило, не сомневаюсь,— сказала она.— Кстати, я Лора...



— О'Финни,— закончил я ее реплику.— Норман крайне высоко отзывался о тебе.

— А где этот ушлепок?

— Спит,— ответил я, ткнув пальцем в сторону спальни.— Мы много работали над новым рассказом, но я могу его разбудить.

Лицо девушки перекосило от отвращения.

— Забудь,— ответила она, направляясь к двери. Потом повернулась и медленно подошла ко мне: — Может, мы еще увидимся.

— Все возможно,— заверил я ее.

— Только сделай одолжение, держи Нормана подальше от меня, если ты не против.

— Думаю, я легко с этим справлюсь. Но сначала ты должна кое-что для меня сделать.

— Что?

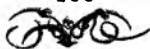
Я доверительно склонил к ней голову.

— Прошу, умри, Дезидерата,— прошептал я ей на ухо, сжал ее шею двумя руками, вырвав из девушки жалкий крик вместе с жизнью. А потом приступил к настоящей работе.

* * *

— Проснись, Норман,— крикнул я, стоя у подножия его кровати и сложив руки за спиной.— А ты спал действительно мертвым сном, знаешь об этом?

Небольшая, но подлинная драма разыгралась на лице Нормана, когда удивление побороло сон, и обоих, в свой черед, поразила тревога. За последние несколько ночей он немало всего прошел, трудясь над своими «заметками» и другими



вопросами, теперь ему действительно был нужен отдых.

— Кто? Чего тебе надо? — спросил он, поднимаясь в кровати.

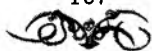
— Не важно, чего хочу я. Сейчас важно, чего хочешь ты. Помнишь, что ты сказал девушке прошлой ночью? Помнишь, что хотел от нее и почему она так расстроилась?

— Так, значит. Ты — друг Лоры. Выматывайся отсюда, или я звоню копам.

— И она так сказала, помнишь? А потом сказала, что лучше бы никогда тебя не встречала. И именно эта реплика вдохновила тебя на вымышленное приключение. У бедного Натана никогда не было того шанса, которым обладал ты. Очень милая деталь, эти зачарованные брюки. Тогда как реальная причина...

— Ты что, глухой? Выметайся из моей квартиры! — закричал он. Но довольно быстро успокоился, когда понял, что ярость никакого эффекта не возымела.

— А чего ты ожидал от этой девушки? Ты же действительно сказал ей, что хотел бы переплестись телами с... как ты там выразился? Да-да, безголовой женщиной. Похожей на того обезглавленного призрака, о котором ты читал в старом готическом романе много лет назад. Представляю, как иллюстрация в той книге воспламенила твою фиксацию. Похоже, Лора не поняла, как легко и просто по весне фантазии молодого человека могут обернуться мыслями о... безголовых фантомах. Безголовых. Ты сказал ей, что у тебя и костюм есть, если я все помню верно. Но, мой друг, у меня



есть ответ на твои молитвы. Как тебе такое в качестве безголовой? — сказал я, вынимая руку с зажатой в ней головой из-за спины.

Он не издал ни звука, хотя его глаза безумно кричали от того, что увидели. Я кинул длинноволосую, белокурую и окровавленную голову ему на колени. Буквально за секунду он набросил на нее простыню и лихорадочно столкнул сверток ногами на пол.

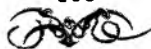
— Тело в ванной, если хочешь провести с ней время. Я подожду.

Не могу сказать наверняка, но на мгновение он, кажется, даже задумался об этом. Впрочем, с места так и не двинулся, не сказал ни слова, застыл на минуту или около того. Когда же в конце концов заговорил, то каждый его слог казался спокойным и плавным. Словно часть его разума отделилась от целого, и именно она обращалась ко мне.

— Кто ты? — спросил он.

— Неужели тебе действительно нужно имя, и что хорошего ты от него получишь? Должны ли мы называть эту отделенную от тела голову Лорой, или Лорной, или же просто Дезидератой? И как, во имя преисподней, я должен звать тебя — Норманом или Натаном, Гарольдом или Джеральдом?

— Я так и думал, — с отвращением произнес он. Потом забормотал своим странно рациональным голосом. Словно говорил сам с собой: — Так как создание, с которым я говорю, так как этому созданию известно то, что могу знать только я, так как оно говорит мне лишь то, что только я могу сказать себе, я делаю вывод, что нахожусь в комнате один. Возможно, сплю и вижу сны. Да, сны.



Иначе, диагноз — безумие. Очень точно. Глубоко уверен. Уходи, мистер Безумие. Прочь, доктор Сон. Ты изложил свою точку зрения, теперь дай поспать. Я с тобой закончил.

Потом он положил голову на подушку и закрыл глаза.

— Норман,— спросил я,— а ты часто ложишься спать в брюках?

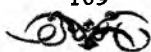
Он открыл глаза и только сейчас заметил то, чего прежде не видел. Сел снова.

— Очень хорошо, мистер Безумие. Все выглядит натурально. Но это невозможно, так как они до сих пор у Лоры. Забавно, они не слезают. Наверное, заело воображаемую молнию. Кажется, я влип. Я — покойник, а может, и всегда им был. Всегда проверяй то, что покупаешь, я всегда так говорил. Боже, помоги мне, прошу. Никогда не знаешь, во что впутываешься. Да слезайте же, черт вас подери! Ну и когда же я начну гнить, мистер Безумие? Ты еще здесь? И что со светом?

Лампы в комнате погасли, все засияло голубым мерцанием. За окном спальни засверкала молния, и гром раздался в ночи без дождя. Сквозь разрыв в облаках сияла луна, которую могут видеть лишь создания иного мира. На серебристом экране забили тени марионеток.

— Гниением проложи путь к нам, ты, причуда бытия. Разложением исчезни из этого мира. Возвращайся домой, в ад столь мучительный, что он — блаженство сам по себе.

— Это все происходит наяву? В смысле я стараюсь, сэр. Но это непросто. От какого-то электрического разряда меня всего трясет внизу.



Я словно распадаюсь. Боже, как больно, любовь моя. О, боже! Как горько — вот так распрощаться с жизнью, превратиться в кашу! Вы можете помочь мне, доктор Сон?

Я чувствовал, как меняется моя форма, как я скидываю с себя человеческий костюм. Из спины начали подниматься костяные крылья, и в голубом зеркале перед собой я увидел, как они триумфально распахнулись. Мои глаза превратились в драгоценные камни, твердые и сияющие. Челюсти стали пещерой капающего серебра, а по венам побежали реки из гнилостного золота. Он же метался в постели, как раненое насекомое, издавая звуки, уже мало походившие на человеческие. Я поднял его, обернул свои липкие руки вокруг него — еще раз и еще. Он смеялся как дитя, дитя иного мира. И великая несправедливость скоро должна была выправиться.

Я приказал окнам распахнуться навстречу ночи, и они очень медленно подчинились. Его детский смех превратился в слезы, но скоро они высохнут, я это знал. Наконец мы будем свободны жить волшебно и вечно, вне власти притяжения Земли. Окна широко раскрылись над городом внизу, и, если так можно выразиться, глубокая тьма радушно приняла нас.

Я никогда ничего подобного не делал.

Но, когда время пришло, я понял, что все очень легко и просто.



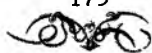
ГРЕЗЫ БЕССОННЫМ

СОЧЕЛЬНИКИ ТЕТУШКИ ЭЛИЗ

Рассказ об одержимости в Олд-Гросс-Пойнте

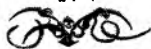
Мы произносили ее имя с отчетливым звуком «З» — *Помни, Джек, помни,* — как некоторые говорят «миз», а не «мисс». Она настаивала, чтобы наша семья, как ее богатые члены, так и бедные, праздновали Рождество только в ее доме, в Гросс-Пойнте, старомодно соблюдая древние традиции. На самом деле богатой в нашей семье была только сама тетушка Элиз. Ее муж давно умер, оставив ее без детей, но с процветающим бизнесом по продаже недвижимости. Неудивительно, что тетя Элиз взяла бразды правления фирмой с впечатляющим успехом, и фамилия дяди, оставшаяся без наследников, красовалась на табличках «Продается», усеивавших газоны домов аж в трех штатах. «А как же звали дядю?» — иногда интересовались юные племянники или племянницы. Еще дети не раз спрашивали: «Где дядя Элиз?» На что все остальные хором кричали: «Он отдыхает». Такой ответ мы заучили от самой вдовы.

У тетушки Элиз не было мужа и своих детей. Но она любила волнение, свойственное большой семьи, и каждые праздники становилась одер-



жимой кровными связями так же, как в остальные дни инвестициями вместе с материальными и нематериальными активами. Справедливости ради надо сказать, что она деньгами не сорила и ничем не напоминала тот тип женщин, которых нередко называют «богатыми сучками». Ее дом по стилю напоминал елизаветинские поместья, но, несмотря на свой размер, оставался скромным, даже в чем-то миниатюрным. Он прекрасно вписывался — пока существовал — в тесную рощицу на углу Лейк-Шор-драйв, смотря на озеро скорее в профиль, чем анфас. Из-за довольно непримечательного фасада, сложенного из серых, словно покрытых копотью камней, старое здание казалось не приметным, и, только когда прохожий замечал витражные окна с ромбическими панелями, он понимал, что там, где раньше видел лишь тенистую пустоту, на самом деле стоит дом.

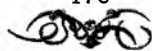
Под Рождество многогранные окна в резиденции моей тетушки приобретали конфетный глянец от розовых, зеленых и синих гирлянд, развешанных вокруг. В былые дни — *Помни их, Джек*, — с еще не замерзшего озера частенько накатывал туман, и калейдоскопические стекла отбрасывали призрачные яркие тени в мягкой дымке. Когда я был ребенком, именно этот образ и атмосфера стали для меня символом зимнего праздника: умиротворяющая цветная мозаика, которая на время превращала обыкновенный мир в землю, полную тайн. Это было празднество, это было гулянье. И почему мы все постоянно бросали, оставляли на улице? Каждый сочельник, пока родители вели меня, держа за руки, по извилистой дорожке



к дому тетушки, я постоянно останавливался, тащил маму и папу назад, как сбежавших лошадей, и отказывался, пусть и тщетно, идти внутрь.

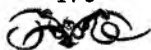
Уже после первого запомнившегося мне Рождества — хронологически пятого, — я прекрасно знал, что ждет меня в доме, и год за годом ни по сути, ни в деталях там ничего не менялось. Тем, кто вырос в больших семьях, такие праздники слишком хорошо знакомы, чтобы тратить время на их описание. Возможно, даже сирот оно успело утомить. Но все же есть и другие, кому привычная череда необычных дядюшек, милых дедушек и бабушек, кузенов и кузин всегда будет мила и дорога сердцу; те, кто радуется персонажам из разных поколений, загромождающих страницу, кого греет прикосновение их бумажной плоти. Скажу вам, что в этом они похожи на тетю Элиз, а ее дух живет в них.

Каждое Рождество она занимала главную комнату своего дома. Я помню это помещение только таким: как декоративную фантазию, как галлюцинацию в праздничном убранстве. Другой я ее никогда не видел. Ветки падуба, как свежие, так и искусственные, висели везде — на рамах картин, на полках из мореного дерева, где толпились сотни безделушек, даже на бархатном рельефе обоев, переплетаясь с их завитками и узорами. А с креплений на потолке, с люстры, изящно украшенной крошечными лампочками, свисали целые сады омелы. Огромный камин пылал праздничным пеклом, а перед плюющим искрами очагом стоял защитный экран с массивными медными шестами по бокам. На вершине каждого красовалась



куколка Санты, раскинув руки, словно готовясь одарить любого маленьким и неуклюжим объятием.

В углу комнаты, рядом с передним окном, стояла пушистая ель, полностью спрятанная под свисающими, натянутыми или мерцающими украшениями всех форм и размеров, завешанная глупыми бантами пастельных оттенков, атласными бантами, любовно повязанными человеческими руками. Эти же руки клали подарки под дерево, и год за годом, как и все в этой комнате, яркие коробки находились на одном и том же месте, словно подарки с прошлого Рождества никто так и не открыл, от чего я все больше чувствовал себя так, как будто угодил в кошмарный ритуал, который повторяют и повторяют, даже не надеясь сбежать. (Почему-то это ощущение ловушки так никуда и не исчезло.) Мой собственный подарок всегда находился в самом низу этой горы, чуть ли не у стены позади елки. Он был перевязан бледно-пурпурной лентой и завернут в бледно-голубую бумагу, на которой медвежата в детских пижамах видели во сне еще больше бледно-голубых подарков, где, в свою очередь, уже маленькие мальчики мечтали о медведях. В канун Рождества я часто сидел рядом со своим подарком, больше желая спрятаться от остальных родственников, чем думая о том, что же там внутри. В свертке всегда была то пижама, то носки, никаких безымянных чудес, которых я с таким воодушевлением ждал от своей непристойно богатой тетушки. Никто, кажется, не возражал, что я сидел в другой стороне комнаты, пока гости собирались, беседовали, пели рождественские



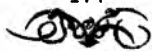
гимны под музыку древнего органа, на котором тетушка Элиз играла, повернувшись спиной и к слушателям, и ко мне.

Спиини, младее-ееенец святой.

— Очень хорошо, — сказала она, так и не повернувшись. Как обычно, голос тетушки был таким, что ты вечно ждал, когда же она откашляется и избавится от липкой массы, приставшей к ее внутренностям. Но она не откашливалась, а отключала электрический орган, после чего гости, особенно взрослые, разбредались по дому.

— Мы не слышали, чтобы старина Джек пел вместе с нами, — сказала она, взглянув через всю комнату туда, где я сидел в массивном кресле перед затуманенным окном.

В тот раз мне было то ли двадцать, то ли двадцать один, и я приехал на Рождество из колледжа. Уже выпил немало пунша тетушки, и мне очень хотелось огрызнуться: «Да кому какая разница, что старый Джек не поет, ты, дряхлая калоша?» Вместо этого я просто взглянул на нее, хотел запомнить лицо Элиз, внести в семейный дневник моей памяти: туго стянутые назад волосы (как причесанные провода), спокойные глаза, как на старом портрете (портрете того, кто уже давно умер), высокие скулы, зардевшиеся ярким румянцем (не розовым, а больше похожим на сыпь), и выдающиеся зубы, как у лошади, что во сне насккивает на тебя из ниоткуда. Я не волновался, что в будущем забуду эти черты, хотя поклялся, что на Рождество вижу их в последний раз. Потому сегодня вечером я сохранял спокойствие в ответ на насмешки тетушки. Да и дальнейший спор между



нами прервался, когда один из детей принялся требовать, чтобы тетя рассказала им историю.

— И в этот раз настоящую, тетушка. Которая реально случилась.

— Хорошо,— ответила она и добавила: — Может, старина Джек подойдет и сядет с нами.

— Я уже слишком старина для этого, спасибо. К тому же я и отсюда все прекрасно...

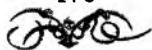
— Ну,— начала она, прежде чем я закончил,— дайте мне подумать минутку. Их так много, так много. В общем, вот вам одна. Все произошло еще до вашего рождения, спустя несколько зим после того, как я с вашим дядей переехала сюда. Не знаю, замечали ли вы, но если пройти чуть дальше по улице, будет пустая площадка, где по идее должен бы стоять дом. И он там стоял. Ее видно из переднего окна, вон там,— и она указала на окно за моим креслом.

Я лениво проследил за ее пальцем, взглянув сквозь туман на пустую площадку, героине ее истории.

— Когда-то там стоял прекрасный старый дом, гораздо больше этого. В нем жил очень древний старик, который никогда не выходил на улицу и никого не приглашал в гости, по крайней мере, никто этого не замечал. И когда старик умер, как вы думаете, что случилось с домом?

— Он исчез,— ответили несколько детей, опережая события.

— Можно и так сказать. На самом деле туда пришли несколько человек и полностью разобрали дом, кирпичик за кирпичиком. Думаю, старик, который жил в нем, очень хотел, чтобы после смерти с домом поступили именно так.



— А откуда ты знаешь, что он хотел именно этого? — встрял я, пытаюсь испортить ее рассказ.

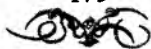
— А есть другое разумное объяснение? — ответила тетя Элиз и продолжила: — Я думаю, что старик просто не мог вынести саму мысль о том, что кто-то другой поселится в его доме и будет там счастлив, так как он-то точно не был. Но возможно, только возможно, он снес дом по другой причине.

И тут тетя Элиз сделала паузу, подчеркнув последние слова ради пущего эффекта. Дети сидели, скрестив ноги, перед ней и слушали с напряженным вниманием, а в очаге как будто чуть громче затрещали дрова.

— Может, уничтожив дом, заставив его исчезнуть, старик считал, что заберет его с собой в другой мир. Люди, которые очень долго жили в одиночестве, обычно начинают думать о чем-то странном и совершают странные поступки,— подчеркнула она, хотя я уверен, что никто, кроме меня, не подумал соотнести последнюю фразу с самой рассказчицей. (*Расскажи обо всем, Джек.*) Тетушка же продолжила:

— Вы можете спросить, что могло натолкнуть человека на такие выводы об одиноком старике? Может, что-то странное случилось с ним и его домом после того, как оба исчезли? Да, кое-что действительно произошло. И сейчас я вам расскажу, что именно.

Однажды ночью — туманной зимней ночью, такой, как сейчас, мои детишки, кто-то прошел по этой самой улице и остановился на границе того участка, где стоял дом умершего старика. Это был

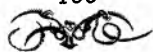


молодой человек, и многие люди видели, как он уже несколько лет иногда появлялся поблизости, бродя туда-сюда. Я сама однажды столкнулась с ним и спросила, что ему надо от нас и наших домов, так как интересовался он именно ими. Незнакомец назвался антикваром и сказал, что его очень интересуют старые вещи, старые дома. И особенно дом странного старика. Он несколько раз просил пустить его внутрь, но хозяин всегда отказывался. И в доме почти постоянно царила тьма, словно там никто не жил.

Только представьте удивление молодого человека, когда той самой зимней ночью он увидел, что темный дом, где никогда никого не было, сверкает от рождественских гирлянд, ярко сияющих в тумане. Неужели это был дом того самого старика, так красиво и радостно украшенный? Да, ведь именно его владелец стоял в окне с довольно дружелюбным видом. Потому молодой человек решил еще раз попытаться счастья и заглянуть внутрь старинного дома. Он позвонил в звонок, и дверь широко распахнулась. Старик ничего не сказал, лишь сделал шаг назад, чтобы гость мог пройти внутрь. Наконец юный антиквар мог изучить дом изнутри, проникнуть в самое его сердце. Он шел по узким коридорам и давно заброшенным комнатам, а старик позади лишь постоянно улыбался, не издавая ни звука.

— Не представляю, откуда ты узнала про эту часть истории,— снова прервал я Элиз.

— Тетушка обо всем знает,— заявил один из моих маленьких кузенов, только чтобы меня заткнуть.

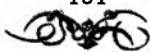


И когда тетя бросила на меня взгляд, на секунду мне показалось, что она действительно знает. А потом она продолжила свою невыдуманную историю:

— После того как молодой человек осмотрел весь дом, мужчины расположились в глубоких удобных креслах в комнате отдыха и немного побеседовали. Но довольно скоро улыбка старика, эта тихая скромная улыбка начала по-настоящему тревожить гостя. В конце концов антиквар, взглянув на часы, которые достал из кармана, заявил, что ему надо идти. Но когда он поднял голову... старик исчез. Естественно, молодой человек удивился, вскочил с кресла, нервно обыскал комнаты и коридоры поблизости, кричал: «Сэр, сэр»,— ведь он так и не узнал, как зовут хозяина. Старик мог спрятаться где угодно, антиквар так и не нашел его, а потому решил уйти, ни с кем не попрощавшись.

Но он даже не успел дойти до двери, так как остановился из-за того, что увидел, выглянув в окно. Улица как будто исчезла: не было ни фонарей, ни тротуаров, ни даже домов, кроме того, в котором он находился. Лишь клубился туман, а в нем бродили какие-то ужасные, изуродованные существа. Молодой человек видел, что они плачут. Что это было за место, и куда забрал его старый дом? Антиквар не понимал, что ему делать, и просто смотрел в окно. А потом заметил лицо, отражающееся в стекле, и на секунду подумал, что старик вернулся и стоит за ним, по-прежнему кротко улыбаясь.

Только потом молодой человек понял, что это его собственное лицо, и он, как те ужасные ветхие



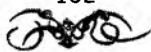
создания в тумане, заплакал. И больше антиквара никто и никогда не видел. Ну как, понравилась вам история, дети?

Я устал, устал как никогда в жизни. У меня едва хватило воли, чтобы выбраться из кресла, в которое я провалился слишком глубоко. И как же медленно я прошел мимо лиц, что, казалось, находятся так далеко от меня! Куда я отправился? Хотел еще выпить? Взять еще один деликатес с праздничного стола? Что так сильно тянуло меня прочь из этой комнаты?

Казалось, даже секунды не прошло, как я пришел в себя и понял, что иду по мглистой улице. Туман напоминал непроницаемые белые стены вокруг, узкие коридоры, ведущие в никуда, и комнаты без окон. Довольно скоро я понял, что дальше идти не могу. И в то же мгновение заметил стаю рождественских огоньков — их лампочки сияли в тумане. Но что они означали и почему вдруг показались мне настолько ужасными? Почему умиротворяющее видение туманного чуда, которое перенесло меня в воображение детства, сейчас таким страхом поразило мой разум? Я не любил эти цвета: это не мог быть тот самый дом. Но нет, это был он, а в окне стояла его хозяйка, и ее тонкое улыбающееся лицо почему-то казалось неправильным.

А потом я вспомнил: тетя Элиз давно умерла, а ее дом в соответствии с завещанием разобрали по кирпичику.

— Дядя Джек, проснись, — рядом раздались молодые голоса, хотя технически, как единственный ребенок в семье, я не мог быть их дядей.



Если точнее, я — самый старший член семьи, который задремал в кресле. Сейчас сочельник, и мне нечего выпить.

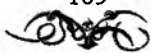
— Мы будем петь рождественские гимны, дядя Джек, — сказали голоса.

А потом они ушли.

Я тоже ушел, забрав пальто из спальни, где оно лежало, похороненное в общей могиле под десятками курток. Остальные гости пели песни под бренчание гитар. (Мне нравился их металлический тембр, потому что он ничем не напоминал густые, гнилостные вибрации церковного органа, на котором давным-давно играла тетя Элиз.) Пренебрегая ритуалами прощания, я выскользнул на улицу через дверь в кухне.

Я покинул рождественскую семейную встречу так, словно меня ждало важное деловое свидание, о котором я то ли не знал, то ли позабыл. Я так много помню из прошлого — и неудивительно, ведь моя жизнь была однообразной и одинокой, — но вот события прошлого вечера исчезли начисто. Мой разум шалил, а сон, который я видел раньше, наверное, перешел в тот, что пригрезился мне дома, хотя я даже не помню, как вернулся. Лишь одно врезалось в память, словно произошло наяву: как я стою перед дверью давно не существующего дома, а она открывается медленно и величаво. А потом оттуда появляется рука и хватает меня за плечо. И какой ужас я почувствовал, когда увидел эту широкую разверстую улыбку и услышал слова: «Счастливого Рождества, старина Джек!»

Как же приятно было увидеть старого друга, когда он вернулся ко мне! Он постарел, но так

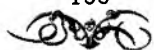


и не вырос. А я наконец заполучила его, заполучила со всеми мыслями и милыми картинками в разуме. Плачущие демоны, навеки проклятые души, вышли из тумана и забрали его тело. Теперь он с ними. Но я схоронила для себя лучшую часть: все его прекрасные воспоминания, все те замечательные времена — дети, подарки, цвета тех ночей! Как ни крути, теперь они мои. Расскажи нам о прошлых годах, старина Джек, о годах, что я сейчас забираю у тебя, — годах, с которыми теперь могу играть, как мне вздумается, словно с детскими игрушками. Как же здорово, как прекрасно поселиться в мире, где всегда стоит мертвецкая ночь, живая от света, от гирлянд и огоньков! И где всегда, во веки веков, будет канун Рождества.

УТЕРЯННОЕ ИСКУССТВО СУМЕРЕК

I

Я нарисовал их — попытался, по крайней мере. Маслом, акварелью, даже набросал на зеркале, которое поместил так, чтобы в нем вновь запылал жар оригинала. И всегда абстрактно. Никаких реальных солнц, тонущих в весенних, осенних, зимних небесах, никакой сепии, света, спускающегося над избитым горизонтом озера — даже того самого озера я не изобразил, хотя и люблю смотреть на него с большой террасы моего огромного старого поместья. Но мои «Сумерки» сделаны в абстрактной технике не только для того, чтобы отстраниться от суеты реального мира. Другие художники-абстракционисты говорят, что на их полотнах нет ничего из жизни: это полоса йодисто-красного — лишь полоса йодисто-красного цвета, а эти матово-черные брызги — лишь матово-черные брызги, и все. Но чистый цвет, чистые ритмы линий и объемов, чистая композиция значат для меня куда больше. Другие лишь видят драмы



в формах и оттенках, я же — и не стоит слишком упорно настаивать на этом — был там. Мои сумеречные абстракции представляют какую-то иную реальность: пространство с дворцами теплых и печальных цветов, которые стоят на берегах морей, искрящихся узорами под мрачно сияющими пятнами неба; пространство, где наблюдатель присутствует лишь формально, неосязаемой сущностью, свободной от плотской субстанции, становясь подлинным обитателем абстракции. Но сейчас все это лишь воспоминание. То, что по моему замыслу должно было продлиться вечно, исчезло в мгновение ока.

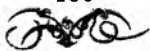
Лишь несколько недель назад я сидел на террасе, наблюдая за тем, как осеннее солнце спускается в вышеупомянутое озеро, и беседовал с тетей Т. Ее каблуки приятно и глухо протопали по желтовато-серым плитам. Седая, она была одета в серый костюм, большой бант бился о ее двойной подбородок. В левой руке она держала аккуратно вскрытый длинный конверт, а в правой — письмо, сложенное как триптих.

— Они хотят видеть тебя, — сказала она, взмахнув листком. — Они хотят приехать.

— Не верю, — ответил я и скептически отвернулся, наблюдая за тем, как солнечный свет тянется по обширному лугу перед нашей старой развалиной, в которой мы, кажется, жили уже веками.

— Хотя бы письмо прочитай, — настаивала она.

— Не могу. Оно же на французском.



— Ты врешь — у тебя книгами на французском вся библиотека завалена.

— Это книги по искусству. Я только иллюстрации разглядываю.

— Любишь картинки, Андрэ? — спросила она своим солидным и ироническим тоном. — У меня есть картинка для тебя. Вот она: они собираются приехать сюда и остаться так долго, как пожелают. Им нужно твое разрешение. Целая семья: два ребенка, и в письме еще упоминается незамужняя сестра. Они приедут из Экс-ан-Прованса и во время путешествия по Америке хотят увидеть единственного кровного родственника, живущего в Штатах. Картина тебе ясна? Они знают, кто ты и, что более серьезно, где ты живешь.

— Я удивлен, что они вообще решили посетить нас, ведь это же они...

— Нет, не они. Это родственники по линии твоего отца. Дювали, — объяснила она. — Они о тебе все знают, но говорят, — тут тетя Т. на секунду сверилась с письмом, — что они *sans préjugé*¹.

— От щедрости этих тварей у меня кровь стынет в жилах. Двадцать лет назад они сделали то, что сделали, с моей матерью и теперь имеют наглость — наглость! — говорить, что у них нет предрассудков.

Тетя Т. предупредительно хмыкнула, чтобы я замолчал, так как на террасе появился Ропс с подносом, на котором стоял изящный бокал. Я прозвал его Ропсом, так как от него, как и от картин

¹ Без предрассудков (*фр.*).



его тезки-художника ¹, меня всегда пробирала замогильная дрожь.

Он покойником проплелся по террасе, подав тете вечерний коктейль.

— Спасибо,— сказала она, взяв бокал.

— Вам что-нибудь принести, сэр? — спросил Ропс, прижимая поднос к груди, словно серебряный щит.

— Ропс, а ты видел, чтобы я когда-нибудь пил? Хотя что-нибудь... — огрызнулся я.

— Андрэ, веди себя прилично. Спасибо, больше ничего не надо.

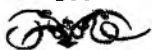
Ропс медленными костлявыми шажками удалился.

— Можешь и дальше изливать свое негодование,— благосклонно разрешила тетя Т.

— Я закончил. Ты знаешь, как я себя чувствую,— ответил я, а потом взглянул на озеро, впитывая мрачное настроение сумерек за отсутствием нормальных напитков.

— Да, я знаю, как ты себя чувствуешь, но ты ошибаешься — всегда ошибался. У тебя всегда были такие романтические воззрения: что ты и твоя мать — упокой ее душу — стали жертвами некоей чудовищной несправедливости. Но все не так, как ты думаешь. Они не были дремучими крестьянами, которые, скажем так, спасли твою мать. Они были богатыми, образованными члена-

¹ Имеется в виду Фелисьен Ропс (1833—1898), бельгийский художник-символист, друг Шарля Бодлера. Его картины, по мнению современников, отличались инфернальностью и демонизмом и действительно могут вызвать самые разнообразные и не всегда приятные чувства.



ми ее семьи. И не суеверными, нет, ведь то, что они думали о ней, оказалось правдой.

— Правдой или нет, — возразил я, — они верили в невероятное — и действовали соответственно, — и это я называю суеверием. Да по какой причине они...

— По какой причине? Я должна тебе напомнить: в то время ты находился не в том положении, чтобы обсуждать причины, мы знали тебя лишь в виде небольшого животика твоей матери. Я же, с другой стороны, там была. Видела ее «новых друзей», эту «аристократию крови», как она их называла, что, как понимаю, выдавало ее зависть к наследному социальному статусу. Но я не виню твою мать, никогда не винила. В конце концов, она недавно потеряла мужа — твой отец был хорошим человеком, очень жаль, что ты его никогда не видел. И она несла в себе ребенка, ребенка мертвеца... Она была напугана, сбита с толку и сбежала к своей семье, на родину. Кто может винить ее в том, что она стала вести себя безответственно? Но очень жаль, что так все вышло, особенно для тебя.

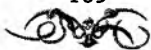
— Ты так меня успокаиваешь, тетушка, — сказал я с достойным сожаления сарказмом.

— Ты всегда можешь положиться на мое сочувствие, хочешь ты того или нет. Думаю, за долгие годы я это доказала.

— Не поспоришь, — согласился я.

Тетя Т. сделала последний глоток из бокала и не обратила внимания, когда маленькая капля проступила в уголке ее рта, мерцая в сумеречном сиянии, как жемчужина.

— Когда однажды вечером — а я бы сказала, утром — твоя мать не пришла домой, все поняли,



что случилось, но никто ничего не сказал. Ты считаешь их суеверными, но, напротив, они долго не могли обратиться с духом, так как не смели поверить.

— Так мило, что вы позволили мне развиваться самому, пока решали, как лучше затравить мою мать.

— Вот эти слова я пропущу мимо ушей.

— Уверен, не пропустишь.

— Мы не охотились за ней, не травили ее, как ты прекрасно знаешь. Это еще одна из твоих фантазий о преследовании. Она же сама пришла к нам, разве не так? Скреблась ночами в окна...

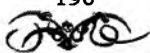
— Эту часть можешь пропустить, я и так...

— ...круглая, как полная луна. И это было странно, так как по срокам ты был опасно недоношенным ребенком. Но когда мы проследили за твоей матерью до мавзолея местной церкви, где она спала днем, то увидели, как она несет груз полноценной беременности. Священник пришел в ужас, выяснив, кто живет, так сказать, в его собственном дворе. Не твои родственники, а именно он считал, что тебе не стоит рождаться на свет. И его рука освободила твою мать от жизни ее новых друзей. И сразу после этого она начала рожать, прямо в том самом гробу, где лежала. Было столько крови. Может, мы и...

— Не нужно...

— ...действительно охотились на твою мать, но тебе очень повезло, что в том отряде была я. Мне пришлось вывезти тебя из страны той же ночью, обратно в Америку. Я...

В этот момент она поняла, что я уже не обращаю на нее внимания, отвлекшись на более приятную



историю заходящего солнца. Когда она замолчала, тоже устремив взгляд к горизонту, я сказал:

— Спасибо, тетя Т., за эту занимательную историю. Я всегда с таким удовольствием ее слушаю.

— Извини, Андрэ, но я хотела тебе напомнить о правде.

— Что я могу сказать? Я понимаю, что обязан тебе жизнью.

— Я не это имела в виду. Я хотела напомнить о том, чем стала твоя мать и кто теперь ты.

— Я — ничто. Совершенно безобиден.

— Вот почему мы должны пригласить Дювалей, пусть поживут у нас. Мы должны показать, что миру не нужно тебя бояться. Я думаю, им лучше самим увидеть, какой ты.

— Ты действительно думаешь, что это их цель?

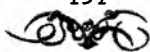
— Да. И они могут доставить нам немало неприятностей, если мы не удовлетворим их любопытство.

Я поднялся со стула — а тени в сгущающихся сумерках удлинились — и встал рядом с тетей Т., напротив каменной балюстрады. Облокотившись на нее, я сказал:

— Тогда пусть приезжают.

II

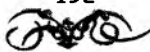
Я — потомок мертвых. Я происхожу от покойников. Я — детище призраков. Мои предки — прославленные толпы усопших, великие и бесчисленные. Моя родословная длиннее, чем само время. Мое имя написано бальзамирующей жидкостью в книге смерти. Благородна раса моя.



В моей семье живых первым с Создателем встретился мой собственный создатель: он покойся в могиле неизвестного отца. Он успел дать мне начало, но испустил последний вздох до того, как я сделал первый. Его сразил инсульт, сразу и бесповоротно. Мне говорили, что в последние минуты жизни хаотичные и изощренные волны его мозга рисовали странные узоры на зеленом глазу монитора ЭЭГ. Доктор, который сказал моей матери, что ее муж покинул мир живых, в тот же день сообщил ей, что она беременна. И это было не единственное волнующее совпадение в истории моих родителей. Оба они происходили из богатых семей Экс-ан-Прованса в южной Франции. Но впервые встретились не в Европе, а в американском университете, где — так сложилось — оба учились. Вот так два соседа пересекли холодный океан, чтобы увидеть друг друга на обязательном научном курсе. Когда они узнали об общем происхождении, то поняли: их свела судьба. Они влюбились друг в друга и в свою новую родину. Позже пара переехала в дорогой и престижный пригород (и ни название его, ни штат я называть не стану, так как до сих пор живу здесь, но по причинам, которые со временем станут очевидными, мне приходится делать это тайно). Годами пара жила в довольстве и неге, пока мой непосредственный прародитель не умер, разминувшись с собственным отцовством и таким образом став подходящим родителем для будущего сына.

Потомка мертвых.

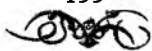
Впрочем, некоторые могут возразить, что родился-то я от живой женщины: прибыв в этот



мир, повернулся и посмотрел в блестящие материнские глаза. Но нет, совсем наоборот, как, думаю, стало очевидно по моему разговору с дорогой тетей Т. Беременная вдова, моя мать, уехала обратно в Экс, в комфорт фамильного поместья и уединенной жизни. Но об этом чуть позже. Я более не могу бороться с желанием рассказать вам о родном городе своих предков.

Экс-ан-Прованс, где я родился, но никогда не жил, крепко сплетен со мной множеством нитей, пусть и не напрямую. На мое воображение действует не только причастность Экса к моей собственной жизни. В нашей мелодраме определенную роль играют чудеса, исключительные для этого региона. В разные века, да что там, эпохи, он был подмостками для историй самого невероятного толка, историй, которые существуют в разных пространствах духа, по сути, их разделяют целые миры. Тем не менее, с моей точки зрения, они едины. Первая глава в этой «летописи» такова: в семнадцатом веке монахини из монастыря урсулинок в Экс-ан-Провансе стали одержимы демонами. Пораженных грехом сестер Божьих, которых соблазнили на богохульства и святотатства сущности вроде Гресилья, Сонниллона и Веррина¹, вскоре

¹ Имена демонов взяты из книги Себастьяна Михаэлиса «Histoire Admirable» (1621), где действительно описывается случай одержимости монахинь в монастыре урсулинок Экс-ан-Прованса. Согласно этой книге и прочим трудам по демонологии, *Гресиль* — это демон нечистоты и гордости, *Сонниллон* — демон ненависти, а *Веррин* — демон нетерпимости, также известный как демон самоизлечения и здоровья.



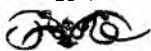
отлучили от церкви. «Dictionnaire Infernal» де Планси¹, по словам неизвестного переводчика, описывает этих демонов, как «того, кто ужасно сверкает, как радуга насекомых; того, кто дрожит отвратительным образом; и того, кто ползет, внушая своими движениями страх». Для особо любопытных в словаре даже есть гравюры этих кинетически и хроматически странных существ, правда, к сожалению, совершенно статичные и черно-белые. Вы можете в это поверить? Кто эти столь глупые и педантичные люди, которые могут посвятить жизнь такой чепухе? Кто может постичь науку суеверия? (Ибо, как писал один злой поэт, суеверие — вместилище всяческих истин².) Это важный элемент Экса моего воображения. Есть еще один: в 1839 году здесь родился Сезанн, самый знаменитый житель этого города. Его фигура призраком пронизывает пейзажи моего разума, странствуя по Провансу в поисках вдохновения для своих прелестных картин.

В моей психике оба этих феномена слились в единый образ Экса, одновременно гротескный и изысканный, как пантеон горгулий посреди пышности средневековой церкви.

В такие земли вернулась моя мать несколько десятилетий назад — в этот мир Богоматери красоты и ужаса. Неудивительно, что она пленилась

¹ «Инфернальный словарь» Коллена де Планси — вполне реальная работа, вышедшая в 1818 году и выдержавшая только за XIX век шесть переизданий. Шестое переиздание иллюстрировал Луи Бретон.

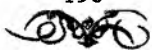
² Шарль Бодлер. Мое обнаженное сердце (пер. с фр. Леонида Ефимова).



обществом прекрасных незнакомцев, которые пообещали ей освобождение от смертного мира, где правит балом агония, заставив тем самым возжаждать добровольного изгнания. Со слов тетушки Т. я понял, что все началось с одного летнего приема, который проходил в поместье Амбруаза и Полетты Вальро. «Зачарованный лес» — так это место называли представители *hautes classes*, жившие по соседству. Вечером, когда шли увеселения, стояла относительно прохладная погода. Высоко в ветвях липы висели фонари, словно маяки, ведущие к небесам. Играл небольшой оркестр.

На вечеринке собралась довольно пестрая толпа. И здесь были несколько человек, которых, похоже, никто не знал, — странных незнакомцев, чья эlegantность уже была их приглашением. Тогда тетя Т. не придавала им значения, и ее рассказ о них довольно отрывист. Один из них танцевал с моей матерью, без каких-либо проблем вырвав ее из социального уединения. Другой, с лабиринтными глазами, шептал ей что-то под сенью деревьев. В ту ночь были заключены союзы, принесены обещания. Вскоре мама начала сама ходить на встречи, которые всегда проходили после заката. Потом перестала возвращаться домой. Тереза — камердинер, которую моя мать привезла с собой из Америки, — была задета и сбита с толку холодным и пренебрежительным отношением хозяйки. Семья же матери не спешила говорить о том, что означает поведение их дочери. «*И в ее-то положении, mon Dieu!*»¹ Никто не понимал, что делать. А потом

¹ Боже мой! (Фр.)

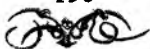


слуги передали, что видели, как ночью возле дома появляется бледная беременная женщина.

Наконец семья поведала о своих горестях священнику. Тот предложил план действий, который не поставил под сомнение никто, даже Тереза. Они устроили засаду на мою мать — праведные охотники за душой. Проследовали за плывущей фигурой до мавзолея, когда уже показались первые лучи рассвета. Сдвинули массивную каменную плиту саркофага и обнаружили ее внутри. «*Diabolique*», — воскликнул кто-то. Были некоторые разногласия касательно того, куда и сколько раз бить ее колом. В конце концов ей пронзили сердце одним шипом, пригвоздив к бархатному ложу, на котором мама лежала. Но что же делать с ребенком? Кем он будет? Святым солдатом живых или чудовищем мертвых? (Ни то ни другое, глупцы!) К счастью или к несчастью, — я до сих пор не могу сказать точно — с ними была Тереза и придавала всем их рассуждениям академический оттенок. Она погрузила руки в кровавый остов и помогла мне родиться.

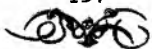
Теперь я стал наследником семейных богатств. Тереза отвезла меня в Америку и договорилась с сочувствующим и жадным адвокатом, чтобы стать поверенной моего состояния. Для этого пришлось поколдовать с удостоверениями личности. Тереза по каким-то причинам, о которых я никогда не спрашивал, из помощницы матери превратилась в ее сестру. И так тетя Т. получила имя и родилась в тот же год, что и я.

Естественно, все это пролог к истории моей жизни, в которой, по правде сказать, нет ни исто-



рии, ни жизни. По ней не снять фильм, не написать роман. Ее не хватит даже на стихотворение скромной величины. Хотя могло бы получиться произведение современной музыки: медленный, пульсирующий гул, похожий на летаргическое биение невыношенного сердца. Но лучше всего изобразить историю моей жизни абстрактной картиной — получился бы сумеречный мир, размытый по краям, без центра или фокуса; мост без берегов, тоннель без просветов; сумеречное, тусклое существование, чистое и простое. Ни рая, ни ада — лишь отстранение от истерии жизни и липкой тьмы смерти. (И скажу вам следующее: в сумерках я больше всего люблю их обманчивый смысл; когда смотришь на тускнеющий запад, там нет мимолетного переходного момента, там действительно нет ничего до и ничего после: там есть все, что есть.) Моя жизнь как таковая никогда не имела начала, но это не означает, что в ней не будет конца, принимая во внимание непредвиденные силы, которые, наконец, вступили в игру. Но ладно, забудем про начала и финалы, я вновь вернусь к нарративной форме с того момента, где оставил ее.

Так каким же был ответ на вопрос, столь поспешно заданный чудовищами, преследовавшими мою мать? Какова моя природа: душевная человечность или бездушный вампиризм? На обе догадки о моем экзистенциальном положении я ответил «Нет». Я существовал между двух миров и мало претендовал на преимущества и обязательства обоих. Ни живой ни мертвый, ни нежить и ни человек, я не имел ничего общего с этими скуч-



ными противоположностями — утомительными крайностями, которые на самом деле отличаются друг от друга не больше чем пара кретинических монозигот. Я ответил «нет» жизни и смерти. Нет, мистер Зародыш. Нет, мистер Червь. Не сказав ни привет, ни до свидания, я просто ушел из их компании, с отвращением глядя на их безвкусные приглашения.

Разумеется, сначала тетя Т. старалась заботиться обо мне, как о нормальном ребенке. (Кстати говоря, я могу в деталях вспомнить каждый момент своей жизни с самого рождения, ибо мое существование приобрело форму одного непрерывного сегодня, без проходных вчера и волнующих завтра.) Она пыталась давать мне обыкновенную еду, но меня от нее рвало. Тогда она стала готовить что-то вроде пюре из свежего мяса, которое я и проглатывал, и переваривал, хотя в привычку у меня оно так и не вошло. И я никогда не спрашивал ее, что же на самом деле было в этом блюде, так как тетя Т. не боялась пускать в ход деньги, а я знал, что они могли купить, когда нужна необычная еда для необычного ребенка. Полагаю, в утробе матери я привык к такой пище, кормясь смесью из различных групп крови, отданных гражданами Экса. Но мой аппетит никогда не прельщала пища физическая.

Гораздо сильнее была моя жажда трансцендентальной пищи, я алкал пира разума и души: астрального банкета искусств. Там я питался. И у меня было даже несколько мастер-шефов, планировавших меню. Пусть мы и жили в уединении, тетя Т. не пренебрегла моим образованием. Для



вида и законности я получил дипломы нескольких самых лучших частных школ в мире. (И такое могут купить деньги.) Но мое настоящее образование было еще более приватным. Гениальные учителя получали немалые суммы за визиты в наш дом, и они были рады учить немоцного ребенка, явно подававшего надежды.

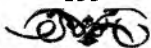
Через личные наставления я обзиревал науки и искусства. Даже научился цитировать французских поэтов:

Скелет-бессмертье, чёрный с позолотой,
Ты манишь в смерть с отеческой заботой,
Ты лавры на чело не зря снискал —
Благочестива хитрость, ложь прелестна!
Но истина конечная известна —
Смеющегося черепа оскал.¹

Но только в переводе, так как что-то сдерживало меня, когда дело касалось изучения этого иностранного языка. Тем не менее я в совершенстве постиг грамматику французского зрения. Мог прочесть внутренний мир Редона, практически урожденного американца, и его *grand isolé*² рай тьмы. Я без труда понимал внешний мир Ренуара

¹ Поль Валери. Кладбище у моря (*пер. с фр. Е. Витковского*).

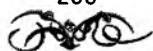
² Великий уединенный (*фр.*). Здесь имеется в виду творчество Одилона Редона (1840—1916) и первый, «черный», период его творческой деятельности, когда он, увлеченный подсознательными страхами и кошмарами, рисовал преимущественно гравюры и картины углем, до сих пор производящие мрачный и довольно жуткий эффект. Считается одним из предтеч сюрреализма.



и его современников, которые говорили на языке света. И я мог расшифровать невозможные миры сюрреалистов — эти изоощренные галереи, где сияющие тени сшиты с гниющей плотью радуг.

Из числа моих учителей я особенно помню мужчину по имени Реймонд, который обучал меня элементарным навыкам масляной живописи. Как-то я показал ему этюд, в котором я пытался запечатлеть священное явление, которое видел во время каждого заката. Он рассеянно поправил очки в тонкой металлической оправе, которые вечно спадали на кончик его носа. Взгляд учителя переместился с холста на меня, потом обратно. Его единственный комментарий был следующим: «Формы и цвета не должны сливаться таким образом. Что-то... нет, невозможно». Потом он попросил разрешения воспользоваться туалетной комнатой. Поначалу я решил, что таким жестом он символически оценил мою работу. Но все было всерьез, и потому мне осталось лишь показать ему ближайшую комнату с удобствами. Он вышел из кабинета, но так и не вернулся.

Таков краткий набросок моего существования в полутонах: сумерки за сумерками. И в этом мареве времени я даже не представлял, что когда-нибудь мне придется отчитываться за свою природу, как существу, обитающему по ту сторону или же между схлестнувшихся миров человеческих отцов и зачарованных матерей. Теперь же я должен обдумать, как мне объяснить — то есть сокрыть — мое неестественное существование от приехавших в гости родственников. Несмотря на враждебность, которую я продемонстрировал тете Т., на самом

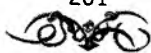


деле я хотел, чтобы они изложили реальному миру хорошую версию обо мне, хотя бы для того, чтобы больше никто не появлялся на пороге моего дома. В дни до их приезда я представлял себя как инвалида, живущего среди книг, в ученом уединении, как болезненно выглядящего схоласта, трудящегося над малопонятными исследованиями в заплесневелом кабинете, как художника, обреченного на бессодержательность и пустоту. Я предвкушал то мнение, которое они вскоре вынесут обо мне: сплошное бессилие и никакой энергии. И этого будет достаточно.

Но я не ждал того, что вскоре предстану перед почти забытым фактом своего вампирского происхождения — перед язвой, сокрытой под красками фамильного портрета.

III

Семья Дювалей и их незамужняя сестра прилетали ночным рейсом, который мы должны были встретить в аэропорту. Тетя Т. подумала, что такой вариант вполне мне подойдет, так как большую часть дня я все равно сплю и встаю с заходом солнца. Но в последнюю минуту меня охватил острый страх сцены. «Толпы», — воззвал я к тете. Она знала, что толпы — это самый сильный талисман против меня, если, конечно, такой когда-нибудь понадобится. Понимала, что в радостной группе встречающих от меня не будет толку, поэтому младший брат Ропса, Джеральд, которому уже было семьдесят пять лет, отвез ее в аэропорт одну. Да, я обещал тете Т. быть общительнее и



встретить всех, как только увижу свет фар большого черного автомобиля на подъездной дорожке.

Но я солгал и ни к кому не вышел. Я ушел в свою комнату и там задремал под телевизор, включенный без звука. Цвета танцевали в темноте, а я все больше и больше поддавался антисоциальному сну. В конце концов, я по интеркому передал Ропсу, чтобы тот сообщил тете и гостям, де-мне нездоровится, и я должен отдохнуть. Такая версия, решил я, вполне соответствует образу безвредного и болезненного инвалида и будет воспринята без вопросов. Человек ночью спит. Это же прекрасно. Я уже слышал, как они это говорили своим душам. А потом, клянусь, я на самом деле выключил телевизор и заснул в настоящей тьме.

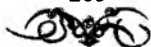
Но глубоко ночью все стало не таким реальным. Я, наверное, не отключил интерком, так как услышал тихие металлические голоса из маленькой металлической коробки, висящей на стене спальни. В состоянии дремоты я даже не сообразил, что могу встать с кровати и заглушить все звуки, просто вырубив это ужасное устройство. И оно действительно казалось ужасным. Голоса говорили на иностранном языке, но не на французском, как можно было ожидать. Нет, это наречие казалось куда более чуждым. Нечто вроде болтовни безумца во сне, смешанной с ультразвуковым пискom летучей мыши. Голоса шумели и стрекотали, пока я вновь не заснул. Их диалог прекратился до того, как я очнулся, впервые в своей жизни представ перед яркими глазами утра.

В доме стояла тишина. Даже у слуг, похоже, были некие невидимые и бесшумные обязанно-



сти. Я решил воспользоваться своей бодростью в столь ранний час и незамеченным прогулялся по старой усадьбе, полагая, что все еще лежат в своих постелях. Тяжелые двери четырех комнат, которые тетя Т. отвела гостям, были закрыты: комната для отца и матери, еще две — для детей и холодная клетушка в конце коридора для незамужней сестры. Я на секунду остановился около каждой комнаты, прислушался к разоблачительным песням сна, надеясь узнать родственников по храпам, посвистываниям и односложным бормотаниям между вздохами. Но никакого обычного шума они не производили. И почти не издавали звуков, кроме одного, в котором эхом повторяли друг друга. Это был странный звук, словно доносящийся из одной и той же полости: причудливый хрип, одышка из глубин горла, кашель туберкулезного демона. Изрядно наслушавшись непонятной какофонии прошлой ночью, я вскоре без сожаления ушел прочь.

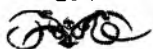
Весь день я провел в библиотеке, чьи высокие окна были спроектированы так, чтобы впускать максимум естественного света для чтения. Тем не менее я опустил шторы и старался держаться в тени, выяснив, что утреннее сияние солнца далеко не столь прелестно, как о нем говорят. Правда, в чтении я не слишком далеко продвинулся. В любую секунду я ждал, что чужие шаги застучат по двукрылой лестнице, пересекут черно-белую шахматную доску переднего зала, захватывая дом в плен. Но несмотря на эти ожидания и все возрастающее чувство беспокойства, гости так и не появились.



Пришли сумерки — и по-прежнему ни отца и матери, ни заспанных сына и дочери, ни целомудренной сестры, с удивлением комментирующей неподобающую длину ее сна. И тети Т. тоже нет. Похоже, вчера ночью они славно погуляли, подумал я, но не возражал провести время с сумерками наедине. Я отворил занавеси на трех западных окнах, каждое из них превратилось в холст, изображающий одну и ту же небесную сцену. Мой личный *Salon d'Automne*¹.

Это был необычный закат. Я весь день просидел за шторами и не заметил, что приближается гроза, и большая часть неба окрасилась в оттенок, похожий на цвет старых доспехов из музея. В то же самое время красочные пятна света затеяли спор с ониксом бури. Свет и тьма странно перемешивались как внизу, так и наверху. Тени и солнечные лучи слились воедино, пронизав пейзаж вневременным этюдом сияния и мрака. Белые и черные облака врезались друг в друга на ничьей земле неба. Осенние деревья стали похожи на скульптуры, изваянные во сне; их свинцовые стволы и ветки, железисто-красные листья застыли навечно в неестественном безвременье. Серое озеро медленно ворочалось и перекачивалось в мертвом сне, бессознательно толкаясь о волнорез из оцепеневшего камня. Зрелище противоречий и неопределенно-

¹ Имеется в виду Общество осенних салонов, или Осенний салон, — объединение деятелей искусства, созданное в 1903 году архитектором Францем Журденом в противовес более консервативным Парижским салонам. В Осеннем салоне выставлялись картины Сезанна, Ренуара, Редона, де Кирико, Дюшана и многих других.



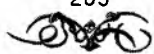
сти в парящей над всем трагикомической дымке. Земля совершенных сумерек.

Я ликовал: наконец сумерки снизошли сюда, ко мне. Я должен был выйти им навстречу. У меня не было выбора. Я выбежал из дома и встал на берегу озера, на склоне, покрытом стылой травой, идущем к воде. Смотрел сквозь ветки деревьев на сражающиеся краски неба. Держал руки в карманах, ничего не трогал, кроме как глазами.

Прошел час или даже больше, прежде чем я решил вернуться домой. Уже стемнело, хотя я не помнил, как сумерки перешли в вечер, ибо они не страдают пышным финалом. Звезд было не видно, все вокруг окутали грозовые облака. Начали падать первые, еще робкие капли дождя. Вверху бормотал гром, и я был вынужден отправиться в дом, еще раз обманутый ночью.

В холле я выкрикнул несколько имен. Тетя Т.? Ропс? Джеральд? Миссис Дюваль? Мадам? Но вокруг стояла тишина. Где же все? Не могли же они до сих пор спать? Я переходил из комнаты в комнату, но не видел и следа живого человека. На всех поверхностях виднелся слой пыли, скопившийся за день. Где слуги? Наконец я открыл двустворчатые двери в столовую. Может, я опоздал к ужину, которым тетя Т. вознамерилась приветствовать наших гостей?

Похоже, это действительно было так. Иногда тетя Т. позволяла мне вкусить запретного плода из плоти и крови, но никогда с ветки, никогда этот побег не срезали еще теплым с дерева самой жизни. Здесь же передо мной предстали останки именно такого пира. Я увидел изглоданное тело



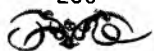
тети Т., хотя они оставили от нее так мало костей, что я едва узнал ее. Толстая белая скатерть была испятнана свернувшимися пятнами крови, словно размотавшийся бинт.

— Ропс! — крикнул я. — Джеральд, кто-нибудь!

Но я уже знал: слуг в доме не было. Я остался один.

Не совсем один, разумеется. Вскоре это стало очевидным, когда мой сумеречный мозг окунулся в непроглядную тьму. Со мной в зале было еще пять черных фигур, они висели на стенах и вскоре потекли вниз. Одна из них отделилась от поверхности и направилась ко мне — невесомая масса, на ощупь показавшаяся холодной, когда я попытался отодвинуть ее прочь, но моя рука прошла сквозь это создание. Спустилось еще одно, отлепившись от дверного косяка. Третье оставило белую звезду на обоях, где прицепилось, как слизняк, когда спрыгнуло, присоединяясь к остальным. А потом подоспели другие, спустились с потолка, накинулись на меня, пока я пытался отбиться от них, взмахивая руками. Я выбежал из зала, но твари окружили меня. Они гнали меня к какой-то цели, а я ринулся по коридорам и вверх по лестнице. Потом забежал в маленькую комнату, душный угол, где я не был уже много лет. Цветные животные озорничали на стенах: голубые медведи и желтые кролики. Миниатюрную мебель покрывали сероватые простыни. Я спрятался под небольшой колыбелью с решетками из слоновой кости. Но они нашли меня.

Ими двигал не голод — они уже насытились. Их не обуяла убийственная жажда крови, ибо они



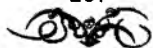
действовали осторожно и методично. Это было воссоединение семьи, сентиментальная встреча. Теперь я понял, почему Дювали могли себе позволить жить *sans préjugé*. Они были хуже меня, ублюдка, гибрида, мулата душ: не теплокровный человек, но и не кровососущий дьявол. Они же — пришедшие из Экса на карте — были чистокровными представителями семьи.

И они высушили мое тело досуха.

IV

Когда я очнулся, все еще стояла тьма, а в горле словно застыл комок пыли. Я чувствовал странную сухость, которой не испытывал прежде. И появилось новое ощущение: голод. Во мне словно открылась бездонная пропасть, огромная пустота, которую нужно было заполнить — затопить океанами крови. Теперь я стал одним из них, переродился, обрел ненасытную жизнь нежити. Стал тем, кого презирал в своем желании избежать существования в смерти и жизни, — еще одним зверем с сотней желаний. Болезненный и прожорливый, я присоединился к обществу живых мертвецов, превратился в ничтожного участника худшего, что есть в обоих мирах. Кладбищенский Андрэ — общительный труп.

Их было пятеро — они отворили пять источников в моем теле. Но, когда я проснулся во мраке, раны почти затянулись благодаря чудесным живительным способностям мертвецов. Верхний этаж захватили тени, и я отправился к свету, идущему с лестницы. Свисающая лампа в зале освещала



щала резные перила наверху, к которым я подошел, выйдя из тьмы, и это зрелище разожгло во мне ужасную боль, которой я не знал прежде: чувство потери — только я не мог сказать, чего конкретно, словно мне еще только предстояло ее пережить.

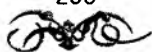
Спускаясь по лестнице, я увидел, что они ждут меня, неподвижно стоят на черных и белых квадратах холла. Отец — король, мать — ферзь, сын — конь, дочка — маленькая черная пешка, а сварливая девственница — слон, стоящий позади всех. И теперь они захватили мой дом, мой замок, чтобы дополнить фигуры на своей стороне. На моей же не было ничего.

— Дьяволы! — закричал я, схватив перила лестницы. — Дьяволы, — повторил я.

Но на мой всплеск эмоций они отреагировали лишь ужасающей невозмутимостью.

— Diables, — крикнул я снова на их отвратительном языке.

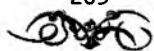
Но, как только они стали переговариваться между собой, я понял, что французский — не их подлинное наречие. Я закрыл уши, стараясь приглушить их голоса. Они беседовали на собственном языке, который прекрасно подходил для мертвых связок. Слова походили на бездыханные, бесформенные хрипы, рождавшиеся где-то в глубине глотки, — пересохшее дребезжание в преддверии мавзолея. Безводные вздохи и сухое клокотание были их диалектом. Эти скрежещущие интонации особенно пугали, так как раздавались из ртов существ, обладавших человеческой формой. Но самое худшее ждало меня впереди.



Я осознал, что прекрасно понимаю, о чем они говорят.

Мальчик выступил вперед, указывая на меня, но глядя назад и говоря с отцом. По мнению этого виноглазого и розовогубого юнца, я должен был встретить тот же конец, что постиг тетю Т. С властной нетерпеливостью отец сказал сыну, что я буду служить проводником в этой странной новой земле, аборигеном, который убережет семью от неприятностей, что часто выпадают на долю иностранцам. К тому же, заключил он, я — член семьи. Юноша взъярился и выкашлял невероятно грязную характеристику своего родителя. Что конкретно он сказал, может быть передано лишь на этом странном, хриплом диалекте, но слово подразумевало чувства и отношения такой природы, что было непостижимо вне мира, который отражало со столь отвратительным совершенством. Дискуссия о грехе, которую вели в аду.

Последовала ссора, и хладнокровие отца обернулось нечеловеческой яростью. Он подчинил сына причудливыми угрозами, не имевшими аналогов в языке привычной злобы. Примолкнув, мальчик повернулся к тетке, похоже надеясь найти утешение. Эта женщина с бледными щеками и запавшими глазами коснулась пальцем его плеча и притянула к себе, словно его тело было воздушным шаром, невесомым и игрушечным. Они стали общаться низким шепотом, используя личную форму обращения, намекавшую на длительную и немислимую преданность, существовавшую между ними.



Явно возбужденная этой сценой, вперед выступила дочь и использовала ту же форму обращения, словно призывая признать меня. Ее мать неожиданно выдавила из себя один-единственный слог. Как она назвала ребенка, можно представить, лишь держа в уме образ самых жестоких дегенератов человеческого мира. Язык Дювалей же нес в себе диссонансные обертоны совсем другого измерения. Каждое выражение было оперой беззакония, хором диких анафем, шипящим псалмом зловонной похоти.

— Я не стану таким, как вы,— я думал, что кричу на них.

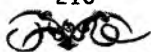
Но звук моего голоса уже так походил на их речь, что слова имели противоположное значение. Семья неожиданно прекратила препираться. Моя вспышка сплотила их. Каждый рот, усеянный неровными зубами, словно деревенское кладбище, переполненное побитыми надгробиями, открылся и улыбнулся. Выражение их лиц кое-что сказало о моем собственном. Они видели растущий голод, их взгляд проникал в пыльные катакомбы моего горла, которое уже кричало о помазании кровавой пищей. Они знали о моей слабости.

Да, они могут остаться в доме. *(Голоден.)*

Да, я могу скрыть исчезновение тети Т. и слуг, ибо я — богатый человек и знаю, что могут купить деньги. *(Пожалуйста, семья моя, я так голоден.)*

Да, они получают убежище в моем доме на столько, на сколько пожелают, а значит, надолго. *(Прошу, я голоден до самой своей сути.)*

Да, да, да. Я согласен на все. Я обо всем позабочусь. *(До самой сути!)*



Но сначала я попросил, ради всего святого, отпустить меня в ночь.

Ночь, ночь, ночь, ночь. Ночь, ночь, ночь...

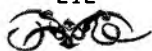
* * *

Теперь сумерки — это тревога, что пробуждает и зовет на пир. И то драгоценное влияние, которое они оказывали на меня в былом полусуществовании, почти исчезло, тогда как перспектива вечной жизни в вечной смерти соблазняет меня все больше. Тем не менее сердцем я желаю удачи тем, кто сможет положить конец моему сомнительному бессмертию. Я еще не столь отдалился от того, чем был, чтобы не приветствовать свою гибель. Пока обескровливания для меня лишь нужда, а не страсть. Но я знаю: все изменится. Когда-то я был отпрыском старой семьи из старой страны, теперь же в моих венах течет новая кровь, и страна моя находится вне времени. Меня воскресили из апатии, и теперь моя жизнь — свирепое выживание. Теперь я не могу уйти в пространство плывущих закатов, ибо я должен идти, влекомый жаждой испить свежую кровь из тьмы.

Ночь за ночью, ночь за ночью.

ПРОБЛЕМЫ ДОКТОРА ТОССА

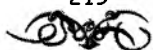
Когда Альб Индис впервые услышал имя доктора Тосса, его не на шутку встревожила неспособность разыскать того, кто его произнес. Поначалу казалось, что имя это поминают два разных голоса, существующих только в его голове, — поминают часто, как если бы оно было краеугольным камнем какого-то ожесточенного спора. Потом Альб списал все на старое радио, работающее у соседей, — у него своего приемника не было. Но в конце концов он понял, что имя произносит хриплый голос где-то на улице, аккуратно под его окном, прорезанным в стене неподалеку от изножья кровати. Проведя ночь вполне привычным образом — проштатовавшись по квартире и просидев полночи без сна в мягком кресле у помянутого окна, — в самый разгар дня он все еще был облачен в серую пижаму. На его коленях покоился альбом для рисования — листы бумаги в нем были кипенно-белыми и плотными. На прикроватном столике, на расстоянии вытянутой руки, стояла чернильница, а в пальцах Альба была плотно зажата блестящая черная ручка с серебристым колпачком. Совсем недавно его



занимал процесс перерисовки окна и кресла, начатый в один из безрадостных бессонных часов минувшей ночи, но потом он услышал, пусть только краем уха, доносящийся с улицы говор.

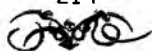
Альб бросил альбом на кровать, где он упокоился среди смятых простыней, в которых запутались выцветшая пара брюк и старая рубашка. Такие уж у него были привычки. Окно было приоткрыто, и, подойдя к нему, он потянул раму за ручку, распахнув его чуть шире. Они должны были быть где-то рядом — эти незримые собеседники, и Альбу хотелось, чтобы их интригующий спор не прекращался. Он припомнил, как один из голосов произнес: «Пора положить конец кое-чьим проблемам», — видимо, под «проблемным» типом подразумевался все тот же загадочный доктор Тосс. Само имя было Альбу незнакомо, но порождало в душе некое с трудом объяснимое волнение, предчувствие чего-то неизведанного. Но разговор сошел на нет как раз тогда, когда неведомый доктор всерьез заинтересовал его. Где же они — эти двое? Как у них вышло так быстро смыться?

Открыв окно нараспашку, Альб Индис выглянул на улицу, но никого не увидел. Он подался чуть вперед, обеспечивая себе больший обзор; его светлые, едва ли не белые волосы растрепал внезапно налетевший ветерок, пахнувший морской солью. День стоял пасмурный и сонный. По ту сторону тусклых стекол окон напротив изредка мелькали чьи-то силуэты. Уличная мостовая, живописно начищенная к приезду летних туристов, ныне могла похвастать лишь неопределенной внесезонной серостью. Альб Индис пригляделся к



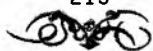
одной из плиток — та была выкорчевана из кладки, и он вообразил себе, что она когда-то взяла и сама по себе отделилась: даже услышал скрипучий звук, сопровождавший бы подобное действие. Звук и вправду был — вот только то позвякивали стальные петли где-то на ветру. К ним крепилась дощатая вывеска, подвешенная у самого верхнего окна старого дома, что подпирали небо всеми своими пристройками, надстройками и мансардами. У Альба ни разу не получалось разобрать, что за четыре буквы красуются на вывеске, хотя он и смотрел на нее тысячу раз, — слишком уж она была высоко; и зачастую его заставляло неуютное чувство, что оттуда, с высоты, кто-то тоже взирает на него в ответ. Но радиостанции было ни к чему зримо присутствовать в старом курортном городке — достаточно было и аудиального ориентира, голоса, что служил беспечным отдыхающим «проводником к морю».

Альб Индис закрыл настоящее окно и вернулся к нарисованному — состоящему из тонких штрихов наброску. Пусть картина и была начата в разгаре бессонной ночи, он не стал копировать созвездия, проступившие на небосводе за стеклом, — он хотел оставить ее незапятнанной какой-либо художественной интерпретацией тех звездных часов. В окне ничего не было — одна лишь чистая белизна страницы, невыразительная отрада уставших глаз. Нанеся несколько завершающих штрихов, Альб аккуратно подписал свою работу в нижнем правом углу. Скоро она займет свое место в одной из толстых папок, что сложены на столе в другом конце комнаты.



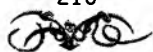
Чем же были забиты те папки? Двумя типами рисунков, между коих и простирался диапазон изобразительных талантов и стилей Альба Индиса. Первый тип — этюды по образцу недавнего: предметы и части интерьера комнаты; далеко не первый раз он рисовал окно, к нему он вообще возвращался с завидным постоянством и всякий раз использовал предельно простой стиль рисовки. Порой он сиживал в кресле перед окном и рисовал собственную кровать, неряшливую и неубранную, иногда его творческое внимание перепадало прикроватному столику и лампе без абажура, стоящей на нем. Та часть комнаты, где стоял стол, тоже удостаивалась поверхностных скетчей. Стена в той части комнаты была самая интригующая из всех четырех. Она сама некогда служила холстом, и наслоения незавершенных изображений загадочных морских обитателей вплетались в неровно нанесенную и кое-как раз за разом подновляемую шпаклевку — осыпающуюся то тут, то там, обнажающую вязкую сырость стенной кладки. Картин на той стене не висело — да и на остальных тоже: лишь утлая книжная полка, на коей пребывали в покое загнанные в рамки страниц неведомые миры, выдавалась из их наготы. Отвлеченные наброски: кроссовка, прислоненная к ножке кровати, перчатка, указывающая на некую опасность отставленным указательным пальцем, — составляли сухой остаток работ первого типа.

А что же со вторым? Был ли он интереснее первого? Возможно, хотя и не в том смысле, что обычно подразумевает работу воображения. Воображения у Альба Индиса не было — по крайней

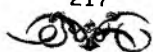


мере, такого, что можно было бы использовать на благо творчества. Всякий раз, когда Альб пытался представить себе нечто небывалое, его мозг был не в силах нарисовать ничего на предложенном ему холсте. Все что оставалось — белизна, чистый лист, нулевая концепция. Однажды у него почти получилось — он представил несколько странных объектов, парящих посреди заволакивающей небо метели под звук чьего-то искаженного голоса, но несколько мгновений спустя образ выцвел и канул в пустоту. Этот художественный недостаток, однако, не грозил Альбу ни разочарованием, ни раздражением. Он редко испытывал силы своего воображения, интуитивно догадываясь, что посетит в этом деле куда больше, чем пожнет. В любом случае, создавая картину, можно было пойти множеством дорог, а у Альба Индиса был иной путь — тот самый, благодаря которому он рисовал уже помянутые картины второго типа. Картины, совершенно не похожие на тип первый, обыденный и невзыскательный.

Техника, используемая Альбом Индисом для картин второго типа, являла собой своего рода художественную подделку; сам он предпочитал называть это «соавторством». Но кем же были его соавторы? Почти во всех случаях узнать их имена возможным не представлялось — то были анонимные художники, готовившие иллюстрации к очень старым книгам и периодическим изданиям. Все его книжные полки были завалены подобным — фолиантами и подшивками, что порой требовали едва ли не нежности в обращении со своими побитыми временем обложками. Французский, фла-



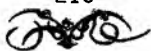
мандский, немецкий, шведский, русский, польский — любой культурный источник публикуемого материала подходил, коль скоро его иллюстрации взывали к Альбу на языке темных линий и белых лакун. В самом деле, чем более случайным был источник вдохновения, тем лучше служил он избранной цели. Альбу Индису нравилось браться за какую-нибудь вековую гравюру, изображавшую субарктический пейзаж, и, старательно копируя манеру оригинала, переносить бескрайние просторы снегов на свой лист. На смену гравюрной Арктике приходило столь же старое изображение церкви в чужом городе, о котором Альб ни разу в жизни не слышал, и камень за камнем он переносил ее в самое сердце своей снежной пустыни. Наконец, с еще более древних страниц Альб собирал образы демонов, выписанные безвестным художником, и, бережно сохраняя манеру и стиль, заставлял их плясать на укрытых снегом вершинах и вторгаться в дом Господень. Так проходил его творческий процесс — процесс соединения образов в нечто такое, о чем их истинные создатели даже не задумывались. Присваивая их, он создавал необычайные по духу запустения пейзажи, как бы демонстрируя эффект собственных тягот лишения сна, накатывающих ночь за ночью. Под его чутким взором и твердой рукой рождались сплетения художественных форм, отмеченных анатомически выверенным ужасом, и их компоненты, изъятые из лет своего написания, образовывали композиции поистине химерического толка. Предельно логичным Альбу Индису казалось то, что самые безобидные образы и проявления



должны в конце концов найти свой путь от света к тени, от тени — к беспросветному мраку.

Сейчас он работал над новой композицией, имея в голове пока что лишь общий ее план. Серповидный шрам луны, образ достаточно распространенный, Альб Индис хотел вырезать из одного черного неба и зафиксировать на другом, на котором он имел бы более зловещее значение. Эта художественная трансплантация позволила бы Альбу безвестно потратить остаток дня, однако законные разговоры нарушили привычный ритм жизни. Почти любое событие могло повредить хрупкую рутину страдающего бессонницей, так что пока не было никаких причин отмечать сей случай как феномен. Приход арендодателя Альба — неважно, за платой ли или формальности ради, — тоже мог выбить его из колеи на неделю-другую. Раньше подобные вещи его мало беспокоили, но ныне груз старых забот скопился — и начал попирать крайнюю отметку. И все же — было ли в том докторе Туссе нечто особенное? Альб заинтересовался им, и он ничего не мог с собой поделать. Был ли доктор Тусс подобен всем остальным врачам — или мог взаправду *услышать* его, Альба? Ни один врачеватель доселе не прислушивался к нему, ни один не снабдил лекарством, что способно было помочь.

Что ж, если в приморском городке обосновался новый врач, Альб Индис никогда не узнает, хороши ли его методы, оставаясь дома. Ему нужно было выяснить кое-что для себя, нужно было выйти в мир. Когда он в последний раз хорошо ел? Возможно, с этого — с похода в кафе за углом, где можно



дешево поест без страха отравиться,— и стоило начать путь, а уж потом отправиться на поиски Тосса. Что ж, на том и решено, подумал Альб. Выйду, поем, подышу свежим воздухом, приобщусь к видам города. В конце концов, множество людей прибывают сюда в исключительно терапевтических интересах, веря, что спасение сокрыто в самой атмосфере извилистых улочек города и облаканных морем берегов. Быть может, случится так, что все его болезни отступят сами собой, оставив Альба без нужды в этом докторе, в докторе Тоссе.

Облачившись в темные, тяжелые одежды, он вышел и закрыл за собой дверь. Но закрыть как следует окно все-таки забыл — в комнату влетел ветер и стал перебирать страницы альбома, оставленного на пребывающей в беспорядке кровати.

* * *

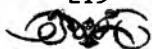
В кафе Альб Индис занял уютный столик в тихом и комфортном углу. В центре зала располагалась доска, наподобие школьной, с выведенным на ней меню. Но была она от него далековато, да и весь зал пребывал в намеренно созданном полумраке, и поэтому все, что Альб мог видеть,— единственное слово, выведенное крупными буквами. Его он и озвучил официантке:

— Рыба.

— Вы хотите рыбное блюдо дня?

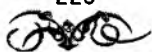
— Ну да,— на автомате откликнулся Альб, не испытывая и тени смущения.

Несмотря на отсутствие интереса к меню, он не жалел о том, что зашел сюда. Маленькая лампа,



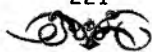
прикрепленная к стене рядом с ним, чей свет был притушен сероватым абажуром из какой-то грубой ткани, создавала ночную атмосферу в том уголке зала, где он сидел. Вскоре Альб Индис обнаружил, что, если приковать взгляд к точке на стене прямо над креслом, стоящим перед ним, всю периферию, доступную левому глазу, укутывает темная мгла, а правый все еще видит ясно — благодаря островку света, что расплылся на столе, за которым он сидел, под маленькой настенной лампой. Эти фокусы с собственным зрением придавали ощущение, что он поселился в фосфоресцирующем гроте на дне океана. Но удержать иллюзию Альб не сумел. Обманчивое состояние легкого восторга растаяло, в то время как реальность кругом обрела самые четкие очертания.

Но не случись этого — заметил бы он газету, оставленную кем-то на сиденье соседнего стула? Что-то подобное ему сейчас требовалось — некое отвлечение, окно в привычный мир, взгляд в которое отвлек бы от раздумий о грядущей ночи, что либо продлила бы его пытку бессонницей, либо, сжалившись, приговорила к милостивому забытию. Потянувшись к газете, он раскрыл ее, привел в порядок перепутанные и смятые листы. Его взгляд забегал по темным буквам на тонкой бумаге — счастливо-бездумный. К тому моменту, как принесли его заказ, он пролистал раздел объявлений, прогноз погоды, обзор событий на западном побережье — и наконец добрался до статьи, озаглавленной: «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА ТОССА — возвращение городской легенды». Краткая предварительная заметка указывала на



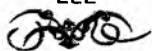
то, что статья, написанная несколько лет назад, периодически перепечатывалась — в угоду спонтанному росту интереса к ее герою. Прервав на миг трапезу, Альб Индис улыбнулся, чувствуя разочарование... но и какое-то облегчение — тоже. Значит, нет никакого нового доктора. Есть только старый.

Но что же в нем тогда такого примечательного? Согласно одной из версий, что были представлены в статье, Тюсс, некогда превосходный врач и уважаемая фигура, за одну ночь утратил рассудок в результате какого-то инцидента неопределенного характера. Впоследствии он продолжал вести практику, но в совершенно ином, непотребном ключе. Так длилось некоторое время, а потом действиям доктора положили конец — сумасброда обезглавили, а труп утопили в море. Была и другая версия: по ней Тюсс был пережитком ведьмовских времен — не столько доктором, сколько ведун-алхимиком. А может, он и впрямь был новатором, которого попросту не поняли? Расплывчатость свидетельств того времени не позволяла дать однозначный ответ на вопрос. Никаких злодейств эта версия Тюссу не приписывала — упоминался лишь его омерзительный питомец. По слухам, то была маленькая, не больше человеческой головы, тварь, отмеченная печатью болезни и разложения, говорящая неразборчивым голосом — или даже несколькими голосами одновременно, передвигающаяся с помощью многочисленных придатков — так называемых «чудных когтей». Статья утверждала, что имелась веская причина рассматривать это чудовище в качестве центрального



персонажа легенды,— поскольку то мог быть не столько дьявольский компаньон доктора Тюсса, сколько сам загадочный Тюсс собственной персоной. Была ли у легенды мораль: что-нибудь в духе «с чертом водиться — от черта и накрыться», или же доктор сам по себе играл роль причудливого монстра, коим дети пугают друг друга у лагерных костров? Посыл легенды не был ясен, но разве у всякой легенды есть иной посыл, кроме как пощекотать чье-либо воображение? Так или иначе, каким-то непостижимым образом имя доктора Тюсса стало поминаться людьми в определенных обстоятельствах, став достоянием молвы. Не посягая на лавры исследователя, автор статьи привел в пример выражение и без того, скорее всего, хорошо известное читателям: *отдай все свои несчастья морю (реже — ветру) и доктору Тюссу*. Фигура доктора, мистическая либо же реальная, выступала своего рода аннигилятором чужих страданий. Заключительный пассаж статьи предлагал читателям связаться с ее автором и рассказать о более давних и менее распространенных упоминаниях местной легенды, если таковые кому-либо известны.

Статью Альб Индис прочитал с неожиданным для самого себя интересом. Отложив газету и отодвинув от себя тарелку с объедками, он погрузился в раздумья. Столешница, побитая временем, будто бы разлагалась в желчном свете настенной лампы, и — была ли то лишь слуховая галлюцинация, плод далеко зашедшего воображения? — Альбу даже показалось, что он слышит голос, искаженный и хриплый, будто бы вещающий с



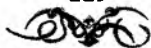
неустойчивой радиоволны. Да, меня зовут Тосс, произнес этот голос. Я доктор.

— Прошу прощения, вы будете что-то еще заказывать?

Нехотя вернувшись в реальность, Альб покачал головой, заплатил официантке и вышел на улицу. По пути к двери он внимательно изучил каждое лицо в кафе, но никто из этих людей, как он убедил себя, не мог сказать те слова, что он услышал.

Да и потом, как оказалось, доктор — всего лишь продукт народной фантазии. Местное поверье. Или все-таки нечто большее? Будучи до конца честным с самим собой, Альб признал, что к его текущему хорошему самочувствию доктор как-то причастен. Он все съел, что ему принесли, — уже удивительно! Конечно, в корне ничего не поменялось: город был гробницей, небо — ее сводом, но для Альба Индиса над миром возшло и засияло потайное солнце. Он чувствовал его тепло. И до его захода оставались еще целые часы. Альб дошел до конца улицы — дальше та сбегала по холму, и тротуар заканчивался пролетом старой каменной лестницы, чьи ступени местами просели и раскрошились. Вниз по узкой тропе Альб устремился к тому месту, пребывание в котором давалось ему столь же легко, сколь и бдения у себя дома.

Подойдя к старой церкви со стороны погоста, он увидел большой шестигранный пик, похожий на рог, выпирающий из-под коричневых крон деревьев. Кладбище было обнесено забором из тонких черных прутьев, сваренных одним толстым по горизонтали — в самой середине, будто то был позвоночник. Ворот не было, и по тропе Альб спо-



койно вошел в церковь. Его обступали надгробия и памятники — целый лес памятников, крестов и надгробий. Иные были настолько стары, что выглядели так, будто вот-вот опрокинутся. Неужто один могильный камень окончательно сник к земле прямо сейчас, у него на глазах? Чего-то в пейзаже стало не хватать — чего-то, что, казалось, было тут еще минуту назад.

Стоя перед церковью, Альб Индис не смог противиться желанию поднять взгляд выше, к тому шпилю, что вздымался из шестигранной башни, венчавшей строение. Башенные часы с римскими цифрами на циферблате были сломаны. Под пасмурным небосводом церковь, хоть и была возведена из белого камня, казалась оплотом теней. За нею, как Альб знал, начинался пригорок с чахлой травой, нисходящий к песку и морю... и с той стороны был слышен плеск волн, но столь мертвый и механический, что казалось — то не реальные волны — то старое радио рассерженно шипит, попав на полосу помех.

Церковь была пуста в сей запоздалый час. Всякий звук внутри был мертв, всякий свет — низведен до минимума. Окна закрывали темные дубовые ставни, стирающие понятие о времени, — ранние сумерки из-за них становились поздним вечером, и минуты застывали в вечности. Опустившись на скамью и откинувшись без сил на ее спинку, Альб уставился в перспективу — столь же темную, укрывшую иконы, дальние ряды скамей и амвон. Плевать на бессонницу, плевать на ее пагубные последствия. Его страдания оправданы, его грехи вскоре будут отпущены. Ни один из тех

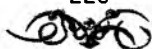


демонов, которых он сделал частью той своей картины, не посмеет вторгнуться в *эту* обитель и потревожить ее священный покой. Мгновения умирали на его глазах, задушенные беззвучием.

— Но беда, вместе с ветром бесчинствуя, ест, и в оконные стекла стучит ее перст, — сбивчиво произнес Альб. Слова сами собой пришли из глубин погруженного в полудрему мозга.

Абсурдное чувство вдруг растревожило его, захотелось встать и уйти. Но уйти он не мог. Кто-то обращался к нему с амвона. Кафедра в такой большой церкви *должна была* быть оснащенной микрофоном, что усиливал бы привычный голос, так почему бы не говорить обычно — почему этот быстрый говор будто бы распадается на несколько разных голосов? И что же они говорят, эти голоса? Альб не мог разобрать — он слышал их будто во сне. Если бы только он мог шелохнуться — просто повернуть немного голову, просто открыть глаза и посмотреть, что же происходит! А голоса все продолжали множиться — не утасая, повторяя без конца одно и то же, заполняя фантастическим образом разросшееся внутреннее пространство церкви. Прилагая усилия, что, казалось, были достаточны для того, чтоб саму Землю столкнуть с орбиты, Альбу удалось повернуть голову — и взглянуть в восточное окно. Даже не размыкая смеженных век, ему удалось увидеть то, что там было. Но из сна его вырвало не зрелище, а осознание того, что же все-таки говорят голоса. Они называли себя доктором, и имя тому доктору было...

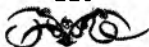
Альб Индис выбежал из церкви — прочь от шипения, наполнявшего прибрежный эфир, прочь



от этого дьявольского радио с его несуществующими волнами. День был почти на исходе — ему *нужно* было очутиться дома как можно скорее. Какую глупую ошибку он сегодня совершил! Вечная бессонница казалась спасением, если *такие* сны ожидали его за порогом сознания.

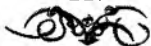
Дома он вернулся мыслями к той улыбчивой луне, которой предстояло занять место в очередной картине. Как же все-таки хорошо — иметь хоть какое-то дело, пусть даже такое вот, мрачное и бесцельное! Как же хорошо, когда есть чем наполнить пустые ночные часы! Изможденный, он бросил свое темное пальто на пол, присел на кровать и стал снимать ботинки. Спиной он чувствовал что-то, запутавшееся в простынях. Как странно! Обычно это были брюки, но они-то сейчас на нем. Не понимая толком, что делает, Альб занес руку с одним ботинком над странным комком, прижал его на несколько секунд, как зловредное насекомое... и тот сдулся, просел с тихим *пуфф*, как могла бы просесть старая шляпа, не надетая на голову. *Хватит на сегодня странностей*, подумал Альб сонно, *пора бы и работе время уделить*.

Но стоило ему раскрыть альбом, как его глазам предстало невиданное — картина, оставленная незаконченной, была *завершена*. Завершена совсем не так, как ему бы хотелось. Он оглядел рисунок окна, столь тщательно им подписанный. Неужто он так устал в ту ночь, что забыл, как закрасил заоконную белизну и в чернильном мраке подвесил вызывающий серп луны? Как он мог забыть, что вонзил этот костно-белый резец в темную плоть ночи? Да, он планировал добавить луну



в одну из своих картин, но совсем не в эту! Эта ведь принадлежала совсем другому типу, ибо отражала всего лишь один из элементов его неизбывного интерьера, лишь то, что он ежедневно мог наблюдать в своем четырехстенном узилище. Зачем же он добавил сюда эту ночь, этот месяц, что вышел из-под руки другого художника? Не вымотай его хроническая бессонница столь сильно, не будь его голова столь переполнена обрывками неувиденных снов, он бы попробовал во всем разобраться... но в своем теперешнем состоянии Альб даже не смог подметить еще одно изменение в рисунке — странную темную форму, свернувшуюся в кресле под окном. Слишком уж он устал, слишком много сил потерял, и, как только последний луч солнца погас в его комнате, Альб смежил веки и вытянулся на своей неряшливой кровати.

Но выспаться ему в ту ночь — да и в какую-либо другую, ибо та стала для него последней, — суждено не было. Звук пробудил его. Комната была слабо освещена серпом луны, чье бледное сияние просачивалось сквозь оконное стекло; и сияния этого было достаточно, чтобы осветить кресло, перенесенное на рисунок. Оттуда, с кресла, и простерлось оно к нему, покачивая своими многочисленными конечностями и издавая звук радиопомех: белый шум, белая ночь. Звук, грубый и ломающийся, обрел некие очертания, сложившиеся в трескучие, беспрестанно повторяемые слова: *я доктор, я доктор, я доктор*. А потом существо из кресла одним махом запрыгнуло к Альбу на кровать и заработало своими чудными когтями, даруя одержимому художнику волшебное излечение.



* * *

Его нашел домовладелец — нашел по чистой случайности. Он узнал своего арендатора, хоть и сложно было опознать Альба Индиса в обглоданных останках на кровати. По городу прошел слух о страшной болезни, что была, должно быть, принесена каким-то иностранным туристом. Иных неприятностей, впрочем, не последовало, и со временем случай оброс нелепыми выдумками. Так он и перекочивал в разряд городских легенд — загадочный и никем не разрешенный до сих пор.

МАСКАРАД МЁРТВОГО МЕЧНИКА

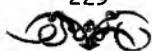
Коль с тайны вдруг спадают маски,
От ее тьмы спасайте глазки.

Псалмы молчания

I: Спасение Фалиоля

Нет сомнения в том, что суматоха карнавальной ночи была в некоторой степени повинна во многих непредвиденных происшествиях. Привычный порядок вещей был потревожен кутящей толпой, чьи фальцетные праздничные песнопения аккомпанировали глубокому звуку, издаваемому, похоже, самой ночью. Объявив свой город врагом всякого спокойствия, жители Сольдори вышли на улицы — дабы сговориться против одиночества, громогласно заявить о себе, саботировать однообразие. Даже герцог, человек осторожный и мнящий себя не обязанным следовать чудачествам коллег-феодалов в Линезе и Даранзелле, облачился в богатое маскарадное убранство — хотя бы в качестве уступки своим подданным. Жители всех

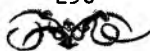
ГРЕЗЫ БЕССОННЫМ. Маскарад мёртвого мечника



трех городов, что находились под властью герцога Сольдори, до ужаса (в прямом смысле — герцога сей факт порой пугал) любили праздники. В каждом закоулке, по обыкновению степенного княжества, обезумевшие гуляки открыли свой филиал персонального рая — рая кровосмешения, пьянства, плотских утех. Границы меж болью и удовольствием размывались людьми намеренно, дабы ни прошлое, ни будущее не смело хотя бы сегодня тревожить их.

Можно простить троицу свиноликих, налившихся до одурения пьяниц, что они не признали Фалиоля, ступившего в густой мрак питейного заведения. Одежды этого мужа обычно сочетали в себе лишь красное с черным, но наряд новоприбывшего был столь пестр, что ни на одном конкретном цвете не удавалось заострить внимания,— глазам являлось некое совершенно не воспринимаемое безумие цвета. Подобный шутовской наряд не рискнул бы воспроизвести ни один житель ни в одном из трех городов: ни безрассудный денди, ни авторитетный наемный убийца, ни даже тот, кто, подобно самому Фалиолю, являлся и тем и другим. Печально известная черно-красная палитра была ныне похоронена под многоцветьем тряпок — и руки, и ноги, и даже голова обросли бахромой. Прежде чем за Фалиолем закрылась дверь, ветер, пришедший с улицы, заставил его истрепанную ливрею ожить — и сразу сотня потрепанных флагов затрепетала в смрадном воздухе напоминающей пещеру пивнушки.

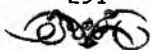
Но даже без оглядки на наряд оборванца Фалиоль-нынешний не был похож на себя прежнего.



Его поразительной длины меч болтался у левого бока, не заправленный в ножны. Кинжал, обшитый полированным до зеркального блеска металлом, реликвия дней темных и кровавых, болтался на подвеске у левого плеча, готовый вот-вот упасть. Волосы Фалиоля были подстрижены по-монашески коротко, став слабым напоминанием о его некогда роскошной шевелюре. Но самым обескураживающим изменением в облике Фалиоля стали очки, сидящие на носу. Глаз из-за них не было видно — стеклышки были словно бы вылеплены из некой мутной субстанции.

И все же остались такие признаки, по коим даже самые невнимательные смогли бы узнать знаменитого Фалиоля. По мере того как он шагал к углу, в коем засели трое помянутых свиноликих пьянчуг, аура невольной, несколько презрительной уверенности сопровождала его, и ни одна превратность судьбы не в силах была ослабить ее мощь. Его сапоги, пусть и не были теми творениями из изысканной черной кожи, что посерела от пыли тысячи дорог — всего-навсего сапоги конюха, какие Фалиоль никогда бы не надел, — позвякивали при ходьбе изобилием притороченных серебряных цепочек. С них свешивались маленькие агатовые глазки амулетов, напоминающие тот амулет-глаз из оникса, что обыкновенно овивал худое горло Фалиоля серебряной цепью.

Ныне же ни один амулет не украшал грудь Фалиоля — утраченное либо угодившее в немилость чернильное око оникса сменили две линзы темного стекла. Каждая отражала свет фонаря, висящего в углу, где засел Фалиоль, — ни дать ни взять две



луны-близняшки. Как будто не подозревая, что находится он не в какой-нибудь потаенной обители просвещения, а в обычной пивнушке, Фалиоль извлек из потайного кармана в своем пестром бахромчатом наряде небольшую книжицу, на потрепанной обложке коей было оттиснуто название: «Псалмы Молчания». Обложка книги была черной, тогда как литеры на ней были в красноте своей подобны осенним листьям.

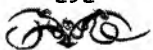
— Фалиоль стал ученым? — прошептал кто-то из толпы.

— Состраданию бы ему поучиться, — тихо добавил другой голос.

Фалиоль ослабил крохотную серебряную застежку и открыл книгу в заложенном тонкой бархатной закладкой месте — где-то посередине. Будь вместо левой части разворота зеркало, он давно бы уж углядел троицу пьянчуг, осторожно, ежели не украдкой, взиравших в его сторону. Кроме того, будь на правой стороне книги второе зеркало под тем же углом, он смог бы также заметить четвертую пару глаз, шпионящую за ним с другой стороны милостиво запыленного оконного стекла.

Но в книге были лишь буквы, написанные от руки... если быть совсем уж точным — выведенные рукой самого Фалиоля, и потому он не был осведомлен о наблюдателях. Все, что являлось его взору, — две бледные страницы, заполненные красивым убористым почерком. Но вскоре тень пала на эти страницы — одна, за ней другая, за ней третья.

Трое мужчин, застыв на равном от Фалиоля расстоянии, нависали над ним, хоть он и продол-

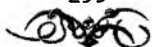


жал читать, будто их и не было в помине. Он читал до тех пор, пока не погас над ним фонарь: мужчина посередине грубыми пеньками плоти, что заменяли ему пальцы, выкрутил рожок. Закрыв книгу, Фалиоль спрятал ее в укрытый бахромой карман у самого сердца и сел, практически не шевелясь. Троица в одуревшем злорадном трансе наблюдала за неспешно и торжественно выполненной последовательностью действий. Лицо в оконном проеме просто прильнуло сильнее к стеклу, дабы узреть каждую деталь немой сцены.

На очкастого оборванца посыпались оскорбления с трех сторон. Из трех кружек на него полился эль — вначале неуверенно, затем в полную мощь. Но Фалиоль молчал и все так же оставался недвижим, выражая непоколебимость тела и духа, что, казалось, только сильнее распаляла карнавальное безумие трех жителей Сольдори. Их злость росла, унижения становились все более изобретательными. Наконец огромной силы удар разбил Фалиолю губы и сбросил его с насиженного места. Двое пьянчуг прижали его к доскам стены, третий сдерживал с его лица очки.

Открылась пара голубых глаз. Веки, крепко сжавшись на миг, отгородили их от света, затем вновь распахнулись. Рухнув на колени, Фалиоль испустил придушенный крик — крик немого под пытками. Впрочем, вскоре мышцы его лица ослабились — только грудь, скрытая бахромой, продолжала болезненно быстро вздыматься и опадать. Он встал на ноги.

Забравший у Фалиоля очки отвернулся и воздел руку над головой, демонстрируя трофей — зажа-



тые в неуклюжих пальцах тоненькие серебряные планки оправы, заключившие в себя две линзы, стоимость коих сему неотесанному типу была неведома. Отвлечшись на толпу, он не заметил, как Фалиоль, выдернув кинжал из ножен, расправился с двумя его товарищами — молниеносно и жестоко.

— Ну и где же этот оборва... — обратился третий к своим товарищам, но те рухнули ему под ноги, захлебываясь кровью из перерезанных глоток.

Острые прорезали и к его жирной коже. Кинжал был дьявольски острым — малейшее касание оставляло ощутимые царапины.

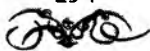
— Что ж, ты их забрал, — провозгласил Фалиоль. — Так надень же и узри. — В голосе не было и намек на злость — то был лишенный эмоций приказ человека, глухого ко всем мольбам и прошениям о помиловании.

Облизнув пересохшие губы, мужчина повиновался. Едва его глаза скрылись за стеклами, тело его будто окостенело — и приросло к полу.

Посетители пивнушки подались вперед, дабы подивиться на дебошира в темных очках. Лицо в окне последовало их примеру. Мужчины смеялись пьяным безликим смехом, но нашлись и те немногие, что молчали: зрелище лишило их всяких слов.

— И дичайший глупец подобен в них ученому мужу, — прошептал кто-то.

Улыбка демона-искусителя расцвела на губах Фалиоля при взгляде на собственное невольное творение. Спустя несколько мгновений он убрал



кинжал, но даже тогда дебошир не сдвинулся с места ни на йоту. Руки мужчины безвольно свисали вдоль крутых боков, его щеки побледнели, как два комка снега, смешанного с пеплом. На лице двумя черными солдцами горели линзы очков.

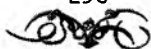
Смех потихоньку стих, многие даже отвернулись от столь непривычного зрелища. Мясистые губы были единственными живыми на лице мужчины чертами — двигаясь медленно, спазматически, словно у умирающей рыбы, задыхающейся в сухом воздухе. Взглянув сквозь очки Фалиоля, несчастный не умер телом — он умер душой.

— Дичайший глупец,— повторил все тот же голос.

Аккуратно, почти что бережно, Фалиоль снял очки с лица отупевшего идола. Лишь покинув пивнушку, он решился водрузить их обратно на свой нос.

— Достопочтимый сир,— обратился к нему голос из уличной тени. Фалиоль замер, но единственно для того, чтобы внять атмосфере ночи — не в ответ на слова незнакомца, что воззвал к нему.— Позвольте мне назваться именем Стрельдоне. Мой посланец говорил с вами в прошлый канун в Линезе. Сколь щедро с вашей стороны было откликнуться на мою просьбу и прибыть сюда, в Сольдори, на встречу. Тут неподалеку моя карета, так что суматоха праздника нам не мешает.

Они забрались в экипаж, и там этот благовоспитанный джентльмен, что возрастом едва ли превышался над чертой отрочества, продолжил разговор с молчаливым Фалиолем:

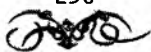


— Меня проинформировали, что вы прибыли в Сольдори совсем недавно, и я ждал удобного момента, чтобы подхватить вас. Вы, конечно же, были осведомлены о моем присутствии.— На лице Фалиоля при этих словах не появилось и тени эмоции.— Как жаль, что вам пришлось раскрыть свое истинное «я» в том питейном свинарнике. Но я вас прекрасно понимаю — терпеть такие унижения одной лишь анонимности ради!.. Ничего страшного не произошло, уверен.

— Уверен,— монотонным эхом откликнулся Фалиоль,— те трое опечаленных мужей с вами не согласились бы.

Юный Стрельдоне соизволил посмеяться над остротой собеседника.

— В любом случае их натура рано или поздно привела бы к тому, что алый шнур затянулся бы на их глотках. Герцог довольно суров, когда дело доходит до беззакония, учиняемого плебсом. Собственно, это подводит нас к тому, о чем мой посланец испросил вас в Линезе,— разумеется, с условием, что нам не придется долго торговаться об условиях.— Ответом ему послужило молчание.— Великолепно,— кивнул Стрельдоне, явно готовивший себя к спору, не оставляя паузы для каких-либо иных изъяснений мысли наемного убийцы, который и выглядел, и вел себя как механическая кукла, вроде той, что сейчас выплясывала на главной площади Сольдори. Медленно обратив голову и протянув руку, Фалиоль получил от Стрельдоне бархатный кошелек, содержащий половину платы. Остаток Стрельдоне пообещал вручить по завершении работы, цель и смысл коей взялся излагать.

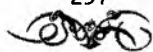


Была в этом деле девушка из знатной и богатой семьи, принцесса во всем, кроме титула, которую Стрельдоне любил, и которая отвечала ему взаимностью и с готовностью отзывалась на его предложение о женитьбе. Но был в деле также некто по имени Виндж — хотя его Стрельдоне неизменно величал Чародеем. Этот-то Чародей и вознамерился во что бы то ни стало заполучить девушку, и это нечестивое желание получило одобрение не только со стороны высших кругов герцога Сольдорского, но и у самого отца девушки. И герцогу, и отцу Чародей пообещал регулярные поставки золота и серебра, полученного путем алхимических преобразований базовых металлов, а золото и серебро, как известно, — непреходящий источник финансирования войн и прочих высокопоставленных амбиций. Словом, если верить Стрельдоне, его возлюбленная в разлуке с ним становилась несчастнейшим существом в мире, да и его собственное состояние притом было не лучше. Сия карнавальная ночь — последний шанс для Фалиоля освободить их от пагубного влияния Чародея и высшего света.

— Вы меня хотя бы слушаете, сир? — спросил Стрельдоне.

В ответ на это Фалиоль бесстрастно повторил все ключевые детали истории, только что изложенной юношей.

— Что ж, рад видеть, что вы поныне пребываете в здравом уме, сколь отрешенным не казались бы. Понимаете, до меня дошли определенные слухи... Так или иначе, этой ночью Чародей будет присутствовать во дворце герцога, на маскарад-



ном торжестве. Она будет с ним. Помогите мне вернуть ее. Мы оба сбежим из Сольдори, и я воздам вам, наполнив пустую часть сего бархатного кошелька.

Фалиоль спросил, не принес ли Стрельдоне по оказии пару костюмов, что обеспечили бы им вход на торжество. Тот с готовностью продемонстрировал доселе сокрытые в тенях кареты костюмы, один из которых был бы уместен рыцарю старых дней, а другой — придворному шуту того же периода. Фалиоль потянулся к узорчатому костюму с глумливой маской.

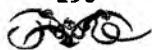
— Боюсь, этот я приготовил для себя, — воспротивился Стрельдоне. — Тот, второй, больше подходит для того, чтобы ваш меч...

— Мне не понадобится меч, — заверил своего нервного компаньона Фалиоль. — Этот будет уместнее. — Он приложил носатую маску шута к своему лицу.

Теперь они катили в сторону дворца, и вязкая атмосфера карнавала Сольдори стала сгущаться на осях кареты, замедляя ее ход. Смотрящие в пиршество ночи глаза Фалиоля были столь же темны, сколь эта бесноватая ночь.

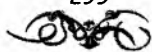
II: ОЧКИ И ИХ ИСТОРИЯ

С глазами неподвижными и туманными, как у слепца, маг сидел напротив небольшого круглого стола, на котором в серебряном подсвечнике горела единственная свеча. Освещаемая этим слабым пламенем, поверхность стола была инкрустирована эзотерическими символами, со-



звездием замыслов, низводящих краеугольные силы существования до нескольких живописных узоров. Но мага занимали не они. Его внимание было обращено к тому, кто бредил в тених тайной комнаты. Час был поздний, а ночь безлунна. Узкое окно позади безбородого, бледного лица мага выглядело как цельное черное полотно, которое, казалось, поглощало свет свечи. Время от времени, если кто-то проходил за этим окном, руки бредившего пробегали по густым темным волосам, пока он говорил или пытался говорить. Порой он мог приблизиться к свече, и тогда пламя освещало его смелый наряд в красно-черных тонах, его блестящие голубые глаза, его лихорадочное лицо. Маг спокойно внимал диким речам человека:

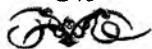
— Не то чтобы я сумасшедший — все мое безумие состоит в знании, которое я ищу у вас. И пожалуйста, поймите, что я не питаю надежды — мной владеет только жгучее любопытство в разгадке тайн моей мертвой души. Что касается утверждения о том, что я всегда занимался делами, которые можно считать безумными, я обязан признаться — да, бесчисленные дела, бесчисленные безумные игры плоти и стали. Признавшись в этом, я хотел бы также отметить — то были разрешенные провокации хаоса, известные в той или иной форме миру и даже благословленные им, если бы правду говорили вслух. Но я спровоцировал другое, новое, безумие, которое приходит из мира, находящегося на ложной стороне света, безумие неправомерное и не вписывающееся в границы наших «я». Это запрещенное безумие, вредитель



вне известных законов... и я, как вы знаете, испытал его пагубное влияние на себе.

С тех пор как безумие начало разрушать меня, я стал адептом каждого ужаса, который можно помыслить, ощутить или узреть во сне. В моих снах — разве я не говорил вам о них? — сплошь сцены бойни без цели, без ограничения и без конца. Я ползал по густым лесам, засаженным не деревьями, а огромными копьями, и на каждом из копий красовалась голова. У всех этих голов — лица, которые навсегда ослепят того, кто видел их где-то, кроме сна. И они следят за моими движениями не земными глазами, а тенями в пустых глазницах. Иногда, когда я прохожу через их странные ряды, головы говорят мне вещи, которые невыносимо слышать. Но я не могу не слушать их, поэтому внимаю, покуда не изведу все ужасные тайны каждой жестокой главы. Голоса звучат из их рваных пастей настолько чисто, настолько ясно для моих ушей, что каждое слово — это яркая вспышка в моем спящем мозге, это блестящая новенькая монета, отчеканенная для адской сокровищницы. К концу безумного сна головы пытаются смеяться, но у них выходит лишь нечестивое бормотание, которое отдается эхом по этому страшному лесу. И когда я просыпаюсь, то все еще слышу в ночи угасающие отголоски их смеха.

Но зачем мне говорить о пробуждении от этих снов? Ибо пробуждение, как я когда-то понял, есть чудо. Проснуться значит возвратиться в мир привычных законов, утерянных на некоторое время, подняться в свет этого мира, а сон стряхнуть во тьму. Но для меня нет смысла рвать оболочку сна.

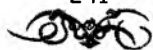


Кажется, я остаюсь пленником этих грёз, этих видений. Когда одно заканчивается, его сменяет другое — как чередующиеся друг за другом нескончаемые коридоры, что никогда не приведут к свободе. Все что мне известно — я являюсь обитателем одного такого коридора. А потому в любой момент — прошу прощения, мудрец,— вы можете превратиться в демона и начать потрошить плачущих младенцев перед моими глазами. Размазывать их внутренности по полу, чтобы прочесть в них мое будущее, будущее без возможности избавления от речей тех голов на копьях и от всего, что происходит после того, как я вдоволь наслушаюсь их.

Ибо существует цитадель, в которой я заточен, где есть некая школа — школа пыток. Церемониальные душиатели, с чьих ладоней не исчезают следы от красных шнуров, бродят по ее коридорам или же храпят в тених, грезя о совершенных шеях. А где-то мастер палач, верховный инквизитор, ждет, когда меня вытащат из камеры, протащат по каменным полам и представят пред этим демоном с безумными, закатившимися глазами. А потом мои руки, ноги, все будет заковано, и я буду кричать, желая умереть, пока Главная Пытка...

— Достаточно,— оборвал маг, повысив голос.

— Ну да, достаточно,— усмехнулся безумец.— Это слово я произносил бесчисленное множество раз. Но конца нет. И надежды тоже. Эти бесконечные, безнадежные мучения подстрекают меня обратить свой гнев на других, я даже мечтаю о том, чтобы в этом гневном потонуло все сущее. Порой мне



хочется увидеть, как мир утопает в океанах агонии,— и это единственное видение, которое теперь приносит мне облегчение от моего безумия, от безумия, которого *нет в этом мире*.

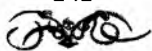
— В других мирах его тоже нет,— сказал маг тихим голосом.

— Но в своих грёзах я потрошил ангелов,— ответил безумец, словно пытаюсь оспорить непоправимый характер своей мании.

— Ты представляешь именно то, что должен видеть,— и в увиденном тобой нет никакой непреложной истины. Но тебе-то это неизвестно, ибо ты не знаешь, что такое Анима Мунди¹. Так ее нарекли древнейшие философы и алхимики, и главная ее цель — обманывать и представлять себя душой мира иного, отнюдь не нашего. Но есть лишь один мир, и у этого мира лишь одна душа, что принимает формы отваги и красоты — или безумия, если судить по тому, как Анима Мунди преобразила тебя. И ни одно обычное средство не способно отвлечь тебя от нее — отныне она выступает той силой, что сделала тебя таким, какой ты есть, и что вольна переделать тебя по собственному усмотрению. Отныне ты — просто-напросто марионетка.

— Тогда я стану той марионеткой, что положит конец кукловоду.

¹ В философии под этим термином понимается единая внутренняя природа мира, мыслимая как высшее живое существо, фактически как Бог, у которой есть стремления, желания, представления и чувства. «Анима мунди» — это одно из основных положений философии Платона и неоплатоников.



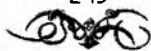
— Не в твоих это силах. Твоя страсть к уничтожению тоже принадлежит не тебе, а тому самому кукольнику. Ты — не тот, кто ты есть. Ты — лишь то, чем Анима Мунди позволяет тебе быть.

— Вы так говорите, будто я — под пятой бога обмана и иллюзий.

— Лучших слов, что могли бы описать твое состояние, не сыскать. Но пока обойдемся без слов вовсе,— провозгласил маг.

Он поручил безумцу сесть за стол, сработанный из трубчатой стали, и спокойно ждать там с закрытыми глазами. Остаток той бессонной ночи маг провел в работах в другой части своего жилища. К убогому мечтателю он возвратился незадолго до рассвета. В руке он нес итог своих трудов — пару странных затененных очков. В каждую линзу будто была поймана маленькая тень. Очки эти маг водрузил на нос безумцу:

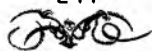
— Не открывай пока глаза, мой несчастный друг, но прислушайся к моим словам. Мне ведомы твои видения, потому как по факту рождения они ведомы всякому. В наших глазах скрывается еще одна пара глаз, и, когда она открыта, настает путаница. Смысл моей долгой жизни состоит в стремлении зафиксировать и обезвредить эти видения, пока мои естественные глаза сами не изменились в соответствии с моей целью. По причине, что мне неведома, Анима Мунди явилась тебе в первозданнейшем своем виде — в виде *хосо празднующего*. Узрев то лицо, что сокрыто за всеми другими, ты никогда не вернешься к прежней беспечной жизни. Все удовольствия прошлого ныне осквернены в твоих глазах, все твои надеж-



ды безнадежно разрушены. Есть вещи, которых только безумцы боятся, потому что только безумцы могут по-настоящему понять их. Твой мир теперь черен, безумие оставило на нем шрамы, но ты должен сделать его еще чернее, дабы обрести утешение. Ты видел многое, но через помраченные линзы сих очков ты обретишь блаженную слепоту. При взгляде сквозь их мутные стекла Анима Мунди сникает пред тобой в небытие. То, что способно убить разум любого другого человека, дарует тебе покой.

Отныне в твоих глазах все будет лишь далекой игрой теней, которые отчаянно стремятся вовлечь тебя в свое действие, лишь призраками, что молятся на обретение плоти, лишь масками, отчаянно мелькающими, дабы скрыть собою тишину и пустоту. Отныне, говорю тебе я, все вещи будут сводиться в твоих глазах к их несущественной сути. И все, что однажды блистало для тебя: сталь, звезды, глаза женщины, — утратит свой блеск и займет свое место среди других теней. Все будет притуплено силой твоего зрения, и ты поймешь — величайшая сила, единственная сила заключается в том, что тебя ничто не волнует.

Пожалуйста, помни, что это — единственное средство, с помощью которого я могу тебе помочь. Ты был готов страдать, дабы заполучить его. Несмотря на то что мы не можем свергнуть власть Анимы Мунди на других землях, мы должны стараться, стараться изо всех сил. До тех пор, пока душа мира будет действовать по-своему, она будет скорбеть обо всех, в ком она жива. Но она не будет



жива в тебе — если ты, конечно, подчинишься одному простому правилу: никогда не снимай очки, или ужасы вернуться к тебе. Что ж, теперь ты можешь открыть глаза.

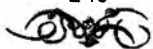
Некоторое время Фалиоль сидел бездвижно, глядя сквозь стекла очков. Поначалу он не заметил, что один глаз мага закрыт провисающим веком. Узрев же это и осознав жертву, принесенную волшебником, он спросил:

— И как я могу послужить вам, мудрец?

В окне позади фигур мага и Фалиоля что-то словно наблюдало за ними. Но ни мудрец, ни безумец не обратили на *это* внимания — немудрено, ибо столь невзрачным оно было, столь незаметным. Кто-то назвал бы это лицом, но черты его были настолько призрачны, что даже самый острый глаз не смог бы различить их. Ни один смертный за пределами той комнаты, где сидели Фалиоль и маг, тихо беседуя, не страдал в достаточной мере, чтобы получить способность узреть такое видение.

III: Анима Мунди

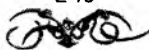
Гости маскарада во дворце герцога нашли свое избавление, пожертвовав иными телами, иными лицами, быть может, даже иными душами. Безымянное величие той ночи — никаких разоблачений, как и ожидалось, не состоялось — потворствовало изобилию отступлений от морали: от самых невзрачных до наигротескнейших. Придворная толпа превратилась в расу не то богов, не то монстров, что могла бы поспорить с высшими



и низшими существами сего мира за оба звания. Многим из них, несомненно, предстояло провести несколько следующих дней в безвестности комнат за плотно закрытыми дверями — так, чтобы последствия маскарада, отпечатанные на их телах, не стали ничьим достоянием. За исключением пары-тройки редкостных душ, то было их последнее явление перед двором. Всех их созвали сюда в эту ночь для того, чтобы засвидетельствовать нечто совершенно беспрецедентное, пусть даже не вполне убедительное. Музыканты играли в самых роскошных, сверкающих залах, бокалы наполнились винами неестественных цветов, ряженые смущенно сновали туда-сюда, словно горгульи, освобожденные из каменного плена. Все — или почти все — были напряжены, ожидая, когда же явится то самое неслыханное, что ответило бы их ожиданиям.

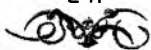
Но часы шли, и чаяния угасали. Герцог — в сущности, человек простой, в чем-то даже скучный, — не стал брать на себя инициативу и раскрывать возможности маскарада в полную силу; и, словно нутром осознавая опасность подобной перспективы, он сдерживал буйство других, ненароком заставлял их отклоняться от бурно раскручивающегося курса ночи, — и голоса гуляк теряли мощь, начиная звучать так, будто беседы и обмен сплетнями были делом в высшей степени утомительным для них. Даже вид шута, в чьих глазах в прорезях маски плескалась тьма, не доставлял особого удовольствия этому утрюмому собранию.

Сопровождал шута, не стремящегося развлекать публику, величавый рыцарь в сияющих



злато-голубых доспехах со Святым Распятием на груди. Лицо его скрывала белая шелковая маска стерильно-благородного образа. Странный дуэт миновал одну за другой залы дворца, словно в поисках чего-то. Рыцарь зримо нервничал, его рука то и дело тянулась к мечу на боку, он оглядывался, с пугливой настороженностью обзревая странный мир вокруг него. Шут же, напротив, был всецело сосредоточен и методичен, и у него на то была веская причина. В отличие от рыцаря он ведал, что цель их не столь сложна, коль скоро сам Виндж готов был способствовать ей. Виндж, коего рыцарь нарек Чародеем, был всего лишь тем самым измотанным жизнью мудрецом в образе злокозненного старца. Фалиолю не составит труда помочь Стрельдоне сбежать из Сольдори. Героизм не был целью Фалиоля — он лишь хотел помочь магу сломить герцога. Алхимические преобразования, коих взалкал правитель, будут иметь место — пусть и не совсем в той форме, в каковой обещано. Источники богатства герцога и его зловещего протезе вскорости, согласно плану мага, претерпят обратную трансформацию — и превратятся в ничто. И тогда его работа в Сольдори будет завершена — в тот самый миг, когда он, Фалиоль, свершит предписанное.

Рыцарь и шут помедлили перед арочным проходом в самую последнюю, самую уединенную бальную залу. Потянув рыцаря за золоченый рукав, шут вытянул свою остроносую любопытную голову в сторону выряженной пары в дальнем углу. Та изображала монархов минувших времен — короля



и королеву в древних тогах, с палантинами и коронами о множестве пиков.

— Как ты можешь быть столь уверен в том, что они — именно те, кто нам нужен? — прошептал рыцарь, склонившись к буффону.

— Поди к ней — и возьми за руку. Тогда убедишься сам. Но не говори ничего, покуда вы не покинете замок и не обретете свободу.

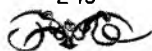
— А вдруг Чародей прикинулся королем? — возразил рыцарь. — Ему не составит труда разделаться с нами обоими.

— Делай так, как я говорю, пусть даже всего я сказать тебе не могу. Сейчас ты узришь, как я поприветствую короля и буду сопровождать его в качестве личного шута. Верь мне, когда я говорю, что он — не Чародей, не тот, кто творит все возможное в этом мире против сил, которые никогда не станут преодолимы. Он действовал в твоих интересах еще до того, как ты вкусил горечь бед. Поверь мне — все будет хорошо.

— Верю тебе, — отвечал рыцарь, заправляя в пояс шута шелковый кошель, в два раза превышающий по объемам тот, первый, врученный ранее.

Фалиоль, впрочем, уже не заботился о награде.

Они разделились и слились с бормочущей толпой. Шут первым достиг цели. Со стороны казалось, что он прошептал несколько слов королю на ухо — и вдруг снова стал паясничать, творить ужимки и прыжки пред чинным правителем. Рыцарь склонился пред королевой и затем без промедления увлек ее за собой в соседнюю залу. И пусть маска не позволяла узреть истинное вы-



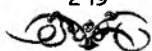
ражение его лица, та манера, с коей королева возложила руку ему на плечо, однозначно указывала на то, что ей ведомо, кто сокрыт под маскарадной личиной. Когда они исчезли, шут перестал паясничать и встал вплотную к застывшему статуей королю.

— Я слежу за людьми герцога кругом — они могут следить за нами, мудрец.

— А я вижу, что наши юные сердца нашли свой путь сквозь чащу леса, — отвечал лжемонарх — и вдруг резко зашагал прочь.

Но ведь это не входит в твой план, подумал Фалиоль. И голос лжекороля — разве могла эта нахальная нотка закрасться в велеречивый тон мудрого мага? Взглядом шут попытался достать самозванца, но тот стремительно исчез среди толпы. Фалиоль сорвался с места — и тут странное смещение в другой части зала заставило толпу со всех сторон роптать и причитать. Казалось, наконец-то произошло что-то неслыханное — пусть оно и не обрадовало никого из тех, кто надеялся на уникальное событие в ту карнавальную ночь.

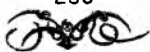
Произошло нечто ужасное — нечто, начавшееся как безвинная выходка или же первоначально воспринятое таковою. Никто точно не ведал, как такое могло произойти, но вдруг посреди самой оживленной залы торжества объявились они — двое участников маскарада, что умудрились, пока никто не наблюдал за ними, обрядиться в костюмы, чей вид выходил далеко за рамки самых ужасных кошмаров, засвидетельствованных ранее на дворцовых собраниях. Кто-то позже утверждал, что более всего они напоминали гигантских пия-



вок или червей, ибо не шествовали вертикально, а корчились по полу, будто бы не имея в теле костей. Другие говорили, что ужасные костюмы обладали множеством крохотных ножек, что уподобляло их скорее кивсякам или многосвязам. Но нашлись и такие, что сочли пришельцев не ряженными, а демонами — тварями по своей природе бесчеловечными, ощерившимися множеством когтей, реп-тильных жал, змеиных рыл. Чем бы ни были эти существа, один их вид поверг толпу в невиданную панику — и без оглядки на мораль и благочестие празднующие накинудись на них и разорвали, растоптали, расчленили возмутителей спокойствия, движимые неосмысленным отвращением ко всем их зримым проявлениям.

Увы, когда делать что-то было уже поздно, открылась страшная правда — то не адские твари были растерзаны и раздавлены, то были лишь двое простых ряженных. Королева и ее рыцарь возлежали в луже крови, разлившейся поперек сложных орнаментов дворцового пола, и их тела, вопреки их страхам о насильственном разделении, ныне были практически неотличимы друг от друга.

Отбросив шутовскую маску, Фалиоль прорвался к месту трагедии — дабы узреть все собственными помраченными глазами. Ужасное зрелище — но все еще не столь сильное, чтобы пробудить в нем угасшую ярость. Ибо образ, увиденный им, мгновенно занял место в неразмыкаемом, непрерывном потоке адской эйдолы, что являла собой Аниму Мунди — однообразный гобелен непрерывно ужасных образов, выраженных посредством всех имеющихся оттенков серого. Посему нынешний



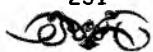
кошмар был ни более, ни менее зловещ в глазах Фалиоля, чем любое другое зрелище, что мог предложить ему мир.

— Взгляни еще раз, Фа-фа-фалиоль,— произнес голос за его спиной, а чья-то сильная нога, обутая в ботинок, толкнула его ближе к бойне.

Но почему все стало вдруг столь ярким, хотя минуту назад не имело цвета? Почему фрагменты изуродованной плоти вдруг налились таким блеском? И почему столь отстранен был Фалиоль — от этих алых форм, от их незавидной судьбы? Ему было поручено спасти их, но он ничего не смог сделать. Его мысли теперь металась по малиновым коридорам сознания, безумно выискивая хоть какое-нибудь решение, но на каждом шагу утыкаясь в тупики, не в силах противиться чему-то недвижимому и невозможному. Он прижал руки к лицу, надеясь ослепить себя. Но ничего не исчезло — ничего, кроме его злосчастных очков.

И тут глас герцога нарушил краткое затишье. Разозленный государь сыпал приказами, требовал ответов. Насколько же оправданным оказалось его предубеждение относительно маскарада! Он давно знал: что-то подобное может произойти, и сделал все возможное, чтобы предотвратить это. Прямо на месте он объявил все последующие празднества вне закона и призвал к арестам и допросам, пыткам и дознаниям. Реакция была мгновенной — под сводами дворца воцарился суматошный хаос панического бегства.

— Фалиоль! — воззвал голос, что звучал слишком уж ясно во всеобщем безумии толпы, его источник крлся в самом разуме Фалиоля.— У меня



есть то, что ты ищешь. Очки здесь, в моей руке, они не утрачены навечно.

Когда Фалиоль повернулся, он увидел лжекороля. Тот стоял неподалеку, не тронутый яркой толпой, и держал в руке очки — так, будто они были срубленной главой поверженного врага. Фалиоль ринулся за самозванцем, но тот оказался быстрее — они стремительно миновали все залы, где некогда цвело празднество, и углубились во дворец. В конце длинного коридора самозванец, сбросив тогу, скрылся за дверьми. Фалиоль влетел следом и очутился в тусклой камере с одним-единственным окном, под которым застыл некто, посмевающий насмехаться над ним. Очки все еще были зажаты в пальцах, плотно обтянутых бархатом перчатки. Темные линзы играли бликами в свете зажженных свечей, и глаза Фалиоля тоже горели — безумным, жаждущим ответов огнем.

— Где маг? — громогласно обратился он к беглецу.

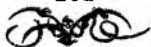
— Нет более мага.

— Тогда назовись, прежде чем я низвергну тебя в ад.

— Ты знаешь меня. Зови Чародеем, если угодно.

— Ты убил мага — так же, как и остальных!

— Остальных? Как же ты умудрился пропустить такую пантомиму — свист мечей и шпаг, стук каблуков о плоть? Неужто не слышал ты — явились два адских порождения и стали угрожать благополучию празднующих! Конечно же, я причастен к созданию иллюзии, но ни капли крови на моих руках. Чудовища — ты видел все собственными глазами.

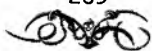


— В их участи узри же свое будущее. Даже Чародей может быть убит.

— Спору нет, но я не думаю, что приму смерть от твоей руки.

— Да как же ты посмел умертвить мага?

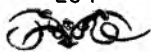
— Он сам себя умертвил — из лучших побуждений, уверен. И он сделал это у *меня* на глазах — как бы в знак протеста. Что до меня — мне, признаться, жаль, что ты так и не узнал меня. Мы ведь встречались прежде — вспомни! Но было то много лет назад, и, сдаётся мне, стал ты забывчив и слеп в тот миг и час, когда отгородил свои глаза этими двумя кусками мутного стекла. Мага следовало остановить единственно потому, что он убил в тебе безумца — *моего* безумца. Но припомни — у тебя ведь была и другая жизнь до того, как безумие вобрало тебя без остатка, разве нет? Дурень, дурень, дурачок, безрассудный Фалиоль — неужто не помнишь ты, как стал таким? Неужто не желаешь вспомнить, как был Фалиодем-денди до того дня, как мы встретились на дороге? То был я в образе предсказателя — я дал тебе амулет из оникса, что с той поры овил твою шею серебряной цепью. Трудно поверить, но именно эта безделушка превратила тебя в искусного наемника, чья роль столь пришлась тебе по вкусу. И как же все остальные стали восхищаться тобой — слабак стал мужчиной, легендой, грозой! Как же приятно было им наблюдать обратный процесс — ведь рыцарь пал низко, ведь мечник сошел с ума! Вот такую маленькую драму я вознамерился разыграть — и ты был задуман *моим* безумцем, Фалиоль, а не легковёрным дурачком того мага. Ты должен был



стать истинной потерянной душой, облаченной в черное и красное, а не жалким монахом, распеваящим тихие псалмы в углу кельи. Неужели ты не понимаешь? Виндж низверг тебя — Виндж перечеркнул все то, что я нарисовал, дабы сделать твою историю трагичной и красочной. Из-за него мне пришлось изменить планы, а планов тех множество — и затрагивают они судьбы каждого. Да, этот твой маг, что дерзнул бороться за свою душу со мной, уверился в том, что может сделать то же для тебя... вини его в смерти двух невинных и в том, что тебе вот-вот предстоит испытать. Ты знаешь, на что я способен. Мы с тобой — не чужаки.

— Я верю тебе, демон. Мы знакомы — ты та самая мерзость, которую описал мне маг-мудрец, то обилие темной силы, что мы не в силах понять — в силах лишь ненавидеть.

— Бедный Фалиоль. Сколь сильно ты заблуждаешься, утверждая, что тот, кто стоит пред тобой, ненавидим. У меня мало врагов — и разве не слышишь ты голоса с улицы, не внимаешь тем рапсодиям, что они распевают? Разве же есть в них ненависть? Даже когда я распинаю и мучаю их, они оправдывают меня. И нет у них большей любви, чем я, — ведь им я даю все, что они желают, пусть даже порой это жалкие крохи. Но я никогда не зайду так далеко, чтобы они пошли против собственного блага. Живы они — жив и я. Все волшебники и герои, все короли и королевые, все святые и мученики — то лишь особые роли, уготованные им в моем действе. От верхов к низам — все они мои дети, и чрез их глаза наблюдаю я собственное величие.



— Но в упор не видишь своего убожества.

— Убожество — это ты, мой дорогой Фалиоль. А для тех, кто увлечен продолжением самих себя в вечность, нет понятия «убожество». Ты носил эти очки слишком долго — и, к моему величайшему разочарованию, многое узрел. Ты видишь меня — в то время как другие не могут; быть может, факт сей и наполняет тебя гордостью — увы, он же знаменует твой конец. Такой рок уготован лишь избранным, вроде тебя... своего рода утешительный приз.

— Ты сказал достаточно.

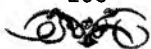
— Тут ты прав! Мое время бесценно. И все же — я до сих пор не сказал того, ради чего явился... не задал тот самый необходимый вопрос. И ты знаешь, что это за вопрос, не отрицай. Он мучил тебя в тех безумных снах, что я насылал. Вопрос, который ты боялся услышать, и ответа на который страшился еще более.

— Дьявол!

— *Каков же лик души, чье тело — мир?*

— Это не лик! Это всего лишь...

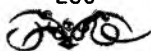
— Да, у души мира есть лик, Фалиоль. И теперь ты видишь его.— С этими словами лжекороль сбросил маску с лица.— Но зачем же отводить взор, мой друг? Почему же ты пал на колени? Разве не по душе тебе то зрелище, что я дарую? Мог ли ты хоть когда-то вообразить, что твое существование придет к столь грандиозному финалу? Твои очки более не спасут тебя. Они всего лишь стекло — смотри, с какой легкостью крушит их моя подошва, как разлетаются осколки по мраморному полу. Никаких больше очков, Фалиоль. И, сдается



мне, никакого больше Фалиоля. Понимаешь ли ты, что я хочу донести до тебя сейчас, шут? Что можешь сказать по этому поводу? Ничего? Каким страшным должно быть твое безумие, коль скоро оно сделало тебя столь грубым. Но взгляни — даже если ты не желаешь подобной участи, мои подручные сопроводят тебя обратно на праздник, туда, где место всякому шуту. Будь готов смешить легион моих обожателей, или я накажу тебя. Да, я все еще в силах наказать тебя, Фалиоль! Смертный может быть наказан в любой момент, заруби это себе на носу. Я буду следить за тобой. Я всегда за всеми слежу. Посему — до новых встреч, скорморох.

Стражи со стеклянными глазами взяли Фалиоля под руки, выволокли из дворца и швырнули на откуп толпе, буйствующей на улицах Сольдори. И она обрадовалась безумному шуту — они подняли его звенящее колокольцами тело на руки, стали трясти, как игрушку, понесли прочь. В своем стремлении заставить тишину утихнуть навечно, люди Сольдори радовались любым звукам — даже тем жалким стонам, что еще мог издавать несчастный шут, чьи глаза, устремленные в ночь цвета оникса, лишились даже проблеска разума.

Но в один момент, пусть и ничтожно краткий, на Фалиоля снизошло просветление, позволившее ему совершить решающий шаг. Разве достиг он своего величайшего приза лишь благодаря собственной дремлющей силе, мимолетно пробужденной? Ежели нет — то какая сила позволила его дрожащим рукам дотянуться до собственных



глазниц и жестом решительным и смелым выкорчевать отвратительные семена своих страданий? Как бы там ни было, у него все получилось — все вышло на совесть. Ибо когда Фалиоль умер, его лицо было омыто багряной славой.

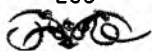
И тогда толпа стихла, вновь смущенная и обескураженная, — ибо выяснилось, что по улицам Сольдори она носила лишь труп Фалиоля — торжествующее мертвое тело.

ДОКТОР ВОК И МИСТЕР ВЕЙЧ

Вот она, лестница. Восходит витками куда-то вверх, во мрак. Ее очертания — как прочерки молний, застывшие в черноте неба. Стоя без намека на опору, она каким-то образом не падает. Ее неровный ход обрывается у далекой, незримой с земли мансарды. В мансарде обретается доктор Вок, отшельник.

Мистер Вейч восходит по лестнице. Похоже, это дается ему нелегко. Угловатая конструкция в целом выглядит достаточно безопасно, но Вейч явно остерегается доверять ей весь свой вес. В каждом его шаге сквозит напряжение — он во власти дурного предчувствия. То и дело Вейч оглядывается через плечо на ступеньки, оставшиеся позади. Под его ногами они кажутся сделанными из податливой глины, и он почти ожидает увидеть отпечатки своих подошв, оставшиеся на них. Но нет — их поверхность нетронута.

На нем — длинный яркой расцветки плащ, и занозы на деревянных перилах лестницы порой цепляются за его просторные рукава. Они вонзаются и в его костлявые ладони, но Вейча тревожит

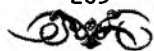


скорее порча дорогой одежды, нежели царапины на его увядающей плоти. Поднимаясь, он облизывает края ранки на указательном пальце, не желая запачкать кровью рукав. На семнадцатой ступеньке, предпоследней, он вдруг оступается. Длинные полы плаща запутываются, и он падает под аккомпанемент рвущейся ткани. Поднявшись, Вейч сбрасывает плащ и бросает его через перила в темноту. Одежда висит мешком на его исхудалом теле.

На вершине лестницы — одна-единственная дверь. Широко разведя пальцы, Вейч ладонью толкает ее. За дверью — чердак, где живет Вок, нечто среднее между игровой и камерой пыток.

Комната практически целиком утопает в тени — не оценить взглядом даже высоту потолка. Освещает ее судорожный голубовато-зеленый трепет гирлянд, и даже самые острые глаза здесь были бы бессильны, а у Вейча со зрением проблемы. Впрочем, сверху вроде бы виднеются перекрещенные стропила. Вроде бы. Вполне может стать-ся, что у обиталища Вока нет никакого потолка и в помине.

Где-то над грязным занозистым полом подвешены несколько кукол в натуральную величину — леска поблескивает, как влажные пряди паутины. Ни одну куклу не разглядеть целиком. От одной можно различить один только длинноклювый профиль, от другой — ноги в блестящих атласных чулках, от третьей — руку. Лучше всех виден Арлекин — от пят до шеи, голова же отсечена темнотой. Вообще, практически все убранство комнаты — это части предметов и элементы каких-то причуд-



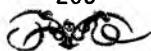
ливых не то машин, не то станков, умудрившиеся пробиться из удушающего захвата тьмы к свету.

Вейч ступает внутрь. Минует металлическую руку в черной перчатке, торчащую из мрака и будто бы преграждающую дальнейший путь. Под ногами что-то хрустит — не то опилки, не то песок, не то сама звездная пыль. Отделенные части кукол и марионеток свисают с подвесок там и сям. Плакаты, вывески, рекламные щиты и листовки разбросаны повсюду, как игральные карты; отпечатанные на них яркие слоганы расплылись от времени, превратившись в бессмыслицу. Здесь много всего — даже слишком: сплошь какие-то детали, частицы, обломки. Их больше чем может объять взор. Но все они чем-то похожи меж собой, как части разбитого целого. Совершенно непонятно, как они сюда попали и какой цели служили.

— Добрый вечер,— произносит Вейч.— Доктор, вы здесь?

В темноте впереди вдруг появляется высокий прямоугольник, похожий на будку продавца билетов на карнавале. Нижняя часть сделана из дерева, верхняя — из стекла. Ее нутро освещено маслянистым красным блеском. На сиденье внутри будки, словно предавшись сну, сидит, склонившись, наряженный в пух и прах манекен. На нем красивая черная куртка по фигуре, жилет с яркими серебряными пуговицами, белая рубашка с высоким воротником и с серебряными же запонками, галстук, украшенный узором из лун и звезд. Голова куклы наклонена вперед, и лица не видно — одна только смоль окрашенных волос.

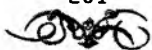
Вейч осторожно подступает к будке. Больше всего, похоже, его интересуется фигура внутри.



Сквозь полукруглый проем в стекле он просовывает руку, намереваясь потрогать манекен, но прежде чем задуманное ему удастся, происходит сразу несколько вещей. Кукла-билетер поднимает голову и открывает глаза, возлагает свою деревянную руку на живую руку Вейча, и ее челюсть отвисает, выпуская наружу череду лязгающих механических смешков.

Отдернув руку, Вейч отступает на несколько шагов назад. Смех куклы не утихает, заполняя собой все уголки мансарды, ввинчиваясь под самые ее своды странным эхом. Лицо искусственного билетера — простое, но красиво сделанное. Его глаза катаются в глазницах беспокойными стеклянными шариками. А потом из мрака позади будки выступает кто-то, кто столь же худ, сколь Вейч, но гораздо выше его. Наряд новоявленного незнакомца копирует одежду куклы-билетера, вот только подогнан очень плохо, и от волос осталась только пара-тройка жалких прядей, болтающихся на костно-бледном скальпе подобно истрепанному банту.

— Задумывались ли вы когда-нибудь, мистер Вейч,— начал Вок, медленно подходя к гостю и придерживая обшлаг куртки,— что делает движения деревянной куклы столь неприятными глазам, не говоря уже о слухе? Вы только послушайте этот смех — мучительно красноречив в исполнении Капельдинера. Каждый звук поет песнь о том, чему не стоит посвящать песни, говорит такое, о чем говорить не должно. О чем же этот смех? Ни о чем, надо полагать. У куклы нет ни мотива, ни побуждения к веселью — и все же она смеется! «А ради чего ей смеяться?» — можете спросить вы.



Ради единственного слушателя — вас, разве не так? Ее смех обращен всецело к вам. В нем звучит узнавание, но совсем не то, на которое вы можете рассчитывать. Это узнавание не по вашей душе, а лишь по своей. «Ради чего ей смеяться?» — не тот вопрос, нет-нет, совсем не тот. «Где этот смех берет начало?» — вот правильный вопрос, ибо именно он внушает вам большую часть опасений. Кукла пугает вас, но ее личный страх куда сильнее вашего. Деревянный болван, некогда бывший всего лишь необработанным деревом, оживленный краской, одежкой и шестернями, *пробудился* от сна, который мы не вправе нарушать, — и смеется вам в лицо, пытаясь дать волю ужасу, что не был частью его старого обиталища, будки из фанеры и стекла. Но этот ужас является самой сущностью его нового дома — нашего мира, мистер Вейч. Вот почему смех Капельдинера столь страшен. Засыпай, деревянный болванчик. Возвращайся в свое состояние безжизненного ожидания. Возрадуйтесь, что я сделал его смеющимся, а не кричащим, мистер Вейч. Возрадуйтесь, что Капельдинер — всего лишь механизм. Моя мысль, надеюсь, понятна?

— Да, — отвечает Вейч с таким видом, будто не уловил ни единого слова из монолога Вока.

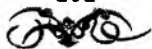
— Что ж, чем я обязан вашему присутствию? День настал? Или вот-вот настанет?

— Настал, — эхом откликается Вейч.

— Славно. Я люблю быть в курсе событий. Что же у нас на повестке дня?

Вейч прислоняется к нагромождению непонятного хлама и смотрит в пол. Его голос звучит сонно:

— Я не пришел бы сюда, но не знал, что еще могу сделать. Как бы вам сказать... все последние



дни и ночи, ночи в особенности, — это какой-то ад. Полагаю, разумно будет сказать, что есть кто-то...

— Кому вы нравитесь, — заканчивает за него Вок.

— Да, но также есть кто-то...

— ...кто служит своего рода препятствием и обращает каждую вашу ночь в испытание. Простая ситуация. Скажите, как же ее зовут — ту, первую персону?

— Прина, — отвечает Вейч после недолгой паузы.

— А того, второго?

— Лэмм. Но зачем вам их имена, чтобы помочь мне?

— Их имена, как и ваше, как и мое, не имеют насущной значимости. Я лишь проявляю вежливый интерес к вашей беде, ничего более. Что касается моей помощи вам — ради этого я должен в определенной мере владеть ситуацией.

— Но я полагал... — произносит Вейч и запинаятся. — В смысле... эта мансарда, все эти ваши приспособления... мне показалось, что вам уже кое-что ведомо.

— Осведомленность куклы? На такое нельзя полагаться. Вот вам — еще одно разочарование, с которым придется мириться. Еще одна душевная боль. Послушайте, а почему бы вам просто не оставить все это? Пройдет время, и вы позабудете о Прине. Зачем вообще впутываться в это безумие, подумайте.

— Ничего не могу поделать, доктор, — произносит Вейч жалобно.

— Понимаю, но вы все же послушайте старика. Мне неприятно видеть вас таким, мистер Вейч.



Поверьте, я знаю, о чем говорю,— не всегда я был отшельником. Знаете, есть такая поговорка: душа и тело распадаются, когда в единое сливаются. Ну или это мое собственное творчество... С памятью у меня, к счастью, все очень плохо. В любом случае позвольте мне дать вам последний совет: пребывайте в стороне от мира, ищите радости в тени.

— Я и так сейчас — лишь тень себя бывшего,— отвечивал Вейч.

— Да, вижу. Тогда все, что мне остается,— подвести черту. Я вас предупредил. Давайте-ка немного порассуждаем гипотетически. Вам знакома Улица Высот? Я знаю, что у нее есть другое, более привычное, название, но мне нравится звать ее именно так из-за всех этих высоких зданий, которыми она изобилует.

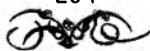
Вейч кивает.

— Замечательно. Помните — я вам ничего обещать не могу. Я вообще не даю ни клятв, ни обещаний. Но, если вам удастся как-то довести обоих ваших друзей до этой улицы сегодня вечером, я думаю, ваша проблема решится, если вы действительно ищете решение как таковое. И да, волнует ли вас форма, которую это решение может принять?

— Мне просто нужна ваша помощь, доктор. Я всецело полагаюсь на вас.

— И намерения ваши — серьезные, так?

Вейч молчит в ответ. Вок пожимает плечами и отступает обратно под покров теней. Красный свет в будке Капельдинера тоже медленно угасает, как будто заходит маленькое солнце, и вскоре единственным источником света в мансарде ста-



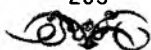
новятся голубовато-зеленые гирлянды на стенах. Вейч складывает руки на груди и смотрит куда-то под своды чердака, будто уже видит стройные крыши, парящие над Улицей Высот.

* * *

Ночью фасады каждого здания по обеим сторонам этой узкой улицы как будто бы связаны тенями друг с другом. Помимо фундамента и нескольких этажей с зашторенными окнами, все, что их составляет,— крыша. Великолепные пики вздымаются в ночное небо, достигая поражающей воображение вышины; как высокие деревья в ветреную погоду, они будто бы чуть колеблются.

Этой ночью небо — сплошь тряпина из мутных облаков, опаленных неверным огнем луны. Со стороны арочного подъезда улицы трем приближающимся фигурам предшествуют три удлинённые тени. Одна из них — впереди всех, ведет две остальные, но без должной уверенности. Позади нее — силуэты мужчины и женщины, они слились бы воедино, не вклинься между ними осколок угасающего света дня.

В самом конце улицы ведущая фигура останавливается, и двое ведомых нагоняют ее. Теперь все трое застывают перед зданием с самой высокой крышей — из всех тех, что стоят на этой улице. Здание служит чем-то вроде торгового дома, если верить вывеске над главным входом. Укутанная тенями, та слегка покачивается на ветру и легонько поскрипывает. С обеих сторон она пестрит изображениями товаров и услуг. Можно различить



что-то похожее на щипцы, возложенные поверх кочерги или какой-то другой домашней утвари. Но на ночь торговый дом закрыт — все ставни опущены. Круглое слуховое окно наверху выглядит разбитым, однако с земли очень трудно понять, так ли это. Наползающий на Улицу Высот туман не дает пробиться взгляду.

Вейч будто бы чем-то расстроен — он явно не знает, сколько еще ему торчать перед этим зданием в компании своих спутников. Быть может, стоит подать какой-то знак, предпринять что-нибудь? Все, что ему остается покамест — ждать. Но развязка уже близится.

И вот *это* происходит — секунду назад Вейч все еще сонно говорил о чем-то со своими спутниками, на лицах которых написаны настороженность и подозрение, а вот уже они оба, подобно марионеткам на невидимых нитях, вздернуты и проглочены туманом. Все случается столь неожиданно, что они не успевают издать ни звука. Чуть позже из тумана доносятся слабые, сдавленные крики — откуда-то с головокружительной высоты. Вейч опускается на колени и закрывает лицо ладонями.

Двое вознеслись вверх, но спустилось что-то одно — единая форма, застывшая в полуметре над мостовой, чуть подергивающаяся, как конвульсирующий висельник. Вейч, отведя руки от глаз, награждает это *нечто* взглядом. Да, тело лишь одно, но... его слишком много. Два лица на одной голове. Две пары губ, навсегда скрепленных печатью молчания. Чудовищный гибрид все еще подергивается в воздухе, когда Вейч, окончательно лишившись чувств, падает на мостовую Улицы Высот.



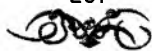
Следующая встреча доктора Вока с мистером Вейчем была столь же неожиданной, сколь и последняя. Покидая удел темноты, отшельник застаёт Вейча в приступе истеричного смеха — тот смеется на пару с Капельдинером. От звуков их натужного веселья воздух мансарды вибрирует; они — пара маниакальных близнецов с одним голосом на двоих.

— Что тут происходит, мистер Вейч? — вопрошает Вок.

Вейч, не обращая на доктора внимания, продолжает заходиться гомерическим дуэтом вместе с куклой-билетером. Даже когда Вок, подойдя к будке, произносит: «Засыпай, деревянный болванчик», — Вейч не унимается и хихикает в одиночестве — словно бы тоже став не властным над собственными действиями автоматом. Вок ударом опрокидывает Вейча на пол — и голос того наконец-то затихает. По крайней мере на несколько мгновений. Потом Вейч поднимает взгляд на Вока — и безумно скулит.

— Зачем вы сотворили с ними такое? — После приступа безудержного веселья его голос скрипуч, надтреснут, похож на дребезжание неисправных шестеренок.

— Я не собираюсь притворяться, что не знаю, о чем вы сейчас толкуете. Я слышал о том, что произошло, хоть мне до этого нет дела. Но меня вы обвинить не сможете, мистер Вейч. Я никогда не покидаю эту мансарду — вы сами прекрасно знаете. А вот вам бы я посоветовал уйти отсюда немед-



ленно. Вы что, думаете, я недостаточно из-за вас натерпелся?

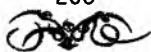
— Но почему все вышло так? — запротестовал Вейч.

— Откуда мне знать? Вы сами сказали, что вас не волнует форма решения проблемы. Лично я считаю, что все прошло идеально. Эти двое выставляли вас в дурном свете, мистер Вейч. Они хотели друг друга — что ж, теперь они друг у друга есть, и ничто их уже не разделит. Они теперь неотрывны одна от другого, а вот вы — человек совершенно свободный, ничем не обремененный. Шагайте себе навстречу очередной бытовой катастрофе. А вообще, погодите, я, кажется, понимаю, что вас тревожит. — На лице Вока — неожиданная гримаса осознания. — Вы расстроены, что конец пришел им, а не вам. Смерть — всегда лучший выход, мистер Вейч, но кто бы мог подумать, что вы разделяете эту точку зрения? Я недооценил вас — тут сомнений нет. Приношу свои глубочайшие извинения.

— Нет! — кричит Вейч, дрожа как загнанный зверь.

Недовольство Вока растет.

— Нет, значит? Нет?! Да что с тобой не так? Зачем ты вовлек меня во все эти треволнения? Думаешь, мне без тебя было мало? Поучись-ка у Капельдинера — разве он стонает и скулит сейчас? Ничуть! Он тих, он спокоен. Молчание болванчика — самое искреннее, его покой совершенен, ибо то покой существа, никогда не рождавшегося на свет. Он мог бы устроить переполох, но ему это не нужно. И эта его пассивность, эта пустота натуры — именно они делают его идеальным компа-



ньоном. Похоже, этот болван — мой единственный настоящий друг. О, мертвое дерево, как же я тобой восхищаюсь. Посмотри, как его руки сложены на коленях — немой молитвенный жест. Посмотри на его онемевшие губы, с коих не срывается ни звука. Посмотри ему в глаза — они обращены в вечность!

Вок внимательнее вглядывается в лицо Капельдинера — и его собственный взгляд мертвеет. Он всем телом подается к будке, его руки вжимаются в разделяющее их с болванчиком стекло, будто притянутые мощью вакуума. Теперь Вок видит, что глаза куклы стали другими. Крохотные капельки крови набухли в их уголках, медленно скатываясь по блестящим деревянным щекам.

Отшатнувшись от будки, Вок обращается к Вейчу.

— Ты осквернил его! — потрясенно выдает он.

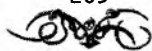
Вейч, смаргивая последние слезы из глаз — остатки истеричного веселья, — кривит губы в улыбке.

— Я ничего не сделал, — шепчет он с издевкой. — Не вини меня в своих проблемах!

Ярость парализует Вока, в глазах его — тысяча дум, тысяча планов отмщения. Вейч, осознав угрозу, рыскает взглядом по комнате в поисках чего-нибудь, что сошло бы за оружие. Заприметив что-то, он пригибается и медленно движется отшельнику навстречу.

— Ну и куда ты собрался? — спрашивает Вок, выйдя из гневного оцепенения.

Вейча интересует что-то на полу — по размерам и форме оно напоминает гроб. В голубовато-зеленом свете гирлянд видна лишь часть продолго-



ватого черного ящика. Его опоясывает широкая кайма из полированного серебра, посаженная на массивные болты.

— Не вздумай! — кричит Вок, но Вейч, склонившись над ящиком, кладет руки на крышку.

Но открыть не успевает — Вок опережает его на шаг.

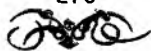
— Я все сделал для вас, мистер Вейч, но наградой за мои труды стала ваша черная неблагодарность. Я хотел, чтобы вы избежали участи тех двоих... но теперь я искренне *желаю* ее вам.

После этих слов тело Вейча изгибается, словно притянутое за невидимые нити, и рывком поднимается к скрытым во мраке стропилам, исполняя судорожный танец весь путь наверх. Его крики ослабевают.

Но Воку нет до него дела. Метнувшись к черному ящику, он становится перед ним на колени и нежно проводит пальцами по полированной поверхности, проверяя, не повредилась ли она. Как если бы всякий последующий момент промедления был кощунственен, он внезапно поднимает крышку. Внутри лежит молодая женщина, чья красота ненадежно увековечена неопытным танатокосметологом. Вок смотрит некоторое время на труп, а после — шепчет, хотя никто его не слышит:

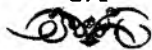
— Смерть — всегда лучший выход. Всегда.

Он все еще стоит на коленях перед гробом, когда его черты начинают подвергаться метаморфозам, вызванным внутренней борьбой очевидно противоречащих друг другу чувств. Лицевые мышцы извиваются в диком танце... и вот вну-



треннее смятение Вока находит выход в припадке судорожного смеха, счастливого смеха сумасброда. Окрыленный собственным безумием, Вок встает и начинает пританцовывать под звуки слышной лишь ему одному музыки, выплясывая вокруг незримой партнерши. Он подпрыгивает, приплясывает... и, похоже, не может остановиться, весь во власти судорог и конвульсий, захлебывается какофоничным хохотом. Но вот настает тот миг, когда ум либо окончательно покидает его, либо возвращается краткосрочным озарением,— и, покинув убежище темной мансарды, все так же смеясь и выдывая коленца, доктор Вок заступает на верхнюю площадку кривой лестницы, перемахивает через перила и камнем падает вниз, навстречу смерти. Падает беззвучно — как если бы самый последний смешок застрял в его глотке.

Посему те крики, что вы, быть может, слышите до сих пор,— не вопли безумного доктора Вока или незадачливого мистера Вейча. Эти двое канули навечно — в те области, о коих живущие не знают ровным счетом ничего. Не отражают они и ужаса последних минут Прины и Лэмма. Эти вопли, несущиеся из-за двери далекой мансарды, принадлежат одному лишь беспомощному деревянному болванчику, который ныне способен чувствовать тепло капель крови, катящихся по лакированным щекам. Там, за дверью, Капельднер и поныне здравствует в одиночестве, среди теней заброшенного чердака, и глаза его катаются в глазницах беспокойными стеклянными шариками.



ЛЕКЦИИ ПРОФЕССОРА НИКТО О МИСТИЧЕСКОМ УЖАСЕ

О глазах, что никогда не моргают

Мгла, стелющаяся по озерной глади, клубы тумана в непроходимых чащах, золоченый свет на покрытых росой камнях — подобные пейзажи располагают к такому. Потому что всегда есть *что-то*, что обитает в озере, что ломится сквозь чашу, что прячется под камнями. Что бы это ни было, наш взгляд уловить его не в силах: доступно оно лишь таким глазам, что никогда не моргают. Будучи в определенных местах, вы понимаете, что все наше бытие суть бесконечный взгляд, отстраненно фиксирующий запустение Вселенной. Но послушайте — неужели лишь столь очевидные в своей сверхъестественной атмосфере места служат подобной цели?

Возьмем, к примеру, переполненный зал ожидания. Все в нем такое стабильно-обыденное. Окружающие о чем-то тихо переговариваются, старые часы на стене алым перстом стрелки продавливают секунду за секундой в прошлое, жалюзи на ок-

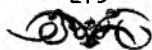


нах пропускают лишь полосы света из внешнего мира, да и те тщательно укутаны тенями. Однако в любом месте и в любое время оплоты нашей нормальности могут пошатнуться, ибо даже в окружении себе подобных мы порой подвержены иррациональным страхам, которые, стоит нам упомянуть их открыто, способны проложить дорожку в лечебницу для душевнобольных. Не чувствуем ли мы чье-то чужеродное присутствие? Не видят ли наши глаза что-то в дальнем углу зала, где все мы ждем незнамо чего?

Простое маленькое подозрение закрадывается в разум, маленький осколок недоверия ранит в самое сердце. И тогда все наши глаза, один за другим, обращаются к миру — и внимают его кошмамам. И тогда ни вера, ни закон уже не спасают нас; ни друг, ни наставник, ни охранник не способны защитить нас; не спасут нас ни закрытые наглухо двери, ни личные кабинеты. И даже обласканное солнцем великолепие летнего дня более не затмевает творящийся кругом ужас, ибо ужасу более ничего не стоит пожрать весь свет и исторгнуть наружу беспросветную тьму.

О болезненности

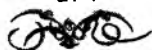
Изоляция, психическое перенапряжение, эмоциональные перегрузки, тремор, пренебрежение собственным благополучием — вот вам лишь некоторые из стандартных симптомов, что приписываются тем, о ком принято говорить: *больной человек*. Наша главная тема, тема мистического ужаса — суть жизненно важная часть програм-



мы таких людей. Отступая от мира здоровья и здравомыслия — или, по меньшей мере, от мира, что придает значение этим понятиям, — больной человек спасется в тени за кулисами жизни. Забываясь в пропахший домашней пылью угол, он строит собственный мир из крошеного кирпича собственного воображения. Мир почти всегда получается потасканный, почти всегда — пропахший тленом.

Но не вздумайте полагать эти миры романтическими убежищами для помраченных душ. Давайте хоть на мгновение осудим весь этот эскапизм, испытаем к нему глубокое искреннее отвращение. Пускай нет имени для того, что можно было бы назвать «грехом больного», но все равно видится во всем этом нарушение некой глубоко укоренившейся морали. От нездорового человека будто бы не исходит ничего хорошего. И хотя мы знаем, что для меланхолика ходить мрачным и хандрить — вполне приемлемый способ существования, нельзя возводить хандру в призвание! На подобные обвинения больной, само собой, может ответить простодушным: «Ну и что здесь такого?»

Так вот, такой ответ предполагает, что болезненность является определенным классом порока, причем таким, что требует безжалостного преследования, таким, чьи преимущества и недостатки должны выноситься за рамки закона. Но как и любой сеятель порока, хотя бы в своей душе больной человек подвергается порицанию — как один из симптомов или даже как причина распада в индивидуальной и коллективной сфере бытия. А распад, как и любой другой процесс становления,

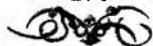


причиняет боль большинству. «Это хорошо!» — кричит больной. «Это плохо!» — отвечает толпа. И тут обе позиции крайне сомнительны: одна проистекает из обиды, другая — из боязни. И когда моральные дебаты по этому вопросу в конечном итоге заходят в тупик или становятся слишком запутанными, для того чтобы выявить истину, приходит черед психологической полемики. Позже мы попробуем выявить и другие точки зрения, с которых может быть рассмотрена эта проблема. Поверьте, их будет достаточно, чтобы озадачить нас до самой гробовой доски.

А пока что больные люди продолжают влачить свое существование, чтобы в конце концов — среди безумных ветров, в зловещем сиянии луны, в компании призраков — истратить его точно так, как тратят его все остальные: впустую.

Пессимизм и мистический ужас: лекция первая

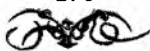
Безумие, хаос, врожденное стремление к беспорядкам, опустошение бесчисленных душ — пока мы стенаем и гибнем, история склонит свой перст и переворачивает страницу. Вымысел, неспособный конкурировать с реальностью по живости боли и долговечным последствиям страха, компенсирует свою слабость по-своему. Как? Изобретая все более причудливые средства для все более возмутительных целей, конечно же. И в числе этих средств — само собой, сверхъестественное. Преображая естественный опыт в сверхъестественный, мы находим в себе силы одновременно утверждать



и отрицать страх перед непознанным, радоваться ему — и страдать от него.

Таким образом, мистический ужас — продукт превратной природы бытия. Он — не развлечение, появившееся из нашего родства с всецело естественным миром. Нет, мы получили его как часть мрачного наследства в те времена, когда стали теми, кем стали. Как только человек начал осознавать себя, он распался на две составляющие, одна из которых стала возводить новоявленную игрушку-самосознание в ранг добродетели, искренне празднуя день и час ее обретения, а другая — осуждать этот дар и даже учинять над ним настоящие акты расправы.

Мистический ужас стал одним из способов примирения нашей двойственной природы. С его помощью мы узнали, как собрать все, что угрожает нашему благополучию в реальности, и удобрить этим почву нашей плотоядной фантазии, упивающейся демоническим началом. В песнях и в прозе мы можем без конца развлекать сами себя самым худшим, что способны придумать, а реальные лишения подменить симулякрами, безопасными для нашего вида. То же самое мы можем вполне спокойно проделать, и вовсе не заступая на территорию сверхъестественного, но тогда мы рискуем столкнуться с проблемами и бедами, что слишком близки к действительности. От вымышленного ужаса мы можем трястись и поеживаться, но рыдать навзрыд над собственным положением он нас не заставит. Вампир символизирует наш страх как перед жизнью, так и перед смертью, но ни разу не было такого, чтобы символ навлек смерть на чело-

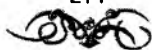


веческое существо. Зомби — всего лишь персонифицированная концепция того, сколь подвержены наши тела недугам и сколь болезненны аппетиты нашей плоти, но концепция не способна убивать и калечить. Мистический ужас позволяет нам, марионеткам из плоти, чьи рты обгарены собственной кровью, играть на струнах судьбы без страха расстаться с жизнью.

*Пессимизм и мистический ужас:
лекция вторая*

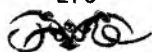
Мертвецы, разгуливающие в ночи, живые, одержимые демонами и смертоносными помыслами существа, не имеющие разумной формы и подчиняющиеся не укладывающимся в голове обывателя законам, — таковы примеры логики мистического ужаса. Такая логика основана на страхе, ее единственный принцип провозглашает: «Бытие — это кошмар». Если наша жизнь — не сон, ничто не имеет смысла. Если же она реальна, это настоящая катастрофа. Вот еще несколько примеров: наивная душа выходит на прогулку в ту самую ночь, когда следовало остаться дома, и платит за это ужасную цену; некто любопытный открывает не ту дверь, видит что-то, чего видеть не следовало, и страдает от последствий; запоздалый пешеход сворачивает на незнакомую улицу — и пропадает навсегда.

То, что мы все заслуживаем наказания ужасом, — столь же загадочно, сколь и неоспоримо. Сопричастность, пусть даже ненамеренная, выступает достаточным основанием для самых суро-



вых приговоров в безумном мире кошмаров. Но нас так хорошо обучили принимать эти условные порядки нереального мира, что мы даже не восстаем против них. Еще бы — покушаться на святое! Там, где боль и удовольствие вступают в обращенный против нас нечестивый союз, рай и ад — лишь два разных департамента в одной чудовищной бюрократической машине. Меж этих двух полюсов существует все, что мы знаем или можем знать. Невозможно даже представить утопию, земную или иную, что устояла бы против мягчайшей критики. Но следует учитывать тот шокирующий факт, что мы живем в мире, который постоянно *вращается*. После его осознания удивляться более решительно нечему.

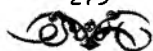
Да, порой, избегая смертоносных ловушек, мы выдвигаем ужасному какие-то жалкие требования, желая, чтобы оно подпадало под юрисдикции обыденности или хотя бы эпизодически действовало в наших интересах, но этот бунт лишь усугубляет наше положение в ирреальном мире, не иначе как спровоцированное какой-то дьявольской силой. В конце концов, разве не удивительно то, что нам позволено играть две роли — жертв и свидетелей — одновременно? И мы всегда должны помнить, что ужас реален — столь реален, что мы даже не можем быть до конца уверены в том, действительно ли нужны ему для того, чтобы существовать. Да, он нуждается в наших фантазиях и нашем сознании, но он не испрашивает и не требует нашего согласия на их использование. Ужас действует всецело автономно — и, если до конца смотреть правде в глаза, *ужас куда более реален, чем все мы*.



Язвительная гармония

Сострадание к человеческой боли, скромность нашего непостоянства, абсолютное понятие справедливости — все наши так называемые добродетели только мешают нам и поощряют ужас, вместо того чтобы ему противостоять. Кроме того, сама природа жизни указывает на то, что для нее эти качества наименее важны. Зачастую они отнюдь не способствуют, а препятствуют чьему-либо возвышению в сумбурном мире, что установил свои принципы давно и не отступил от них по сей день. Всякий позитивный аспект жизни основан на пропаганде завтрашнего дня: размножение, революция (в самом широком смысле слова), благочестие в любой из множества форм — словом, все, что утверждает наши чаяния. На самом деле единственно утверждаемой здесь предстает наша склонность к мазохизму и сохранению слабоумной безответственности перед лицом ужасных фактов.

С помощью сверхъестественного ужаса мы можем уклониться, пусть только на мгновение, от жестких репрессий подобного *утверждения*. Все мы, будучи исторгнутыми из небытия, распахиваем глаза навстречу миру — и почти сразу же нас ставят перед фактом нашего неизбежного исчезновения. Странный сценарий — не находите? Так зачем же нам вообще утверждать что-либо, зачем делать добродетель необходимостью? Нам суждено предстать перед глупой судьбой, а та заслуживает лишь издевки. И поскольку никому другому в этом мире не дана способность издеваться, мы



возложим задачу на себя. Итак, давайте же предаваться извращенным удовольствиям себе и своим притязаниям во вред, давайте же возрадуемся космическому ужасу. По крайней мере сей утлый уголок старой и безжалостной Вселенной огласит звук нашего исполненного горечи смеха.

Сверхъестественный ужас во всех его жутких проявлениях позволяет читателю вкусить опыт, не совместимый с личным благополучием. Разумеется, подобная практика не способствует личностному возвышению. Истинные макабристы так же редки, как истинные поэты, добрая часть их связей с внешним миром волею случая оборвана еще с момента рождения. Вкусившие сверхъестественного начала, запутавшиеся в маргиналиях, такие люди не смогут отвести свой взгляд от проявлений ужаса. Они будут скитаться в лунном свете, искать кладбищенские ворота, чтобы, выждав подходящего момента, сорвать все замки и воззриться на то, что сокрыто внутри.

Так давайте же найдем в себе смелость провозгласить во всеуслышание: «Нас так долго насильно кормили страхом перед погостами, что теперь, ища макабрического освобождения, спасения в ужасе, мы охотно вкусили запретных кладбищенских яств и осознали — они нам по нраву».

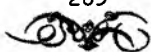


ГРЕЗЫ УСОПШИМ

ЛЕЧЕБНИЦА ДОКТОРА ЛОКРИАНА

Шли годы, но ни одна живая душа нашего города не обмолвилась и словом о той величественной развалине, вдававшейся в идеальную прямую горизонता. Не устаивался молвы и огороженный земельный участок на самом краю города. Даже в стародавние дни мало кто мог сказать хоть что-нибудь об этих местах. Все думали — может, когда-нибудь кто-нибудь предложит снести останки старой лечебницы и разровнять приграничное кладбище, на котором вот уже больше поколений не хоронят ни одного пациента; может, такое предложение даже встретит пару-тройку одобрительных кивков. Но подобное решение всегда откладывалось на неопределенное время — как и любой душевный порыв, оно находило неминуемую тихую смерть на тихих улицах нашего старого города.

Тогда как же объяснить тот внезапный поворот событий, что привел нас к старому полуразвалившемуся зданию, попирающему могильную землю? Наверное, тайными волнениями в душах горожан, их сокрытыми надеждами. Объясненная таким



вот образом таинственная перемена утрачивает свой мистический флер. Следует признать: мы все жили одним общим страхом, одни и те же образы варились в глубинах нашей памяти, став неотъемлемой частью наших личных жизней. В конце концов мы поняли, что больше не можем тянуть.

Когда впервые возникла идея принять меры, жители сонных западных районов города стали самыми ярыми ее сторонниками. Именно на них сильней всего распространялся общий недуг — ведь с запущенными территориями лечебницы, где некогда томились в заключении безумцы, и кладбищами, куда относили их отбывшие срок тела, они пребывали в сильнейшей близости. Но все мы в должной степени были обременены лечебницей, которая, казалось, была видна со всех точек города: из высоких окон старого отеля, из тихих комнат наших домов, с улиц, затененных утренним туманом или дымкой сумерек... даже из витрины моего магазина. Хуже всего было то, что солнце всякий раз садилось прямо за проклятое здание, чей черный силуэт лишал нас последних минут света и погружал город в преждевременную темноту.

Еще более тревожным, чем зловещий образ лечебницы, был тот бездумный взгляд, что ее окна, казалось, бросали в ответ на нас. На протяжении многих лет находились горожане, утверждавшие, что ночью в оконных проемах застывают чьи-то фигуры с безумными очами, и тогда луна на небе светит особенно сильно, а звезд высыпает будто бы даже больше, чем обычно можно заметить на небе. Мало кто им верил, но никто не

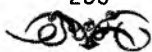


брался оспаривать тот факт, что с лечебницей и ее окрестностями совершенно точно были связаны странности, порождавшие среди нас множество кривотолков.

В бытность детьми многие из нас посещали это запретное место, и воспоминания о наших мрачных приключениях там проносились сквозь года. Мы копили сведения о нем, и вот настал час, когда они достигли критической массы. Вне всяких сомнений, то было обиталище кошмара — воцарившегося там если не везде, то в самых укромных скронах. Дело было даже не в запустении внутренних помещений, что сплошь состояли из осклизлых стен, разбитых окон, провалившихся полов и продавленных годами бесполезных слез и криков пациентов коек. Дело было в чем-то другом.

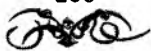
На стене одной из комнат, помню, нашлась как-то подвижная рама, скрывавшая длинную прямоугольную щель под потолком. За стеной была другая комната, в которой совсем не было мебели, из-за чего казалось, что в ней никогда никто не жил. Прямо под рамой, прислонённые к стене, были сложены длинные деревянные палки с ужасными маленькими куколками на концах.

Тайная комната пустовала, но на ее стенах можно было углядеть полустертые, бледные фрагменты зловещих изображений; раздвинув половицы в самом ее центре, можно было увидеть старый пустой гроб, неравномерно присыпанный землей. В потолке комнаты было большое окно — прямо под этой обзорной точкой, открывающей вид на небосвод, к полу был привинчен стол с толстыми ремнями, висящими по бокам.



Возможно, были и другие странные комнаты, но образ их стерся из моей памяти, да и ни одна из них не была выявлена при фактическом сносе лечебницы. Через огромные пробоины в стенах мы выгребали мусор и прах веков, а на почти-тельном отдалении менее деятельная часть городского населения тихо следила за процессом. В этой группе оказался и сам мистер Локриан — худой и лупоглазый пожилой джентльмен, чья безмолвность совсем не походила на молчание остальных.

Мы ожидали, что мистер Локриан выступит против нашей задумки, но он не стал. Хотя и, насколько мне было известно, никто не подозревал его в иррациональной приверженности старой лечебнице, трудно было махнуть рукой на тот факт, что его дед был директором этого самого заведения. Когда упадок лечебницы стал слишком очевиден, отец мистера Локриана закрыл заведение — обстоятельства, сподвигшие его на это, так и остались весьма туманной главой в истории города. Что до похоронного участка при ней, то его мистер Локриан не поминал вообще. Эта скрытность не могла не вызвать в нас подозрений насчет того, что между ним и чудовищными развалинами, заслоняющими горизонт, существует связь. Даже я, знавший старика лучше, чем кто-либо ещё в городе, относился к нему с предубеждением. Во внешних своих проявлениях я всегда был вежлив, дружелюбен даже: он был, в конце концов, старейшим и самым надежным покупателем. Вскоре после того, как был завершен снос лечебницы, а последние останки ее бывших обитателей



эксгумированы и поспешно кремированы, мистер Локриан нанес мне визит.

В тот самый миг, когда он вошел в магазин, я пролистывал любопытные тома, которые только что привезли специально для него, под заказ. За время моей работы совпадения стали делом привычным — что-то есть в самой природе редких изданий, что влечет за собой беспрестанные стечения обстоятельств,— но именно в этом случае было что-то настораживающее.

— Добрый день,— поприветствовал я Локриана.— Я как раз смотрел...

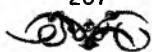
— Я вижу,— произнес он, подходя к прилавку, где громоздились груды книг, оставляя предельно мало места для какого-либо маневра.

Взглянув на новинки без особого интереса, он медленно расстегнул пуговицы массивного пальто, из-за которого его голова выглядела диспропорционально маленькой по сравнению с телом. Как же хорошо я запомнил его в тот день — даже сейчас его голос звучит у меня в голове. Оглядевшись, он стал рассказывать среди книжных полок, будто выискивая что-то. Зайдя за угол, он ненадолго пропал из виду.

— Наконец-то все произошло,— сказал он.— Люди свершили подвиг. Такое дело достойно внесения в анналы города.

— Да, наверное,— ответил я, наблюдая, как мистер Локриан вышагивает вдоль дальней стены магазина, появляясь и исчезая меж рядами стеллажей.

— Не «наверное», а точно,— поправил он меня.



Зачем-то обойдя магазин по периметру, он снова встал у прилавка, положил на него руки, подался вперед, ко мне, и выдал:

— Но где же результаты? Хоть что-нибудь изменилось?

Тон его голоса был и насмешлив, и угрюм одновременно, и я решил согласиться:

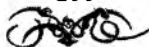
— Перемены незаметны, о да. Подумаешь — вынули соринку из глаза... Но ведь на том все в городе и порешили. Соринку — прочь, и ничего сверх.

Далее я намеревался отвлечь его заказанными им книгами, но, когда он заговорил, по моему загровку пополз холодок:

— Мы, должно быть, ходим по разным улицам, мистер Крейн, видим разные лица, слушаем разные голоса.— Он взял паузу, будто выжидая моих возражений. Тучи в его взоре сгустились, когда таковых не последовало.— Признайтесь, дорогой друг, вам когда-нибудь приходилось слышать все эти рассказы про лечебницу? Про то, что люди порой видели в ее окнах? Может быть, вы и сами что-то видели?

Приняв мое молчание за знак согласия, он продолжил:

— И разве в этом городе царит теперь не то же самое чувство смущения, что закладывали в души горожан эти байки? Не кажется ли вам, что дни и ночи стали еще хуже, чем раньше? Конечно, вы можете все списать на сезонную хандру, на холод, на обыденность, каждое утро наблюдаемую вами из магазинного окна... но по дороге сюда я слышал, как люди обсуждали и такое. Они говорили



еще кое о чем... с расчетом на то, что я не смогу их услышать. Все по какой-то неведомой причине осведомлены о моих книгах, мистер Крейн.

Он не стал смотреть на меня, озвучивая это последнее замечание,— вместо этого начал прохаживаться туда-сюда вдоль прилавка.

— Мистер Локриан, если вы считаете, что я выдал некую тайну,— прошу меня извинить. Ни за что бы не подумал, что такая информация может что-то значить.

Он замер и взглянул на меня с выражением едва ли не отцовского прощения.

— Конечно,— сказал он.— Но теперь все иначе. Вы же не станете отрицать?

— Не стану,— смирился я.

— Но никто по сей момент не определился, как именно все стало иначе.

— Никто,— согласно кивнул я.

— Вы знали, что моего деда, доктора Харкнесса Локриана, похоронили на том самом прибольничном кладбище, что сегодня было ликвидировано?

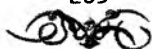
Почувствовав внезапно смущение, я начал:

— Уверен, если бы вы упомянули, если бы сказали хоть слово...

Но он проигнорировал мои слова, как будто я вообще ничего не сказал, или, по крайней мере, ничего такого, что удержало бы его от навязывания мне своего доверия.

— Оно меня сдюжит? — спросил он, указывая на старое кресло у окна, где по ту сторону стекла уже расцветал бледный осенний закат.

— Думаю, да. Присаживайтесь,— сказал я, заметив снаружи магазина случайного прохожего.



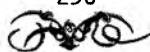
Заметив внутри мистера Локриана, он остановился и смерил его странным взглядом.

— Мой дед,— заговорил Локриан,— жил на одной волне со своими сумасшедшими. Вас, может быть, это удивит, но дом, который сейчас принадлежит мне, когда-то был в его владении, но он там не жил и даже не спал. Только после того, как лечебницу закрыли, он стал его полноправным жильцом. К тому времени там уже обосновались мои родители и я. На их плечи лег присмотр за стариком. Последние годы жизни мой дед провел в маленькой комнатке наверху с видом на городские окраины, и я как сейчас помню — годы эти ушли на непрестанное наблюдение из окна за зданием лечебницы.

— Надо же, я и не знал,— встрял я.— Но ведь это пахнет...

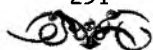
— Пожалуйста, прежде чем вы подведете меня к мысли, что это была просто сентиментальная привязанность, такая, немножко извращенная, позвольте мне сказать, что на деле все обстояло несколько иначе. Его чувства по отношению к лечебнице были на самом деле совершенно невероятны хотя бы по причине того, как он злоупотреблял своим влиянием в заведении. Я узнал об этом, когда был еще очень молод, но не настолько молод, чтобы не замечать, как глубок конфликт между отцом и дедом. Родители не желали, чтобы я проводил со стариком много времени, но я их наставлениями пренебрегал — аура тайны, окутывавшая доктора, слишком уж влекла меня. Однажды эта тайна открылась мне.

Мистер Локриан помолчал.

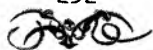


— Он всегда смотрел в окно и ни разу не повернулся ко мне лицом. Но однажды, после того как мы некоторое время посидели молча, он начал что-то шептать. Спрашивали, различил я, начали обвинять. Жаловались, что ни один из пациентов так и не выздоровел. Но что же узрели они, раз обрели такую мудрость? Они ведь даже не смотрели в глаза тем существам. В глаза, где безжизненная красота самой тихой и чуткой Вселенной находит себе отражение... Таковы были его слова. Потом он заговорил о голосах пациентов, что были под его опекой. Те голоса, по его словам, были подобны музыке безумных сфер и напоминали сигналы планет, что вращаются по неизменным орбитам подобно ярким куклам во мраке театра. В словесных излияниях душевнобольных, как сказал мне мой дед, можно было сыскать разгадку на многие древние тайны бытия.

Как и любой истый рыцарь науки, — продолжил мистер Локриан, — дед мой стремился к знанию негласному и невыразимому. Каждый том библиотеки, оставшейся его наследникам, свидетельствует об этом стремлении. Как вы понимаете, что-то в нее — сообразно своим интересам — привнес и я, да и мой отец тоже. Но наши стремления кардинально разошлись. В своей лечебнице доктор Локриан поставил очень странный эксперимент... такой, что для успешного проведения одного требовались именно те знания и решимость, что были у него. Много лет прошло, прежде чем мой отец попытался донести до меня его суть. Теперь все это мне придется объяснить вам. Как я уже сказал, мой дед был искателем — не филантропом,



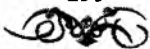
не врачевателем душ. Терапевтический подход в стенах его лечебницы не применялся. Больных он рассматривал не как жертв внутренних демонов или страшных внешних обстоятельств, а как существ, подчиненных тайному порядку мироздания, держателей частицы чего-то вечного, некой волшебной силы, которую, по его мнению, можно было потенциализировать. Таким образом, в его замыслы не входило излечение — напротив, он поощрял безумие своих подопечных, позволял ему жить собственной беспокойной жизнью и в конце концов пришел к тому, что в угоду своему замыслу вытравил из них то небольшое человеческое, что еще теплилось. Но порой та магическая жила, которую он распознавал в них, будто бы иссякала, и тогда он назначал им *«надлежащее лечение»* — то есть подвергал их череде адских пыток, направленных на ослабление их привязанности к человеческому миру, на переправку их душ в *«просторы тихой и чуткой Вселенной»*, чья бесконечность может выступить в роли этакой парадоксальной панацеи. Итогом такого «лечения» выступали существа столь же жалкие, сколь марионетки без кукловода, и столь же оторванные от реальности, сколь далеки от нас звезды. Уже умершие — и все еще каким-то образом живущие. Лишенные простой людской судьбы — и потому ставшие достоинством вечности, великого нетленного ничто. Не знаю как, но в последние свои дни мой дед испытал свое лечение на себе, переправив себя в домены за пределами смерти. У меня нет никаких сомнений — еще в детстве мне были явлены доказательства. Проснувшись поздно ночью, я под-



нялся с кровати, прошел по коридору к закрытой двери в комнату моего деда, повернул ее холодную ручку и робко заглянул внутрь. Старик сидел перед окном, ярко светила луна... Любопытство тогда побороло ужас, и я даже решился с ним поговорить. *Что ты делаешь?* — спросил я у него, и он ответил, так и не оторвав глаз от окна: *то, что нужно сделать, — взгляни сам.* Конечно, все, что я мог видеть, — фигуру старца, что уже одной ногой пребывал в могиле... но старец этот глядел на лечебницу для умалишенных, и из ее окон на него взирали те, другие, что уже не были людьми.

Мистер Локриан вздохнул:

— Когда я, напугавшись изрядно, рассказал родителям о том, что видел, меня удивило, что отец мне поверил — и даже разгневался: дескать, я не слушал его предостережений насчет комнаты дедушки. И он рассказал мне правду — точно так же, как я рассказываю ее сейчас вам. Из года в год он повторял мне то, что я уже знал, но привносил и что-то новое, расширяя и углубляя мою осведомленность. Я узнал, почему комната деда должна была всегда оставаться закрытой, почему нельзя было сносить здание лечебницы. Вы, быть может, не знаете, но более ранние попытки уничтожить ее жестко пресекались моим отцом. Он был привязан к городу этому, без надежды на будущее, куда сильнее меня. Как давно здесь хоть что-нибудь строилось? Придет время, и все тут само собой рассыплется в прах. Естественный ход вещей покончил бы с городом, и с лечебницей тоже, если бы ее оставили в покое. Но, когда вокруг этой старой развалины закипела работа, когда собралась



толпа зевак... я не ощутил никакой необходимости вмешаться. Это ваша судьба, вы сами ее выбрали.

— И в чем же, скажите, наша ошибка? — холодно осведомился я, подавляя странное возмущение.

— Вы просто цепляетесь за остатки душевного спокойствия... а сами знаете, что город-то давно уж не в порядке. Понимаете, что вам не стоило делать то, что сделали. И даже после всех моих слов вы не можете сделать вывод.

— При всем уважении к вам, мистер Локриан,— как мне не подвергать сомнению все то, что вы рассказали?

Он отделался слабым смешком:

— Я в общем-то и не ожидал, что вы поверите. Но со временем вы все поймете. И тогда я расскажу вам еще кое-что... вот только вы больше не сможете ни в чем усомниться.

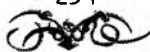
Когда он поднялся из недр кресла, я не смог удержать себя от вопроса:

— А зачем вообще нужно было мне что-то рассказывать? Зачем вы явились ко мне?

— Зачем? — переспросил он.— Ну, я подумал, что заказанные мною книги могли бы уже и прийти. А еще потому, что все кончено. Остальные... — он пожал плечами,— ...безнадежны. Вы — единственный, кто смог бы понять. Не прямо сейчас... но со временем.

Он был прав — в ту осеннюю пору, сорок лет назад, мне было не дано вникнуть в его слова. Только теперь я постиг все до конца.

В лучах бледного заходящего солнца явились их фигуры. Как будто возникая из глубин памяти, борясь с превосходством сумерек, они становились

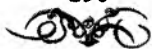


видимыми. С наступлением ночи их стали замечать по всему городу — в высоких окнах зданий, на верхних этажах домов и гостиниц, на чердаках.

Их фигуры мерцали подобно осенним созвездиям на черном небе, их лица несли на себе печать спокойной, окаменелой отрешенности. Старомодно одетые, эти призраки больше отвечали требованиям города, чем живые его насельники. Улицы вмиг обернулись темными коридорами музея, в котором проходила выставка восковых люминесцентных кошмаров.

Когда настал день, при взгляде с улицы фигуры в окнах обрели постыло-деревянный вид, и это зримо снизило их зловещность. Именно тогда немногие из нас решились подняться на верхние этажи домов и гостиниц, проверить чердаки. Но все, что мы находили, — пустые комнаты; и вскоре мы сами, не найдя ничего, покидали их, гонимые приступами безотчетного страха. Во вторую ночь, когда стало казаться, что мы слышим их шаги над нашими головами, их присутствие в наших домах изгнало нас на улицы. Так мы и шатались сутками напролет — бессонные бродяги, чужаки в собственном городе. Насколько я помню, в итоге мы даже перестали узнавать друг друга. Но один лик все же запомнился, и одно имя по-прежнему было у всех на слуху — имя доктора Харкнесса Локриана, чей взгляд преследовал каждого из нас.

Вне всякого сомнения, именно в доме его внука начался тот пожар, что поглотил город подчистую. Вялые попытки потушить огонь вскоре прекратились; в большинстве своем мы стояли молча, апатично наблюдая за тем, как пламя пожирает наши

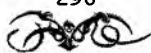


дома и взбирается по стенам к самым высоким окнам зданий, где призраки, застыв, стояли подобно фигурам на фотокарточке в рамке.

В конечном итоге огонь изгнал их всех, но вместе с призраками ушел и сам город. Не осталось ничего, кроме черных пятен и тлеющих пожарищ. Выяснилось, что катастрофа унесла одну-единственную жизнь — хотя мы никогда не узнаем точных обстоятельств смерти мистера Локриана, внука старого доктора, ибо все следы пожрал ненасытный костер.

Никто не стал предпринимать мер по восстановлению умершего города, и первый зимний снег укрыл неприкаянные руины. Но теперь, после многих весен, уже не пепел того пожарища беспокоит меня, а та великая метафизическая катастрофа, в тени которой затерялся мой разум.

Они держат меня в этой палате, потому что я разговариваю с обожженным лицом за окном... так пусть же они заколотят ее, когда меня не станет, дабы избежать непрощенных гостей. Мистер Локриан сдержал свое обещание — он явился и поведал мне остальную часть истины, когда я ощутил готовность ее принять. У него еще много всего за душой — много такого, что даже сила безумия меркнет в сравнении с этим знанием. Его рекомендация мне — абсолютное лечение, и еще одна душа будет заточена в черных безграничных коридорах этой вечной лечебницы, где сами планеты вращаются в бесконечном вальсе по неизменным орбитам — подобно ярким куклам в тихой и чуткой пустоте.



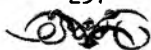
СЕКТА ИДИОТА

Первородный хаос, господин всего сущего... бог-слепец, бог-идиот — Азатот.

Из «Некрономикона»

Одиноким души обретают себя в необычайном. Пусть даже дух его и улетучивается всякий раз, как только являют себя людские толпы, оно вольготно чувствует себя в чертогах наших снов, что извечно открыты всякому — будь то ты, я или кто-то еще.

Необычайная радость и необычайная боль — два полюса ужасающего мира: с одной стороны — они несут угрозу людской реальности, с другой — многократно превосходят наше скромное бытие в качестве. Мир, помянутый мной, — великолепный ад, на тропу к которому человек ступает неосознанно... и в моем случае тропа привела к старинному городу, чья приверженность необычайному заразила мою душу божественным безумием задолго до того, как мое тело обрело пристанище в этом несравнимом месте.

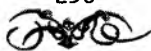


Вскоре после приезда в город — на чье название, наряду с моим собственным именем, лучше даже не пытаться пролить свет — я поселился в комнате с высокими потолками, с видом на пейзаж, без изъяна повторявший тот, что являлся мне прежде во снах. Сколько раз мне приходилось бродить под этими сверкающими, как алмазы, окнами, почтительно ступать по тем же улицам, что сейчас открывались моему взору.

Я познал бесконечное спокойствие туманного утра, внял дивной безмолвности ленно текущего дня, узрел звезды, мерцающие на полотне протяженной в вечность ночи. В каждом своем проявлении старый город лучился безмятежностью.

Балконы, перильчатые веранды и выступающие верхние этажи магазинов и домов слагали над тротуарами прерывистые сводчатые галереи. Колоссальные скаты крыши закрывали собой целые улицы, превращая их в коридоры единого строения с поразительным множеством комнат; воплощенным эхом этих фантастических архитектурных корон служили крыши поменьше — те, что сползали на окна полуприкрытыми веками, превращая всякий узкий дверной проем в шкаф иллюзиониста, скрывающий обманчивые теневые глубины.

Не берусь объяснить, каким образом старый город внушал ощущение собственной бесконечности и протяженности в невидимых измерениях, будучи при этом воплощением ночного кошмара человека, страдающего клаустрофобией. Даже ночи над городскими крышами-исполинами будто бы проходили на самом верхнем этаже земного

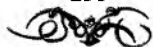


здания — не на этаже даже, а на чердаке, где звезды упрощались до ненужных фамильных реликвий, а луна — до запыленной лампочки без абажура. Именно в этом парадоксе и крылась львиная доля очарования города. Небеса виделись мне частью некоего интерьера: днем по их залам, пуствующим и просторным, носились комками пыли облака, ночью на большом черном потолке вычерчивалась подробная карта космоса. И сколь же сильно хотелось мне жить вечно в этой провинции средневековых осенних пор и немых зим, отбывая свой срок жизни среди зримых и незримых чудес, о которых ранее я мог лишь отстраненно мечтать.

Но ни одна людская жизнь, даже жизнь мечтателя-визионера, не обходится без невзгод и испытаний. Спустя всего несколько дней в старинном городе я стал ощущать уединенность этого места и социальную изолированность моей жизни с болезненной остротой. Однажды вечером, когда я сидел на стуле напротив панорамного окна, раздался стук в дверь. Стук был чрезвычайно слабый, лишенный настойчивости, но столь неожиданным стало для меня это банальное событие, что моими обострившимися чувствами я воспринял его как гром среди ясного неба, потрясший окружившую меня пустоту до самых основ.

Я неуверенно прошел по комнате, встал перед дверью, что являла собой простую коричневую панель без лепных косяков, открыл ее.

— Вот так номер, — выдал маленький человечек из коридора, взглянув на меня ясными глазами. Его седые волосы были образцом ухоженности. — Мне, я смотрю, дали не тот адрес. Возмутительно.



Отвратительный почерк! — Он опустил глаза к скомканной бумажке у себя в руке. — Ну и ладно, придется вернуться и уточнить.

Однако удалился он не сразу — приподнявшись на мыски своей малоразмерной обуви, он посмотрел мне за плечо, в комнату. Все его миниатюрное тельце будто подобралось, став таким воплощением заинтересованности. Наконец он выдал:

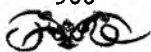
— Прекрасный вид из окна.

Улыбка, которая последовала за этими словами, отчего-то показалась мне коварной.

— Ну да, — ответил я, оглядываясь назад, в комнату, не зная что и думать. Когда я обернулся, мой странный гость исчез.

Несколько мгновений я простоял, словно статуя, удивленный. Затем, шагнув в коридор, я оглядел его по всей длине, по обе руки от себя. Не слишком-то и широкий, да и не особо протяженный, он упирался в беззаконный тупик и поворачивал. Все двери в другие покои были закрыты, и из-за них не доносилось ни звука. Наконец я вроде бы услышал звук шагов по лестнице этажом ниже — он слабым эхом раздавался в тишине, обращаясь ко мне на тихом языке старых ночлежных домов. Испытав облегчение, я возвратился к себе в комнату.

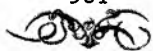
Остаток дня, бедный на иные примечательные происшествия, прошел под эгидой некой дремотной задумчивости. В ту ночь мне приснился очень странный сон, просуммировавший весь мой жизненный опыт сновидца с полуосознанным пребыванием в старинном городе. По пробуждении мой взгляд на город кардинально изменился... и все



же, несмотря на характер сна, изменение это не сразу произошло в худшую сторону.

Во сне я был в маленькой темной комнате, чьи высокие окна взирали на лабиринт улиц, раскинувшийся под пропастью звезд. Правда, пусть звезды и светили ярко, улицы внизу утопали в темно-серой тусклости, что не была присуща ни ночи, ни дню, ни даже переходной фазе между ними — сумеркам. Глядя в окно, я полнился уверенностью, что в уединенных уголках этой сцены творятся таинства, туманные обряды, противоречащие обыденности; и казалось мне, что неспроста я беспокоился о том, что творилось в одной, похожей на мою, комнате с высокими окнами, — точное местоположение было мне недоступно, но что-то твердило мне, что идущий в настоящее время процесс призван глубоко повлиять на все мое существование. В то же время я не ощущал себя значимым ни для этого, ни для какого-либо другого мира. Я был лишь точкой, поставленной наугад в хитросплетенном лабиринте линий. Неприкаянное чувство, ощущение чуждости, похоже, и было источником волнения, ни разу доселе не испытанного, — ведь я, ничего не значащий конгломерат живой плоти, оказался каким-то чудом там, где меня никогда не должно было быть, и огромная ловчая сеть рока уже смыкалась надо мной. Из родной стихии света я был низвергнут в холодный мрак — и сон, что явился мне, намекал на то, что жизнь моя близка к роковым изменениям или даже концу, бесславному концу бесславного человечка.

Но я все равно не мог не зайти в ту, *другую*, комнату — ведь в ней, как мне чудилось, этот про-



думанный сюжет получит некое развитие. Мне казалось, будто я вижу нечеткие фигуры. Комната была просторна, но из мебели в ней было лишь несколько стульев странной формы — над остальным пространством довлел головокружительный вид на звездную черноту. Набухшая волдырем луна светила ярко, расписывая стены таинственными голубыми узорами, и звезды на ее фоне казались чем-то избыточным, неуместным — как тусклая гирлянда при полноценном освещении.

Будучи во сне лишь наблюдателем — не полноценным персонажем сцены, я осознал, что есть и другие, подобные этой, комнаты — все они заранее подготовлены для неких торжеств или собраний. Царившая в них атмосфера — некий дух, сформировавшийся независимо от слагавших интерьер множества форм и оттенков, — осознанно сплетала пространство и время в единый узел, и за считанные секунды, проведенные в таких комнатах, миновали будто бы целые века или даже тысячелетия. Здесь самый скромный и тесный уголок мог таить целую вселенную.

Но в то же время эти комнаты будто бы ничем и не отличались от тех других, знакомых мне наяву: ни их соседство с неведомыми астрономическими пустотами, ни кажущаяся безбрежность космоса за их окнами не играла роли. *Что, если дело не в комнатах, а в их жильцах?* — вдруг задался я резонным вопросом. *Что, если из-за них здесь все так странно?*

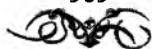
И тогда я обратил внимание на жильцов. Они были с головы до пят укутаны в мантии, и лишь по изгибам смятой ткани я смог понять, что позы,



в которых они застыли на своих стульях, неестественны, а формы — ужасающи, пусть ужас и подпирало любопытство от столкновения со столь странными существами. Если не люди, то кто же? На своих стульях они безумно раскачивались взад-вперед, словно их мышцы и кости не могли удержать хозяев в одном положении. Каждая принятая поза, возможно, имела некий ритуальный смысл. Головы жильцов существовали отдельно от тел — и только в их наклонах друг к другу я улавливал какие-то еретические отголоски земной анатомии. Именно от этих «голов» исходил мягкий шум, возможно служивший этим созданиям речью.

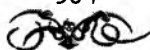
Но во сне возникла другая подробность, указавшая на иной способ коммуникации этих гудящих фигур, восседавших в застойном сиянии луны. Из объемных рукавов по бокам каждой из них выступали тонкие заскорузлые отростки, то переходящие во множество слабых когтеобразных придатков, то сужавшиеся обратно до свисающих щупалец. Суетные их движения я трактовал как способ передачи информации — похоже, жильцы комнаты что-то живо, безостановочно обсуждали.

Противоестественная жестикуляция заворожила меня, и я почувствовал, что вот-вот проснусь — вернусь к реальности с ощущением того, что узнал некий ужасный секрет, смысл которого так и остался туманным в силу того, что нельзя его выразить, не пользуясь языком этой жуткой гостиничной секты. Но сон продолжился, равно как и жестовая беседа жильцов. На моих глазах из рук в руки передавалось некое сакральное знание, ответ на главный вопрос о порядке всех вещей.



Движения придатков порождали вереницу неприглядных аналогий — дрожащая паутина, лапки мухи, алчно потираемые друг о друга, трепетание языка змеи. Но общее впечатление от сна лишь отчасти задействовало то, что я называю *триумфом гротеска*. Оно было сложным и четким, не подразумевая ни путаницы, ни даже утешительной сновидческой двусмысленности. Мир, явленный мне, пребывал в трансе, и жертвами этого стали не только несчастные лунатики, коими манипулировали эти монстры в мантиях, но и сами монстры-манипуляторы. Существовала здесь и сила, довлеющая над ними, — ей они и служили, ею они и подпитывались; и не было в этой силе никакого умысла гипнотизера — одно лишь бездушие, один лишь идиотизм, возведенный в наводящую страх степень. Этой несмыслённой силе здесь поклонялись, как богу.

Ровно в этот момент своего сна я почувствовал, что между мной и этими гудящими детьми хаоса, чьего существования я боялся даже при их предельной отдаленности от меня, возникла ужасная близость. Неужели эти существа позволили мне узнать свою адскую мудрость, руководствуясь какой-то зловещей целью, известной только им одним? Или то, что они допустили меня до своей сакральной кельи — лишь следствие слепого случая, непреднамеренное стечение множества обстоятельств? Впрочем, был ли здесь умысел, не было ли — истина такова: я стал жертвой чего-то сверхъестественного, и это что-то наполнило все мое существо экстатическим страхом.

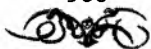


Даже пробудившись, я ощущал вонзившиеся в мою душу осколки этого потрясения. И благодаря алхимии ассоциаций я стал смотреть на старинный город сквозь призму этих застрявших в моем сознании темных кристаллов.

* * *

Хоть раньше я мнил себя непревзойденным знатоком городских секретов, следующий день принес мне непредвиденное открытие. Улицы в то застывшее утро преисполнились новых тайн, будто выстлав мне тропу в самое сердце сверхъестественного. То, что раньше было надежно запрятано в самые дальние схроны города, вдруг проступило непосредственно в его структуре — и пусть причудливые архаичные фасады продолжали придавать всему сказочно-умиротворенный вид, под ними зрело некое злое намерение. Тем не менее этот маскарад каким-то образом лишь подчеркивал наиболее привлекательные стороны города — странные волнения расцветали в моей душе, стоило взгляду упасть на покосившуюся крышу, на низко расположенную дверь, на слишком узкий по человеческим меркам проулок. Туман, что равномерно расползся по городу тем ранним утром, играл всеми красками грез.

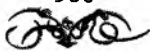
Весь день блуждал я, ощущая лихорадочный прилив сил, по старинному городу, видя его как будто впервые. Я не останавливался ни на минуту — мне не требовалось ни отдохнуть, ни подкрепиться. К концу дня мои нервы напряглись до предела — не один час затратил я на то, чтоб удерж-



жать свой рассудок в том редкостном состоянии, когда чистейшая эйфория сливается со страхом и обогащается за его счет. Всякий раз, заходя за угол или обращая взгляд к очередному манящему виду, я испытывал дрожь. Картина двоилась в моих глазах: небесный свет вступал в союз со зловещей тенью, красота и уродство заключали друг друга в вечные объятия. Когда я прошел под аркой старой улицы и взглянул на возвышающееся передо мной здание, у меня захватило дух.

Я сразу узнал это место — пусть мне и ни разу не приходилось созерцать его с такого ракурса. Мне вдруг почудилось, что я волшебным образом покинул улицу и смотрел уже не снизу вверх, а сверху вниз, из комнаты, что приютилась прямо под заостренной крышей. То была самая высокая точка города, и ни одно другое окно не позволяло заглянуть туда. Само здание, как и те, что его окружали, казалось пустым, а может, и вовсе заброшенным. Я продумал несколько хитростей, что позволили бы мне пробраться внутрь, но ни одна из них мне не пригодилась: парадная дверь, вопреки моему первоначальному наблюдению, была слегка приоткрыта.

Место и впрямь было оставлено давным-давно — на стенах не красовались больше гобелены, исчезли светильники, а туннельную пустоту коридоров наполнял лишь бледно-желтый свет, пропускаемый грязными окнами без занавесей. По окну было на каждой клетке лестницы, протянувшейся сквозь центр здания подобием искривленного позвоночника. Картина столь блаженного увядания повергла меня в оцепенелый восторг. Здесь царила

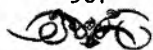


странная атмосфера безграничной меланхолии и неприкаянности, неизбежный осадок какого-то бедствия космических масштабов наполнял воздух. Преисполненный нервной решимости, я стал подниматься по лестнице — и остановился лишь тогда, когда достиг вершины и нашел дверь в нужную мне комнату.

И даже тогда я спросил себя: смог бы я войти с такой неутомимой решимостью, если бы действительно ожидал найти что-то необыкновенное внутри? Было ли хоть когда-то мое намерение противостоять безумию вселенной осознанным, *выстраданным*? Мне пришлось признаться, что я не отрицал пользы своих снов и фантазий, но и никогда всерьез в них не верил. На подкорке я был все тот же дотошный скептик, просто наделенный слишком богатым воображением, которое, может статься, попросту довело меня до сумасшествия.

Судя по всему, комната пустовала. Открытие не принесло мне разочарования — скорее облегчение. Но потом мои глаза привыкли к искусственному полумраку, и я увидел круг из кресел.

Такие же причудливые, как в моем сне,— скорее орудия пыток, нежели предметы декора или обихода. Их высокие спинки, наклоненные под небольшим углом, были обиты шершавой кожей, подобную коей я прежде не встречал. Подлокотники напоминали лезвия — на каждом было по четыре полукруглых выемки, расставленных на одинаковом расстоянии. В пол упиралось по шесть сваренных вместе длинных ножек, делавших каждое кресло похожим на нечто ракообразное, вот-вот

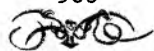


готовое ожить и забегать по полу. Если в какой-то миг своего потрясения я взаправду испытал желание занять один из этих причудливых тронов, то оно быстро улетучилось — я заметил, что сиденье каждого кресла, вначале казавшееся чем-то вроде гладкого плотного куба черного стекла, на деле являло собой открытую емкость, до краев залитую темной жидкостью. Я провел рукой над одной из емкостей — по глади прошла необычная рябь, и всю руку захлестнуло странное покалывание, такое сильное, что я отпрянул назад, к двери, и возненавидел каждый атом той плоти, что выросла на моей лучевой кости.

Я развернулся, чтобы выйти, но был остановлен фигурой в дверном проеме. Хотя я раньше и встречал этого мужчину, сейчас он, казалось, был кем-то совсем другим, кем-то откровенно зловещим, а не просто странным. Когда он побеспокоил меня позавчера, я не мог заподозрить, с кем он находится в союзе. Его манеры были своеобразны, но предельно вежливы, и у меня не было оснований сомневаться в его вменяемости. Теперь он казался мне безумцем, управляемым кем-то извне. Его неестественная поза и неосмысленное выражение лица наталкивали на мысли о деградации, вырождении. Прежде чем я успел отступить, он схватил меня дрожащей рукой.

— Спасибо, что все-таки посетили нас,— сказал он в насмешливом тоне, будто пародируя свою былую учтивость.

Его веки смежились, а рот растянулся в широкой улыбке — то было лицо человека, наслаждающегося прохладным ветерком в теплый день.



— Они хотят, чтобы вы дождались их возвращения,— произнес он.— Они хотят, чтобы их избранные были с ними.

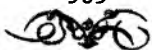
Смысл этих слов дошел до меня не сразу, повергнув в смятение, изгнав из души последние надежды на чудо и оставив лишь страх. Кошмарный сон оборачивался для меня явью — здесь и сейчас.

Я попытался высвободиться из захвата этого сумасшедшего, стал кричать, чтобы он отпустил мою руку.

— *Вашу руку?* — воскликнул он... и стал повторять эту фразу снова и снова, смеясь, как если бы слышал самый смешной анекдот в жизни.

Предавшись своему омерзительному веселью, он ослабил хватку, и я наконец-то смог сбежать. Пока я кубарем катился по бесчисленным ступеням, его смех преследовал меня — гулкое эхо вылетало далеко за пределы этого темного каменного чрева.

Сей причудливый, медленно затихающий звук не покидал меня, пока я, ошеломленный, бродил в темноте, пытаюсь отрешиться от собственных мыслей и чувств. Постепенно ужасный гул, заполнявший мой разум, начал стихать, но вскоре ему на смену пришел шепот незнакомцев, сталкивавшихся со мной на улицах старинного города. Не имело значения, как тихо они говорили или как быстро замолкали, смущенно покашливая или бросая на меня укоряющие взгляды. Слова достигали моих ушей урывками, но смысл вскоре стал понятен, ибо, все как один, они твердили одно и то же. Чаще всего проскакивали слова *обезображен* и *какое уродство*. Не будь столь сильным мое смя-



тение, я непременно обратился бы к этим людям, кое-как напялив вежливую личину, смог бы сказать — я ведь все слышу, о чем это вы толкуете? Что имеете в виду? Но смысл всех этих слов, всех этих потаенных вздохов — *какой ужас! Бедняга, несчастный человек!* — дошел до меня, когда я вернулся в свою комнату и встал перед настенным зеркалом, обхватив голову обеими руками.

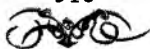
Только одна из этих рук была моя.

Другая уподобилась паукообразным конечностям *жильцов*.

* * *

Наша жизнь суть кошмар, и лишь раны от ударов судьбы указывают на то, что мы все живем не во сне. Уединенное безумие — райская альтернатива пребыванию в том подвешенном состоянии, где собственное сумасшествие — не более чем бледное подобие безумия мира вокруг. Я клюнул на приманку снов... но все это отныне неважно.

Я пишу, потому что все еще в состоянии писать, хоть преображение мое уже ничем не сдержать. Обе мои руки претерпели метаморфозу, и эти дрожащие щупальца не в состоянии держать ручку как надо. Чтобы написать что-то, приходится преодолевать себя. Сейчас я очень далеко от старинного города, но его влияние не ослабевает — в этом жутком деле на него не распространяются признанные законы пространства и времени. Теперь я повинуюсь иному порядку бытия, и все, что мне остается, — роль беспомощного наблюдателя.



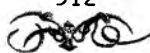
В интересах других людей я принял соответствующие меры к тому, чтобы скрыть свою личность и точное местоположение старинного города с его зловещей тайной. Тем не менее на бумаге я постараюсь раскрыть, без злого умысла за душой, природу и характер живущего там зла. Как бы то ни было, ни мои мотивы, ни мои действия не имеют значения. Они слишком хорошо известны монстрам, заседающим в самой высокой зале старинного города. Они знают, что я пишу и почему я пишу это. Быть может, они даже направляют мою руку — ведь она стала их продолжением. И если я когда-нибудь захочу узреть, что же скрыто под их темными мантиями, то вскоре мне будет достаточно простого взгляда в зеркало, чтобы сполна удовлетворить свое любопытство.

Я должен вернуться в старинный город, ибо больше мне нигде не обрести дом. Но мой путь к этому месту не будет прежним, и когда я снова навещу эту обитель снов, то ступлю за порог, который ни разу не пересекало ни одно человеческое существо... и, думаю, никогда не пересечет.

ВЕЛИКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЛИЧИН

В той части города, откуда Носс начал свой путь, домов было — раз-два и обчелся. Тем не менее стояли они так, будто когда-то их было здесь гораздо больше, — так иной раз сад кажется бедным единственно потому, что часть насаждений высохла, а саженцы на замену еще не отобраны. Носсу даже подумалось, что эти отсутствующие предполагаемые здания порой меняются местами с существующими, как бы заполняя пробелы в пейзаже и обнажая ту его часть, что обычно сокрыта за гранью видимого, ибо к сему времени нужно служить особой цели — придать городу некое своеобразие. Ради этого множество привычных вещей канут в пустоту, уступая свое место объектам иного плана бытия. Таковы последние дни фестиваля — старое и новое, истинное и мнимое примеряют маски и вступают в запретный союз.

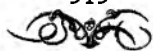
Даже к концу маскарада некоторые только-только начинают проявлять интерес к традиции посещать магазины костюмов и масок. До недавнего времени в число таких вот запаздывающих входил и Носс — однако сейчас он полон решимо-



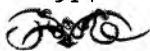
сти зайти в лавку, чьи полки являют собой сплошное изобилие образов и личин, даже на поздней стадии праздника.

По ходу своего маленького путешествия Носс продолжал следить, как число домов прирастает — от улочки до улицы, от улицы до обилия улиц, от обилия улиц до целого города. Признаки фестивального сезона также приобретали все более явственный характер; порой это сбивало с толку, порой казалось вполне уместным. Он миновал двери, распахнутые настежь вопреки позднему часу и как бы приглашающие случайного гостя или человека с плохими намерениями зайти и узнать, что ждет внутри. Тусклый свет горит в пустых залах — или они лишь кажутся таковыми с расстояния непричастности?

Неописуемое тряпье свалено в проулках — ветер играет с ним, перебирает тканевые щупальца-лоскутки. Теперь уже каждый шаг Носса приводит к столкновению с каким-нибудь симптомом фестивальной беспечности: разодранная шляпа застряла в заборе — в том месте, где одну штaketину кто-то выломал; плакат на крошащейся кирпичной стене рассечен наискось — края раны на изображенном лице полощутся на все том же ветру; гуляки прячутся в проулках — их одежды составляют мотки колючей проволоки и подушечный пух. Праздник этот беспечен, безлик и пресыщен собственным лоском, и по мере своего продвижения Носс проявляет интерес только к его внешней стороне. Собственно, ему это все в новинку — он совсем недавно поселился здесь.



Чем ближе центр города, тем сильнее, впрочем, его интерес — тут дома, магазины, заборы и стены стоят куда как *теснее*. Тут, кажется, едва хватает места для нескольких звезд, что втискивают острые лучики света в проемы между крышами и высотками, да непомерных размеров луны, гости в этих краях редкой, чей неясный страдальческий отблеск едва ли нарушает покой серебристых окон. Улицы здесь натянуты струнами, и одна и та же на своем протяжении могла носить сразу несколько имен; говорит это не столько о нарочном решении и не столько о причудах местной истории, сколько о явном стремлении к чрезмерности. Этим, быть может, и объяснялся тот факт, что здания в этом районе носили столько бессмысленных украшений: богато декорированные двери, намертво застрявшие в своих рамах, массивные жалюзи, укрывающие одни лишь пустые стены, изящные балконы с витыми перильцами и заманчивым видом, начисто лишённые доступа извне, лестницы, сокрытые в темных нишах и восходящие к тупикам. Все эти желающие привнести красоту слагаемые казались излишком в пространстве столь сжатом, что даже между тенями яблоку было негде упасть. Ощущение тесноты царило повсюду — и в первую очередь во дворах, где еще горели последние огни фестиваля. В этой части города, похоже, веселье и не думало останавливаться — по крайней мере, признаков его убыли не наблюдалось. Быть может, празднующие все еще куражились здесь, все еще предавались немыслимым в повседневном быту выходкам, все еще куролесили так, будто никакого «завтра» не наступит. Фестиваль



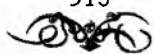
личин был еще жив в центре города — исступление праздника не зарождалось здесь, а, напротив, проникало сюда с неких дальних пределов. Быть может, начало фестивалю положила какая-нибудь уединенная хижина на окраине города или заброшенный дом у лесной чащобы. Как бы там ни было, возбуждение только сейчас охватило сердце этого помраченного города, и Носс наконец-то решил посетить одну из многочисленных лавок с костюмами и масками.

Крутая лестница привела его к утлому крыльцу, и через узкую дверь он прошел внутрь. Действительно — стеллажи переполнены костюмами и масками. Они скрыты темнотой и подобны жерлам, заткнутым кляпами из многочисленных одежд и личин, способных являться лишь во сне. Едва Носс попытался снять одну маску, свисающую с края какой-то полки, дюжина подобных ей обрушилась прямо ему под ноги. Отступив от лавины этих ложных лиц, он взглянул на то, что было в руке, — ухмыляющуюся сардоническую личину.

— Отличный выбор, — произнес лавочник, поднявшийся из-за дальней конторки. — Вот вы примерьте — и сами увидите. Да, господин мой хороший, отлично сидит. Ваше лицо — оно скрыто целиком, от подбородка до самой линии волос, да и по бокам ничего не видно. Это ли не признаки хорошей маски?

Носс согласно кивнул.

— Обратите внимание — она хоть и крепится с боков, но нигде не жмет, да и уши ваши остаются открытыми — замечательные уши, позвольте заметить, красивейшая форма! В пылу веселья



всякое случается, лучше быть начеку. Пройдет время, и вы даже забудете, что на вас эта маска,— заметили, как идеально прилегают отверстия для глаз, носа, рта? Ни одна из естественных функций человеческого лица не блокируется, и это важно. Смотрится идеально — особенно вблизи, но я уверен, что и на расстоянии ничего не изменится. Вот подойдите к окну, чтобы луна вас подсвечивала... идеально, она будто для вас и делалась! Простите, что вы сказали?

Носс подошел к лавочнику и снял маску:

— Я сказал, что все в порядке. Думаю, я куплю ее.

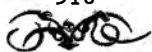
— А я и не сомневался, что купите! Но позвольте показать вам еще варианты. Пройдемте — тут всего-то пара шагов!

Лавочник потянулся к высокой полке, снял с нее что-то и вложил ему в руки. Носс оглядел эту новую маску — совсем другая и какая-то... непрacticная на вид. Изначально выбранная им личина обладала всеми достоинствами для соответствия его лицу, а эта будто нарочно пренебрегала подобным. Поверхность ее была неровной — то выпуклость, то изгиб, и все вместе производит какой-то неудобный, на грани болезненности, вид. Да и весила эта маска куда как больше той, первой.

— Нет,— произнес Носс, возвращая маску.— Думаю, та, первая, лучше.

Лавочник, похоже, несколько растерялся. Одарив Носса продолжительным взглядом, он задал вопрос:

— Могу я поинтересоваться... вы из местных? В смысле, живете здесь всю жизнь?



Носс покачал головой.

— Что ж, тогда — не торопитесь. Не принимайте поспешных решений. Останьтесь здесь и подумайте — время ведь еще есть. Кстати, вы могли бы оказать мне услугу. Мне очень нужно отлучиться ненадолго, и я буду вам крайне признателен, если вы согласитесь остаться и приглядеть за магазином. Вы согласны? Что ж, замечательно. И не беспокойтесь, — с этими словами лавочник снял с крючка на стене широкополую шляпу. — Я скоро вернусь. Очень скоро. Если кто-то зайдет, просто ведите себя естественно. — И дверь лавки захлопнулась за его спиной.

Оставшись в гордом одиночестве, Носс стал внимательно разглядывать ту полку, с которой лавочник снял странную неудобную маску. Все, что лежало там, разительно отличалось от самого понятия о маске, существовавшего в голове Носса. Вполне закономерные различия в оформлении сопровождались крайней непрактичностью сочетания веса и формы, равно как и странностью в расположении чрезмерного количества отверстий для вентиляции. Поистине — диковинные вещицы! Носс потянулся к той личине, что, по словам лавочника, замечательно смотрелась на нем и идеально подходила к его лицу. Бесцельно побродив по магазину, он обнаружил за стойкой табурет, на который сел и тотчас заснул.

Когда он пробудился, то, по его ощущениям, с того момента, как он заснул, минуло лишь несколько минут. Собравшись с мыслями, Носс огляделся — ему показалось, что разбудил его какой-то странный шум. Звук вскоре повторился — мягкое



постукивание из-за спины, идущее со стороны магазинных подсобок. Спрыгнув с табурета, Носс прошел через узкий дверной проем, спустился по короткому лестничному пролету, миновал еще один проем, поднялся по еще одной лестнице о считанных ступеньках, прошагал по коридорчику с очень низким потолком — и наконец достиг задней двери лавки. В нее снова постучались.

«Если кто-то зайдет, просто ведите себя естественно», — вспомнил Носс слова продавца. Что ж, всегда легче сказать, чем сделать.

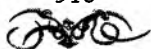
— Может, попробуете главный вход? — окликнул он через дверь.

— Пожалуйста, принесите нам пять тех масок, — взмолился кто-то снаружи. — Мы сейчас по другую сторону забора стоим. Вы увидите костер — мы как раз у него. Сможете?

Носс задумчиво склонил голову. Одна часть его лица оказалась в тени, падающей от стены, другая же стала еле различимой, залитая странным ярким светом, не имевшим с естественным освещением ничего общего.

— Подождите. Я открою, — выдал он наконец. — Вы меня слышите?

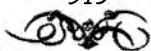
Ответа не последовало. Приоткрыв дверь, Носс выглянул во двор магазина. Ему стал виден участок грязной земли, окруженный высокими деревянными штакетинами забора. По ту сторону явно горел костер — все, как и предупреждал голос из-за двери. Носсу даже в голову не пришло, что происходящее могло быть просто шалостью, — у него не было ни малейшего желания пренебрегать традициями фестиваля, несмотря на то что он был



приемышем этого города и его редких празднований. Любые оправдания разрушили бы дух сказки, охвативший все вокруг, — и потому Носс достал с полки маски, прошепствовал к задней двери магазина и осторожно вышел наружу.

В дальнем конце двора, путь к которому оказался дольше, чем Носс предполагал, сквозь щели в заборе пробивались красноватые сполохи огня. Там же виднелась дверь на кривых петлях с пробоиной вместо ручки. Положив на землю маски, Носс склонился и приткнул глазом к отверстию. С другой стороны забора был темный двор — точно такой же, если не считать горящего костра. Вокруг огня толкались несколько человек — не то четверо, не то пятеро, все как на подбор сутулые, они протянули к теплу и свету руки. Все они в масках, и поначалу Носсу кажется, что личины являются неотъемлемой частью их лиц... но вот они, одна за другой, сползают, будто не желая более скрывать владельцев, и кто-то один даже полностью снимает маску и предает ее огню — в пламени личина сворачивается и становится комком пузырящегося черного пластика. Остальные раньше или позже следуют его примеру. Освободившись от личин, компания вновь образовала прежнюю композицию... но на этот раз огонь осветил лишь четыре, да — четыре лица... вернее, полное их *отсутствие*.

— Глупец, — прозвучал совсем рядом голос, источником которого служил некто, скрытый тенью забора. — Ты принес нам не те маски. — Носсу оставалось лишь беспомощно смотреть, как чья-то лапа схватила масочное подношение и утянула в



темноту. — Мы *такими* уже не пользуемся! — Голос неизвестного сорвался на крик.

Развернувшись, Носс побежал обратно к магазину. В спину ему полетели маски. На бегу бросив взгляд на возмущенного просителя, выступившего из тени на мгновение, он сразу осознал, почему *те* маски больше не подходили существам за забором.

Оказавшись внутри магазина, Носс оперся на прилавок, дабы восстановить дыхание. Подняв глаза, он увидел, что хозяин маскарадной лавки уже возвратился.

— Я отнес к забору несколько масок. Они не подошли, — оправдался Носс.

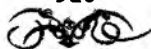
— А, ничего страшного, — махнул рукой лавочник. — Я прослежу за тем, чтоб им вынесли то, что они просят. Не беспокойтесь — времени еще полно. А что насчет вас?

— Меня?

— Ну да. Вы выбрали себе личину?

— О... простите, что потревожил вас. Это совсем не то, что я думал. То есть, может быть, мне стоит просто...

— Глупости! Я не отпущу вас просто так, с пустыми руками. Просто доверьтесь мне, я обо всем позабочусь. Я хочу, чтобы вы отправились сейчас туда, где знают, что делать в подобных ситуациях. Вы — не единственный, кто слегка перепугался этой ночью. Пойдите направо и сверните за угол этой... нет, *той* дорогой, затем перейдите улицу. Найдите высокое серое здание. До сего момента его там не было, поэтому будьте бдительны и не пройдите мимо. Потом спуститесь по лестнице. Все понятно?

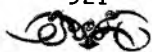


Носс послушно кивнул.

— Отлично. Вы не пожалеете. Теперь идите и не останавливайтесь ни перед чем и ни перед кем. Да, и вот это не забудьте.— Лавочник вручил ему пару диковинных масок.— Что ж, удачи вам!

...Хоть улица и была пуста и ничто не вставало у Носса на пути, он останавливался порой и замирал, как если бы из-за спины его окликал кто-то. Задумчиво оглаживая плоские щеки и подбородок, он шел к высотному серому зданию, раздумывая, изменились ли остальные черты его лица. Достигнув лестницы, идущей вдоль стены высотки, он уже не в силах был отнять от себя рук. Он нацепил на себя одну из двух врученных масок — ту самую, что лавочник так настойчиво сватал ему. Но почему-то она сидит на нем отнюдь не так идеально, как раньше. Она соскальзывает.

Он спускается по лестнице, что выглядит изношенной шагами несметного легиона ног, продавленной посередине тоннажем времени. Но, если верить словам торговца, совсем недавно ее тут даже не было. Ступени заканчиваются, и Носс входит под своды горницы, что выглядит очень старой и очень тихой. На завершающей стадии фестиваля она полна людей, что ничего не делают — лишь сидят безмолвно в тени, отражая гладкими лицами тусклый свет. Лица эти ужасали — они были либо лишены всяких черт, либо черты эти деградировали почти до неразличимости. Но тут, одно за другим, они стали обретать привычный образ. Причем это действо, если прислушаться, не проходило беззвучно. Новая плоть, раздвигая рвущиеся напластования старой, находила



дорогу наружу — и сопровождал ее шелест, похожий на слышимый порой в глухой ночи звук роста деревьев в саду... и так же, как и этот природный процесс, рост новых лиц был красив. С ритуальной и торжественной неспешностью Носс сдернул с лица маску и отбросил в сторону — упав на пол, ложный лик продолжал усмехаться миру, собравшись в гротескную гримасу.

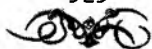
Истек срок старого фестиваля: пришла пора нового, великого праздника. И никто уже не сможет описать произошедшее, поскольку не сможет ничего припомнить. Но личины эпохи, от которой давно уж отрекся не терпящий однообразия мир, сыщут пару слов на самом дне омута памяти. Возможно, когда-нибудь они поведают о тех днях, выйдя из-за дверей, что никогда не открываются, встав во мраке лестниц, что ведут в никуда.

ЛУННАЯ СОНАТА

Со значительным интересом и некоторым беспокойством слушал я, как низенький бледный мужчина по имени Трессор рассказывал о своем замечательном опыте — его мягкий голос едва ли нарушал тишину комнаты, освещенной лунным сиянием. Он, похоже, был из тех, к кому сон приходит нечасто. Такие люди обычно довольствуются тем, что выходят на улицы и ищут хоть какое-нибудь подходящее развлечение из числа тех, что может предложить наш город. Скоротать часы до рассвета можно и в ночном клубе, но истинному инсомниаку его однообразные увеселения быстро надоедают, да и какой ему прок от толпы, что отказывается от сна *сознательно*?

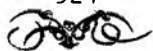
Тем не менее немногим бессонным, в число коих угодил и Трессор, наш город рад открыть свои тайны — те, что не предназначены для света дня. В отсутствие снов, что хранят равновесие привычного мира, человек ищет им любую фантастическую замену... и порой находит ее.

Да, существуют такие чары, что почти возмещают ушедший покой. Увидеть некую необычную



фигуру, с изумительной ловкостью перескакивающую с одной крутой крыши на другую,— достойная плата за череду тягостных бессонных ночей. Услышать зловещий шепот на одной из узких улиц и следовать за ним без возможности хоть как-то отгородиться от его неумолчной назойливости — превосходное лекарство для снятия симптомов болезненного бодрствования. И что с того, что все эти эпизоды никак не подтвердить, что с того, что в массе своей они так и остаются голословными,— разве не благая у них цель? Скольких обделенных сном наш город спас подобным образом от ножа, петли, передозировки таблетками? Однако, если и есть крупица правды в том, что, по моему мнению, произошло с Трессором, то он определенно столкнулся с чем-то из ряда вон выходящим.

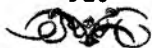
Признаюсь, когда Трессор поведал мне свою историю, я счел ее полной преувеличений, таким сверх меры приукрашенным рассказом об очередной прогулке во мраке. Кажется, в одну из своих пустых бессонных ночей он забрел в старые районы города, где ночная жизнь в той же степени отсутствует, в каковой она неизбывна в районах новых. Как я уже говорил ранее, Трессор был из тех, кто не чурался странностей города,— и потому он принялся вести более чем скромную слежку за человеком, что стоял у ступеней насквозь прогнившей старой постройки. Трессор отметил, что мужчина, похоже, торчит там без особой цели, спрятав руки в карманы шинели и взирая на прохожих с таким библейским терпением. Здание, у которого он ошивался, было простеньким, приметным лишь окнами — так порой лица выделяются из



толпы исключительно благодаря интересной паре глаз. Окна имели не вытянутую прямоугольную форму, как у большинства других домов на улице, а полукруглую, и каждое из них было разделено на несколько отдельных секторов-панелей. В свете луны они, казалось, блистали ярче положенного — возможно, виной тому был лишь контраст с окрестными домами: несколько чистых стекол на фоне множества грязных всяко привлечет к себе внимание. Иного объяснения лично я не нахожу.

В любом случае, когда Трессор решился пройти мимо здания, стоящий на ступенях мужчина подался вперед и сунул что-то прямо ему в руку. Обменявшись с незнакомцем недолгим взглядом, мучимый бессонницей Трессор опустил глаза к странной подачке. Это оказался лист бумаги, и ему пришлось встать под фонарный столб, чтобы разобрать тонкие, мелкие буквы. Выяснилось, что перед ним приглашение, отпечатанное на машинке на грубой, дешевой бумаге. Согласно листовке, в здании, которое он только что миновал, готовилась вечеринка — позже, той же ночью. Трессор оглянулся на мужчину, вручившего ему листовку, но того уже и след простыл. Это показалось ему очень странным — пусть тот и имел вид человека, пребывающего в непринужденно-спокойном настроении, человека, ничего и никого конкретно не ждущего, что-то явно привязывало того мужчину к месту, на коем он стоял. Его внезапное исчезновение, разумеется, смутило Трессора... но и зачаровало тоже.

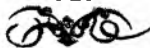
Он еще раз изучил приглашение, бездумно потер его между большим и указательным пальцами.



Бумага имела очень странную текстуру — похожа на спрессованный лист смешанного с мылом пепла. Решив, однако, что долгих раздумий листовка не стоит, Трессор отшвырнул ее в сторону и продолжил свою бессонную прогулку. Но, прежде чем приглашение коснулось тротуара, какая-то буквально появившаяся из воздуха рука быстренько метнулась к листку и присвоила себе. Оглянувшись через плечо, Трессор так и не понял, кто же это был.

Позже в ту ночь он вернулся в здание с сияющими полукруглыми окон. Войдя через парадную дверь, не запертую и никем не охраняемую, он проследовал по тихим пустым коридорам. Вдоль стен стояли светильники в виде тусклых светящихся сфер. Свернув за угол, Трессор внезапно столкнулся с черной пропастью, в которой, по мере того как его глаза привыкали к густому мраку, стала проступать освещенная лестница. После некоторого колебания он поднялся по ней — старые доски под его весом пели жалобную серенаду. Уже с первой ступеньки он различил тусклые огни где-то наверху — и, хоть у него и был шанс преспокойно развернуться и уйти, стал подниматься навстречу им. Однако, достигнув второго этажа, Трессор обнаружил, что тот ничем не отличается от первого... как и третий, как и все последующие. Поднявшись на самый верх, он прошелся по коридору и даже рискнул проверить несколько дверей.

Почти все комнаты за этими дверьми оказались темными и пустыми — лунный свет, сиявший через идеально вымытые окна, падал на голые, по-

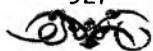


крытые плесенью полы и стены без обоев. Готовый удалиться восвояси, Трессор вдруг заметил в конце коридора дверь со слабой желтой аурой, пробивавшейся из зазоров между ней и косяком. Подойдя к этой двери, он обнаружил, что она приоткрыта, — и тихонько толкнул ее от себя.

В комнате Трессор увидел желтоватый светящийся шар, свисающий с потолка. Плянул на стены, потом на юркие тени, снующие по углам и вдоль лепнины, украшавшей пол. Кажется, в комнате давненько не убирались, заключил он. А потом его взгляд натолкнулся на *нечто* у дальней стены... и это *нечто* заставило его отпрянуть назад, в коридор. То, что он мельком увидел, напоминало четыре странные фигуры — самая высокая почти в его рост, самая низкая где-то по пояс. Оказавшись в коридоре, Трессор осознал, что образы стали даже четче, как бы отпечатавшись в сознании. Теперь он чувствовал себя почти уверенным в их истинной природе, хотя, должен признаться, из его описаний я так ничего и не понял, пока не прозвучало ключевое слово «футляры».

Вернувшись в комнату, Трессор встал перед закрытыми футлярами, которые, по всей вероятности, принадлежали квартету музыкантов. Футляры выглядели жутко древними и были связаны между собой какой-то ветошью. Трессор потрогал связки, присел, прошелся пальцами по запятнаным латунным защелкам кофра — и замер, увидев, что на стену прямо перед ним падают тени вошедших следом людей.

— Зачем ты пришел сюда? — спросил кто-то измученным и недовольным голосом.



— Увидел, что свет горит,— ответил Трессор, не оборачиваясь, все еще разглядывая на корточках футляр для скрипки.

Почему-то звук его собственного голоса, резонирующий в пустой комнате, беспокоил его больше, чем голос гостя, хоть он и не понимал, почему так выходит. Он насчитал на стене четыре тени: три были высокими и отошальными, четвертая — несколько меньше, но зато с огромной, уродливо-бесформенной головой.

— Встань,— приказал все тот же голос.

Трессор повиновался.

— Обернись.

Не торопясь, Трессор выполнил и эту просьбу. Он с облегчением выдохнул, когда увидел, что перед ним — всего-навсего трое довольно обычных на вид мужчин и женщина с эксцентричной пышной прической. Среди мужчин затесался тот самый, вручивший Трессору приглашение на улице, но теперь он будто бы прибавил в росте.

— Вы дали мне листовку,— напомнил Трессор, как бы отсылая к их старому знакомству.

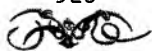
Голос его звучал все так же чужеродно, все так же странно в этой пустой комнате.

Мужчина обменялся взглядами со своими товарищами, как если бы считывал с их лиц какое-то тайное послание. Потом он сунул руку во внутренний карман пальто и извлек лист бумаги.

— Вы имеете в виду вот это? — спросил он у Трессора.

— Да, такую вот.

На лицах квартета как по команде расцвели теплые улыбки, и мужчина с улицы сказал:



— Ты немного ошибся. Поднимись этажом выше. Но не по главной лестнице. Есть еще одна, поменьше, в конце коридора. Придется поднапрячься, чтоб углядеть ее. У тебя глаза-то хорошие?

— Ну... да.

— Такие же хорошие, как на вид? — спросил кто-то из мужчин.

— Если вы про мое зрение — то да, оно у меня хорошее.

— Угу, именно это мы и имеем в виду, — произнесла женщина.

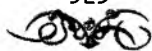
Квартет расступился, давая дорогу Трессору, — по двое с каждой стороны прохода. Он направился к выходу из комнаты.

— Там, наверху, кое-кто уже собрался, — сказал мужчина с улицы, едва Трессор встал у самой двери. — Скоро и мы поднимемся — будем выступать!

— Дело говорит... так и есть... угу, — подтвердили его слова остальные, прошествовав к футлярам с инструментами и начав сосредоточенно колдовать над ними.

Что-то не так с их голосами, подумал Трессор.
Не с моим — с их.

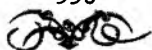
Как он позже объяснил мне, голоса музыкантов, в отличие от его собственного, не производили эха. Озадаченный этой причудой звука, Трессор пошел искать означенную лестницу. Та, как ему на первый взгляд показалось, ввинчивалась во что-то наподобие темного вертикального колодца. Опираясь на косые перила, закрученные спиралью, он достиг самого верхнего уровня старого здания. Здесь коридоры были гораздо уже



тех, что внизу, узкие проходы были освещены сферическими светильниками, свисавшими с кое-как приделанных крепежей и закутанными в шали из пыли. Дверей здесь тоже было поменьше — и каждая из них напоминала скорее узкий лаз в стене, который проще сыскать на ощупь, чем доверяясь глазам. Но зрение у Трессора взаправду отличалось отменной остротой — по крайней мере, если верить ему, — и вскоре он обнаружил вход в залу, где, как и уверяли его музыканты, уже собралась немногочисленная публика.

Могу себе вообразить, как же было нелегко Трессору сделать выбор — отдаться этому ночному приключению или вести себя осторожнее? Отсутствие сна порождает порой чувство опасной вседозволенности, но Трессор в известной степени все еще был привержен дневному образу мышления и мог пойти на компромисс. Он не стал входить в комнату. Люди внутри, как он мог видеть, рассаживались по случайно расставленным стульям, и все, что можно было различить, — силуэты голов в лунном свете, изливавшемся сквозь девственно чистые стекла полукруглых окон. Трессор же нашел себе прибежище в коридорной тени. Когда музыканты с инструментами наперевес поднялись и прошествовали в залитую луной залу, они не заметили его. Дверь затворилась за ними с еле слышным щелчком.

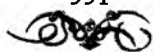
Несколько мгновений стояла тишина — столь абсолютная и чистая, что Трессору такой и не приходилось знать дотоле: тишина мира, лишённого жизни. Потом в тишине родился звук — но настолько незаметный, что Трессор не смог бы



наверняка сказать, когда закончилась тишина абсолютная и началась тишина разбавленная. Звук стал музыкой — неспешной музыкой в мягком полумраке, приглушенной закрытой дверью. Тоненький голосок одной-единственной ноты наращивал на себя обилие обертонов, и несколькими тактами позднее вторая нота произвела тот же эффект. Так они и поплыли одна за одной, расцветая в слегка разобщенную, но все же гармонию. Предшествовавшая им тишина, казалось, не могла вместить их все разом — и мелодия расширялась, вспенивалась, обретала объем. Вскоре не осталось места для тишины — или, быть может, музыка и тишина запутались друг в друге, как цвета, слившиеся в белизну. И порочный круг бессонных ночей Трессора, каждая из которых служила зеркалом той, что была до нее, и той, что за ней следовала, наконец-то распался.

...Когда Трессор проснулся, свет тихого серого рассвета заполнил узкий коридор. Он лежал, подогнув колени, у шелушащейся стены. Вспоминая о событиях прошлой ночи, он поднялся на ноги и пошел к двери в залу, все еще закрытой. Он приложил ухо к грубой древесине, но не услышал никаких звуков с другой стороны. Память о дивной сонате ожила ненадолго, но быстро канула в небытие. Как и раньше, музыка звучала приглушенно, не в полную силу, но сейчас он был слишком напуган, чтобы войти в залу, где она играла. И все-таки он вошел.

Его поразило то, что зрители все еще сидели на своих местах. На подмостках стояли четыре табу-



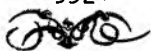
рета и четыре брошенных разномастных футляра. Самих музыкантов нигде не было видно.

Зрители были одеты в белые балахоны с капюшонами, сотканные из тонкого материала и напоминающие плотно обернутые вокруг тел саваны. Никто не шумел, не двигался — возможно, они все еще пребывали в плену глубокого сна, оковы которого только что стряхнул с себя Трессор. Но что-то было в этом собрании, вид которого наполнял душу Трессора неизъяснимым страхом, странное — они вроде бы пребывали в совершенно беспомощном состоянии и при том довольствовались своей гипнотической эйфорией. Когда его глаза пообвыклись с сероватым полумраком залы, одежда на парализованной публике стала все больше напоминать какие-то жесткие фиксирующие путы.

— Но это были не бинты и не марлевые халаты,— поделился со мной соображениями Трессор.— Это была паутина — толстые слои паутины. Я думал, она покрыла их с головой.

Но так Трессору казалось единственно из-за выбранной точки обзора. Ибо, шагая по дальнему краю страшной залы, полной мумий, и приближаясь к четырем пустым стульям в ее передней части, он увидел, что коконы не затрагивали лиц людей. Выражения этих лиц были до ужаса схожи — можно бы было назвать их умиротворенными, сохрани они цельность. Но у публики, как с содроганием открыл мне Трессор, больше не было глаз — к сцене были обращены ряды кровоточащих лунок. Пострадали все присутствующие... кроме одного.

В конце довольно-таки неряшливого ряда стульев в задней части залы один из зрителей ше-



вельнулся. Когда Трессор медленно приблизился к этой фигуре, руководствуясь смутным желанием помочь хоть кому-нибудь, он заметил, что веки слушателя были закрыты. Не медля, Трессор стал рвать сковавшую жертву паутину, бормоча какую-то утешительную и призванную подбодрить око-лесицу. Горе-слушатель вдруг распахнул глаза и сфокусировал взгляд на Трессоре.

— Вы один уцелели,— сказал Трессор, разрывая путы.

— Тсссс,— прошептал человек в паутине.— Я жду.

Трессор замер в замешательстве. Мерзкий материал пут лип к его пальцам, рождая на коже странные ощущения.

— Они могут вернуться! — воззвал он к благо-разумию человека в паутине, хоть и не до конца понимал сам, кого же следует подразумевать под словом «они».

— Они вернуться,— мягко, но в то же время возбужденно произнес человек.— Взойдет луна, и они вернуться вновь — исполнять свои прекрасные мелодии.

Напуганный этими загадочными словами, Трессор стал отступать прочь из залы. А из четырех полых футляров — он был готов ручаться — маленькие глазки неведомых существ следили за его паническим бегством из музыкальной залы, превратившейся за ночь в комнату ужасов.

Впоследствии Трессор еще не раз навещал меня по ночам, раз за разом рассказывая мне о лунных сонатах. Дошло до того, что мне начало казаться,



что я почти слышу их звуки; а уж его историю я мог рассказать стороннему слушателю как свою собственную. Вскоре все наши с ним разговоры свелись к неземной музыке, приглушенной закрытой дверью. Когда его стало все больше и больше волновать, каково это — слушать ее, как он выразился, *живьем*, мне стало ясно, что он позабыл о незавидной участи тех, что остались сидеть в зале. Музыка в его голове становилась все сильнее и сильнее и в конце концов стала перекрывать собственные мысли и побуждения. Наконец настала та ночь, когда Трессор так и не явился ко мне. Больше я его никогда не видел.

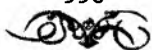
...В ночи, когда луна парит над крышами нашего города, распухшая и бледная, когда она взирает на нас сверху вниз из своей призрачной паутины облаков, я напроочь лишаюсь сна. Ибо как обрести покой под этим чарующим пристальным взглядом и как удержаться от желания пойти по стопам Трессора в одно из своих одиночных бессонных блужданий?

ДНЕВНИК З. А. КУЛИСЬЕ¹

Час был поздний, и мы выпивали. Мой друг — стихоплет, которого порой очень легко вывести из себя, — глянул на меня через стол и завел очередную скорбную песнь из тех, что мне доводилось в той или иной форме слышать уже не раз.

— Где взять такого писателя, — начал он, — что был бы чужд всяческим привычкам человека? Такого, что олицетворял бы все то, чем человек не является? — возведенное в идеал? Чья чуждаковость в самой темной своей поре питала бы сама себя, повышая градус отчуждения до высшей точки? Где тот писатель, что всю свою жизнь провел во

¹ В оригинале автора дневника зовут J. P. Dgrеаи. Dgrеаи с французского — знамя, флаг, но также и (такое значение употребительно и в английском) «кулиса», «занавес», «портьера». J. P. — скорее всего, принятое в английском сленговое сокращение jp (just playing, т. е. «я прикидываюсь»). В итоге получается что-то вроде «Я изображаю занавес». В русском языке наиболее удачным отображением авторской игры слов мне видится перевод инициалов и фамилии автора дневника как З. А. Кулисье (то есть разложенное слово «закулисье»).



сне, что начался в день его рождения, если не задолго до оного? Ведь есть же места на земле — такие, что, кажется, и для жизни не предназначены, одни лишь просевшие мосты, скользкие камни да деревянные колокольни, но ведь и там живут как-то люди — и что же, ни одного с талантом слова? Или, чтобы породить нужного мне гения, нужна еще более темная и безысходная среда — Брюгге, Фландрия, уединенные северные берега? Где тот писатель, что есть истинное дитя венецианских масок? Где тот, кто вырос и был воспитан в помраченных проулках, у застойных водоканалов? Тот, кого окружающие сны вдохновили в той же мере, что и свои собственные? Где писатель, чьи запутанные видения суть достояние наисекретнейших дневников? И где же эти дневники — записи самого ненужного человека из всех, что когда-либо жили, исполненные безумия и великолепия?

— Нет такого писателя, — уверенно ответил я, — но зато есть Кулисье. Он более всего подходит твоим, если можно так выразиться, извращенным запросам — никто другой на ум не идет. Всю свою жизнь он провел в Брюгге. Вел дневник. И...

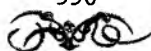
Но мой друг не стал слушать дальше — только лишь процедил сквозь зубы:

— Кулисье! Опять этот Кулисье!

Выдержки из дневника

31 апреля 189? года

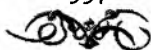
Я подметил, что некоторые переживания вплетаются в наши жизни еле уловимыми лейт-



мотивами, и мы всячески избегаем их, так как суть их далека от обывательского понятия нормы. С детства, к примеру, не было в моей жизни такого дня, в который не звучала бы музыка кладбищ. Она — везде, куда бы я не шел: резонансный хор заполняет все вокруг и порой тонет в голосах тех, кто все еще жив. И все же, насколько мне известно, поныне ни одна живая душа не упоминала об этом повсеместном пении, что находит отголоски даже в течении нашей крови. Так что же получается, в нашем иерархическом обществе циркуляция знаний столь слаба, что глухая тайна остается таковою навсегда? Ни за что не поверю!

24 декабря 189? года

Два миниатюрных трупа, мужской и женский, снуют вокруг огромного шкафа, что стоит в моей спальне. Они мертвы, но все еще достаточно быстры, чтобы прятаться всякий раз, когда мне нужно заглянуть в шкаф и достать что-то. Там у меня — настоящий склад, все разложено по ящикам и корзинам. Из-за этих нагромождений даже пола и стен не видно, и, только поднимая фонарь над головой, я могу различить вуали паутины, свисающие с потолка. Стоит мне закрыть дверь шкафа, его два миниатюрных жителя возобновят свою активность. Голоса их столь тихи и писклявы, что на протяжении дня я их едва ли замечаю... но порой ночью я просыпаюсь от их неумолчной болтовни.



31 мая 189? года}

Проворочавшись в кровати большую часть ночи, я вышел на прогулку. Почти сразу же стал свидетелем грустной сцены — от дома, чуть поодаль от меня стоящего, двое мужчин крепкого телосложения волокли какого-то истерически смеющегося старца. Неподалеку их ждал экипаж. Похоже, бедолагу собирались свезти в приют для умалишенных. Беспокойное трио прошло по улице, и наши со старцем взгляды встретились. Внезапно его смех стих. Он мощнейшим рывком высвободился из захвата сопровождающих и помчался прямо на меня.

— Никогда! — лихорадочно выкрикнул он, в его голос пробивались рыдания. — Никогда не говори ни слова о том, что знаешь.

— Но я просто обычный человек, — заверил я его, глядя, как со спины на него наступает его грузный эскорт.

— Поклянись! — потребовал он. — Или когда-нибудь они заполучат нас всех.

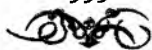
Однако мгновения спустя старец вновь был схвачен. Пока его волокли прочь от меня, он хохотал на свой старый лад, и ранним утром звук его смеха затерялся в перезвоне церковных колоколов. Я решил прислушаться к предостережениям старца и чаще прибегать к иносказаниям при описании моих перцептивных наблюдений. Или даже вовсе не заносить их на эти страницы — вдруг случится так, что мои записи будут обнаружены еще при жизни.



1 августа 1897 года

В детстве у меня выработались довольно-таки странные убеждения. Например, я верил, что ночью, пока я сплю, демоны отрывают части моего тела и играют с ними — прячут куда-нибудь мои руки и ноги, катают голову по полу. Конечно, в школьные годы я отказался от сего забавного предрассудка, но только вечность спустя мне открылась правда о его корнях. Усвоив множество сведений из множества источников, я дал им время улечься в своей голове и приготовился к опыту. Все произошло однажды ночью, когда я пересекал мост, протянутый над узким каналом в части города, достаточно удаленной от места моего собственного проживания.

Приостановившись на миг — такие остановки служили мне своеобразным ритуалом при пересечении подобных мостов, — я устремил взгляд не в темные воды канала, как делал обычно, а вверх, в ночное небо. Всему виной звезды, понял я. Некоторым из них были обещаны определенные части моего тела. В самые темные часы ночи, когда человек необычайно чувствителен к подобным вещам, я мог — и все еще могу, пусть и едва-едва, — ощутить силу этих звезд с их чудовищным притяжением. Они жаждали застать момент моей смерти и растащить меня на части — ведь я, как они свято верили, принадлежал им по праву. Конечно, будучи ребенком, я попросту неправильно интерпретировал угрозу. Как зачастую открывается мне, всякое суеверие основывается на чем-то весьма реальном.



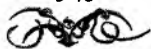
9 октября 189? года

Прошлой ночью я побывал в одном из здешних балаганчиков. Постоял в задних рядах. На подмостках стоял кудесник. Его блестящие черные волосы были рассечены точно по центру пробормом, и он был при всех иллюзионистских регалиях: длинный продольный ящик слева, в звездах и планетах, высокий шкафчик справа, отделанный в восточном духе, низенький столик, покрытый красным бархатным полотном и усыпанный всякой всячиной. Зрители — солидная такая толпа — приветствовали каждый фокус ликованием. В разгар представления кудесник разделил ящик, в который уложил ассистентку, на несколько отдельных секций и принялся катать их по сцене — отделенные ноги и руки продолжали шевелиться, голова без тела неестественно громко смеялась. Публика неистовствовала в ответ.

— Ну разве не потрясающе? — воскликнул мужчина рядом со мной.

— Раз вам так угодно... — протянул я и зашагал к выходу.

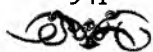
Я понимал, что подобные трюки лишь распаляют мое неприятие мира, который аплодирует сфабрикованным чудесам и всячески отрицает и принижает те, что слагают саму его суть. Реальное чудо не удостоится внимания толпы, не говоря уже о какой-либо благосклонности. Человек толпы скорее ляжет в опутанный цепями гроб и позволит какому-нибудь ловкачу бросить себя в глубочайший омут. Увы, я тоже предпочел бы такой путь.



1 ноября 1897 года

С самых первых дней человечества существовали такие люди (хотя, по существу, речь идет почти о каждом из нас), что высказывали предположения о том, что за образами привычного мира вполне может скрываться что-то, нашему глазу попросту недоступное. Если следовать их логике, дерево вполне могло оказаться рукой какого-нибудь гигантского существа, а дверь в дом могла открыться в какое-нибудь совершенно иное обиталище, в дом другого мира. Пройдя по укутанной загадочным туманом улочке в одном мире, утверждали они, вы вполне могли, свернув за угол, оказаться в мире совсем другом.

Но есть ли на самом деле какие-то другие, затмевающие наш, миры? Кто скажет наверняка — да и почему нас должно волновать? С той же уверенностью можно заявить, что тайна недоступных нашим чувствам миров паразитирует на одной-единственной *абсолютной* загадке — загадке нашего существования. И нет ничего несуразного в утверждении, что из собственного неведения мы извлекаем определенную пользу. Свято верующие в то, что нашими жизнями управляют незримые силы, такому заявлению точно не удивятся. Сдается мне, что лучшая метафора для сотворенной мультивселенной — захламленная комната с кучей вещей непонятного назначения (взять на себя смелость проверить столь сильное заявление я, увы, по понятным причинам, не могу). Но почему же такой законченный образ ирреального, его места в наших жизнях, столь претит нашим духовным запросам?

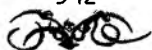


1 января 189? года

Абсолютная правда существует. Вот только — не знаю, к добру ли, к худу, — выразить ее средствами этого мира не получится. Сей факт достаточно странен, ведь как внешние, так и внутренние проявления жизни наталкивают на эту самую правду и, как в какой-нибудь игре или шараде, пытаются выразить тайное через явное. Глаза некоторых грубо сработанных кукол наводят меня на размышления об абсолютной правде. Когда я слышу чей-то смех в отдалении, я тоже думаю о ней. Бывают такие редкостные моменты, когда мне кажется — еще чуть-чуть, и я смогу выложить все как есть в своем дневнике. Небрежно, походя записать истину истин — просто как еще одно свое откровение. Много места ведь не потребуется, уверен — пара-тройка предложений, не больше. Но всякий раз, когда я чувствую, как эти предложения формируются у меня в голове, страница дневника отторгает мое перо. Подобное фиаско вгоняет меня в тоску и заражает головной болью, длящейся по нескольку дней. В такие периоды мир за окнами становится особо странным, совсем уж фантастическим — даже если пройдет неделя, я все равно могу проснуться среди ночи и обнаружить, что полумрак, царящий в моей комнате, буквально *трепещет* от крика, взывающего ко мне из ниоткуда.

30 марта 190? года

Что-то засмотрелся я на свое отражение. Зеркалу, висящему в моей комнате, лет, как мне кажется,



ся, больше, чем мне самому. Неудивительно, что с ним начались такие проблемы. До определенного момента жаловаться было не на что — в нем отражался только я, мои глаза, мой нос, мой рот, ничего сверх. Но потом я окреп в убеждении, что не я смотрю отражению в глаза, а оно внимательно в меня вглядывается. Да и губы будто вот-вот сами задвигаются, говоря о чем-то, о чем я не имею ни малейшего представления. В конце концов я понял, что за моим лицом прячется совершенно незнакомое мне существо, чужак. Мне стоило немалых усилий убедить себя в том, что я вижу то, что должен видеть.

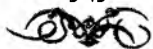
Позже, едва выйдя на улицу, я застыл. Впереди меня, под фонарем, висящим на старой стене, стояла фигура, чей рост и пропорции напоминали мои собственные.

Он смотрел не на меня, но был весь напряжен, будто с нетерпением выжидал момент, когда можно будет развернуться всем телом и уставиться туда, где стоял я. И если бы это произошло — уверен, я бы увидел собственное лицо. Те же глаза, нос, рот... но за знакомыми чертами — страшная безымянная тварь. Я поспешил вернуться домой и лечь спать.

Но заснуть у меня не вышло. Всю ночь напролет зеркало победно исторгало сияние болотно-зеленого цвета.

Без даты

Я только что закончил читать книгу, в которой описан старый город, весь пронизанный тихими



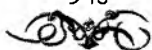
извилистыми каналами. Закрыв ее, я подошел к окну. За ним был старый город — если Средневековые можно было счесть «старым», — весь изобретенный тихими и извилистыми каналами. Город, описанный в книге, часто кутался в туманы. И город за окном тоже был им подвержен. В городе из книги были тесные разваливающиеся дома, странные арочные мосты, бесчисленные церковные башни и узкие извилистые улицы, что заканчиваются в странных маленьких двориках. Все то же самое можно было сказать и про город за окном. Неумолчные пустотелые колокола из книги, напоминающие о приходе каждого светлого утра и каждого темного вечера, — такие же, как и в моем очаровательном маленьком городке. Таким образом я легко могу перенестись из одного города в другой, создавая приятную путаницу.

О, мой город из книги, какая удача, что мне довелось побывать персонажем нескольких коротких глав в твоей роскошной истории упадка! Я проник в самые тайные твои закоулки — они столь же темны, сколь и воды твоих каналов. Мой город, моя книга, моя жизнь — как же долго мы продержались! Но, похоже, придется расплатиться за долгий постой — каждому из нас придет черед исчезнуть. Каждый твой кирпич, каждая моя кость, каждое слово в нашей книге... все исчезнет навеки. Кроме, пожалуй, перезвона колоколов, что наполняет пустоту тумана, разлившегося в вечных сумерках.

ВАСТАРИЕН

В темноте его сна загорелось несколько огней — будто свечи в закрытой камере. Свет их был неустойчив и слаб, источник его — неочевиден. Тем не менее тени отступили, являя множество сокрытых в них форм. Показались высокие здания с клонящимися к земле крышами, широкие дома, чьи фасады шли волнами, повторяя очертания улиц, темные постройки, чьи окна и двери болтались неаккуратно повешенными картинами. И пусть себя самого он в пейзаже не находил, он уже знал, куда завела его тенистая аллея сна.

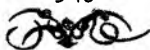
Даже когда искаженные структуры стали множиться перед ним, загромождая утерянный горизонт, он продолжит испытывать это чувство — чувство близости с *каждой* частицей пейзажа, особое знание здешних внутренних пространств и улиц, что сворачивались змеиными кольцами вокруг домов. И здешний подземный, фундаментальный, мир был ему ведом, где, казалось, обрела приют невыразимая жизнь, расцвела цивилизация блуждающего эха и стенающих от тяжести стен. Тем не менее после более тщательного знакомства с пей-



зажем открывались слепые пятна — лестницы, никуда не ведущие, забранные решетками лифты, одаряющие пассажиров неожиданными остановками, тонкие штуртрапы, восходящие в лабиринт шахт, труб, вентилях и иных артерий окаменевшего чудовищного организма.

Ему было также ведомо, что каждый уголок этого разрушенного мира предоставляет ему выбор — пусть даже и такой, который приходилось делать вслепую, в месте, где ни одно последствие четко не обрисовано, где нет очевидной иерархии возможностей. К примеру, перед ним открываются двери комнаты, чей декор так и лучится запустелым спокойствием, что поначалу даже привлекает, а потом его зрение различает в мягких креслах бездвижные и беззвучные фигуры, чья единственная привилегия — смотреть. Поняв, что эти усталые манекены и являются тем самым источником атмосферы неземного покоя, всякий посетитель неминуемо задумается над выбором: остаться здесь или уйти?

С трудом оторвавшись от замкнутого очарования подобных комнат, взгляд его заскользил по улицам явившегося во сне города. Он всматривался в небо поверх остроконечных крыш: там звезды мерцали подобно горячей еще золе на каминных трубах и льнули к чему-то темному и густому, довлеющему над ними, скрадывающему чернильный горизонт по всем сторонам света. Ему почудилось, что иные башни из числа самых высоких стремятся пронзить шпильями проседающую черноту, вытягиваясь в ночь, как бы алкая во что бы то ни стало оторваться от распростерше-

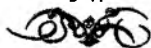


гося внизу мира. Там, на вершине одной из них, вытанцовывали в светлом окне смутные силуэты. Они метались из угла в угол, вжимались в оконное стекло — вырезанные из мрака марионетки, охваченные неким безумным спором.

Сквозь лабиринты улиц несло его видение — неспешно, скользя, словно бы в угоду ленному сквозняку. Затемненные окна отражали лучи причудливых уличных фонарей, а освещенные окна, уподобившись телеэкранам, транслировали странные сцены, исчезающие из виду задолго до того, как их тайный смысл доходил до странствующего сновидца. Минуя все более удаленные пути, он парил над запущенными садами и кривыми калитками, дрейфовал вдоль частокола гниющих пальм, машущих ему длинными листьями, проплывал под мостами, нависшими над беспокойными темными водами.

На углу одной из улиц, где царила необычайная тишь и благодать, он углядел пару фигур, застывших в хрустальном свете яркого фонаря, возвышающегося над стеной из резного камня. Фигуры отбрасывали тени — два столпа абсолютной черноты на освещенном тротуаре: лица им заменяли потускневшие маски коварства и хитроумия. Эти двое, казалось, жили своей жизнью, ничего не ведая о спящем наблюдателе, что желал жить в соседстве с их призрачной сутью, знать их мечты и вечно пребывать в этом месте, ничем не обязанном материальному существованию.

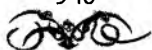
Ни за что он не покинет этот город странных чудес. Никогда.



Виктор Кирион проснулся от судороги, сведшей руки и ноги, будто вынырнул из холодного и глубокого омута. Он прикрыл глаза на мгновение, в тщетной надежде задержать в голове эйфорическое настроение сна, потом пару раз моргнул. Сквозь маленькое окошко проходил лунный свет, озаряя его вытянутые руки и вцепившиеся в простыни и матрас пальцы. Ослабив захват, он перекатился на спину, нащупал цепочку лампы и потянул на себя. Небольшая, практически без мебели комнатка появилась из тени.

Рывком поднявшись, Виктор пошел к металлической тумбочке. Свет пока еще скорее слепил, чем способствовал ясному видению, и он провел рукой по бледно-серой обложке книги, ощупывая оттиснутые на обложке буквы — те, что еще сохранились: В, С, Т, Н. И вдруг он отдернул руку, так и не дотронувшись до книги, ибо волшебное опьянение увиденным во сне сошло на нет, и ему стало страшно, что невозможно будет возродить его снова.

Откинув грубый ком покрывал, он уселся на кровать, вжав пятки в холодный пол, а локти уперев повыше колен. Волосы и глаза у него были блеклые, цвет лица — определенно нездоровый: цвет туч в пасмурную погоду, цвет долго длящегося воздержания. С единственным окном в комнате его разделяли считанные шаги, но он старался не приближаться к нему, даже не глядеть в его сторону. Он точно знал, что увидит за ним в этот ночной час: высокие здания, широкие дома, темные

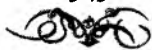


постройки, россыпь звезд и огней и летаргическое движение людей по улицам вниз.

Во многих отношениях город за окном был подобием того другого места, которое теперь казалось непостижимо далеким и недоступным. Но сходство было видно только его внутреннему взору — когда он вспоминал созданные собственным воображением образы, чуть смежив веки или расфокусировав взгляд. Трудно было представить себе существо, для коего этот мир — его голая форма, видимая широко раскрытыми глазами, — являл собой желанный рай.

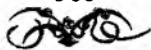
Встав у окна и спрятав руки глубоко в карманы хлопчатобумажного халата, он отметил, что чего-то в пейзаже не хватает, — некоего важного свойства, отсутствовавшего у звезд наверху и улиц внизу, некоего внешнего фактора, необходимого для спасения тех и других. В этом месте и в этот час он понял, что это за недостающее парадоксальное звено: то была частица нереальности или, возможно, реальности, настолько насыщенной собственным бытием, что она переродилась в нереальность.

Ибо Виктор Кирион принадлежал к тому несчастливому меньшинству, что полагает единственной ценностью этого мира его случайную и редко проявляющуюся способность намекать на существование других миров. Тем не менее наблюдаемый им сейчас с высоты окна город был лишь дрожащим в воздухе призраком места, пришедшего к нему во сне, жалкой искусственной пародией неповторимого сновидческого оригинала. И хотя порой этой пародии удавалось его обмануть, ког-



да дар маскировки торжествовал над истиной; это не длилось долго: ведь ничто не могло бросить вызов изобилию чудес Вастариена, где всякая форма подразумевала тысячу других форм, каждый звук отдавался вечным эхом, каждое слово основывалось на мире. Никакой ужас и никакая радость не шли в сравнение с глубочайшей силой восприятия той дальней реальности, в которой всякий опыт и всякое чувство сплетались в фантастическую паутину, давая начало тонкому и темному узору переживаний. Ибо в нереальности ничто не имеет конца, а Вастариен был нереален во всех своих проявлениях, нереален и безграничен, ибо какая дверь в каком другом мире способна открываться в такое море возможностей, плещущееся за порогом каждой комнаты той манящей нереальности?

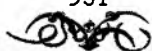
И тогда, щурясь в далекий пейзаж, он припомнил ту самую дверь — совершенно непритязательную и даже не будоражащую любопытство: один лишь прямоугольник темного стекла в прямоугольнике светлого дерева, встроенный в кирпичную стену под лестницей, что сбегает вниз от обветшалой улицы. Дверь было легко открыть — она была лишь формальным барьером между лавкой-погребом и внешним миром. За ней сокрылась просторная комната круглой формы, похожая скорее на отельный вестибюль, чем на книжный магазин. Комната была вся заставлена под завязку набитыми стеллажами, отдельные секции которых были соединены друг с другом, формируя одиннадцатиугольник с длинным придатком-столом. За столом просматривались еще стеллажи, значительная часть которых тонула в



тени. В самой удаленной от этой части магазина Виктор Кирион и начал свой обход — ряды старых корешков, похожих на пережитки обильного осеннего листопада, манили его за собой.

Вскоре тем не менее ожидания его оказались обманутыми, а очарование «Библиотеки Гримуаров» — полностью развеянным, ибо под завлекательным названием, как всегда, не сыскалось ничего, кроме очередной порции шарлатанства. За такое разочарование Виктору оставалось винить лишь себя. Он был сам виноват в собственных завышенных ожиданиях. По правде говоря, у него и оснований-то не было полагать, что существует какое-то высшее, отличное от уже обнаруженного знание. Другие миры, отраженные в книгах, служили всего-навсего бесплатными приложениями к их сюжетам — они только выдавали себя за ту подлинную нереальность, которую Виктор искал; он нащупывал дорогу, но натыкался лишь на путеводители в бесполезные места. Райские кущи, адские гроты — все они были лишь временным отвлечением от реальности, отрадой неприкаянных душ. Он же мечтал найти запретный том, не проповедующий что-то земное, но воспевавший тень как отсутствие света и тщательное разрушение как путь к созиданию: том, который утверждал бы новый абсолютизм — *тщательно деконструируй реальность и населяй ее руины*.

Однако надежды его оставались тщетными, хотя, вне сомнения, должна была существовать некая книга, открывающая путь к его мечте, к его видениям, некая безумная библия, обличающая ложь всех прочих учений, — Писание, что начина-

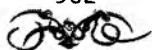


лось бы с предвестий апокалипсиса и оканчивалось гибелью богов.

Порой он, конечно, набредал на кое-какие отрывки из книг, что подводили к этому идеалу, намекая читателю, — почти предупреждая его! — что страницы перед его глазами вот-вот предложат вид из бездны и прольют колеблющийся свет на все его галлюцинации, дадут ему шанс *стать ветром мертвой зимы и яриться от всего, что в тепле и свете ютится*. Но вскоре все эти многообещающие рифмы сменялись невнятным бубнением — перед миром привычных вещей будто извинялись за покушение на святое, и дискурс переходил в область беспочвенных и избитых до невозможности амбиций. Заходила речь о мечте достижения какого-то абсолютного незапятнанного блага, а мистическое знание выставлялось простой ломовой лошадью, прокладывающей борону к этой мечте.

Видение катастрофического просветления поминалось походя, а затем отбрасывалось в сторону. Сухой остаток являл собой метафизику столь же систематически тривиальную и опрометчивую, сколь и мир, который она намеревалась победить, указывая путь к какому-то гипотетическому состоянию чистой славы. Но никто из авторов этих руководств не понимал, что отбрасываемое и было откровением.

Тем не менее книга, содержавшая хотя бы прилизительный намек на искомый абсолют, могла бы послужить его целям. Обращая внимание книгопродавцов на отдельные выдержки из таких книг, Виктор Кирион обычно говорил:



— Меня интересует вот этот предмет... точнее, область изысканий... Ну, вы понимаете, какая... и вот мне любопытно, не могли бы вы порекомендовать мне некие другие источники, в которых я мог бы почерпнуть...

Иногда его направляли к другому книжному продавцу или к владельцу частной коллекции. Иногда случалось, что он был нелепейшим образом неправильно понят — и тогда оказывался на грани принятия в общество, посвященное простому дьяволопоклонничеству.

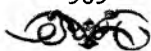
Книжный магазинчик, который он сейчас обыскивал, представлял собой лишь незначительное отклонение от типажа, который столько раз очаровывал и разочаровывал его. Но он уже знал, что следует действовать с осторожностью и беречь свое драгоценное время. Если эта лавка что-то скрывала, то явно не среди книг, только что осмотренных им.

— Вы видели хозяина? — спросил кто-то, стоявший совсем рядом, и Виктор вздрогнул от неожиданности.

Он обратился на звук голоса. Незнакомец был маленького роста и носил черное пальто, волосы у него были черные и свободно падали на лоб. Помимо внешности, во всей его манере держаться просматривалось что-то, отчетливо напоминающее ворона, или даже стервятника в ожидании добычи.

— Покинул-таки свою келью? — спросил человек-ворон, кивнув в сторону стола.

— Простите, но я никого не видел, — ответил Кирион. — Я и вас-то только заметил.



— Ступаю как мышь — поди меня заслышь. Видите эти ножки-крошки? — И мужчина указал на до блеска отполированную пару черных туфель.

Не думая, Кирион посмотрел вниз; затем, чувствуя себя обманутым, снова взглянул на улыбающегося незнакомца.

— Вы, сдается мне, заскучили,— сказал человек-ворон.

— Простите?..

— Это вы меня простите. Больше вас не потребую.

Низенький мужчина затопал прочь — плащ парой крыльев схлопнулся у него за спиной. Дойдя до дальних полок, он углубился в изучение сваленных на них томов.

— Я вас здесь первый раз вижу,— вдруг сказал он громко, через весь зал.

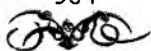
— Я здесь раньше и не бывал,— ответил Кирион.

— А вот это читали? — спросил мужчина, сняв с полки книгу в черной обложке, без меток и названия.

— Не читал,— ответил Кирион, даже не взглянув на находку человека-ворона.

Показывая свое равнодушие и нежелание болтать, он надеялся избавиться от этого маленького чужака, подспудно внушавшего ему некое беспокойство.

— Вы, похоже, ищите какую-то диковину,— заключил мужчина, как ни в чем не бывало втиснув книгу на место.— И уж я-то вас понимаю. Знаю, каково это — хотеть то, чего нигде уж нет. Не приходилось ли вам слышать о книге, особенной та-



кой книге, которая и не... словом, которая не есть книга о чем-то, а сама и есть это что-то?

Эти слова неприятного незнакомца вдруг заинтереговали Кириона.

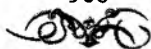
— Звучит интересно,— начал было он, но мужчина-ворон вдруг громко каркнул:

— Вот он! Явился! Извините, покину вас.

Хозяином оказался гладковыбритый лысый джентльмен, двигавшийся с нетипичной для столь тучных людей грацией. Он пожал руку человеку-ворону, и вместе они пошли что-то обсуждать вполголоса. Их речь была слишком тихой, чтобы Виктор мог различить хоть слово, а потом хозяин, этот гробовщик книжного дела, и вовсе повел гостя прочь, в темноту по ту сторону стола. В дальнем конце черного коридора вдруг ярко очертился освещенный прямоугольник — это отворилась дверь, приняв в себя массивную тень о двух головах.

Оставшись наедине с собой среди никчемных нагромождений никчемных книг, Виктор почувствовал себя брошенным и никому не нужным. Ожидание вдруг стало оскорбительным, а желание пройти следом за лавочником и гостем — нестерпимым. Поддавшись ему, Виктор осторожно ступил на порог тайной комнаты и огляделся.

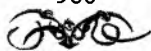
Комната была тесна, и в ней стояло несколько стеллажей, образовывавших как бы комнату в комнате с четырьмя узкими и длинными проходами. С порога он прекрасно видел, как можно проникнуть в это убежище, однако изнутри доносился громкий шепот. Тихо ступая, он принял-



ся обходить комнату по периметру, инспектируя взглядом изобилие странных книг.

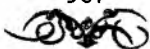
Виктору сразу стало ясно — он попал в цель. Книги здесь были ключами к его долгому поиску, многообещающими и подстегивающими воображение. Что-то было написано на иностранных языках, ему незнакомых, что-то — языком шифрования, основанным на знаках привычных и знакомых. Попадались и такие тома, что содержали в себе плоды полностью искусственной криптографии; но в каждой из книг Виктор находил не прямое указание, некое значимое или косвенно намекающее отличие от ранее увиденного: непривычный шрифт, страницы и переплеты из неведомого материала, абстрактные диаграммы, не соотносимые ни с одним из привычных ритуалов или оккультных систем. Еще большее удивление и предвкушение вызывали некоторые иллюстрации — таинственные рисунки и гравюры, на которых были запечатлены существа и сюжеты, совершенно ему незнакомые и чуждые. Фолианты с названиями, вроде «Цинотоглис» или «Ноктуарий Тайна», содержали настолько причудливые схемы, настолько непохожие на все известные тексты и трактаты по эзотерике, что Виктор понял: он на верном пути.

Шепот стал громче, хотя слов по-прежнему было не разобрать. Виктор обошел угол огороженной стеллажами внутренней комнатки и с замиранием сердца обнаружил проход между книжными полками. Его привлекла на первый взгляд неприметная книжица в сероватом перелете, косо стоявшая в широкой щели между двумя увесистыми



томами во внушительно выглядевших обложках. Книга стояла на самой верхней полке, и, чтобы достать ее, ему пришлось подняться на цыпочки. Пытаясь не выдать своего присутствия звуком, он все же наконец сумел поддеть книгу указательным и большим пальцами, крайне аккуратно выдвинуть ее с полки и расслабиться до своего обычного состояния. Хрупкие от времени страницы запорхали в его пальцах.

Перед его глазами разворачивалась хроника странных сновидений. Однако, вчитываясь, он погружался не в повествование о странных снах, а непосредственно в эти сны. Язык книги казался диким и неестественным, имя автора нигде не упоминалось. Казалось, текст в нем и не нуждается, говоря сам за себя и исключительно с собой: слова изливались подобно потоку теней, которые некому и нечему отбрасывать в мире людей. Несмотря на эзотерическую иносказательность, текст оказывался странным образом внятен — и в душе читающего описанный мир пускал глубокие корни, создавая внутреннее восприятие явления, которому буквы, оттиснутые на обложке книги, давали имя. Водя пальцем правой руки по выбоинам этих букв, Виктор Кирион не мог не почувствовать их *физику*. Интуиция сама восполнила созданные стариной пропуски: *Вастариен*. Могла ли эта книга быть своего рода призывом к миру в стадии зарождения? И был ли это вообще мир — или, скорее, иррациональная суть мира, лишённого всех естественных проявлений в результате безумного алхимического преобразования? Каждый прочитанный абзац являл его разуму образы



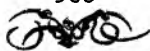
и сюжеты столь необычайные, притягивающие и отталкивающие одновременно, что его собственное чувство нормального грозило сойти на нет в ходе чтения. Похоже, в том мире властвовала ничем не стесненная причудливость, а несовершенство превратилось в источник чудесного — перед его глазами проходили, один за другим, удивительные примеры нарушения правил физики и метафизики. Страницы книги дышали ужасом — но то был ужас, не омраченный чувством потери или тоски по прежним радостям или несбывшимся надеждам на спасение. Нет, то был ужас, говоривший об искуплении через вечное проклятие. И если считать Вастариен кошмаром — то был воистину кошмар, но преображенный в корне совершеннейшим отсутствием спасения от него: кошмар, ставший обыденным.

— Прошу прощения, не заметил, что вы пришли,— сказал хозяин магазина высоким тонким голосом. Он только что вышел из внутренней комнатки и застыл, скрестив руки на широкой груди.— Пожалуйста, ничего здесь не трогайте. И книгу тоже отдайте.— Он вытянул руку, но потом опустил ее, взглянув Виктору в глаза.

— Я хочу купить ее,— произнес Кирион.— Если...

— Если цена будет разумной? — закончил за него торговец.— Вы, наверное, сами не до конца понимаете, какая ценность у вас в руках. А стоимость... — Он вытащил из кармана пиджака блокнот, тщательно вывел что-то на чистой странице, оторвал ее и протянул Виктору.

Карандаш сразу канул в карман, заявляя о невозможности всякого торга.



— Может, мы договоримся? — запротестовал Кирион.

— Боюсь, что нет, — ответил торговец. — Книга, которую вы держите в руках — как и почти все, что здесь представлены, — уникальна, единственный экземпляр, и...

На плечо торговцу легла рука, лишая его голоса. Вороноподобный мужчина вышел в проход, глянул на обсуждаемый товар и спросил:

— Не находите ли вы эту книгу несколько... сложной?

— Сложной, — эхом повторил Кирион. — Не знаю, если вы имеете в виду, что она написана странным языком, я, конечно, соглашусь, но...

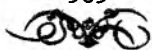
— Нет, — покачал головой торговец, — это совсем не то, что он имел в виду.

— Прошу прощения, мы на минутку, — сказал мужчина-ворон.

И они снова удалились во внутреннюю комнату и шептались там некоторое время. Затем хозяин лавки вернулся и объявил, что случилось досадное недоразумение. Книга, конечно, представляет собой весьма любопытный экземпляр, однако же ее цена намного ниже только что заявленной. Пересмотренная стоимость книги была достаточно высока, однако вполне Виктору по средствам — и он расплатился сразу, без отлагательств.

* * *

Так началось увлечение Виктора Кириона определенной книгой... и определенным миром внутри этой книги. Проводить черту между ними, впро-



чем, было ошибочно — книга не просто описывала мир, она *содержала* его.

Каждый день он погружался в гипнотическую реальность фолианта. Вечера напролет он изучал фантастический рельеф, сокрытый старыми страницами. Нереальное в книге достигло высшей точки — или, напротив, коснулось самого дна, образовав парадиз истощения, смятения и запутанности, где реальность заканчивается и жизнь продолжается на ее руинах. Вскоре он понял, что всячески желает вернуться в книжную лавку о двенадцати углах и расспросить толстого торговца о книге, узнать правду о том, как она оказалась на его полке.

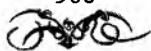
Придя к магазину одним серым вечером, Виктор Кирион, к удивлению своему, застал дверь запертой. Ручка не поддавалась ни на йоту. В помещении, впрочем, горел свет. Достав из кармана монетку, он принялся стучать ее ребром по стеклу. Наконец кто-то вышел из темных недр лавки.

— Закрыто! — раздался голос книготорговца из-за стекла.

— Но... — возразил Кирион, указывая на наручные часы.

— И все же! — почти крикнул толстяк. Впрочем, увидев, что Виктор уходить не намерен, он открыл дверь и высунулся наружу: — Чем я могу вам помочь? Сейчас закрыто, но если вы приедете в другой раз...

— Я хотел спросить вас кое о чем. Помните ту редкую книгу, которую я купил у вас несколько дней назад?



— Да, помню,— ответил торговец, будто бы вполне готовый к вопросу.— Я остался под большим впечатлением. Как и мой тогдашний... гость.

— Впечатлением? — не вполне понимая, переспросил Кирион.

— Мы оба были просто ошарашены,— кивнул торговец.— Он сказал мне тогда, что книга наконец-то обрела хозяина. Я согласился. А что мне еще оставалось?

— Простите, о чем вы?

Хозяин магазина растерянно сморгнул и смолчал. Несколько мгновений спустя он все же пустился в неохотное объяснение:

— А я-то думал, вы все уже поняли. Он не связывался с вами — мужчина, который был здесь в тот день?

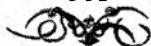
— Нет. Зачем ему?..

Торговец снова моргнул.

— Ладно, не стойте там,— выдал он вдруг.— Холодает. Проходите.

Когда Виктор ступил под своды магазина, хозяин высунул наружу голову и осмотрел лестницу, по которой спустился посетитель, и улицу — до того предела, куда доставал взгляд. Закрыв после дверь, он потянул Виктора в сторону и шепотом заговорил:

— Есть только одна вещь, о которой я хотел бы вам рассказать. В тот день я не ошибся с ценой книги — сказал вам как есть. Именно ее и заплатил тот человек — за малым вычетом той суммы, что внесли вы. Я никого не обманул... уж точно не его. Он был бы рад заплатить и больше за то,



чтобы эта книга попала вам в руки. Я не совсем уверен в его мотивах... но вы-то, я думал, должны были знать.

— Но почему он просто не взял ее себе? — удивился Кирион.

Лицо торговца приобрело растерянное выражение:

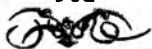
— Ему она не нужна. Возможно, было бы лучше, если бы вы не выдали себя, когда он задал вам вопрос о ней. Он понял, как много вы знаете.

— Но я ничего не знаю сверх того, что вычитал в самой книге. Я пришел сюда, чтобы узнать, как она к вам попала.

— Как попала? Это вы мне лучше расскажите. Я даже не знал, что такая у меня есть. Я оценил ее с ходу, прямо из ваших рук. Не поймите неправильно — я ни о чем вас не прошу. Я уже нарушил всякую этику моей профессии. Но случай исключительный. Даже странный... если вы взаправду уже читали эту книгу.

Виктор почувствовал, что окончательно запутался в этих недомолвках. Скорее всего, все это мистификация. Или даже прямой обман. Поэтому, когда букинист приоткрыл дверь и распрощался, он покинул магазин без сожалений.

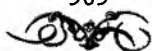
Но вскоре он узнал, почему книготорговец был так впечатлен им и почему похожий на ворона незнакомец был столь щедр. Даритель книги был слеп к ее тайнам и спустя некоторое время пришел к выводу, что единственный путь к овладению ими — выкрасть их из головы того, кто поймет написанное, из головы *правомочного читателя*. Виктору наконец стала ясна подоплека происхо-



дящего с ним, истинный смысл странных ночных мытарств.

Однако правда не появилась перед ним сразу же четкой картиной. Мгла, отступая, обнажала черты Вастариена несколько ночей кряду. Безымянные и безграничные территории обретали четкость и объем. Угловатые монументы нависали над головой, вырастая на глазах, приковывая к себе взгляд. Постепенно прояснялись детали и оттенки цвета, творение овеществлялось и усложнялось в черной утробе сна. Улицы извилистыми внутренностями протягивались через тело города, и тонкая мускулатура теней обволакивала выступавшие кости-дома.

Но мало-помалу Кирион начал замечать, что процесс стал меняться в самой своей основе. Мир Вастариена, казалось, все больше и больше терял свою последовательность, свою самодостаточность. Однажды ночью, когда его взор охватил всю загадочную и неровную форму данного сновидения, та будто бы ускользнула, оставив его на краю бездны. Заветный призрак отступал вдаль. Теперь он видел лишь одну улицу, окаймленную двумя сходящимися рядами зданий. И на противоположном конце той улицы, поднимаясь выше самих зданий, застыла большая темная фигура. Этот колосс не двигался и не говорил, но тем не менее почти заслонял собой горизонт, в который, казалось, упиралась единственная оставшаяся улица. С этой позиции возвышающаяся тень впитывала в себя все остальные формы, постепенно вырастая по мере того, как сновидение убывало. Очертания титанической фигуры казались очер-

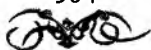


таниями человека... но в то же время — очертаниями черной хищной птицы.

И хотя Виктор Кирион всегда успевал проснуться до того, как стервятник пожирал без остатка то, что ему даже не принадлежало, не было никаких гарантий, что все так продолжится и что когда-нибудь весь сон не перейдет к птицеподобному чужаку. И тогда он решился на действие, которое требовалось совершить, если он, Виктор, хочет сохранить свою долгожданную грезу-сокровище.

Вастариен, прошептал он, стоя посреди голой маленькой комнаты, залитой лунным светом, обращаясь к теням, забившимся в углы. Монолитная металлическая дверь отныне препятствовала его бегству. В двери той было маленькое квадратное оконце из толстого стекла, через которое за мужчиной можно было наблюдать денно и нощно. Непрерывная паутина колючей проволоки обвиняла окно, за которым вдалеке виднелся город, но не Вастариен. *Никогда*, раз за разом повторял голос, что мог быть его собственным. Потом настойчивее: *так я ему и сказал. Я сказал ему! Никогда, ни за что, никогда.*

Когда дверь распахнулась и мужчины в больной униформе вошли в палату, Виктор Кирион отчаянно кричал и пытался забраться вверх по преграждающей доступ к оконному стеклу решетке, будто не понимая, что освобождение так ему всяко не светит. Его стащили на пол и поволокли к кровати, накрепко привязали к ней за запястья и лодыжки. Следом за санитарам в палату вошла медсестра, держа тонкий шприц, увенчанный серебряной иглой.



Пока вкалывали успокоительное, он продолжал бредить. Бред этот присутствующим в палате приходилось слышать уже не раз. Каждый новый приступ развивал старую тему — его, Виктора Кириона, заключили сюда несправедливо, так как человек, у которого он отнял жизнь, помыкал им, пользовался самым ужасным способом — таким, что объяснить его решительно невозможно, так как никто в это не поверит. Тот мужчина не мог прочесть книгу — *ту самую* книгу — и поэтому крал у него навязанные ей сны.

— Крал мои сны,— тихо бормотал Кирион, отдаваясь на милость лекарства.— Крал мои...

Санитары простояли у его кровати несколько минут — разглядывали его, не промолвив ни слова. Потом один из них, указав на книгу, все же осмелился спросить:

— Что нам с ней делать? Сколько раз изымали — и всегда появляется еще одна.

— Не знаю. Бессмыслица какая-то. Все страницы пусты.

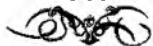
— Так зачем он ее все время читает? Ему больше делать нечего?

— Думаю, надо рассказать главному врачу.

— А что мы ему скажем? Что кое-какому больному следует запретить читать какую-то конкретную книгу, потому что он становится буйным всякий раз, когда так делает?

— Да, что-то вроде того.

— Но тогда они спросят, почему мы не можем отобрать у него книгу. Почему не уберем ее насовсем. Как на *такое* отвечать?



— Никак. Если скажем все как есть — примут за таких же, как он, сумасшедших. Того и гляди, в соседние хоромы упекут.

— А если бы кто-то спросил, что для него значит эта книга... и как она называется... каков был бы наш ответ?

И, словно отвечая им, убийца-безумец, привязанный к кровати, произнес единственное слово... но смысла его санитары не поняли. Ежедневно сталкиваясь со сверхъестественным, они все же не обладали достаточной степенью просвещённости. Они были пожизненно привязаны к собственным телам, в то время как он теперь находился в месте, ничем не обязанном материальному существованию.

Ни за что он не покинет этот город странных чудес. Никогда.

•

ТЕРАТОГРАФ:
ЕГО ЖИЗНИ
И ТВОРЧЕСТВО

Посвящается Бобу, моему брату

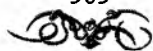
ВСТУПЛЕНИЕ

Его зовут...

Суждено ли мне когда-нибудь узнать его имя? Неведение — та, быть может, единственная преграда, что отделяет нас от абсолютного кошмара. Есть те, кто верует, что в миг между определенной смертью и определенным рождением наша душа забывает свое старое имя, прежде чем обретает новое. Вспомнить имя из прошлой жизни равносильно возвращению на скользкий путь, обратно в ту первозданную тьму, в коей берут начало все имена, воплощаясь в бесконечной череде людских тел, что подобны бессчетным строфам нескончаемого Писания.

Осознание того, что некогда у тебя было очень много имен, равнозначно отречению от них ото всех. Обретение памяти о множестве прежних жизней — утрата каждой.

Поэтому он хранит свое имя в тайне. Все свои имена. Всякое отдельно взятое он обособляет от прочих, и так они не теряются в общем потоке. Защищая свою жизнь от гнета минувших жизней, от груза неизбывной прожитой памяти, он отгорожен от мира маской безымянности.



Но, даже если я и не могу узнать его имя, голос его мне ведом был всегда. Голос этот ни с каким иным не спутаешь — пусть даже звучит он как целый сонм разнящихся голосов. Я признаю его, едва слышав, ибо он всегда ведет речь об ужасном и сокрытом. О причудливых тайнах и небывалых случаях. Порой — с омерзением, порой — с удовольствием, а порой — в таком тоне, какому подобрать определение не видится возможным. За какой свой грех — или в угоду какому проклятию — прикован он к своей прялке кошмаров, выбрасывающей все новые и новые нити историй столь странных, сколь и страшных? Придет ли вообще конец его повествованию?

Он ведь столькое нам поведал.

И поведает еще.

Но имя свое он никогда не назовет. Ни в конце одного жизненного пути, ни в начале следующего. Мы не узнаем, как его зовут, до тех пор пока само время не сотрет все имена и не отнимет все сущие жизни.

Но до той поры — каждому требуется имя. К каждому из нас нужно как-то обращаться. Есть ли такое слово, что может обозначить всех нас?

Да, мы — *тератографы, летописцы ужасного, и труд наш — тератография.*

Внимайте же нашим голосам.



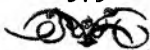
**ГОЛОС ТЕХ,
КТО ПРОКЛЯТ**

ПОСЛЕДНЕЕ ПИРШЕСТВО АРЛЕКИНА

1

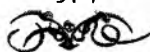
Городок Мирокав заинтересовал меня ровно тогда, когда я узнал, что каждый год там проводится праздник с клоунадой. Мой бывший сослуживец — сейчас он работает на факультете антропологии в провинциальном университете — прочитал на страницах «Журнала популярной культуры» свежую статью за моим авторством, «Медийность образа клоуна в Америке», и написал мне, что где-то когда-то слышал о городке, в котором каждый год устраивают некий Простачий Пиргорой, который, быть может, меня заинтересует. Бедняга даже представить не мог, сколь важны были для меня эти сведения, — причем интерес мой был продиктован не одними лишь академическими изысканиями.

Кроме того, что я занимался педагогической деятельностью, я несколько лет кряду участвовал в антропологических конференциях с неизменной темой: «Важность клоунского образа в различных культурных пластах». Посещая на протяжении последних двадцати лет празднества в южных шта-



тах перед началом поста, я каждый раз все глубже и обстоятельнее проникал в смысл их скрытой от посторонних глаз «кухни». Исследователь во мне горел извечной жаждой познания — и потому я играл роль не только антрополога, но и непосредственно клоуна; и роль эта приносила мне столько удовольствия, сколько не могло доставить ничто иное в жизни. Звание клоуна всегда виделось мне благороднейшим. Наверное, странно это звучит: шут-антрополог! — но я был талантлив и гордился своим мастерством, стараясь усовершенствовать его до предела.

Написав нетерпеливо-восторженное письмо в Отдел парков и отдыха, я запросил кое-какую специфическую информацию, объяснив попутно, какие цели преследую, и несколькими неделями позднее получил коричневый конверт с государственными штемпелями, со списком всех сезонных тематических праздников, известных правительству, внутри. Как выяснилось — и я не преминул взять это на заметку, — поздней осенью и зимой праздников этих проводилось не меньше, чем в пору потеплее. В сопроводительном письме пояснялось, что, по имеющимся сведениям, за Мирокавом официально не закреплен ни один фестиваль; однако, ежели в рамках исследовательской деятельности я вдруг захочу прояснить этот или какой-либо подобный вопрос, на меня охотно возложат требуемые полномочия. Увы, к тому времени, как я получил письмо, меня прижал к ногтю груз проблем на рабочем и личном фронтах — и потому я просто запрятал конверт в ящик стола и вскоре выбросил его из головы.

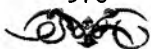


Но несколько месяцев спустя я, резко отстранившись от своих привычных обязанностей, ненароком оказался втянут в мирокавский вопрос. Близился конец лета, я поехал на север с намерением просмотреть кое-какие журналы в библиотеке местечкового университета.

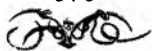
За чертой города пейзаж преобразился, открыв мне раздолье полей и обласканных солнцем ферм. Понятное дело, все эти красоты отвлекали от указателей, но врожденный ученый-эмпирик во мне умудрялся отслеживать и их, поэтому название городка бросилось в глаза; следом в памяти обрывочно всплыло все, с этим городком связанное, и пришлось прямо на ходу прикидывать, имею ли я в своем распоряжении достаточный ресурс сил, времени и желания, чтобы хватило его на короткий исследовательский вояж. Но знак выезда возник еще быстрее, и вскоре я покинул шоссе, вспомнив обещание дорожного указателя, что город не больше чем в семи милях к востоку.

За эти семь миль я умудрился заплутать из-за нескольких странных изгибов дороги и даже разок съехать на грунтовку. Пункт назначения не показывался до тех самых пор, пока я не въехал на вздыбленную хребтину крутого холма. На спуске еще один дорожный указатель известил, что я уже в черте Мирокава: показались особняком стоящие дома, за которыми шоссе вливалось в главную улицу города, Таунсхенд-стрит.

Мирокав поражал — он оказался куда больше, чем я предполагал, и был весь окружен взгорьями — местная особенность, не позволяющая заранее оценить размеры города со стороны, не



въезжая в его пределы. Районы Мирокава казались плохо подогнанными друг к другу — видимо, из-за разобщенной местной топографии. За старомодными торговыми лавками стояли возведенные под довольно-таки неожиданными углами островерхие особняки, чьи шпили по-королевски высились над строениями пониже. Из-за того, что низов этих зданий видно не было, казалось, что они левитируют, — при этом сила, поддерживающая их, будто бы вот-вот ослабнет, и всем своим весом они обрушатся вниз. Или, быть может, все дело в диспропорциях по ширине и по объему: они создавали странное ощущение зримого искажения перспективы. Двухуровневая застройка не давала глубины, и особняки, будучи на возвышении, и притом близко к домам переднего фронта, не уменьшались в размерах — хотя должны были, как любые объекты второго плана. Вид оттого казался плоским, словно фотокарточка. Весь Мирокав походил на заполненный любительскими снимками с неправильным горизонтом фотоальбом: вот каланча с заливхватски накренившейся крышей-конусом торчит из-за гряды домов, а вот скошенный куда-то на запад баннер местной бакалеи. Отражения прижавшихся к крутым бордюрам машин в искривленных витринах дисконтного магазина казались парящими где-то в небе, и даже сами местные жители, лениво прогуливающиеся по тротуарам, будто бы ложились в едва заметный крен. В тот ясный день башня с часами, которую я сначала принял за церковный шпиль, бросала странную длинную тень, достигавшую, кажется, невероятных размеров и забиравшуюся



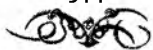
в такие уголки города, где быть ее никак не могло. Эта дисгармония царапает сознание сильнее в ретроспективе — а тогда, в первый день, я прежде всего был озабочен поисками муниципалитета, ну или какого-нибудь другого места, где можно было добыть нужные мне сведения.

Заметив прохожего, я подрулил к тротуару, опустил стекло со стороны пассажирского сиденья и окликнул:

— Прошу прощения!..

Старец в поношенной одежде замер, не подходя к моему автомобилю. Он, казалось, понял, что я обращаюсь к нему, но лицо его осталось настолько безучастным, что я даже заподозрил, что у обочины он остановился совершенно случайно, а не по моему зову. Взгляд его, усталый и малоосмысленный, нашел какую-то точку позади меня, сосредоточился... и спустя несколько секунд старец двинулся дальше. Я не стал обращаться к нему повторно — хоть и на мгновение его лицо показалось мне странно знакомым. На мое счастье, вскоре показался другой прохожий, и мне удалось-таки узнать дорогу до муниципалитета Мирокава — располагался тот, как можно было ожидать, в здании с ратушей.

Войдя внутрь, я встал у стойки. Кругом были расставлены письменные столы, меж них, в коридоры и обратно, сновали люди. На стене висел плакат, рекламирующий государственную лотею, — на нем табакерочный чертик махал зажатым в обеих руках веером из зеленых билетиков. Вскоре к стойке подошла женщина, высокая и сухопарая, средних лет.



— Могу я вам чем-то помочь? — осведомилась она тоном заправского бюрократа.

Я объяснил, что интересуюсь местным празднеством, — не уточняя при этом, что являюсь любопытствующим академиком, — и спросил, не могла бы она предоставить мне кое-какую дополнительную информацию или направить к кому-то, кто мог.

— А, вы про тот самый зимний праздник.

— Есть еще какие-то?

— Других нет.

— Тогда, надо думать, про тот самый. — Я полушутливо улыбнулся.

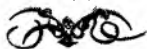
Никак не отреагировав, женщина пошла в дальний конец коридора за стойку. Пока она отсутствовала, я обменялся взглядами с парочкой клерков, которые то и дело отрывались от своих бумаг и глазели на меня.

— Вот, пожалуйста, — вернувшись, женщина протянула мне листок бумаги, напоминавший сделанную на плохоньком ксероксе копию.

ИЗВОЛЬТЕ РАДОВАТЬСЯ С НАМИ, разили с листка крупные буквы. ПАРАДЫ, УЛИЧНЫЕ МАСКАРАДЫ, ЖИВАЯ МУЗЫКА, ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. КОРОНОВАНИЕ ЗИМОВНИЦЫ. Упоминались и другие развлечения. Я еще раз перечитал написанное: слово *извольте* в самом начале листовки придавало мероприятию некий оттенок благотворительности.

— И когда праздник проходит? Тут ни одной даты не стоит.

— Все и так обычно знают. — Женщина резко выхватила листок у меня из рук и написала что-то в самом низу.



Полученная обратно, листовка обзавелась росчерком бирюзоватых чернил: «19—21 дек.». Признаться, дата удивила меня — сам факт, что праздник совпадает с зимним солнцестоянием, является своего рода этнографическим прецедентом. Не очень-то и удобно проводить подобное именно в эти дни.

— Позвольте спросить, разве эта дата не идет, скажем так, вразрез с привычными зимними праздниками? В смысле у людей в это время, как правило, и так хлопот хватает.

— Традиция,— коротко пояснила женщина, будто этим все сказано.

— Интересненько... — протянул я, скорее обращаясь к себе, чем к ней.

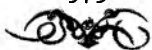
— Что-нибудь еще?

— Да. Не скажете, имеет ли этот праздник какое-нибудь отношение к клоунам? Здесь упоминается маскарад.

— Да, разумеется, там бывают люди в... костюмах. Я-то сама никогда этого не делала... в общем, да, там есть своего рода клоуны.

При этих ее словах мой интерес значительно возрос, но пока я не знал, насколько сильно стоит его выказывать. Поблагодарив служащую за помощь, я спросил, как мне лучше выехать на магистраль, чтобы не возвращаться на ту похожую на лабиринт дорогу, ведущую в город, и направился обратно к машине. В голове вертелось множество плохо сформулированных вопросов — и столько же расплывчато-противоречивых ответов.

Следуя указаниям служащей муниципалитета, я проехал через южные районы Мирокава.

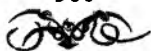


Отличались они малолюдьем — те горожане, что попадались мне на глаза, казались донельзя апатичными театральными актерами в декорациях обветшалой застройки. Их лица несли ту же печать отрешенности, как у того старика, с которым мне не удалось поговорить. Видимо, я ехал по основной дороге города — по обеим сторонам квартала за кварталом тянулись старые дома в окружении неухоженных палисадников. Когда я встал на перекрестке, перед моим автомобилем прошел местный трущобный оборванец — тощий, угрюмый, совершенно неопределимого пола. Обернувшись в мою сторону, этот индивид издал сквозь плотно сжатые губы неодобрительный свист — Впрочем, коль скоро взгляд его не был обращен на меня, не могу сказать наверняка, предназначался ли он мне.

Миновав еще несколько улиц, я выехал на дорогу, ведущую к хайвею. Чуть позже, среди просторов залитых солнцем сельхозугодий, я почувствовал себя куда как лучше.

До библиотеки я добрался, имея запас времени более чем достаточный для своих изысканий, поэтому решил поискать материалы, проливающие свет на зимний праздник в Мирокаве. В одной из старейших библиотек штата имелась полная подшивка «Мирокавского курьера». С нее я и начал — правда, долго не провозился: материалы в подшивке не были систематизированы, а искать статьи по случайным номерам не улыбалось.

Тогда я обратился к газетам городов покрупнее — таковых в округе, который, к слову, также назывался Мирокав, было несколько. Но и они

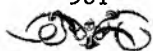


мало что прояснили — лишь единожды статья-обзор ежегодных событий округа сослалась на Мирокав — ошибочно, надо полагать, — как на «крупную средневосточную общину, бережно хранящую этнические традиции». Встретилась еще одна сухая заметка о празднике, на поверку оказавшаяся некрологом. Какая-то старушка мирно отдала Богу душу в канун Рождества. Из архива я ушел несолоно хлебавши.

Минуло немного времени после моего возвращения домой, и мне пришло новое письмо от коллеги, агитировавшего за изучение мною Мирокава. Проныра откопал кое-что новое в неприметном сборнике научных статей по антропологии, отпечатанном в Амстердаме двадцать лет назад. Почти все статьи были на голландском, пара-тройка — на немецком, одна-единственная — на английском. Называлась она «Последнее пиршество Арлекина: этнографические заметки». Возможность ознакомиться со столь редким материалом, несомненно, подняла мне настроение, но куда как больше взбудоражило меня имя автора: *д-р Рэймонд Тосс*.

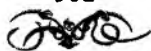
2

На личности доктора Тосса — как и, неизбежно, на моей собственной — стоит остановиться поподробнее. Двадцать лет назад Тосс преподавал в массачусетском Кембридже и на меня, как на одного из своих студентов, оказал непомерное влияние — задолго до того, как сызнова сыграл определяющую роль в событиях, о которых я на-



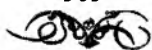
мерен поведать. Яркий эксцентрик, под обаяние которого попадал всякий случайный собеседник, — вот каким он был. Каждая его лекция по социальной антропологии — их я помню до сих пор — являла собой энергичное театрально-познавательное представление, бенефис одного актера. Тэсс не стеснялся бегать по аудитории и активно жестикулировать, и в такой подаче сухие термины на доске вдруг обретали жизнь, значимость и едва ли не фантастическую ценность. Стоило ему сунуть руку в карман потертого пиджака, как все задерживали дыхание — а ну как доктор сейчас, жестом заправского фокусника, вытащит кролика? Мы понимали, что он учит нас большему, чем мы в состоянии постичь, и знает больше, чем способен передать. Однажды, набравшись наглости, я выдвинул против него свое, в некоторой степени противоположное, толкование вопроса о шутовских традициях племени индейцев хопи. Якобы мой опыт шута-любителя и личная заинтересованность наделяли меня знаниями поглубже. Тогда он, ничуть не смутясь и как бы между делом, поведал нам о том, что и сам исполнял роль одного из ряженных-качина¹ и участвовал в ритуальных плясках. Таким образом щегольнув, он, тем не менее, отнесся к моей самонадеянности весьма по-человечески, умудрившись даже не принизить меня. И за это я был ему, конечно же, благодарен.

¹ Качина — духи религии индейцев пуэбло. Во время обрядов их символизируют специальные куколки и ряженные.



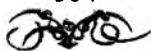
О Тоссе ходили интереснейшие слухи. Домыслы о нем отдавали некой романтикой. Он был гениальным полевым работником. Прославился умением проникать в любую экзотическую культуру или ситуацию и получать возможность взглянуть изнутри на то, о чем менее успешные антропологи знали лишь из чьих-то уст. На разных этапах деятельности Тосса поговаривали, что он вот-вот окончательно ударится в «прелести дикарской жизни», совсем как легендарный Фрэнк Гамильтон Кушинг¹. Новаторские социальные эксперименты Тосса гремели на всю Новую Англию — в частности, особого упоминания неизменно удостоивался случай, когда Тосс шесть месяцев пробыл в лечебнице в Западном Массачусетсе под видом пациента, собирая данные о «субкультуре душевнобольных». Когда вышла его книга «Зимнее солнцестояние: самая длинная ночь общества», критики поспешили объявить ее «преступно субъективной» и «слишком уж импрессионистской» работой, которая, в силу своей «размытой поэтизированной созерцательности», для науки интереса не представляет. Защитники Тосса — в их числе и я — называли доктора «уберантропологом»: да, пусть он и полагается на индивидуальное восприятие мира, но научный опыт безошибочно ведет его к истине, неизменно доказуемой в спорах с оппонентами. По целому ряду внятных и невнятных

¹ Фрэнк Гамильтон Кушинг (1857—1900) — американский этнограф и археолог, прославившийся тем, что большую часть взрослой жизни провел по собственной инициативе в индейском племени зуни.



причин я верил в то, что доктор способен открыть нам глаза на целые упущенные эпохи в становлении человеческой цивилизации. Представьте теперь, с каким трепетом обращался я к найденной статье — даром что та не добавляла ничего нового к образу Тюсса-энциклопедиста, посвящена она была моей любимой тематике.

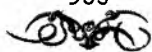
После первого прочтения статьи ее смысл ускользнул от меня — виной тому была крайне специфическая подача. Наиболее интересным в этом двадцатистраничном исследовании лично мне показался только творческий настрой Тюсса — спокойный, но притом харизматично-противоречивый. Материал статьи он подавал совсем не в той манере, какой обычно ждешь от ученого, — здесь имела место и безупречная стилизация, и любопытные мрачноватые отсылки. Например, Тюсс цитировал «Червя-победителя» Эдгара По, вынеся одну строфу в эпиграф — не соотносящийся почему-то с остальным текстом, если не считать одного момента. Рассуждая о современных традициях празднования Рождества, Тюсс упомянул, что сами корни праздника восходят к римским церемониям сатурналий. Оговорив тот факт, что с празднеством Миракава он знаком лишь по свидетельствам со стороны, Тюсс выдвинул предположение, что ритуалистика сатурналий в нем сохранилась более явно, чем даже в Рождестве Христовом, и далее посредством туманных и, на мой взгляд, немного натянутых аналогий перескочил на тему сирийских гностиков, в среде которых существовала секта, называвшая себя «сатурны». Свое еретическое учение сатурны выстраивали исходя из



веры в неких создавших человека ангелов, сыновей Всемогущего. Силы ангелов, по их мнению, не хватило, чтобы сделать человека прямоходящим, поэтому в раннюю свою пору ангельские детища пресмыкались, низменно лгнули к земле, подобно червям. Прямохождением же род людской наделил сам Всемогущий. Гротескный образ людей-червей и идею мирокавского праздника, символизирующего зимнюю смерть почв под конец года, Тбсс, видимо, связывал в некую условно-единую систему — за которой, по-моему, не стояло ничего убедительнее эстетизма.

Но у меня осталось твердое ощущение, что материал статьи прошел некий внутренний ценз — и на бумагу попало далеко не все, что доктор знал о мирокавском празднестве. В будущем открылось, что предположение мое было верным: к Мирокаву доктор подступал отнюдь не с пустыми руками, а держа в уме несколько теорий и догадок. Впрочем, к тому времени и я мог похвастаться кое-каким новообретенным знанием.

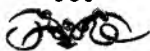
В примечании к «Пиршеству...» было указано, что по факту статья — лишь синопсис куда более масштабного исследования, все еще проводимого доктором... но означенный труд миру так и не был явлен. Ни одна его работа после ухода из академических кругов не издалась. Постепенно связи с доктором оборвались — и вот я снова нашел его: ведь человек, у которого я спрашивал дорогу на улицах Мирокава — тот самый, с тревожаще-апатичным взглядом, — похоже, был не кем иным, как сильно постаревшим Рэймондом Тбссом.



А теперь начистоту. Как ни пытался я проникнуться интересом к тайнам Мирокава — даже учитывая связь с Туссом,— сквозь депрессивно-равнодушную пелену они виделись мне до одури незначительными. Удивляться тут нечему — это было в моей природе: еще с университетских дней я страдал от волн иррационально накатывающей зимней тоски, угнетаемый видами мертвой стылой земли и серо-свинцового неба. Мирокав нужен был мне просто для того, чтобы побороть этот сезонный упадок духа хотя бы таким, несколько механистичным, способом. Там будут празднества. Развлечения. Я вновь смогу примерить на себя личину клоуна.

За несколько недель до поездки я начал приготовления. Репетировал фокусы, некогда особо отличавшие мое шутовское амплуа. Отдал в чистку костюм. Выбрал грим. Выпросил у университета разрешение на отмену последних предпраздничных лекций, объяснившись отъездом в Мирокав для исследований и сбора информации загодя. План мой на деле состоял в том, чтобы максимально отстраниться от интереса со стороны коллег, отодвинуть их на дальнее «потом», целиком и полностью посвятить себя подготовке к празднеству. Разумеется, я собирался вести дневник.

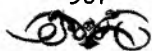
С кое-каким источником мне требовалось ознакомиться заранее. Возвратившись в библиотеку того северного городка, где хранились подшивки «Мирокавского курьера», я отыскал выпуски, датированные декабром двадцатилетней давности.



И вскоре я нашел-таки заметку, косвенно подтверждавшую догадку Тосса, — хотя сам инцидент, похоже, имел место после публикации «Последнего пиршества».

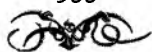
История, описанная в «Курьере», произошла через две недели после завершения праздника два десятилетия назад. В заметке шла речь об исчезновении женщины по имени Элизабет Бидль, жены Сэмюэла Бидля, державшего в Мирокаве гостиницу. Власти округа предполагали, что это один из случаев «праздничного суицида», — каждый сезон нечто подобное случалось в окрестностях Мирокава. Тосс отметил сей факт в «Пиршестве». В наши дни эти смерти, сдается мне, были бы аккуратно отнесены к разряду «сезонных нервных срывов» и позабыты. Как бы там ни было, полиция провела поиски у наполовину замерзшего озера на окраине Мирокава, где в предыдущие годы было найдено не одно тело наложившего на себя руки. Однако в тот год им ничего не перепало. В газете была фотография Элизабет Бидль — даже плохая зернистая печать не скрывала энергичности и жизнелюбия, написанных на ее красивом, мягком лице; и версия о суициде, на живую нитку пришитая к факту ее пропажи, показалась мне, по меньшей мере, странной, а по-хорошему — и вовсе не справедливой.

Тосс писал о сезонных изменениях в эмоционально-психическом фоне человечества, к которым Мирокав, по-видимому, столь же восприимчив, сколь любой другой город — к смене времен года. Причину этих изменений доктор не назвал, отметив лишь — в фирменной манере намеков и



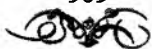
недомолвок,— что «межсезонье» влияет на город чрезвычайно негативно. Помимо эпидемии самоубийств учащаются обострения *ипохондрических состояний* — именно так эти расстройства называли Тоссу медицинские работники Мирокава. Положение дел ухудшалось, достигая пика в дни проведения праздника. Тосс предполагал, что в подсчет масштабов странного поветрия следует ввести поправку еще и на врожденную скрытность жителей маленьких городков. Вполне возможно, ситуация в Мирокаве сложилась еще более серьезная, чем могло выявить поверхностное исследование.

Как связаны праздник и вредоносное межсезонье? На этот вопрос доктор Тосс так и не дал четкого ответа. Он отметил, что оба «климатических фактора» уже давно действуют в городе рука об руку, если судить по архивным документам в открытом доступе. Просматривая историю округа Мирокав за девятнадцатый век, можно выяснить, что тогда город именовался Нью-Холстедом, а жителей порицали за «разнузданные и бездуховные праздничные оргии», приуроченные к Рождеству. Учитывая новоанглийское происхождение основателей Мирокава, разумно было предположить, что идея праздника была заимствована откуда-то из тех степей, и возраст ее вполне мог исчисляться целым веком (если, конечно, она не зародилась еще в Старом Свете — в этом случае корни праздника не будут ясны до тех пор, пока не удастся провести более глубокие исследования; отсылка Тосса к сирийским гностикам дает понять, что такую возможность отринуть целиком нельзя).



И все же, скорее всего, рассуждения Тюсса верны в том, что празднество берет начало уже в Новой Англии. Об этой территории он писал так, будто она — наиболее благоприятное место для окончания изысканий. Казалось, что сами слова «Новая Англия» были лишены для доктора привычного смысла и подразумевали в том числе и доцивилизационную летопись региона. Я как человек, проучившийся там некоторое время, отчасти мог понять это лирическое допущение, ибо есть в тех краях такие места, что кажутся древними вопреки всякой хронологии, всяким сравнительным стандартам времени. Назовите это «новоанглийской античностью», если хотите, — звучит глуповато и алогично, но логика здесь и не работает. Зато сразу станет ясно, на чем зиждится «мирокавская теория» Тюсса. Доктор заметил, что в жителях Мирокава не прослеживается даже примитивного понимания своих же традиций, — они производят впечатление людей, ничего не знающих о происхождении собственного зимнего праздника; однако то, что традиция прошла испытание временем, сумев затмить даже сакральное Рождество, говорит о том, что они прекрасно понимают его значение и смысл.

Да, не спорю, Мирокав свалился на меня прямиком из небесного эфира, словно снег на голову: своеобразная превратность судьбы, если учесть вовлеченность в историю такой знаковой фигуры из моего прошлого, как доктор Тюсс. Впервые за всю свою академическую деятельность я ощутил себя невероятно уместным и пригодным — кому, как не мне, удастся раскопать истину? Да, к тайне меня обратил случай — но что с того?



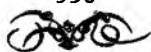
И все-таки, сидя в той библиотеке утром в середине декабря, я на какой-то миг усомнился в правильности своего решения. Стоит ли ехать в Мирокав? Ведь можно просто вернуться домой и погрузиться в куда более привычную жизнь зимней депрессии. Интерес могло бы подогреть мое желание спастись от возвращения межсезонной меланхолии, но ведь она являлась частью истории Мирокава — да еще и, вдобавок, значимой частью. Впрочем, моя эмоциональная нестабильность как раз и была той самой чертой, что делала меня хорошим полевым работником, — хоть ни гордиться, ни утешаться тут было нечем. Дать задний ход означало упустить редчайшую возможность.

И я поехал в Мирокав.

Оглядываясь назад, я понимаю, что никакой случайности не было.

4

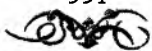
Сразу после полудня восемнадцатого декабря я сел за руль и поехал в Мирокав. По обеим сторонам дороги мелькали то насквозь тоскливые виды, то мертвоземье. Укрыть все это безотрадно снегом матери-природе не удалось: лишь несколько белых участков виднелись вдоль автострады на убранных полях. Над головой нависали серые тучи. Минувя лес, я подметил брошенные гнезда, запутавшиеся, словно комки шерсти, в переплетении тонких, кривых ветвей. Даже будто бы над дорогой, где-то впереди, парили какие-то чернокрылые птицы — но нет, то были лишь взвихрения



мертвой листвы, разметавшиеся по сторонам, едва я проехал мимо.

К Мирокаву я подобрался с юга — и попал в город с той стороны, с которой покинул его после первого посещения. И снова я подумал о том, что эта часть города существует будто по другую сторону большой незримой стены, отсекавшей фешенебельные районы от неблагополучных; что даже летом, в свете солнца, показалась она мне недружелюбной, если не сказать — неприятной. Тусклые краски зимы лишь усугубили картину. Беднеющие лавки и насквозь промерзшие дома наводили на мысль о том Рубиконе, что отделяет мир истинно материального от мира призрачного, который маску существования лишь примерил.

На пути попадались напоминавшие скелеты горожане, и поглядывали они в мою сторону вплоть до самого подъема к Таунсхенд-стрит. Спуск являл собой уже более приятную картину. Город готовился к празднику — фонарные столбы украсили вечнозелеными веточками, чей цвет — на контрасте с постылыми зимними голыми ветвями — не мог не радовать глаз. На дверях повсюду красовались венки остролиста — впрочем, эти, слишком уж зеленые, могли быть пластмассовыми подделками. В таких рождественских украшениях не было ничего необычного, но вскоре стало понятно, что Мирокав питает к этому цветку какую-то чрезмерную слабость. Все вокруг просто лучилось зеленью — витрины магазинов и окна домов, навесы лавок, огни паба. Слишком уж эффект мозолил глаз — обилие становилось жутковатым излишеством, а лица горожан, будто



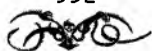
под влиянием радиации, приобретали рептильные черты и цвет.

Видимо, все эти растения и одноцветная иллюминация должны были особо подчеркнуть овощную символику северных Святков — в общем-то, характерную для зимних празднеств многих народов мира. В «Последнем пиршестве...» доктор Тбсс писал о языческой стороне мирокавского праздника, о связи его с культами плодородия и политеизмом.

Но он, как и я, вероломно принял за целое всего лишь часть правды.

Гостиница, в которой я снял номер, располагалась на Таунсхенд-стрит: этакий образчик старой кирпичной застройки, с аркой и безвкусыными карнизами под неоклассицизм. Найдя близ нее место для парковки, я покинул автомобиль, оставив чемоданы в багажнике.

Гостиничный вестибюль пустовал. Видимо, я ошибался, полагая, что праздник в Мирокаве поддерживается, в том числе, из экономических интересов, привлечения туристов ради. Позволив в колокольчик, я облокотился о стойку и повернулся посмотреть на низенькую, традиционно украшенную елку на столе у входа. На ней висели блестящие, хрупкие шары, миниатюрные леденцы в форме посоха, плоские смеющиеся Санта-Клаусы, обнимающие воздух. Звезда, венчавшая вершину, завалилась набок и уперлась одним из лучей в изящную верхнюю веточку. Огоньки гирлянды равнодушно вспыхивали и гасли. Что-то в этой елочке было неизменно грустным.



— Чего изволите? — спросила девушка, появившаяся из соседней с вестибюлем залы.

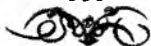
Надо полагать, я воззрился на нее чересчур испытующе, потому как она смутилась и потупила взгляд. Нужные слова, могущие хоть как-то прояснить ход моих мыслей, никак не шли на ум. Пугающе привлекательная и излучающая некую интригующую сдержанность, она, похоже, ничуть не постарела — если считать, что это не ее самоубийство двадцатилетней давности описывала заметка в газете.

— Сара! — обратился к ней мужской голос с незримой высоты лестницы, и по ступенькам к нам спустился высокий мужчина средних лет. — Я думал, ты у себя в кабинете.

Похоже, это был Сэмюэл Бидль. Сара — а вовсе не Элизабет — Бидль искоса глянула на меня, как бы показывая отцу, что занята делами гостиницы. Сэмюэл, извинившись, отвел ее в сторонку и принялся что-то объяснять.

Отгородившись от них формальной улыбкой, я весь обратился в слух, силясь уловить хоть слово. Судя по тону, конфликт был привычным: Бидль беспокоился о том, где его дочь и чем занята, а Сара досадливо признавала отцовский авторитет и его правила. По окончании разговора Сара удалилась по лестнице куда-то наверх, на мгновение обернувшись ко мне и легкой гримаской извинившись за имевшую место непрофессиональную сцену.

— Ну, сэр, чем могу быть полезен? — как-то слишком требовательно обратился ко мне Бидль.



— У меня здесь забронирован номер. Правда, я приехал на день раньше, чем планировал, и если с этим не возникнет проблем...

— Никаких проблем.— Через стойку он протянул мне бланк регистрации и медный (по виду, по крайней мере) ключ с пластмассовым жетоном с номером 44.— Ваш багаж?..

— В машине.

— Я вам с ним помогу.

Мы с Бидлем взойшли на четвертый этаж, и я решил, что момент вполне подходящий, чтобы затронуть тему празднества и связанных с ним самоубийств. Быть может — но тут уж судить надо по реакции,— мне даже удастся вытянуть из него пару слов об участии его жены. Мне требовался человек, долгое время живший в Мирокаве, имеющий какие-то свои соображения насчет горожан и их отношения к разлившемуся на улицах морю зеленого света.

— Превосходно,— похвалил я пусть чистый, но притом угрюмо обставленный гостиничный номер.— Какой вид из окна, все эти огни... Город всегда так украшают или только к празднику?

— К празднику, сэр,— без малейшего участия ответил Бидль.

— Думаю, в ближайшие пару дней у вас от приезжих отбоя не будет.

— Не исключено, сэр. Что-нибудь еще?

— Да, если не трудно. Расскажите мне что-нибудь об этом празднике.

— Например?

— Например, шуты, клоуны.



— Клоуны... ну, клоуны у нас здесь только те, кого, можно сказать, назначили.

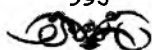
— Простите?..

— Сэр, у меня очень много дел. Что-нибудь еще?

Дальнейший разговор, очевидно, не имел смысла. Бидль пожелал мне хорошо отдохнуть и удалился.

Я распаковал чемоданы. Клоунская одежда лежала в нем вперемешку с обычной, мирской. Слова Бидля о том, что клоунов здесь *назначают*, невольно заставили меня задуматься: какой цели служат местные уличные маскарады? В разные времена и в разных культурах шут имел очень много значений. Весельчак и любимчик публики — лишь одна (и самая банальная) грань этого образа; юродивые, горбуны, ампутанты и уродцы, к примеру, тоже когда-то считались «природными» клоунами. Ложившаяся на их плечи комическая роль должна была поднимать люду настроение, заставлять забыть о мрачном несовершенстве мира. А порой скоморох выступал в роли обличителя — вспомнить хотя бы трагического шута-правдоруба при короле Лире, отправленного за свою шутовскую мудрость на виселицу. Роль клоуна зачастую отличалась неоднозначностью, противоречивостью. Мое понимание этого не позволяло мне с легкой душой выскочить при клоунском наряде на улицу, голоса: «А вот и снова я!»

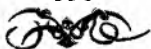
В тот первый день в Мирокаве я держался поближе к гостинице. Отдохнув, я отобедал в забегаловке неподалеку. Сидя у окна, я глядел, как темный зимний вечер, уже вроде бы свыкшийся



с контрастным зеленым свечением, обретает некую совершенно новую окраску. Вообще, для вечера в маленьком городке на улицах Мирокава было слишком много людей, но предрождественской суеты это обстоятельство не создавало. Не было ни суетных компаний, нагруженных яркими пакетами с подарками, ни парочек. Люди шли с пустыми руками, спрятав их поглубже в карманы, спасаясь от холода, который почему-то так и не смог загнать их в дома, полные тепла и уюта. Магазины работали допоздна, а те, что все же закрылись, оставили наружные неоновые вывески включенными. Лица прохожих сковал холод скорее душевный, нежели физический. Переливающийся зеленым Мирокав, это нагромождение бессмысленно вздымающихся улиц и бессмысленно расхаживающих туда-сюда людей, будто бросал мне, опытному шуту, вызов — как личный, так и профессиональный. Но лицо, отражавшееся в окне забегаловки — мое лицо, — казалось мертвой безучастной маской, обтрепанной невзгодами идущих лет. В глазах не было огня. В сердце не было трепета. Как ни странно, я почти скучал, пребывая здесь.

В гостиницу я вернулся, едва не срываясь на бег.

В стуже Мирокава таится иной холод, записал я тем вечером в своем дневнике. Под видимым фасадом города скрываются другие дома и улицы, целый мир постыдных закоулков. Покрыв подобной невнятицей целую страницу и в итоге решительно перечеркнув ее крест-накрест, я лег в кровать и уснул.



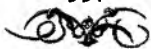
Утром я оставил машину у отеля и решил пройти до деловых кварталов Мирокава пешком. Важная часть моей полевой научной деятельности — контакт с обывателями, так почему бы не попробовать наладить его?

С контактом — по крайней мере, физическим, ибо сквозь забитую народом Таунсхенд-стрит пришлось буквально проталкиваться, — проблем не возникло, но в мои небрежные планы снова по велению судьбы вонзилось острое конкретики: в толпе, в считанных пятнадцати шагах от меня, шел он.

— Доктор Тосс! — окликнул я.

Он почти наверняка повернул голову и оглянулся... но поклясться в этом я не мог. Растолкав компанию тепло одетых прохожих, замотанных в зеленые шарфы по самые брови, я увидел, что объект моего преследования держится на прежнем от меня расстоянии: не ведаю, нарочно ли он сохранял дистанцию.

На следующем углу Тосс, облаченный в темное пальто, резко взял вправо, на улицу, скатывающуюся прямо к упадочным южным районам Мирокава. Дойдя до поворота, я посмотрел вниз. Там, на тротуаре, фигура доктора виднелась предельно четко. Кроме того, мне стало понятно, как ему удастся держать расстояние, будучи в толпе. Люди почему-то расступались, шарахались от него, и он шел свободно, никого даже не задевая. Драматизма в движениях расступающихся не наблюдалось — но себя они вели так явно не случайно. Проталкиваясь сквозь людской поток, я следовал за Тоссом, то теряя его из вида, то снова находя.

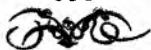


В самом низу улицы толпа обмелела. Пройдя еще с квартал, я понял, что я сам теперь — едва ли не единственный пешеход, если не считать одинокой фигуры доктора впереди. Тосс шел довольно резво — должно быть, мое преследование не укрылось от него... или же он вел меня куда-то? Я еще несколько раз окликнул его — довольно громко. Он просто не мог меня не услышать — разве что с возрастом развилась глухота. В конце концов он уже давно не юноша и даже не мужчина средних лет.

Внезапно Тосс пересек улицу, сделал еще несколько шагов и вошел в кирпичное здание без вывески, между винным магазином и ремонтной мастерской. В «Последнем пиршестве...» доктор упоминал, что люди, живущие в этой части Миркава, вели свои дела обособленно, и их постоянно посещают, главным образом, жители этого района. Данному мнению вполне можно было доверять, поскольку заведения имели столь же затрапезный вид, сколь и посетители. Но, несмотря на чудовищно ветхое состояние домов, я последовал за Тоссом и вошел в простое кирпичное здание, бывшее когда-то — возможно, и ныне — общественной столовой.

Внутри оказалось неожиданно темно. Но еще до того, как глаза мои пообвыклись с темнотой, я понял, что тут всяко не доходный кафетерий с уютно расставленными столиками и стульями, вроде того, в котором я ужинал вчера. Казалось, внутри было холоднее, чем на улице.

— Доктор Тосс? — произнес я в сторону одинокого стола в центре длинной комнаты.



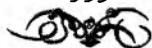
Вокруг него расселись не то четверо, не то пятеро, и еще какие-то люди прятались в темноте позади. На столе были в беспорядке раскиданы книги и бумаги. Какой-то старик показывал что-то в лежавших перед ним листах, но это был не Тбсс. Рядом с ним сидели двое юношей, которые своим цветущим видом заметно отличались от угрюмой изможденности остальных. Я подошел к столу, и все они подняли на меня глаза. Никто не проявил даже намека на эмоции — за исключением молодых, обменявшихся встревоженными и даже виноватыми взглядами, словно их застали за каким-то постыдным делом. Оба внезапно вскочили из-за стола и прыгнули в темную глубь комнаты. Их побег ознаменовала блеснувшая полоска света у косяка приоткрывшейся двери.

— Прошу прощения,— неуверенно выдал я.— Мне тут почудилось, что сюда вошел мой старый друг.

В ответ — ни слова. Из подсобки показались еще люди — похоже, привлеченные суматохой. В считанные секунды в помещении стало неожиданнолюдно.

Они — потрепанные, напоминающие бродяг,— все как один таращились отсутствующим взглядом в полумрак. Страх перед ними я почему-то не испытывал — даже сама мысль, что от них может быть какой-то вред, казалась сомнительной. Их бесцветно-одутловатые лица будто так и просили крепкого удара кулаком... и я даже подумал, что, если начну бить их, они склонятся предо мной,— откуда только пришла такая дикая мысль? Эх, будь их поменьше...

ГОЛОС ТЕХ, КТО ПРОКЛЯТ. Последнее пиршество...

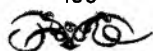


Живой вереницей-змейкой они тянулись в мою сторону. Их одурманенные глаза, пустые и неживые, заставили меня подумать, а понимают ли они вообще, что я — здесь. Надо полагать, да — именно я стал магнитом для их апатичных передвижений. Подошвы приглушенно шаркали по ободранным половицам. С моих губ спешно слетали какие-то бессмысленные слова, а они продолжали меня теснить — слабые тела с неожиданно полным отсутствием телесных запахов. Не поэтому ли люди на улице инстинктивно сторонились Тюсса? Невидимые ноги словно переплетались с моими: я пошатнулся, но тут же выпрямился. Рывок этот вытянул меня из некоего транса, в который я, должно быть, погрузился, даже не заметив этого.

Меня тянуло как можно быстрее покинуть это чертово местечко — как я мог знать, что все примет *такой* оборот? — но по неведомой причине я никак не мог сосредоточиться и перейти от мысли к действию. Близ этой раболепной толпы мой рассудок терялся и ускользал. Паническая атака, с силой ударившая по струнам нервов, отрезвила меня — распахав податливые ряды в стороны, я, ловя ртом стылый воздух, выбежал на улицу.

Морозец, встретивший меня, вернул ясность мыслей, и я заспешил вверх по крутой улице. Пришли сомнения — не вообразил ли я себе опасность? Мне хотели навредить — или просто запугивали? Вернувшись к зеленеющему центру Мирокава, я вдруг понял, что *не знаю*, что со мной только что произошло.

Тротуары, как и прежде, были людны, но теперь всеобщее оживление казалось каким-то более ис-



кренним. В воздухе витал суетливый дух близящегося праздника. Компания из молодежи, явно решившая отметить все заранее, в очевидном подпитии шумела посреди улицы. По прощающим улыбкам трезвых горожан я сделал вывод, что к подобному здесь относятся снисходительно. Я выискивал хоть какие-то следы уличных ряженных, но ничего не находил. Ни одного пестрого шута, ни одного одиноко белеющего грустного клоуна. Неужели даже сейчас идет подготовка к церемонии коронавания Зимовницы?

Зимовница, записал я в своем дневнике. Символ плодородия, наделенный могуществом даровать возрождение и процветание. Избирается — как королева бала на выпускном. Не забыть уточнить, полагается ли королеве консорт (жених) из представителей потустороннего мира.

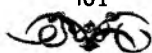
В предвечерние часы девятнадцатого декабря я сидел в своей комнате в отеле и пытался выдумать себе хоть какой-то распорядок, хоть какой-то план. С учетом всех обстоятельств я чувствовал себя не так уж и плохо. Праздничное возбуждение, с каждой минутой усиливающееся на улицах под моими окнами, определенно растормошило меня. Ночь обещала быть долгой, и я уговорил свой рассудок на непродолжительный отдых.

Пробудившись, я понял, что ежегодное празднество Мирокава началось.

5

Там, снаружи — крики, свист, шум. Суета сует. Добравшись в полудреме до окна, я окинул город взглядом. Мирокав пылал тысячами огней — весь,

ГОЛОС ТЕХ, КТО ПРОКЛЯТ. Последнее пиршество...

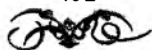


кроме района в низине близ холма, провалившегося в черную пустоту зимы. Теперь зеленоватый оттенок города проявлялся отчетливее, проступил повсеместно. Над городом, празднующим свою искусственную весну, воссияла цветистая миртовая радуга. Улицы Мирокава бурлили жизнью — на углу орал духовой оркестр, взвизгивали клаксоны машин, хлопали двери баров, из которых высыпались кудачущие пьяницы. Я пристальнее всмотрелся в праздных горожан, выискивая шутовские наряды... и вот мой взгляд восхищенно замер. Вот он, шут! Костюм — красно-белый, шляпа в тех же тонах, лицо все в гриме цвета благородного алебаstra: настоящий Санта-Клаус в скоморошьей трактовке. Однако шут этот не собирал дань уважения и любви, обычно полагающуюся Санте: мой бедный собрат пребывал в центре круга из празднующих, мощными толчками пасовавших его от одного к другому. Вроде бы он был согласен на столь свинское обращение, но уж больно унижительной со стороны выглядела вся эта забава. *Клоуны у нас здесь только те, кого, можно сказать, назначили, припомнились слова Сэмюэла Бидля. Назначили, чтобы поиздеваться,* — вот как оно на деле?

Одевшись потеплее, я вышел на сияющие зеленые улицы и неподалеку от гостиницы столкнулся с еще одним клоуном: мешковатый яркий костюм, намалеванная красной и синей помадой ухмылка. Его выталкивали из аптеки взашей.

— Пьяньте на урода! — провозгласил тучный пьяный мужчина. — Пьяньте, как ему несладко!

Гнев во мне перемешался с опаской — тучного пьянчугу нежданно-негаданно укомплектова-



ли еще двое собутыльников. Они направились ко мне. Я весь внутри подобрался, готовый дать жесткий отпор.

— Стыдоба! — выкрикнул один из них и махнул бутылкой.

Обращено это было не ко мне, а к валявшемуся на тротуаре шуту. Троица, занятая травлей, рывком подняла его на ноги и плеснула вином в лицо. На меня тут никто не обращал внимания.

— Отпусти его, — сказал тучный. — Ползи отсюда, уродец. Руки в ноги!

Клоун затрусил прочь и вскоре потерялся в толпе.

— Эй, постойте! — окликнул я хулиганскую троицу, которая спотыкающимся шагом удалялась восвояси.

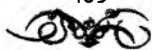
Я наскоро смекнул, что имеет смысл попросить их объяснить, что тут сейчас произошло. Суматоха праздника была мне только на руку. Напялив маску беззаботного дружелюбия, я нагнал их и предложил им зайти куда-нибудь выпить. Они не возражали, и вскоре мы уже теснились за столиком в пабе.

Пропустив несколько кружек, я рассказал им, что приехал из другого города. Почему-то это их ужасно обрадовало. Тогда я сказал, что не понимаю кое-чего в их празднестве.

— А чего не понимать-то? — удивился тучный. — Ходи себе да смотри.

Я спросил о людях, одетых клоунами.

— Да это уроды. Такая уж у них судьба в этом году. Все становятся клоунами по очереди. Может, в следующем году буду я. Или ты, — заявил он,



ткнув пальцем в одного из своих собутыльников. — А вот когда узнаем, который из них ты...

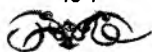
— То что? То что, а? Мозги куриные! — заворчал потенциальный «урод».

Вот, значит, как: шуты стараются оставаться непризнанными, анонимными. Это снимает с жителей Мирокава внутренний запрет на грубости по отношению к соседям или даже родственникам.

Меня свято заверили, что жестокость не заходит дальше игривых потасовок. Лишь отдельно взятые личности в полную силу пользуются преимуществом этой части праздника, ну а горожане бесхитростно и с удовольствием наблюдают за происходящим со стороны.

Найденная мной троица оказалась абсолютно бесполезной, когда я попытался выяснить смысл этого обычая. Они считали его просто *развлечухой* — как, по-видимому, и большинство жителей Мирокава.

Из бара я вышел один. Выпивка не «забрала» меня. А на улице знай себе шло веселье. Из раскрытых окон гремела музыка. В мрачной необъятности зимней ночи Мирокав полностью преобразился, превратившись из степенного маленького городка в анклав сатурналий. Но ведь Сатурн — это, помимо всего, космический символ обреченности и бесплодия, дитя несочетаемых природных начал. И пока я, пошатываясь, брел по улице, мне вдруг открылось, что и в здешнем зимнем празднике имеет место конфликт. Кажется, мое открытие и было тем секретным ключом, который доктор Тюсс утаил в своей статье о городе. Как ни странно, но именно то, что я ничего не знал о



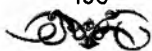
внешней стороне праздника, помогло мне понять его внутреннюю природу.

Смешавшись с толпой на улице, я получал искреннее удовольствие от царившего вокруг шума, как вдруг заметил на углу странно одетое создание. Это был один из клоунов Мирокава в потрепанном, совершенно неопишемом костюме «под бродягу» — на вид экстравагантно, но как-то мрачно для шута, да и не особо интересно. Зато грим с лихвой компенсировал невыразительность облачения — еще ни разу мне не доводилось видеть столь необычное осмысление шутовского вида.

Паяц стоял под тусклым уличным фонарем. Когда он повернул голову в мою сторону, я понял, почему он показался мне знакомым. Лысая выбеленная голова, крупно подведенные глаза, овальное лицо — все это напоминало череп или кричащее существо на той известной картине, чье название, как назло, вылетело из головы. Клоунская имитация соперничала с оригиналом, демонстрируя шокирующий, крайний ужас и отчаяние за гранью человеческих возможностей... Пожалуй даже, за пределами надземного мира в целом. Едва увидев это существо, я припомнил обитателей гетто у подножия холма. В повадках странного шута чувствовались уже знакомая противоестественная покорность и апатичность.

Должно быть, если бы не выпивка, я ни за что не решился бы на следующий поступок. Решив поддержать традицию зимнего празднества, отчего-то ужасно раздраженный видом этого непрошено-мрачного буффона, я дошел до угла и, громко хохотнув, толкнул его в спину.

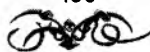
ГОЛОС ТЕХ, КТО ПРОКЛЯТ. Последнее пиршество...



Шут, попятившись, опрокинулся на тротуар. Я снова захохотал и огляделся, ожидая одобрительных возгласов гуляк. Однако, похоже, никто не оценил моего поступка — даже не дал понять, будто заметил то, что я сделал. Они не смеялись вместе со мной, не тыкали в нас пальцами, а просто проходили мимо... кажется даже ускоряя шаг, стремясь быстрее оставить нас позади. Видимо, я нарушил какое-то негласное правило. Хотя разве мой поступок хоть в чем-то противоречил обычаю? В голову пришло, что меня могут даже задержать и предъявить обвинение за то, что в других обстоятельствах безусловно расценивалось бы как хулиганство. Повернувшись, чтобы помочь клоуну подняться, надеясь как-нибудь загладить свою вину, я обнаружил, что он исчез.

Подспудно раздражающие переулки Мирокава тянулись и тянулись, и я сбил шаг лишь раз — перед дверью бара. Внутри было людно; сев у стойки, я взял себе чашку кофе, желая перебить хоть чем-то мерзкий алкогольный дух. За окном бара были люди. Все куда-то шли, торопились. Уже давно перевалило за полночь, а поток гуляющих все никак не редел. Никому, видимо, не хотелось домой пораньше. В этой чередѣ лиц, за которой я отстраненно наблюдал, вдруг промелькнула наводившая дрожь маска черного клоуна — может, того самого, которого я толкнул, может, какого-то еще: что-то в этой траурно-насмешливой личине будто бы неуловимо изменилось.

Быстро отсчитав деньги за кофе, я выбежал на улицу, но шут исчез — как сквозь землю провалился. Плотные ряды празднующих исключали вся-

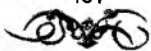


кую возможность погони. Как же он ретировался? Неужто толпа инстинктивно расступалась, давая ему беспрепятственно пройти — как в случае с Тоссом? Разыскивая нужного мне фрика, я обнаружил, что среди празднующих не один и даже не два подобных шута,— их было много больше, этих бледных, не от мира сего существ. Они скользили по улицам, и их не задевали даже самые отъявленные задиры.

Теперь я понимал одно из табу празднества. Этих, иных шутов никто не смел трогать, их избегали так же, как и жителей здешних трущоб. Но чутье говорило мне, что клоуны по обе стороны этих социальных баррикад были как-то солидарны друг с другом. Они были общиной внутри общины, траурницами среди празднующих кардиналов, и был у них — как бы странно это ни звучало — свой собственный, независимый, внутренний праздник.

Снова оказавшись в гостиничном номере, я стал заносить догадки в дневник мирокавских событий:

Жители города настроены против жителей трущоб, особенно против их жутковатого маскарада; какая связь между их праздниками, какой справляется первым? Мое предположение (предварительное): зимнее празднество Мирокава проходит позже. Оно скрывает, заглаживает последствия парада жутких шутов из низов города. В пользу моей догадки: праздничные суициды, описанный Тоссом «субклимат», исчезновение Элизабет Бидль двадцать лет назад, мое столкновение с париями, отвергающими жизнь мирокавской общи-



ны — притом пребывающими внутри нее. О личных впечатлениях и о вредоносном «межсезонье» пока не вижу смысла говорить — неясно, не наводит ли помехи мой собственный зимний сплин. По общему вопросу душевного здоровья нужно принять во внимание книгу Тосса о его пребывании в психиатрической больнице (почти уверен, в Западном Массачусетсе. Уточнить насчет книги и проверить новоанглийские корни Мирокава). Завтра зимнее солнцестояние — самый короткий день в году; с этого дня по календарю начало зимы, почин ее коренной части. Следует обратить внимание на то, как оно связано с самоубийствами и обострением душевных болезней. Припоминаю перечень задокументированных случаев в статье Тосса: кажется, там повторяются одни и те же фамилии, как нередко случается в любых данных, собранных в маленьком городке. Те же Бидли фигурировали там не раз и не два. Быть может, они вообще генетически предрасположены к суицидам, и догадки доктора о мистическом субклимате ошибочны. Концепция, несомненно, яркая, под стать многим внешним и внутренним особенностям Мирокава, но ее вряд ли выйдет доказать.

* * *

Что бесспорно, так это дробление города на два лагеря и, как следствие, — два разных празднества, два разнящихся шута (в самом широком смысле слова «шут»). Но между ними есть связь — и я, кажется, понимаю, какая. Есть не только предубеждение к людям из гетто — об этом я уже писал: есть и страх, и ненависть своего рода, идущие из иррациональных глубин памяти. Думаю, теперь мне предельно просто понять

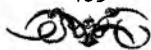


«мирокавскую угрозу» — через инцидент в той пустой столовой. «Пустая» в данном случае — очень подходящее слово, хоть и противоречащее фактам. Люди в темном зале, хоть их и было много, более отсутствовали, чем присутствовали. Расфокусированный взгляд, апатичные лица, заторможенные движения. Один их вид давил на психику — потому-то я и сбежал. Неудивительно, что их сторонятся.

Мудрость мирокавских родоначальников — в проведении праздника в ту пору, когда тягостная зимняя изоляция восходит в свой пик, в самые долгие и темные дни зимнего солнцестояния. Рождество — столь же переломный и нестабильный период: нужно было что-то еще. Но добровольно принятые смерти тех, кому по каким-то причинам недоступно веселье празднества, все же остаются.

* * *

Видимо, именно природа лукавого «межсезонья» определила внешность зимнего праздника Мирокава. Оптимистическая зелень — против бесплодной сени; обещание урожаев от Зимовницы; и самое, на мой взгляд, интересное — клоуны. Пестрые скоморохи Мирокава, жертвы хамского обращения, появляются, чтобы служить подставными фигурами вместо мрачных арлекинов из трущоб. Поскольку последних опасаются из-за того, что они обладают каким-то могуществом или влиянием, их все же можно символически порицать через дублеров, избираемых исключительно для этой цели. Если я прав, то интересно, насколько глубоко осознает городское население собственную смещенную агрессию? Троица, с которой я сего-

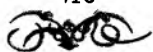


дня вечером выпивал, определенно не видела в своей праздничной традиции ничего, кроме грубоватого повода повеселиться. И если уж на то пошло, осознают ли это по ту сторону праздничной сепарации? Жутковатое предположение, но нельзя не задуматься: а вдруг, несмотря на кажущуюся бесцельность, жители гетто — единственные, кто понимает суть? Невозможно отрицать, что за их нечеловечески безвольными выражениями лиц скрывается своего рода отторгающая разумность.

* * *

Когда этим вечером я шатался от улицы к улице, наблюдая за круглоротыми клоунами, я не мог сдерживать чувства, что все веселье в Мирокаве было так или иначе дозволено с их попустительства. Надеюсь, это лишь причудливая гипотеза а-ля Тосс... Идея хорошая и любопытная для обдумывания, но бездоказательная. Я понимал, что мыслю не вполне здраво, но чувствовал за собой способность чрез множащуюся путаницу пробраться к темной изнанке праздничной поры. Особенно плотно следовало заняться значением второго праздника. Так же ли он посвящен плодородию? По тому, что я увидел, он, скорее, отрицает продолжение рода в принципе. Но как же тогда не угасла упадочная традиция? Как появляются те, кто ее чтит?

Слишком устав для дальнейшей описи своих расплывающихся мыслей, я упал на кровать. Вскоре я был уже начисто потерян во снах об улицах и лицах.



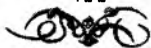
Проспал я допоздна — ничего удивительного, — а проснулся с неизбежной ломотой после похмелья, от которого так и не уберегся. Праздник продолжался, и громкая духовая музыка вырвала меня из кошмара.

На улице начался парад. По Таунсхенд-стрит медленно ехала процессия, в которой преобладал знакомый цвет: платформы с первопроходцами и индейцами, ковбоями и клоунами традиционного вида — все как одна зеленели. В самом сердце парада на ледяном троне восседала Зимовница, раздающая налево-направо воздушные поцелуи. Даже мне, сокрытому в тени погашенного окна, достался один... или так только показалось.

Первые минуты сохранившейся с ночи полудремы не предвещали бодрого дня, но так, на удивление, не продлилось долго. Задремавший энтузиазм вернулся с удвоенной силой — чувства и сознание обрели болезненную остроту, со всем мне не свойственную в это время года. Будь я дома — непременно слушал бы вгоняющую в щемящую тоску музыку и безотрадно наблюдал за протекающей за окном жизнью. Своей неожиданной осмысленной мании я был безмерно благодарен. Позавтракав в кафе, я вышел исполненным рвения, готовым к бою.

В гостиничном номере меня поджидал сюрприз. Дверь оказалась открыта.

На зеркале чем-то красным и жирным, вроде дешевой губной помады, было начертано посла-



ние. Это ведь МОЯ клоунская помада, вдруг сообразил я.

Послание больше напоминало загадку. Я перечитал его несколько раз.

**КТО ЗАКАПЫВАЕТСЯ В ЗЕМЛЮ РАНЬШЕ,
ЧЕМ УМИРАЕТ?**

Я долго смотрел на надпись, неприятно удивленный тем, насколько ненадежной оказалась гостиничная охрана. Ну и что это? Предостережение? Угроза безвременно предать меня земле, если буду упорно придерживаться какой-то определенной линии поведения?

Ну ладно, лишняя осторожность, допустим, не помешает.

Но чтобы эта чепуха как-то повлияла на мои планы? Увольте.

Я тщательно вытер зеркало — ему еще предстояло послужить моим целям.

Остаток дня я провел, продумывая грим и костюм. Стоило немного попортить его: я разорвал карман и наставил пятен. Удачными в образе были синие джинсы и пара очень поношенных туфель — выглядело вполне в духе «отверженного». С лицом было сложнее: пришлось экспериментировать с памятью. Воссоздав в уме образ страдальца с картины — «Крик», она называлась «Крик», конечно же, образ кисти Эдварда Мунка, — я немало вдохновился. Едва наступил вечер, я покинул гостиницу через черный ход.

Странно было идти по переполненной людьми улице в этом отталкивающем наряде. Мне-то казалось, что я буду бросаться всем в глаза, — отнюдь, я сделался почти что невидимкой. Никто не удо-



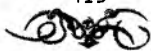
стаивал меня взглядом, когда я проходил мимо... когда они проходили мимо... когда мы проходили мимо друг друга. Я был призрак, призрак празднеств минувших и грядущих.

Я не имел четкого представления о том, куда меня сегодня ночью приведет этот наряд, и мог лишь смутно надеяться на обретение доверия своих призрачных собратьев, на посвящение в их тайны. Какое-то время я просто бродил туда-сюда в заимствованной у них безрадостной манере, старался следовать их маршрутам, молчал и, по сути, тунеядствовал... но ни намек на признание с их стороны не было. Они проходили мимо меня не глядя. На улицах Мирокава мы создавали лишь видимость присутствия — не более. Так мне казалось.

Скитаясь отверженной тенью, я все сильнее терял связь с миром людей, которому, казалось, недавно принадлежал. Не могу сказать, что подобный разрыв пробуждал во мне грусть: вопреки всему я вдруг пришел в приподнятое настроение, почувствовал некий азарт. Избитое шутовское «А вот и снова я!» вдруг обрело новый смысл... пусть я был один в своем клоунском послушничестве, пусть меня никто не замечал — я не был одинок!

И вскоре эта мысль подтвердилась.

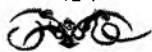
Против хода улицы неспешно двигался грузовик, и море праздношатающихся боязливо раступалось перед ним. Груз в кузове был крайне любопытным, потому как состоял исключительно из моих собратьев. Чуть поодаль грузовик остановился, чтобы принять еще парочку ряженных. Через квартал он подобрал еще партию, через два — развернулся и направился в мою сторону.



Я замер на обочине, подобно остальным, сомневаясь, что меня подберут. Вдруг им известно, что я самозванец? Но нет: машина замедлила ход, почти что притормозила рядом со мной. Шуты теснились в кузове, кто-то сидел прямо на полу, уставившись в никуда с предсказуемой отрешенностью, кто-то глазел на меня. Секунду я мешкал, не зная, желаю ли испытывать судьбу дальше, но в последний миг, поддавшись порыву, забрался в кузов и втиснулся между остальными.

Забрав еще несколько человек, грузовик направился к предместьям Мирокава. Сначала я пытался ориентироваться, но водитель сквозь сумрак выводил поворот за поворотом по сельским узкоколейкам, и я полностью утратил чувство направления. Большинство пассажиров грузовика никак не давали понять, что обеспокоены присутствием своих товарищей в кузове. Я осторожно переводил взгляд с одного призрачного лица на другое. Кое-кто шепотом обменивался короткими фразами с соседями. Я не мог разобрать, что они говорят, но интонации звучали совершенно нормально, как если бы это не были вялые выходцы из трущобного стада. Может быть, это искатели приключений, притворщики, как и я, или новички? Вероятно, они заранее получают инструкции на собраниях вроде того, на какое я попал вчера. Вдруг в этой толпе находятся и те юноши, которых я вчера так напугал, что они сбежали из старой столовой?

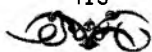
Грузовик набрал скорость и теперь ехал по довольно открытой местности, направляясь к высоким холмам, что окружали теперь уже далекий Мирокав. Нас хлестали плети ледяного ветра, и я



невольно дрожал от холода. Определенно это выдавало во мне чужака, потому что те два тела, что прижимались ко мне, были совершенно недвижимы и будто излучали свой собственный холод. Я всмотрелся в темноту — в ее владения мы въезжали.

Открытое пространство осталось позади. По обеим сторонам дороги нас обступил густой лес. Когда грузовик начал круто подниматься вверх, тела в кузове вжались одно в другое. Над нами, на вершине холма, сквозь лес сияли огни. Стоило дороге выровняться, грузовик резко свернул на грунтовку, что поначалу показалась мне прокопанной в снегу глубокой траншеей, и поехал на свет. По мере нашего приближения он становился ярче и резче, танцевал над кронами деревьев и освещал отдельные части того, что до поры скрывалось за сплошной темнотой.

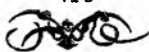
Выкатившись на поляну, грузовик остановился, и я увидел отдельно стоящие фигуры. Фонари, которыми были вооружены многие из них, разили ослепительными лучами холодного света. Глядя с высоты, я насчитал не менее тридцати этих мертвенно-бледных клоунов. Один из моих попутчиков, заметив, что я слишком задержался в грузовике, странным высоким шепотом велел поторопиться, сказав что-то насчет «пики темноты», и я снова подумал про ночь зимнего солнцестояния. Практически самый долгий отрезок темноты в году, хотя — не такой уж и отличный от всех прочих зимних ночей... если игнорировать тот факт, что его истинное значение относилось к событиям, имевшим мало общего со статистикой или с календарем.



Я пошел туда, где остальные уже сбились в плотную толпу, над которой витал дух ожидания, создаваемый едва заметными жестами и мимикой. Обмен взглядами, рука легонько касается плеча соседа, круглые глаза устремлены вперед, где двое ставят на землю свои фонари на расстоянии где-то шести футов один от другого. Фонари высвечивают колодезную яму в земле. Взгляды всех присутствующих собираются на ней, и, словно по сигналу, мы окружаем ее... а тишину нарушают лишь ветер и хруст замерзшей опали под нашими ногами.

Когда все мы столпились вокруг этой зияющей пустоты, один вдруг прыгнул в нее, на мгновение скрывшись из вида, но тут же вновь появился, чтобы взять фонарь, услужливо переданный ему чьей-то рукой. Яма осветилась, и я увидел, что она имеет не более шести футов в глубину. У основания внутренней стены был вырыт вход в туннель. Державший фонарь пригнул голову и исчез в проходе.

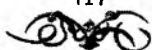
Клоуны из толпы один за другим спрыгивали в темноту колодца, и каждый пятый брал фонарь. Я стоял в хвосте парада. Что ждет меня там, под землей? Страх неизведанного задерживал меня здесь, на познанной тверди. Когда нас осталось всего десять, я переместился так, чтобы пропустить вперед четверых и остаться пятым — «фонарщиком». Расчет не подвел, и, когда я спрыгнул в яму, мне торжественно вручили персональное светило. Развернувшись, я быстро нырнул в проход. К этой минуте меня так трясло от холода, что я уже ничего не боялся и не испытывал ни малей-



шего любопытства — одну лишь благодарность за такое, хоть подземное, укрытие.

Я вошел в длинный, слегка наклонный туннель, достаточно высокий, чтобы выпрямиться. Здесь, внизу, было значительно теплее, чем снаружи, в ледяной тьме леса. Через несколько минут я согрелся достаточно, чтобы мысли перешли от физического дискомфорта к внезапной и оправданной тревоге за свою жизнь. Я шел, держа фонарь ближе к стенкам, — они были довольно гладкие и ровные, словно проход не вырыли вручную, а его выкопало нечто сообразно своему размеру и форме. Эта бредовая идея посетила меня, когда я вспомнил послание, оставленное на зеркале в моей спальне: *кто закапывается в землю раньше, чем умирает?*

Мне следовало поспешить, чтобы не отстать от жутковатых спелеологов, шедших впереди. Фонари у них над головами раскачивались при каждом шаге; неуклюжая процессия казалась все более призрачной, по мере того как мы углублялись в гладкий узкий туннель. В какое-то мгновение я заметил, что шеренга передо мной становится короче. Идущие входили в напоминавшее пещеру помещение, и вскоре подошел мой черед. Все тридцать футов от потолка до свода — настоящий подземный балльный зал! Задрав голову к потолку, я с дрожью подумал, что снизошел слишком глубоко под землю. В отличие от гладких стен туннеля, стены пещеры были неровными и неаккуратными, словно их глодала взалкавшая каменной стылой породы тварь. Землю отсюда выбрасывали либо прямо в туннель, либо в чернеющие



жерла по краям залы: вероятно, они вели на поверхность.

Убранство пещеры взволновало меня не так сильно, как ее посетители, — ибо здесь, похоже, собрались все насельники мирокавских трущоб: все как один с подведенными провалами глаз и черными овальными мазками ртов. Образовав круг с алтарем в центре, обитым темной кожей, они смотрели на подношение — нечто бледное, бесформенное, небрежно прикрытое. При алтаре стоял тот, чье лицо единственное здесь было избавлено от грима, — в длинной белой сутане под стать ореолу тонких седых волос, с опущенными вдоль тела руками, бездвижный; мужчина, который, как я когда-то верил, обладал силой зреть в корень тайн человеческих, при той же давнишней и впечатляющей менторской стати. Но не было во мне ныне восхищения — теперь я испытывал лишь ужас, мысля роль этого человека во всем происходящем. Неужто взаправду явился я сюда ради того, чтобы бросить вызов столь сильной фигуре? Имя, под которым я его знал, поблекло пред новым образом — передо мной был бог мудрости, летописец священной тайны, отец чернокнижия, трижды великий: Тот¹ — вот как следовало его ныне величать.

И вот он обратил к своей пастве сложенные длани, и моление началось.

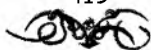
Сникшие в молчании, они все вдруг разразились завывающим пением на самой высокой, пронзительнейшей ноте. То был хор скорби, бе-

¹ Имеется в виду древнеегипетский бог мудрости с головой ибиса.



зумных страданий, постыдности, и, взлетая под своды пещерной залы, он сплетался с диссонирующей надтреснутой мелодией. И я присовокупил свой голос к их хору, пытаясь угодить этой калечной музыке, но не преуспел в имитации — слишком уж выбивался мой хриплый бас из всеобщего плакальщицкого фальцета. Дабы не обличить свою непрошеность здесь, я беззвучно вторил их словам, этой озлобленной на весь мир молитве, чей посыл в их обществе я до сей поры лишь ощущал. Они пели, взывая к «нерожденным в раю», к «незапятнанным жизнью душам», прося великое поветрие положить конец всем проявлениям жизни и самой смене времен года. Они молили о тьме, о бесцелии, об унылом посмертии, и их худые, бледные лица выказывали всеобщую безумную надежду; а жрецом их выступал человек, который некогда вдохнул в меня — хотя бы отчасти — жажду жизни. Всякие попытки описать мои чувства в те минуты обречены на крах... и еще безрассуднее с моей стороны пытаться описать то, что произошло после.

Пение внезапно оборвалось, и торжествующий седовласый царь заговорил. Он приветствовал новое поколение — двадцать зим минуло с того дня, как Чистые пополнили свои ряды. Слово *чистые* в этих обстоятельствах было насилием над остатками моих чувств и самообладания, потому что нет и не может быть ничего более грязного, чем сопроводившее его действо. Тосс — называть его так было неверно, но привычно — завершил церемонию и отошел назад, к темневшему алтарю. С него он откинул покров своим старым жестом препода-



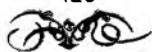
вателя-затейника, обнажив бледное, избавленное от одежд тело — или же имитацию тела, небрежный набивной манекен, чучело?.. Стоя ближе всех к спасительной горловине туннеля, я не мог сказать наверняка, ибо попросту не видел ясно.

Окинув взглядом это кукольное тело, Твсс обратился к соборищу. И не мне ли лично предназначался тот понимающий взгляд? Раскинув руки, он выдал еще одну сумбурную литанию — и по рядам прошло слабое, но ощутимое волнение. До того момента я наивно полагал, что узрел предел озлобленного отчаяния этих людей, — ведь, в конце концов, они были лишь соборищем плаксивых, самоистязающихся душ, окрепших во странной вере. Если что-то я и познал за годы изысканий на антропологической ниве, так только то, что мир полнится странными идеями, порой преступно безрассудными, лишенными даже намека на смысл. Но сцена, свидетелем коей я выступил, загнала мои воззрения в область такого мрака, откуда обратной дороги не сыскать.

Пробил час превращения — апофеоз шутовского маскарада.

Он набирал обороты неспешно. Среди стоявших у дальнего края зала, где пребывал и я, росло роптание. Кто-то упал на пол, и все попятились. Голос у алтаря все тянул инвокацию. Я вознамерился найти лучший угол обзора, но от тех, других, было не протолкнуться. Сквозь массу всё закрывающих тел я лишь мельком улавливал происходящее.

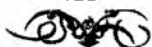
То, что замерло на полу, казалось, утрачивало свои прежние формы и пропорции, и я принял это



за акробатическую ловкость. В конце концов, они все тут — скоморохи, ведь так? Я и сам умею превратить четыре белых мячика в четыре черных, пока ими жонглирую, и это отнюдь не самый мой эффектный трюк! И разве ловкость рук, зачастую зависящая от одного лишь умения одурачить зрителя, не является неотъемлемой частью любого ритуала? Прекрасный балаганный номер — так считая, позволив себе даже смешок! Сцена преобразования Арлекина, оставшегося без личины, — вот что я наблюдал! О, Арлекин, к чему все эти ужимки и прыжки? Где же твои руки, Арлекин? Что с твоими ногами — они сросшены воедино и бьют по полу, словно хвост! А что же с твоим лицом — есть лишь этот мерзкий раззявленный рот, но где глаза и все прочее? *Кто закапывается в землю раньше, чем умирает?* Конечно же, червь! Величайший из всех червей и гроза «гаеров пестрых» — Червь-Победитель¹!

Превращение захлестнуло всю пещеру. Отдельные участники сборища смотрели пустым взглядом, на мгновение впадая в хладный ступор, а после падали на пол, охваченные дрожью преобразования. Чем громче и неистовее Тосс читал свою молитву (или заклинание?), тем явственнее нарастала частота явления. Уже преобразившиеся ползли к алтарю, и Тосс приветствовал попытки этих

¹ «Червь-Победитель» — образ из одноименного стихотворения Эдгара Аллана По, как и «гаеры пестрые» (т. е. шуты, клоуны): «Но что это там? Между гаеров пестрых // Какая-то красная форма ползет, // Оттуда, где сцена окутана мраком! // Ты червь, — скоморохам он гибель несет!» (пер. К. Бальмонта).

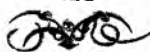


тварей вползти наверх. Лишь теперь я понял, чье обездвиженное нагое тело покоилось там.

Это Кора, она же Персефона, дочь Цереры¹, Зимовница: дитя, похищенное и насильно увенченное в нижний мир мертвых. Да только у этого ребенка не было ни могущественной богини-матери, что могла бы прийти на помощь, ни даже настоящей, живой. Ибо жертва, свидетелем которой я стал, была лишь эхом той, которую принесли двадцать лет назад, отголоском карнавального пиршества предыдущего поколения. Теперь обе, и мать, и дочь, были дарованы этому подземному гульбищу: фигура на алтаре пошевелилась, подняла свою ледяной красоты голову и пронзительно закричала при виде жадных ртов, смыкавшихся вокруг нее.

И я выбежал из залы в туннель, убеждая себя, что не могу ничего сделать. Те из них, что еще не превратились, пустились в погоню. Вне всяких сомнений, они бы меня настигли — успев пробежать всего несколько ярдов, я упал. Гадая, какая же меня ждет роль — второго подношения на алтаре или же очередного омерзительного пирующего, — я стал ждать, когда их шаги зазвучат совсем близко... но поступь вдруг стихла, а потом и вовсе стала отдаляться. Они получили приказ от верхов-

¹ Церера — древнегреческая богиня урожая и плодородия. Ее дочь от Юпитера, Персефона, была похищена Плутоном, но в итоге возвратилась в надземный мир. Время пребывания Персефоны в подземном царстве («скорбь Цереры») принято отождествлять с зимним увяданием природы, прекращающимся вместе с воссоединением матери и дочери.



ного жреца. Я его тоже услышал... как же напрасно! Ведь, сложишь все иначе, я бы мог обманывать себя и думать, что Тусс меня не помнит. Но звук его голоса наделил меня очередным знанием... а от однажды узнанного — не сбежать.

Мне дали уйти.

С трудом встав на ноги, я вышел из туннеля обратно к свету, сквозь чернильную тьму, ибо фонарь мой разбился, когда я упал.

Выбравшись из колодца, я, не мешкая, побежал через лес к дороге, стирая с лица мерзкий грим. Выскочив на дорогу прямо перед ехавшим автомобилем, я был почти уверен, что меня собьют, — но нет, водитель успел остановиться.

— Спасибо! — крикнул я ему.

— Какого дьявола вы тут забыли? — удивился он.

Я тяжело выдохнул:

— Это шутка. Местный праздник. Друзья подумали, что будет смешно. Прошу, увезите меня отсюда.

Он высадил меня примерно за милю от города, откуда я и сам сумел найти дорогу — ту же самую, по которой приехал в Мирокав в первый раз, летом. Я остановился на вершине холма, глядя вниз, на эту оживившуюся, расцветшую глушь. Празднество не сбавило своих оборотов, и я спустился навстречу ярким зеленым огням.

Добравшись до гостиницы, я был рад тому, что меня никто не застал. Зная о том, сколь жалко выгляжу сейчас, я страшился встречи с любым, кто мог бы спросить, что со мной произошло. За стойкой никто не присматривал, и мне даже не



пришлось объясняться с Бидлем. Кругом царила атмосфера покинутости, которую я счел бы зловещей, найди я в себе силы помедлить и присмотреться.

Я поднялся вверх по лестнице в свой номер. Хлопнув дверью, я тяжело опустился на кровать — и вскоре был укутан милосердной чернотой.

7

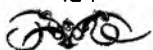
Проснувшись утром, я увидел в окно, что на город и окрестности ночью обрушился снегопад — один из тех, что невозможно предугадать. Снег все еще валил, собираясь в сугробы на опустевших улицах Мирокава, дул сильный ветер. Праздник кончился. Все разошлись по домам.

Видимо, пора было возвращаться домой и мне — а что еще оставалось? Любые действия по поводу увиденного ночью следовало отложить до отбытия из города. Какая польза будет от моих речей? Какое бы обвинение я не выдвинул против обитателей мирокавских трущоб, оно будет звучать неправдоподобно. Всё спишут на праздничную галлюцинацию, шутку, белую горячку. Сложат в одну коробку со статьями Рэймонда Тьюсса.

Взяв в руки по чемодану, я спустился к стойке, чтобы расплатиться. Сэмюэла Бидля на месте не оказалось. Клерк долго искал мой счет среди бумаг.

— Ох, вот же он. Вам у нас понравилось?

— Более чем,— ответил я.— Мистер Бидль здесь?



— Нет, боюсь, он еще не вернулся. Всю ночь искал Сару. Это его дочка, она тут довольно популярная особа. Ее избрали вчера Зимовницей — верите ли? До сих пор, думаю, зависает на какой-нибудь вечеринке...

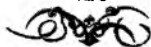
Из глотки моей поднялся слабый сип.

Бросив чемоданы на заднее сиденье машины, я сел за руль. Этим утром все, что я вспоминал, казалось мне нереальным. Падал снег — медленно, беззвучно и завораживающе, — и я смотрел на него сквозь лобовое стекло. Заведя двигатель, я привычно глянул в зеркало заднего вида. Увиденное там столь ярко запечатлелось в моей памяти, что мне даже не стоило оборачиваться, чтобы убедиться в реальности происходящего.

Посредине улицы, по щиколотку в снегу стояли двое: Тосс и еще кто-то. Присмотревшись, я узнал одного из тех юношей, которых спугнул в столовой. Но теперь своим безотрадно-апатичным видом он уподобился новоявленному члену моей новообретенной семьи. Оба смотрели на меня, не пытаясь помешать моему отъезду. Тосс знал, что в этом нет нужды.

Пока я ехал домой, перед моим мысленным взором стояли две темные фигуры, но только сейчас вся тяжесть пережитого обрушилась на меня. Пришлось сказать больным, чтобы не вести лекции. Жизнь не входила в привычную колею: я пребывал во власти зимы куда более холодной, чем любая зима в истории человечества. Любые попытки переосмыслить случившееся тщетны — все глубже и глубже забредаю я, все безнадежнее теряюсь

ГОЛОС ТЕХ, КТО ПРОКЛЯТ. Последнее пиршество...



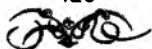
в бархатистой ослепительно-белой стуже. Порой я почти теряю себя, опустеваю, таю, как чистый снег. Вспоминая, каким невидимым я был на улицах Мирокава, когда меня — парию! — не задевал шумливый, одурманенный сброд, я ностальгирую — за что испытываю к самому себе истинное отвращение! Если то, что я познал, — правда, если Тосс был прав, то мне такая мудрость ни к чему.

Вспоминаю его приказ остальным, когда я, безоружный, лежал в туннеле. Его голос эхом прокатился по пещере — он до сих пор звучит в кавернах моей памяти:

«Он — один из нас. И всегда был одним из нас».

Именно эти слова отныне царствуют над моими снами, днями и долгими зимними ночами.

Я видел вас, доктор Тосс. Видел из окна — вы были там, в круговерти, в снегопаде. Знаете, скоро и на моей улице будет праздник. И праздновать его я буду один. Потому что вы вскоре умрете, доктор, — единственно ради того, чтобы усвоить одну простую истину: я *услышал* ваши слова.

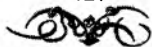


ОЧКИ В ФУТЛЯРЕ

I

В прошлом году в эту же пору — может статься, даже в этот же день — Печатник наведалься ко мне домой. Казалось, он всегда знал, когда я возвращаюсь из своих уже столь привычных поездок, — и заявлялся непрошеным гостем точно под мой порог. Хотя мое прошлое пристанище было жалко-захудалым, Печатник читил его едва ли не как некий дворец чудес, удостаивая высокие потолки и предметы старины такими взглядами, будто с каждым визитом ему все больше и больше открывались их живой дух и красота. В тот день — сдается мне, было пасмурно, — он не преминул явиться снова. Мы сидели в зале — просторном, но скудно обставленном.

— Ну и как твоя поездка? — как бы поддерживая светскую беседу, спросил он. Его улыбка — а улыбался он в том числе и за меня, уж будьте уверены, — так и лучилась радостью от возвращения в мой дом и мою компанию. Пришлось, поднявшись, ответить тем же. Печатник, конечно же, встал вместе со мной — почти одновременно.



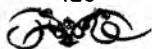
— Может, к делу перейдем? — предложил я. *Вот привязался-то, явилась мысль.*

Наши подошвы отбили чечетку по жесткому деревянному паркету к лестнице. По ней мы поднялись на второй этаж, который я держал почти полностью пустым, а оттуда — по лестнице поуже — на третий. Хоть я и водил его по этому пути прежде, по его блуждающим глазам, что подмечали каждую трещинку в стене, каждую трепещущую в углу паутинку, каждый знак запущенности дома, я понимал — эта прелюдия всякий раз захватывает его, и она не менее важна, чем конечная цель. В конце коридора третьего этажа была небольшая деревянная скорее стремянка, нежели полноценная лестница. Вела она на чердак, где я хранил кое-что из своей коллекции.

Чердак просторным назвать было никак нельзя — атмосфера давила и, по признанию Печатника, образовывала идеальный клаустрофобический ансамбль с теснящимися высокими шкафами, стеллажами до потолка, сундуками и комодами. Сюда их, по большому счету, определило время — ну а Печатнику, в любом случае, похоже, даже нравилась обстановка.

— О, Комната Тайн, — протянул он. — Хранилище, где все твои чудеса надежно сокрыты от мира.

Эти чудеса и тайны, как называл их Печатник, лишь человеку определенного взгляда на мир могли приглянуться. Печатник любил расхаживать по моей комнате причуд, собрать по пути охапку экзотических экспонатов и садиться на пыльный диван в центре чердака, чтобы получше все рассмотреть. Конечно, особой любовью у него неиз-



менно пользовались новинки, привозимые мной из моих продолжительных паломничеств,— поэтому я сразу подвел его к двуручному кинжалу с лезвием из полированного камня. Едва взглянув на предмет забытого церемониала, Печатник протянул мне навстречу плоские ладони, и я вложил кинжал в них.

— Кто мог сделать такую вещь? — задался он вопросом... чисто риторическим, пожалуй.

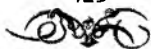
Он никогда не ждал прямых ответов — быть может, они ему были и не нужны. Разумеется, я не предложил более внятного объяснения, чем легкая улыбка. Впрочем, как я быстро подметил, волшебство первого впечатления от этой моей *ауры дразнящей тайны* (опять-таки, слова Печатника) быстро сходило на нет. Как мало требуется порой времени, чтобы нагнанный тобой сверкающий туман обнажил разочаровывающую обыденность. Приходилось крутиться как белка в колесе.

— Вот,— изрек я, шаря рукой в темных недрах открытого шкафа.— Это следует носить при работе с артефактом.— И я набросил ему на плечи расписанный ветвистыми узорами необычных цветов плащ с капюшоном.

Печатник стал любоваться на себя в зеркало, вделанное в дверцу.

— Ты только взгляни на это! — едва не срывался он на крик.— Все эти рисунки... они движутся! Как странно! Как здорово!

И тут, неожиданно-негаданно, он воздел к пыльному потолку обе руки — призывая каких-то своих воображаемых богов,— и зашелся в приступе полубезумного сардонического хихиканья. Я от-



ступил назад, кляня себя за неосмотрительность. Печатник стал кружиться на месте, выписывая почти безупречные па и смеясь... и лишь потом, сбив дыхание, он позволил мне обезоружить себя, проковылял до пыльного дивана и упал на него лицом вниз, распластавшись, словно мертвая мокрица. Когда я аккуратно подошел к нему с кинжалом наготове, то понял, что он, все еще похихивая, листает одну из тех книг, что собрал для ознакомления по пути сюда. Книгу эту я опознал почти мгновенно — по одному лишь хрустящему звуку замшелых страниц, исписанных символами, целиком захватившими Печатника, несмотря на то что он не смог бы ни назвать язык, ни тем более что-то прочесть.

— Потерянный гримуар настоятеля Тинье,— пробормотал он.— Перевод на...

— Хорошая догадка,— заметил я,— но неправильная.

— Тогда... тогда — запрещенные Псалмы Молчания. Автор неизвестен.

— Неизвестен этому миру — о да,— кивнул я.— Но — снова промах.

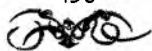
— Ну давай,— он сверкнул в мою сторону глазами.— Давай подсказку.

— Неужто не хочешь догадаться сам? — спросил я.

Повисла тишина.

— Ну, допустим, хочу,— наконец ответил он. Поднес древнюю книгу обратно к глазам, раскрыл, прищурился.

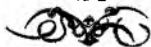
По правде говоря, тайны этого Священного Писания были в числе самых сокровенных из всех



им подобным: у меня ведь никогда не было ни малейшего желания обмануть Печатника, поводить его за нос. Но никакая тайна не вечна. Чем больше людей о ней узнает, тем ближе она к земле. Выйдя из сумрака, некогда-тайны в дальнейшем служат лишь инструментами в раскопках еще более глубоких тайн, коим, в свою очередь, уготована та же судьба. И так — со всеми секретами Вселенной: в конечном счете искатель абсолютного знания осознает — интуитивно или же чрез истощение душевных сил, — что этот жестокий труд не имеет завершения, и смерть одной тайны за другой суть бесконечная вереница, простирающаяся далеко за пределы отведенных искателю земных лет. Сколько же их — тех, кто еще ищет? Сколько тех, кто мечется до конца дней своих с неутасяющей надеждой на некое абсолютное откровение? Точных чисел не назовет никто — я лишь надеюсь, что не так уж и много. По меньшей мере Печатник был среди них... и я намеревался сократить их число.

План был банален: закормить его тайнами до тошноты — и даже сверх того. Все, что в нем в итоге должно было остаться, — стыд и жалость за время, потраченное на войну с ветряными мельницами.

Пока Печатник лежал на диване, таращась в ту дурацкую книгу, я двинулся в сторону массивного комода, чьи ящики представляли собой решетчатые корзины из потускневшей стали, опранные в темное дерево. Выдвинув один из них, я разгреб завалы из книг и амулетов, выискивая белый футлярчик.



Не такой уж и белый: наподобие тех, что дают в ювелирных магазинах, безо всяких опознавательных знаков; он *был бы* белым, если бы не эти многочисленные отпечатки пальцев — больших, судя по всему, — размазанные по его гладким бокам, вплоть до середины поверхности. Никаких защелок, никакой инкрустации, никаких даже стыков, намекающих на то, что футляр вообще можно открыть. Улыбнувшись этой фальшивой интриге, я отыскал два самых свежих боковых отпечатка пальца и надавил на них. Кладнув, футлярчик распахнулся.

Как я и полагал, Печатник все это время исподтишка наблюдал за мной.

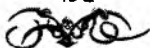
— Что у тебя там? — спросил он.

— Прояви терпение — и увидишь, — ответил я, осторожно изымая из футляра две сверкающие вещицы: крохотный серебристый скальпель, слегка напоминающий заточенный до бритвенной остроты нож для вскрытия писем, и старомодные проволочные очки.

Печатник отбросил мигом ставшую скучной книгу и уселся на валик дивана. Я устроился рядом и раскрыл очки — так, чтобы дужки смотрели прямо ему в лицо. Он подался вперед, и я надел их на него.

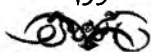
— Простое стекло, — с явным разочарованием выдал он. — Или мало диоптрий.

Его глаза закатились, будто он вдруг вознамерился узнать, как выглядит его лицо с изнанки. Не говоря ни слова, я поднес ножик к его лицу — и водил перед ним, пока он, в конце концов, не заметил его.



— О-о-о,— протянул он, улыбнувшись.— Все не так просто.

— Конечно же, не так просто,— согласился я, мягко вращая стальное лезвие перед его очарованными глазами.— Если не возражаешь — вытяни вперед руку. Неважно, какую. Да, вот так вот, правильно. Не волнуйся, ты ничего не почувствуешь. Вот так вот,— произнес я, сделав маленький надрез.— Теперь следи за этой тоненькой красной линией... Твои глаза теперь сплавлены воедино с этими чудесными линзами, и зрение у вас теперь одно, общее. Что же ты видишь? Все то, что очаровывает. Все то, что имеет власть над всеми твоими изысками и снами. О том, чтобы отвести взгляд, не может быть и речи. И даже несмотря на то, что смотреть, по сути, не на что, перед тобой — образ, пейзаж бескрайний и давящий. Необъятность его такова, что даже великолепные просторы всех известных миров не могут сравниться с этим чудом. Мир, сияющий, как бриллиант... титанический, исполненный жизни. Ничем не стесненные ландшафты кишат жизнью, неведомой глазам смертного. Непредставимое разнообразие форм и движений, образов и способов существования, явленное в мельчайших деталях, невзирая на масштаб — будь то гиганты, простершиеся от горизонта до горизонта, или же крохотные гидры, покачивающиеся в мутном океанском ложе... и даже все это — лишь деталь в картине, которую предстоит изучить и понять. В картине, где галактики свиваются в лабиринты, а суть и сущность ежесекундно преобразуются. Ты чувствуешь себя свидетелем самых загадочных явлений, которые

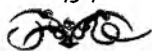


только существуют или же могли некогда существовать. Но остается нечто незримое в этих видениях. Нечто сокрытое. Что-то, напоминающее беснующуюся молнию за грозовой тучей, темной и пульсирующей. Что-то, что сулит *еще больше* ответов. Ведь все остальное — лишь мембрана, прикрывающая окончательную форму, ждущую, чтобы появиться на свет, разразиться катаклизмом, объединившим в себе начало и конец. Созерцать прелюдию к этому событию — опыт невыносимого ожидания; экстаз и страх сливаются в новое чувство, великолепно отвечающее воздействию высшего источника творения. Еще миг — и, кажется, грянет потрясение первооснов; но секунды проходят, одна за другой, и видение все более захватывает, ничего нового не предлагая, ничего не перекрывая. И, хоть этот образ все еще жив в тебе, глубоко в твоей крови... ты сейчас проснешься.

Вскочив с дивана, Печатник качнулся вперед, сделал несколько нетвердых шагов. Окровавленную ладонь он вытер о перед рубашки — будто стараясь стереть все увиденное. Он принялся энергично мотать головой из стороны в сторону, но очки, удержавшись на его переносице, остались в целости.

— Все в порядке? — окликнул я его.

Печатник будто ослеп. Его глаза за стеклами очков ничего не выражали, с губ не могло слететь ни слова — ибо накопилось их слишком много. Однако, стоило мне потянуться к его лицу, чтобы снять очки, он взметнул руку навстречу, будто желая мне воспрепятствовать. Но порыв этот был нерешителен. Сложив дужки вместе, я возвратил



очки в футляр. За моими действиями Печатник, все еще ошарашенный донельзя, следил с почти комичным благоговением.

— Ну?..— спросил я.

— Ужасно,— выдохнул он.— Но...

— Но?

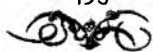
— Я хотел спросить... откуда они взялись?

— Задействуй воображение,— парировал я.

И на долю секунды мне почудилось в выражении его глаз, что вот именно сейчас, вопреки всем привычкам, он желает получить самый простой ответ. Но то была лишь доля секунды — не более; и вот он, снова откинувшись на диван, сверлит сверкающим взглядом потолок, улыбается и придумывает мне достойную историю.

— Думаю,— начинает он,— ты был на каком-нибудь оккультном аукционе. Из тех, что проводят в зланных районах Старого Света. Вот показывают футляр. Достают очки. Они были сделаны несколько поколений назад учеником гностиков, что был еще и талантливым оптометристом. Его целью было создать пару искусственных глаз, позволяющих обходить препятствие физических оболочек и увидеть далекие измерения, врата в которые таятся внутри нашей собственной крови.

— Замечательно,— похвалил я.— Предположение столь близкое к правде, что прояснять детали — попросту вульгаризировать историю. Но все же очки я купил вслепую, вместе с кучей антикварного хлама. Никто не знал, откуда они взялись,— просто не помнил. Вот они и лежали здесь, на чердаке. А ножик из набора фокусника. Им можно резать бумажные букетики и шелковые путы.



Я поднял футляр с очками и ножом — так, чтобы Печатник не дотянулся:

— Можешь себе представить весь риск, что сопряжен с обладанием такими вот, как ты сказал, искусственными глазами?

Он серьезно кивнул.

— А благоразумие, которое должен проявлять их обладатель, — можешь?

Он ответил мне только взглядом. Поднес ладонь ко рту, впился губами в рану.

— Тогда я со спокойной душой препоручаю их тебе, Печатник. Ты — наилучшая кандидатура из всех возможных. Носи с честью.

Хотя, конечно, ни о какой чести речи не шло — я одаривал младенца взрывчаткой, и все тут. Отдавал ему то, что попросту давно тяготило меня самого.

Когда он уже стоял в дверях моего дома, неловко сжимая футляр с бесценным подарком, я окликнул его:

— Кстати, Печатник, тебе когда-нибудь приходилось бывать под гипнозом?

— Нет, — ответил он. — Почему ты спрашиваешь?

— Любопытство, — пожал плечами я. — Сам знаешь. Ну, спокойной ночи.

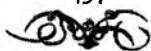
И я закрыл дверь, оставив его наедине с самым желанным предметом в мире, в душе надеясь, что пройдет хоть какое-то время, прежде чем он вернется.

— Если вернется, — вслух поправил я себя, и голосу моему ответило эхо пустого дома.



Но прошло не так уж и много времени, прежде чем я снова столкнулся — совершенно случайно — с Печатником. Был вечер, и я бродил по антикварному магазину, сбывавшему всяческий мусор: тут были ржавые весы, не стоившие и копейки, кривые шкафы, сломанные заводные игрушки, старая мебель, пепельницы такого вида, будто их украли из гостиничных номеров, мешанина рухляди, чьи происхождение и назначение казались непостижимыми даже мне. В таких магазинах, впрочем, я отвлекался и утешался в большей степени, нежели в самых экзотических торговых местечках, которые столь щедры на всяческие обещания, что тайна их проведения перестает быть тайной. Но сегодня антикварная лавка не смогла меня ничем порадовать, уступив сию возможность более честолубивым собратьям. То, что для Печатника, наверное, так и оставалось сокровищами по сей день, в моих глазах упало до уровня непригодного мусора. Одни только *чары разочарования* и сохранили для меня значимость во всех этих поисках.

Случаю было угодно свести нас с Печатником именно в тот вечер и именно в том антикварном магазинчике. Мы встретились взглядами в дефектном зеркале — одном из многих, что стояли, выстроившись вдоль стены, будто бы предъявляя некую специализацию лавки. Сев на корточки перед одним из пережитков, я смахнул рукой пыль с его глади — и там, под пылью, обнаружил отражение Печатника. Он, надо полагать, только-только



вошел. Признал меня почти сразу. Могу ли я точно определить ту гамму чувств, что отразилась на его лице: удивление, страх, нечто совсем другое? Даже если бы Печатник рискнул окликнуть меня, что бы я ему сказал? Посетовал бы на его вымотанный вид — ведь выглядел он так, будто прошел через какую-то катастрофу? А он — что бы он смог сказать мне в ответ? Ведь правда была нам обоим известна безо всяких слов.

К счастью, ничего этого не случилось. Мгновение спустя Печатника и след простыл — он тихо выскользнул за дверь. Подойдя к панорамному окну магазина, я увидел лишь силуэт, быстро растворяющийся в безрадостных серых тонах улицы, силуэт, зажимающий рот правой рукой так, будто его обладателя вот-вот стошнит.

— Я ведь хотел помочь ему,— пробормотал я.

Не обернись все так, я бы ни за что не сказал, что болезнь Печатника была из разряда неизлечимых.

3

На следующий день я спрашивал себя снова и снова, до исступления, какая муха его укусила. В конце концов, я просто снабдил его игрушкой-обманкой — услаждающая взор подсознательная вселенная в капельке крови, ну не глупость ли? Мне и в голову не приходило, что все так далеко пойдет. Но так и вышло — и теперь я гадал, куда унес этого горемычного его собственный беспоконный ум. Ответ, непостижимый в бодрствовании, явился мне во сне.



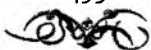
Вполне закономерно, что местом для него послужил старый чердак моего дома — ведь во всем мире нельзя было сыскать для Печатника места более ценного. Я сидел на стуле — высоком, удобном и в реальности не существовавшем. Стул был поставлен прямо перед пыльным диваном. Голова моя была заполнена звонкой пустотой, и лишь слабое волнение давало понять, что на чердаке есть кто-то еще, кого я не мог разглядеть, — все вокруг было тусклым, расплывчато-серым. Кто-то будто бы сидел на диване, а может, просто так падали тени.

Приложив руку к глазам, я понял, что ношу очки с круглыми линзами, вделанными в проволочную основу. *Стоит их снять — и я все предельно ясно увижу*, появилась мысль, но голос со стороны произнес: *даже не думай* — и я узнал его. Тень на диване обрела человеческие черты, и стылый ужас вдруг сковал мне сердце.

— Уйди, Печатник, — сказал я. — Ты меня ничем не удивишь.

Но голос, упавший до насмешливого хриплого шепота, не согласился. То, что он говорил далее, смысла на первый взгляд не имело — и в то же время какая-то доля правды в этом всем была. *Конечно же, ты удивишься. Ты УЖЕ можешь удивляться — грядут такие тайны и чудеса, о которых ты и думать не смел.*

И все мои чувства, обострившиеся от пристального взгляда через очки, вдруг стали доказательством его туманных слов. То были чувства особой природы, которые, как подсказывает мне личный опыт, являются лишь во снах: вспышки осозна-

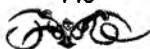


ния, приходящие из ниоткуда, исполненные невыразимого значения, не имеющие места где-либо еще в нашей жизни. Но хоть эти ощущения астрономического масштаба и предлагали познать нечто невероятное и яркое, я ничего не видел сквозь тусклые стеклышки очков, кроме неясных очертаний человека передо мной, которые проявлялись все более и более полновесно. Тут я осознал, что с этим человеком что-то не так: всю его кожу кто-то исполосовал до кровавых лохмотьев, и каждая страшная рана обретала тошнотворную четкость и микроскопическую детальность прямо на моих глазах. Единственный обладатель цвета в серой реальности, этот живой труп дергался и дрожал, словно огромное обливающееся кровью сердце всего сновидения. От него исходил звук — ужасное хихиканье потерявшего рассудок.

— Я вернулся из своей поездки! — провозгласил он с издевкой.

Именно эти его простые слова сподвигли меня к действию; я сорвал очки с лица — невзирая на то что теперь они, казалось, были частью моего тела. Сжав обеими руками, я швырнул их в стену. Стекла разлетелись от удара. С реальности спали серые завесы, исчез и ужасный освежеванный гость. Посмотрев на стену, я увидел красные брызги там, где о нее ударились очки. Осколки линз на полу кровоточили.

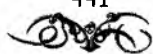
Подобный сон, пусть даже единожды явленный, мог бы послужить хорошей основой для неприятных воспоминаний, преследующих до самого конца жизни: в непостижимых глубинах наших чувств мы порой жаждем вернуться к ним. Но



переживать сей кошмар раз за разом, как вскоре выяснилось, мне было предписано судьбой — и привело к тому, что я возжелал найти способ разрушить сон на мельчайшие осколки, разгадать скрывающуюся в каждом тайну и после — успешно забыть.

В поисках избавления я обращался взглядом к теням под покровом моего дома, отрезвляющим теням, в иные времена дававшим мне пусть стылое, но все же достойное убежище. Но взглядов не хватало, и я заговорил со стенами, возглашая литанию против всяческих призраков и всяческих чудес:

— Так как любая... абсолютно любая форма существования есть конфликт сил по определению... или же и вовсе ничем не является... то какая разница, в каком мире этот конфликт имеет место — непостижимом или обыденном? Различие между двумя мирами или несущественно, или его нет. Лишь самый ограниченный, самый сырой взгляд на вещи может провести пограничную черту, ссылаясь на «ощущение чуда», «ощущение тайны»... Всякому эзотерическому исступлению — если о нем вообще встает вопрос — нужна опора из вульгарной боли, чтобы стать опытом. Признав, что любая истина есть продукт случая, признав мутационный характер любой действительности: знакомой, незнакомой, данной в подозрениях, — нужно заключить, что понятие «чуда» ничего не меняет в нашем существовании. Галерея человеческих ощущений, обретенных в доисторический период, идентична той, что достается каждому ныне живущему... и каждому, кому еще только



предстоит родиться... за гранью жизни — она все та же.

Вот так я уговаривал собственное самообладание вернуться, но прежнему моему спокойствию пришел конец. Призрак Печатника маячил передо мной и днем и ночью. И зачем я только дал ему эти очки? Более того, почему я позволил им остаться у него? Пришло время забрать свой подарок — конфисковать эти два стеклышка в оправе перекрученного металла, попавшие не в те руки. И, коль скоро я добился излишнего успеха в своей него-степриимности, пришла моя очередь стучаться в дверь.

4

Но прогнившую и грязную дверь дома, стоявшего в конце улицы перед огромным пустырем, открыл не Печатник. Не он спросил меня, кто я — журналист или полицейский, не он захлопнул ее перед моим носом, когда я ответил, что не являюсь ни тем ни другим. Я забарабанил в дверь, грозящую рассыпаться в щепки от моих ударов, и он снова явился — человечек с заплывшими глазами; я спросил у него, по тому ли адресу я пришел... да, я знал адрес Печатника, но никогда не считал нужным навестить это место, эту безотрадную темницу, где Печатник жил, мечтал и видел сны.

— Вы родственник?

— Нет,— ответил я.

— Тогда что вам нужно? Уж точно не из налоговой — были б вы оттуда...

— Я просто друг.



— Тогда как так вышло, что вы не знаете?..

Пришлось на ходу соврать, что я был в отъезде некоторое время — вообще, я взаправду много путешествую,— и у меня есть свои причины оповестить человека, которого я знал только как Печатника, о своем возвращении.

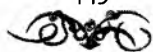
— Значит, вы еще не в курсе,— подвел он черту.

— Истинно так.

— Даже в газете была заметка. Потом меня о нем расспрашивали,— протянул он задумчиво, будто делясь неким тайным знанием.

Впустив в дом, усталого вида хозяин провел меня сквозь уродливые душные интерьеры к маленькой кладовой на задворках. Отворив дверь и пошарив по стене — словно заходить внутрь ему совсем не хотелось,— он зажег свет.

Я сразу же понял причину такого нежелания. Печатник переделал кладовую во что-то в высшей степени странное. Стены, потолок и пол превратились в мозаику зеркал, вместе образуя ужасающий гломеробласт избыточных отражений, и на каждом зеркале лежали мириады алых брызг — будто кто-то щедро обмакнул кисти в красную краску и вальсировал с ними по комнате. В попытке ослабить — или все-таки обострить? — пленившие его видения, Печатник использовал не только целые реки собственной крови, но и *отражения* этих рек, обзаведясь несметным количеством глаз. Очарованный столь ужасным стремлением, я в безмолвном трауре оглядел зеркальную комнату. В одной из стеклянных панелей я узнал то самое дефектное зеркало из антикварной лавки, с которого не так давно смахивал пыль.



Хозяин, так и оставшийся стоять снаружи, говорил что-то об омерзительном, изощреннейшем самоубийстве, но мне, раздавленному изобретательностью Печатника, слова были ни к чему. Прошло некоторое время, прежде чем я смог отвести взгляд от этого безумства из стекла и запекшейся крови. Только позже я всецело осознал, что от ужасов Печатника мне не избавиться никогда. Сквозь все эти зеркала он проложил себе дорогу в вечность.

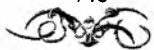
И даже несмотря на то, что я покинул свой дом, бросив забитый тайнами чердак на произвол судьбы, Печатник все еще следует за мной по пятам — в моих снах. В каком бы уголке земного шара я ни пребывал, смежив веки, я снова могу столкнуться с ним, зазывающим присоединиться к его отвратительной миссии. Надеюсь лишь, что, когда наступит моя пора отбыть туда, где рождается само понятие тайны, а сну нет конца, я не встречу с ним опять. Господи, Печатник, почему же тебе не лежится спокойно в ящике, куда заключили то брэнное тело, от которого ты собственноручно отрекся?

ЦВЕТЕНИЕ БЕЗДНЫ

Я подарю свои слова ветру, зная, что когда-нибудь они достигнут тех, кто послал меня сюда. Пусть это овеванное осенним гниением свидетельство несчастливой роки возвратится к вам, мои дорогие. Ведь это вы рассудили, куда мне следует идти, это вы возжелали, чтобы я попал сюда и повстречал его. И я согласился — ведь страх, что наполнил ваши голоса и исказил лица, поведал мне куда больше, чем вы сами смогли бы. Я испугался вашего страха перед ним — тем, чье имя никто не знал, тем, кто жил вдали от всех в ветшающем доме, на чей алтарь возложили свои жизни члены рода Ван Ливенн.

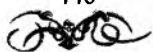
— Какая трагедия! — сокрушались мы. — Они так бережно хранили свой дивный сад. Но он... он, похоже, не особо заинтересован в таких вещах.

Я был послан узнать, что за секрет скрывает этот новый владелец, какую злобу или обиду за-таил на жителей нашего городка. Вы сказали: кто, как не я? Кто, как не человек, которому доверено учить наших детей, носитель знаний, сможет справиться с этим таинственным дикарем? То были ваши слова — той ночью, под покровом



церкви, где мы собрались. Но ваши мысли — да, я не мог их прочесть, но я чувствовал — утверждали: *у учителя нет своих детей, совсем нет, и безумно долго тянущиеся часы он проводит в прогулках в том самом лесу, где сейчас живет чужак.* Да, должно быть, вполне естественно было бы мне пройти мимо старого родового поместья Ван Ливеннов и испросить стакан воды — простой путник, утомился, пока ходил по лесу... Но даже столь бесхитростный план отдавал рискованной авантюрой, и все понимали это тогда, хоть никто и не осмелился признаться. *Бояться нечего,* сказали вы и послали меня — одного! — к этому пришедшему в зримый упадок дому.

Вы видели этот дом — то, как еще на подступах, на дороге, ведущей из города, он внезапно вторгается в зрительное поле: бледное пятно в темени леса, чахнувший осенний цветок посреди летней дубравы. Именно таким он предстал пред моими глазами. (Да, мои глаза, подумайте о них, мои дорогие, и пусть они явятся вам во снах.) Но едва я приблизился к дому, его сероватые доски, кривые, разбухшие и усеянные странными пятнами, изгнали образ чахлой лилии, подменив его обличем раздутой поганки. Конечно же, иных из вас дом точно так же обводил вокруг пальца, все вы, так или иначе, видели его: крышу с осыпающейся черепицей цвета моря, напоминающей в лучах осеннего солнца чешую гигантской рыбы; две мансарды со ставнями, формой уподобленными двум слезинкам; на крышку гроба похожую дверь, к которой восходила прогнившая деревянная лестница. И пока я стоял в окружении теней

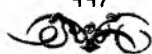


за дверью и слушал песнь сотен дождевых капель, разбивающихся о ступени за моей спиной, воздух похолодел, а серые краски неба сгустились. Вла-га небес снисходила на выжженный пепельно-се-рый участок бесплодной земли близ дома — там во времена Ван Ливеннов цвел прекраснейший сад. Что, как не разгул непогоды, извиняло меня луч-ше за вторжение к новому владельцу этого места? *Защитите путника от гадких холодов осенних и осадков...*

Он сразу ответил на мой стук — не шелохнулись даже рваные шторы. И вот я вступил под своды его темного жилища. Нам не нужно было объяснять-ся: он уже видел меня, меряющего бесцельными шагами округу и следящего за ходом облаков на небе, раньше — это я не видел его. Его худые ноги были подобны переплетенным корневищам, лик был потухшим и невыразительным, а бесцвет-ное рваньё, составлявшее его одежду, легче было представить заменой половой тряпке, чем содер-жимым даже самого нищего гардероба. А его го-лос... никто из вас его никогда не слышал. Потря-сенный уже тем, сколь музыкален и нежен был его звук, я был совершенно не готов к тому ощущению удаленности, что создавало гуляющее в доме эхо.

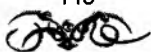
— Точно в такой же день я увидел впервые, как ты гуляешь по лесу, — сказал он, вглядываясь в дождь. — Но ты не подошел тогда к дому. Я зада-вался вопросом, решишься ли ты хоть когда-ни-будь.

От этих его слов я расслабился — знакомство наше мнилось фактом уже свершенным. Я снял плащ, он принял его и повесил на спинку деревян-



ного кресла у входной двери. По мановению длинной кривой руки с широкой дланью я углубился в его покой.

Впрочем, и он сам выглядел здесь лишь гостем. Как будто семейство Ван Ливенн оставило свои мирские блага на усмотрение будущего жильца дома — что отчасти было правдой, если иметь в виду настигшее их несчастье. Ничто тут не выглядело принадлежащим ему, хоть и не особо много осталось, чтобы перейти к кому-нибудь. За исключением двух старых кресел, в которые мы сели, и крошечного уродливого стола между ними, то немногое прочее, что я видел, казалось, было собрано в угоду случаю или упущению — а именно случай и упущение знаменовали последние дни Ван Ливеннов. Огромный чемодан покоился в углу — ржавый замок был вырван с мясом, тяжелые ремни свободно лежали на полу, и в таком виде он годился разве что для дальнего угла чердака или подвала. Миниатюрный стульчик у двери и его близнец, опрокинутый на спинку у противоположной стены, явно происходили из детской комнаты. Стоящий у окна с запахнутыми ставнями высокий книжный шкаф более-менее подходил бы обстановке, если бы только полки его не были забиты растрескавшимися цветочными горшками и старой обувью, потеснившей потрепанные книжные тома. Большое бюро при одной из стен выглядело неуместным в любой жилой комнате — чернота на месте отсутствующих ящичков проглядывала сквозь густую паутину. Все эти предметы образовывали будто выставку, посвященную истории вырождения и гибели Ван Ливеннов, и ощущение



это лишь усиливал витавший здесь терпкий, тяжелый дух старины, пыли и запустения, о котором запямятовал я сказать сразу. Весь свет в доме источали две лампы — по одной на каждый край полки над камином. По ту сторону фитилей было помещено по овальному зеркальцу в декоративной рамке — отраженное дрожащее пламя отбрасывало наши тени на широкую голую стену позади. И пока мы стояли, тихо и недвижимо, наших теневых двойников било мелкой дрожью — будто они были не более чем листьями, дрожащими на ветру... или же претерпевали какую-то изощренную пытку.

— Принесу тебе выпить, — произнес хозяин. — Я-то знаю, как далеко отсюда город.

И мне не пришлось даже изображать жажду, мои дорогие, потому что я взаправду пересох настолько, что хотелось выбежать под эту бурю снаружи, то и дело напоминающую о себе далекими вспышками молний, и, раззявив рот, пить дождь.

Пока хозяина не было, я изучил взглядом сокровища этого дома — тем самым сделав их своими. Но было здесь что-то еще, что-то невидимое, но осязаемое. Может быть, конечно, всему виной осознание того, что я был послан сюда шпионить, в силу которого все кругом мнилось подозрительным. Видно ли вам сейчас то, что не разглядел я тогда? Видите ли вы, как оно обретает ясность в моих глазах? Можете заглянуть в те углы, затянутые паутиной, прочитать надписи на скособоченных книжных корешках? Да, конечно, — но можете ли вы, поддавшись безумнейшему порыву в жизни, заглянуть в те места, коим не ведомы



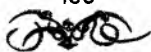
ни границы, ни имена? Вот что я пытался сделать тогда — за траурными остатками бытия Ван Ливеннов разглядеть нечто большее, взглянуть *далее*, чем позволяло это потревоженное мной обиталище призраков. Выворачивая привычные чувства наизнанку, я искал — но искомое оставалось бесформенным и безымянным, скрытым и наводящим страх, выступающим как противоположность хладной чистотой осенней непогоде за стенами дома.

Вернулся хозяин с запыленной зеленой бутылкой и граненым стаканом. Поставив их на столик между креслами, он жестом указал мне распорядиться самостоятельно. Взяв бутылку, я почувствовал тепло. Готовый к тому, что из горлышка польется густоватый и темный ручеек настойки, я был немало удивлен, когда стакан наполнила чистейшая, словно слеза, жидкость. Отпив, я на несколько минут удалился в яркую морозную дрему, что обреталась в этой ключевой воде.

Хозяин тем временем поставил на стол что-то еще. Оказалось, то была маленькая музыкальная шкатулка, сделанная из темного дерева, очень крепкая на вид, испещренная свободным витиеватым узором.

— Нашел, когда разбирал тут все,— пояснил он, аккуратно сдвинул крышку шкатулки и откинулся в кресле.

Обеими руками сжав холодное стекло стакана, я вслушался в тихие, столь же холодные по звучанию ноты. Их хрипотца, возносящаяся из недр шкатулки, в тишине и темени дома казалась истинным откровением. Ненастье умерло, оставив



мир снаружи пребывать во влажной размытости звуков и образов, и в отгороженной от него комнате, что, казалось, могла теперь находиться хоть во чреве земли, хоть на краю далекого утеса, музыка сияла, олицетворяя давно покинувшую это место жизнь. Мы не решались даже вздохнуть, и тени за нашими спинами тоже впали в зачарованное оцепенение. Все на миг застыло, чтобы позволить блуждающей музыке из шкатулки вознести нас к некой преднулевой точке. Я пытался следовать ее звукам — сквозь желтоватый туман, заполонивший комнату, вглубь, в темноту, льнувшую к стенам, и еще глубже — сквозь стены, туда, где серебрящиеся ноты застыли в воздухе дрожащим роем: красивое видение — но с неуловимо-зловещим оттенком. Я вдруг почувствовал, что могу за просто потерять самого себя в этой открывшейся вдруг необъятности, в этом неизведанном помраченном мире. Тут что-то нарушило покой темноты, снизошло болезнью, протолкнуло сквозь хладные завесы голову, окрашенную в кошмарные цвета... и я мигом вернулся в свое тело.

— Ну, что думаешь? — спросил хозяин. — Ближе к концу стало хуже, ведь правда? Я закрыл шкатулку, пока не стало совсем плохо. Как думаешь, правильно поступил?

— О да, — смог выдохнуть я. Мой голос дрожал.

— Я так и понял по твоему лицу. Нет у меня желания тебе навредить. Просто хотел показать тебе кое-что... чтоб ты более-менее понял.

Я допил воду из стакана, поставил его на столик. Напряжение спало, и я спросил:

— Что же это было?



— Безумие сущего, — ответил он.

Слова сошли с его губ спокойно, и взгляды наши в тот момент были обращены друг к другу — он словно хотел увидеть, как яотреагирую.

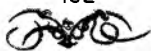
Конечно же, я захотел остаться и послушать, что он скажет дальше. Разве не за этим я к нему пришел? Вам хорошо слышно, мои дорогие? Мой голос все еще тревожит ваши сны?

— Безумие сущего, — эхом повторил я. — Боюсь, я не вполне понимаю...

— Как и я. Это все, что я могу сказать. Только эти слова дозволены. Только эти слова подходят. Было время, когда меня восхищал их звук. Я был молод, философия влекла меня, и я говорил себе: *я собираюсь познать безумие сущего*. Знание это казалось мне необходимым — ведь безумию сущего я намеревался противостоять. Я думал, что, если выстою против него, мне больше нечего будет бояться. Что я смогу жить без боязни сломаться, без боязни того, что безумие — а оно, по моему разумению, заложило основы современного существования — пожрет меня изнутри. Я хотел сорвать покровы и увидеть вещи такими, какие они есть, а не такими, какими их видит слепец.

— И вам удалось? — спросил я, несколько не заботясь о том, что, возможно, слушаю исповедь сумасшедшего.

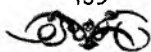
Слова его зацепили меня, и, хоть я и с трудом понимал сказанное, было в нем что-то, не чуждое и мне самому. Кому из нас не приходилось сталкиваться в жизни с чем-то, что вполне можно было бы назвать «безумием сущего»? Даже если мы скажем об этом другими словами — их смысл все тот



же. Порой либо мы касаемся его, либо он касается нас; и если взгляд хозяина дома на безумие сущего как на «основу современного бытия» далек от вас, припомните участь Ван Ливеннов, мои хорошие. Мы посвятили обдумыванию этой «трагедии» не один одинокий час — и это естественно, а что есть «трагедия» для нашего мира?

— Удалось ли мне? — откликнулся хозяин, вырывая меня из дум.— Конечно. Удалось даже слишком хорошо, скажу я тебе. Я отвоевал себя у собственных страхов... и, в конце концов, у самого мира. Теперь я олицетворяю неприкаянность. Обитатель пространств, где безумие сущего не имеет границ. Однажды, после многих лет учебы и практики, я смирился с тем, что выжидало меня. Но я не мог сказать, куда я иду — и зачем иду туда. В моей жизни так много хаоса. Тем не менее я всегда возвращаюсь в этот мир — словно я какая-то тварь, в угоду инстинкту припадающая к корням. Места, в которых я бываю, будто бы привязывают меня к себе. Выжидают, готовятся. Всегда есть вещи — вещички, пустячки,— которые мне уготованы. Вот эта музыкальная шкатулка, к примеру. Я рыскал тут в поисках чего-то похожего — и нашел ее. По одному виду этих вещей могу я сказать — да, вот он, отпечаток безумия сущего, на них. И ты можешь — уж я-то вижу. Какой же опасностью грозят они тем, кто ни о чем подобном не подозревает? Остается лишь гадать.

С трагедии Ван Ливеннов спали покровы неизвестности. Кто из них наткнулся на эту шкатулку, которой надлежало покоиться в неизвестности — незнамо сколь долгий срок? Неважно — со време-

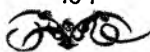


нем они все стали ее жертвами. Упадок дома и угодий был первым признаком. А потом в доме кто-то стал кричать, и крики эти отвадили всех нас. Но вот наступил безмолвный год — за ставнями пропали и звук, и движение, — и, рискнув войти в дом, мы нашли пять трупов. Кто-то умер позже, кто-то раньше, но ни один не остался в целости. Обезображены до нечеловеческого состояния. Мы возлагали вину на чужака, но недолго. Ведь расследование показало, что они умирали один за другим в течение по меньшей мере месяца, и последним умер глава семейства. Его тело превратилось в кошмарную мозаику из плоти — но весь этот кошмар он проделал с собой сам, судя по тесаку, крепко стиснутому мертвой рукой.

— Эй, — позвал меня новый владелец дома, вновь выводя из отрешения. Он стоял у окна и выглядывал сквозь щели в ставнях. Медленным жестом он поманил меня к себе. — Плянь-ка. Видишь их?

И меж ставенных досок я узрел — там, снаружи, где когда-то цвел богатый сад Ван Ливеннов, что-то было. То, что явилось моим глазам, было подобно узорам на музыкальной шкатулке — сложное сплетение без осмысленной структуры.

— Они так похожи на цветы, правда? Эти яркие краски в сумерках... Когда я впервые наткнулся на них — не будучи в этом теле, разумеется, — царила тьма. Но не такая тьма, как в доме, где не горит свет. Не такая тьма, что царит в лесу, что из-за плотно стоящих деревьев. Тьма была единственно потому, что больше там нечему было быть. И я это понимал, потому как мог видеть не глазами, а самой тьмой. Тьмой разглядывал я тьму... Кругом,



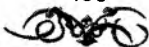
куда ни глянь — ничего более, от горизонта до горизонта. Там, в этой тьме, царила жизнь. Жизнь, похожая на меня, — вздумай я коснуться там кого-нибудь, вляпался бы в собственные потемки по самые уши. Но еще были эти цветы. Их я чувствовал сильнее всего. Коснуться их было все равно что прильнуть к прекрасному свету, к тысяче сияющих трепетных лепестков. Во всем этом мраке, что позволял мне видеть, они жили своей слепой вьющейся жизнью и ластились ко мне, желая сделать частью себя. Когда я вернулся, я, должно быть, принес их с собой. После того как я оказался в собственном теле, они покинули меня и спрятались в землю. Они проросли в ту же ночь... я думал, они явятся за мной. Но что-то изменилось. Сдается мне, им нравится пребывать там, где они сейчас. Взгляни сам, как они трепещут.. почти *счастливо*.

После этих слов он замолчал на мгновение. Ночь была темная, небеса все еще укрывались за тучами, ранее изливавшими дождь. Лампы на каминной полке горели пронзительным светом, вырезавшим абрисы в полотнах темноты вокруг нас. К одной из них он и подошел. Взял в руки. Снова поманил меня за собой.

— Теперь, в ночи, их легче углядеть. Пойдем. Полюбуйтесь на подлинное безумие.

О, друзья мои, не презирайте меня за выбор, что я сделал в ту ночь. Это ведь вы послали меня, помните? Потому что я менее всех вас принадлежал нашему городку, вот и все.

Мы вышли наружу, оглядываясь, словно бегающие на ночную прогулку дети. Свет лампы



заскользил по мокрой траве у дома и вскоре остановился там, где заканчивался двор и начинался лес, чьи ароматы доносил до нас ветер. Оттуда мой спутник обратился влево — и я вместе с ним, — к участку, где некогда был сад.

— Посмотри на их танец во мраке, — прошептал хозяин, когда первые лучи упали на бьющуюся в конвульсиях путаницу форм, на эти люминесцентные внутренности преисподней. Они резво отпрянули во мрак, прочь с глаз, вылезая из смягченной дождевой водой почвы. — Они бегут от света. Ведь там, откуда они родом, его никогда не было.

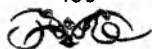
И они сплелись снова — как разделенные барьером воды, стремящиеся к знакомому слиянию. Но если и сравнивать их с водами — то только с мерзкими, испорченными стоками, что вдруг обрели плотность и распались на клубок тварей, липкотелых, опутанных пульсирующими венами, алчно разевающих пасти.

— Дайте света, — сказал я. — Так много, как только сможете.

Мой проводник заступил на самую границу сада, а я пошел дальше — к этому отступающему потоку слизистых тел, навстречу этим порождениям бездны. Когда петли их мерзкой плоти заключили меня в полукруг, я шепотом воззвал к нему:

— Не убирайте свет... иначе они снова покроют землю, где я стою. Вижу так хорошо. Вот оно, истинное безумие. Не убоюсь я их.

— Нет, — сказал хозяин. — Ты не готов. Возвращайся, пока лампа не погасла.



Но я не внял — ни ему, ни внезапно поднявшемуся ветру, что снизошел с крон деревьев и обрушился на сад, погрузив его в темноту.

И теперь я дарю свои слова ветру, зная, что когда-нибудь он донесет их до вас, мои дорогие друзья. Я не смогу направлять вас теперь, но зато вы узнали достаточно, чтобы понять, что нужно сделать с этим ужасным домом и этим ужасным садом, с теми тварями, что живут тут теперь, принесенные в этот мир заблудшим безумцем-странником. Сон подходит к концу... позвольте же мне последнее слово. Я помню, как прокричал ему:

— Они льнут ко мне! Я вижу в темноте... я — не тот, кто я есть! Вы слышите меня? Слышите?..

— Какой же плохой сон мне только что приснился,— прошептала одна из тех многих, кого реальность темных городских спален призвала обратно в мир бодрствующих.

— Но это не сон, слышишь остальных?..

Тело в ночной рубашке поднимается с кровати. Силуэт замирает напротив окна. На улице — люди с факелами. Они стучат в двери тех, кто еще спит, чтобы они присоединились к ним. Фонари и лампы, покачиваясь, разгоняют мрак, безумно перемигиваются языки пламени на концах палок.

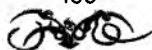
Огонь оживляет эту ночь.

НИФЕСКЮРЬЯЛ

Идол и остров: письмо

Мною был обнаружен любопытнейший манускрипт. Обнаружен совершенно случайно, в архиве библиотеки, среди испорченных временем и списанных материалов. С позиции человека, кое-что смыслящего в рукописях с богатой историей, рискну датировать мою находку концом прошлого века (позже я планирую исследовать бумагу тщательнее и сделать фотокопии — от них, впрочем, вряд ли будет много толку, так как у писавшего весьма своеобразный, витиеватый почерк, да и чернила со временем приобрели «болотный» оттенок). К сожалению, имя автора нигде не сыскать — ни в самом манускрипте, ни в тех бумагах, с которыми он хранился. Никогда бы не подумал, что столь увлекательный образчик — который, не будь меня, так бы и остался, возможно, нераскрытым, — случайно завалывается среди скучных канцелярских отчетов и смет!

Почти уверен, что эта история, представленная в форме дневника, нигде доселе не публиковалась: имей место выход в печать, я бы, учитывая мой



интерес к подобным необычным по содержанию вещцам, был осведомлен. Зацепила она меня с первых строк — поверьте, их хватило для того, чтобы, отложив все дела, сыскать в библиотеке уголок поукомпнее и за чтением провести весь остаток дня и весь вечер.

У истории есть эпиграф:

*В комнатах или в домах, по ту сторону стен,
в темных пучинах и высоко в облаках, при свете луны,*

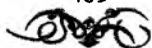
*в северных травах и в южных цветущих садах,
в чреве мерцающих звезд и в просветах, что
скрыты за областью тьмы,*

*в плоти, в костях, в звуке ветра, что веет и
здесь, и в далеких мирах,*

*в каждом лице человека — живущего или давно
обращенного в прах...*

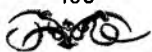
Логического продолжения отрывок не имеет — но, сдаётся мне, взят он из текста еще более старого и столь же неизвестного; и, быть может, с цитатами из него я еще столкнусь по мере чтения.

Вышеприведенным эпиграфом автор манускрипта иллюстрирует некую сущность — или, правильнее сказать, *вездесущность*? — сверхъестественной природы, с которой столкнулся на удаленном острове Нифескюръял. Туда он прибыл ради встречи с человеком, означенным просто как «доктор Н.», — археологом. Себя же рассказчик представляет именем «Бартоломью Грей» — видимо, вымышленным.



Доктор Н., как выясняется по мере чтения, переселился на Нифескюръял — место это безлюдное, суровое и далекое от благ цивилизации — ради длительных раскопок. Несмотря на выхолощенный и безыскусный стиль автора, мрачноватая атмосфера острова вполне уловима: описываются крупные доломиты причудливых форм, островерхие сосны и еловое криволесье, скалистые берега, упирающиеся в холодные воды под серым сводом небес, и белый промозглый туман, липнущий к земле подобно грибку.

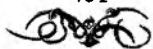
Уже на этих описательных подступах к Нифескюръялу рассказ мистера Грея обретает своеобразный устрашающий шарм. Перед лицом неведомого зла — при сохранении должной дистанции — мы способны испытывать и страх, и сладостный трепет предвосхищения одновременно. Стоит сократить эту дистанцию — и подспудное чувство обреченности расцветает, ибо мы вспоминаем о всевластии тьмы над бытностью. Стоит снова ее увеличить — и мы становимся еще более безразличными и самодовольными, чем обычно, и тогда любые признаки ирреального зла вызывают лишь недоумение и раздражение — слишком уж они бледны в сравнении со злом реальным и всепроникающим. Конечно, мрачная истина может явиться нам в любом уголке земли — как раз таки в силу упомянутой выше вездесущести. Зло, возлюбленное и ненавистное, может показать себя где угодно именно потому, что оно *везде*, — ему без разницы, настигать нас среди солнечного света и цветов или же во мраке, под тленным душем опадающей листвы. Но бывают места, где



власть его особенно сильна, и одним из них и был остров Нифескюрьял — остров, где материя и дух исполняли безумный танец средь вьющегося тумана.

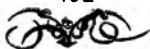
И именно там, на острове были и небыли, доктор Н. и обнаружил древний, давно искомый артефакт — частицу пусть незначительную, но вносящую поразительные уточнения в раздробленное на тысячи осколков грандиозное панно мироздания. Едва ступив на твердь Нифескюрьяла, мистер Грей понимает, что доктор несколько не преувеличивал, описывая остров как «юдоль неправильности и искажения, где каждое растение, каждое скалистое образование, каждая живая тварь — все изуродовано в угоду некоему божеству-тератократу, скульптору-извращенцу, использующему вместо глины атомы». Дальнейшее изучение острова подтверждает все догадки, но я, пожалуй, не стану приводить обширные цитаты — вечереет, а мне хочется запечатать конверт с этим письмом до отхода ко сну. Во внутренней анатомии всей этой истории нам интересен не эпидермис, а то, что под ним, — плоть и кость. (Удивительно уместное сравнение — темно-зеленые чернила напоминают проступившие на коже-бумаге вены... впрочем, я отвлекся.)

Удалившись от береговой линии вглубь острова, мистер Грей — с одной лишь плотно набитой походной сумкой — выходит к большому, но примитивно сколоченному дому, стоящему среди напоминающих воспалившиеся жировики холмов. Камни фасадной облицовки заросли пестрым накипным лишайником — остров им изобилует.



Сквозь незапертую дверь путешественник попадает в просторную залу наподобие церковной — с поправкой лишь на бедное убранство. Белые, гладкие стены ближе к потолку сходятся, образуя некое подобие пирамиды. Зала лишена окон — темноту рассеивает лишь свет масляных лампад. По длинной лестнице спускается фигура, пересекает зал и торжественно приветствует гостя. Оба вначале относятся друг к другу с долей недоверия, но вскоре оно сходит на нет, открывая дорогу к истинным целям визита Грея.

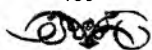
Пока что перед нами — классическая сцена, но играют в ней скорее куклы, нежели люди. Этакие венецианские маски, чьи сюжеты узнаваемы до боли, но все же как-то умудряются удивлять нас до сих пор. Как все это, казалось бы, знакомо: туман, дом на отшибе, одинокая фигурка-марионетка странника и куколка-хозяин, исполненная в нарочито мрачных тонах! Но, даже играя веками одну и ту же сцену, куклы, лишенные памяти, не ведают, что проходили этот цикл бесчисленное множество раз, — они повторяют все те же жесты, все те же фразы, лишь иногда, наверное, смутно подозревая, что все это с ними уже было. Ну разве не напоминает это укладывающуюся спиралью историю человечества! Именно поэтому мы с ними столь хорошо взаимозаменяемы; но также и потому, что куклы — это вырезанные из дерева образы одержимых жертв, силящихся найти хоть кого-то, кто их выслушает... не подозревающих, что нити и от них, и от их возможных собеседников тянутся к пальцам одного великого манипулятора.



Секрет, связывающий Грея и доктора Н., этих двух Пульчинелл¹, раскрыт автором манускрипта-свидетельства (ведь, по сути, это скорее полное свидетельство, чем рассказ) беззастенчиво и почти сразу же. Мистер Грей — коль скоро настоящее имя неведомо, будем звать его так — явно знает гораздо больше, чем говорит. Тем не менее он тщательно записывает все, что говорит археолог, — особенно то, что касается находки на острове. Находка — лишь фрагмент некоей реликвии, религиозного идола, но даже по такому фрагменту можно судить о монструозности измышленного объекта поклонения в целом. Длительное пребывание в земле испортило материал, сделав его похожим на разъеденный нефрит.

Могут ли быть найдены на острове другие фрагменты идола? Нет, ибо идол, разбитый много веков назад, был погребен в удаленных друг от друга частях земного шара и, вознамерясь кто-то воссоздать его заново, задача пред ним встала бы непростая. Пусть речь и идет лишь о религиозном изображении, истукане, силы, связанные с этим истуканом, были достаточно грозны. Члены древней общины, поклонявшейся идолу, были, похоже, пантеистами — верили в то, что все объекты Вселенной, начиная от первичных субстанций и заканчивая живыми существами, являются частями единого всеобъемлющего и всемогущего целого, мировой первоосновы. Именно эту точку

¹ Пульчинелла — персонаж итальянской комедии дель арте. По характеру схож с Арлекином, олицетворяет сардоническое, показушное начало.

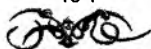


зрения отражала их мантра — «в комнатах или в домах, по ту сторону стен... » (к слову, только эта ее часть и дошла до нас, будучи опубликованной в этнографическом квазиэзотерическом труде «Иллюминации Древнего мира», вышедшем в конце девятнадцатого века — примерно в то же время, что и поверхностно исследованный мной манускрипт).

Предрассудок этот, разумеется, довольно-таки древний — классическое представление «бога, что затмевает всех прочих богов». Таковыми в первобытном обществе провозглашали, как правило, духов-хранителей определенной местности — поклонники таких духов верили, что именно их покровитель, а не тот, которому молятся в соседней деревне, и создал все сущее.

В каком-то этапе на идеологию вероисповедателей «Великого Единого Бога» пала тень — однажды они узнали, что сила, которую они превозносили, имела столь темную и отвратительную природу, что их пантеизм можно было полноправно приравнять к пандьяволизму. Но для части общины такое открытие не стало неожиданностью, и на этой почве развязалась междоусобная борьба, венчавшаяся резней. Так или иначе, злоборцы одержали верх — и после дали своему бывшему божеству новое имя, отражающее его черную суть. Имя это было Нифескюръял.

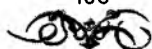
Какой интригующий поворот: безвестный островок открыто заявляет о себе как о доме идола Нифескюръяла! Конечно, это лишь одно из захоронений — община, скованная страхом силы, заключенной в образе отвергнутого бога, осо-



знавала, что уничтожить сам образ не получится, можно лишь сделать так, чтобы он в должной степени забылся, рассеянный по миру. Но зачем было ее членам привлекать ненужное внимание к острову-захоронению, поименовав его идоловым именем? Не думаю, что это их рук дело, так же как не считаю, что это они построили примитивный, огромный дом-святилище, — все это явно облегчило бы задачу потенциальному искателю истукана.

Доктор Н. умозаключил, что фракция пандьяволистов общины не была уничтожена без остатка, и ее уцелевшие деятели посвятили себя поиску мест, отмеченных присутствием Нифескюрьяла, — следовательно, легко узнаваемых по своим противостественным ландшафтам и чертам. Этот поиск отнял огромное количество их сил и времени — и, дабы облегчить свою задачу, они прибегали к помощи непосвященных, зачастую путешественников и ученых, интересовавшихся древними цивилизациями и культурами. Те, как правило, не ведали об их истинных намерениях — но доктор Н. знал, потому предупреждал «коллегу мистера Грея» о риске встречи с охотниками за обломками идолица. Само присутствие на острове грубо сработанного дома подтверждало их осведомленность о значимости этого места. В этот момент открывается — тут я не слишком-то и удивился, — что таинственный мистер Грей и есть один из культистов, и явился он за последним фрагментом идола, а в его походной сумке — все прочие куски Нифескюрьяла, собранные за долгое время.

И доктор Н. как нельзя более удачно вписывается в план Грея, становясь тем же вечером, на



верхнем этаже дома, кровавой жертвой идолищу. Подводя черту повествованию, скажу, что во время ритуала Грею открывается нечто настолько ужасное — эти люди никогда не понимают, во что ввязываются! — что он раскаивается, отрекается от служения злу и вновь разрушает идола. Покидая странный остров, он топит Нифескюрьяла в серых океанических волнах. Позднее, опасаясь за свою жизнь (возможно, мести от рук культистов), он доверяет исповедь бумаге и описывает ужас, угрожающий ему и всему человечеству. Конец манускрипта. *

* * *

Несмотря на мою любовь к подобным историям, я не могу закрыть глаза на очевидные недостатки этой — на неуклюже развивающееся действие, на небрежно прописанные ключевые детали, на то, что читателю мистические события преподнесены без должной убедительности. Однако не могу не симпатизировать самой идее, лежащей в основе повествования: природа Нифескюрьяла, «дьявола неделимого», не может не интриговать. Представим себе, что весь материальный мир — всего лишь маска, стыдливо прикрывающая абсолютное зло, зло столь беспросветное, что существование его мы, по собственной благостной слепоте, не замечаем.

* Если не считать завершающих строчек, в которых описывается несколько экстравагантный, но, впрочем, не лишенный интереса исход самого рассказчика (прим. автора).



Зло в сердцевине всех вещей и живых существ, «в чреве мерцающих звезд», «в плоти, в костях, в звуке ветра» и так далее. В манускрипте даже отдельно оговорена аналогия, связующая Нифескюрьяла с австралийскими Предвечными Альтиры¹ — детьми единого всеприродного надреального источника (эта отсылка может помочь с определением возраста рукописи, поскольку австралийские антропологи впервые опубликовали труды о космологии аборигенов именно в конце прошлого века). Вселенная сквозь призму величественного мифа об Альтире — видение, сон, горячечный кошмар сумрачного демиурга; так почему бы не дать ему именно это имя — Нифескюрьял? Звучит гордо!

Проблема в том, что подобные нововведения в сфере сверхъестественного довольно-таки трудно принять. Зачастую в нашем сознании они остаются лишенными какой бы то ни было психической текстуры, представляются не более чем абстрактными метафизическими монстрами — изящными либо нелепыми, но имеющими вес лишь на плоскости бумаги, неспособными как-то повлиять на нас. Конечно, от идей вроде Нифескюрьяла следует держаться на определенном расстоянии — сами знаете, как они порой заразны и как порой мы любим сами себе создать образ палача, сокрушающего наши души и тела. (Жаль, что в отношении найденного манускрипта мое предосте-

¹ *Альтира* — в мифах центральноавстралийского племени аранда обозначение «юности мира», мифической эпохи первотворения, когда Земля принадлежала тотемным предкам, «предвечным».



режение довольно-таки излишне... сколько его ни читаю — а это все те же зеленоватыми чернилами выведенные букочки, вышедшие из-под простой человеческой руки. Быть может, для нужного воздействия следовало отпечатать текст на машинке, напористой черной краской?)

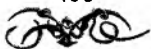
Но как же порой велико искушение подойти вплотную к чудовищу и окунуться в его смрадное дыхание! Как порой хочется высмотреть меж постылых серых вод, окружающих наши одинокие островки, образ несущего погибель доисторического Левиафана! Даже если мы не способны на искреннюю веру в древние культы и их неслыханные идолища, даже если все эти условные авантюристы и археологи на деле лишь нехитрый театр теней, даже если странные дома на удаленных островах взаправду всего лишь пустуют и ветшают, все еще может крыться истина в некоторых наших страхах. Ведь страхи сильны, и сила эта исходит не столько из вымысла и внушения, сколько откуда-то извне, из какого-то логова истинной тьмы и абсолютного всепроникающего зла, мимо которого мы, быть может, проходим часто — но ни разу не замечаем.

Впрочем, не обращайтесь внимания, это всего лишь ночные домыслы. Письмо мое закончено, и теперь говорить я буду лишь с постелью.

Постскриптум

Позднее, той же ночью.

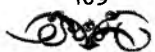
Прошло несколько часов с того момента, как я отложил в сторону манускрипт и составленный



мной анализ. Какими наивными кажутся теперь мои слова! Но кое в чем я определенно был прав. Жаль, что здраво все оценить в своем теперешнем состоянии я не смогу. Слишком уж близко ко мне подступил весь этот ужас. Описания из безвестной рукописи более не мнятся мне расплывчатыми и сухими — ведь описанное явилось мне во сне. Проклятая самоуверенность! Как оказалось, достаточно одного плохого сна, чтобы лишить меня покоя и чувства защищенности — пусть даже всего на несколько тревожных часов. Кошмары снились мне и ранее, но столь явственные и четкие — ни разу!

В начале своего сна я оказался сидящим за столом в очень темной комнате. Было ощущение, что комната эта очень большая, хотя я ничего не мог разглядеть дальше стола, на котором горели две лампы. Передо мной покоился ворох разномастных географических карт, и их я изучал — одну за другой, столь увлеченно, что образы картографированных ландшафтов до сих пор у меня перед глазами. То были острова — совершенно неузнаваемые и неизвестные, подспудно навевающие мысли о заброшенности и полной изоляции.

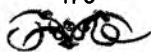
Хоть на картах не было никаких ориентиров или зацепок, которые дали бы представление о расположении островов, почему-то я был уверен, что те, для кого карты здесь оставлены, знают, где в океане запрятаны эти клочки суши. Оставалось довольствоваться названиями островов на картах — все на разных, но знакомых мне языках. При более близком рассмотрении (от которого мне начинало казаться, будто я взаправду преодолел



ваю океан, прокладывая себе путь от одних берегов к другим) обнаружилась одна деталь, связывающая все карты,— среди изображенных островов всегда находился один, именуемый Нифескюръял. Звук этого имени, казалось, дошел до самых разных уголков земного шара. Оно не всегда было представлено именно так, порой написание разнилось, но откуда-то я знал — а знание во снах зачастую беспочвенно,— что все эти острова отмечены одним именем, и что на всех на них покоятся фрагменты Нифескюръяла Разобщенного.

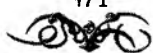
И стоило мне осознать это, как сон претерпел изменения. Карты растворились, превратившись в дымку, стол обернулся грубым каменным алтарем. Две свечи по краям бросали трепетные блики на возлежащее на нем нечто. Многие вещи в этом сне представляли передо мной в подробнейшем виде, но не *эта* — не это странным образом объединенное в омерзительное целое собрание неподходящих друг другу частей. Было там что-то от человека и от зверя, от членистоногого и от растения, от рептилии, от горной породы, от множества других вещей — существ? — которым я не осмеливался даже подобрать название. И все это мешалось, менялось, содрогалось и извивалось — трепетало в непрестанной метаморфозе, не дающей ухватить облик идола целиком.

В свете ламп я увидел, что помещение, в котором я очутился, необычно. Четыре огромные стены склонялись одна к другой по мере подъема взгляда и придавали комнате вид пирамиды. Однако теперь стол, превратившийся в алтарь, стоял в самом ее центре, а я находился в отдалении.



Мрак по углам ожил — сквозь некие потайные проходы в комнату всплыли людские силуэты и обступили полукругом алтарь. Нездоровая худоба отличала их — то были будто скелеты в тесных черных рясах, а не живые люди. Да и рясы были сготовлены будто не из ткани, а из липкой квинт-эссенции темноты, приставшей к телам этих молчаливых послушников, открытыми оставив лишь лица. Но и лиц не было — их прятали белые обезличенные маски, лишенные не только всякого выражения, но и хотя бы прорезей для глаз и рта. Веяло от них некой устрашающей первобытной анонимностью: гладкой пустотой масок от мира отрешились люди, для которых не существовало более ни надежды, ни отрады — одна лишь тьма, которой отдались они по собственному желанию.

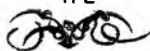
Одна из белоликих теней выступила вперед и приблизилась к идолу, застыла без движения — и вскоре из ее темной груди взвилось нечто, похожее на щупальце мерцающей дымки. Дымка эта поплыла вперед, закручиваясь дивными спиралями, протянулась к идолу — и стала, входя в него, исчезать. И я знал — ведь это все же был мой сон! — что в этот момент монстр и его жертва становились единым целым. Так продолжалось до тех пор, пока светящаяся эктоплазматическая нить не порвалась, а фигура, ссохшаяся до размеров куклы-марионетки, не упала навзничь. Ее тут же бережно поднял другой послушник, возложил на алтарь и, взяв нож, взрезал крохотное тельце. Действо шло в полной тишине: по алтарю заструилась жидкость густая и маслянистая, даже цветом кровь не напоминающая. Цвет сей окрасил



всецело мой сон — до конца которого, к счастью, оставалось недолго.

Комната вдруг исчезла, обернувшись пустошью под открытым небом. Земля кругом была погребена под напластованиями чего-то, напоминающего старую прелую плесень. Почвы, деревья, камни — быть может, когда-то они здесь и были, но ныне все оплела и захватила эта губительная окостеневшая кораллообразная слизь. Окинув взглядом мерзостный пейзаж, я заметил, что в хаосе трещин, избороздивших плесневелую корку, угадываются некие странные резные формы, черты чьих-то лиц. И столь они были извращены и противоестественны, что ни к чему здесь — даже к самому себе! — не мог я обратиться в надежде спастись от этого их тлетворного свойства. Мир цвета разлагающегося мха... и прежде, чем кошмар оставил меня, я успел отметить, что и волны, плещущиеся у островных берегов — а именно *островом* было то последнее видение, — приняли тот же зеленоватый оттенок.

Как упомянуто выше, не сплю я уже несколько часов кряду. Что я не оговорил отдельно — так это состояние, в котором пребывал сразу после пробуждения. На протяжении всего сна, а особенно ближе к его концу, когда я понял, где нахожусь, ощущалось мною присутствие чего-то, что вращалось внутри всех действующих лиц и декораций, объединяя их в один, невероятно огромный и злонамеренный организм. Думаю, нет ничего странного в том, что я оставался под впечатлением этого открытия даже после того, как поднялся с постели. Я кинулся искать защиты у богов привычного мира, призывая их свистом чайника и



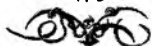
вознося литании электрическому свету, но они были слишком слабы против того, чье имя я больше не решаюсь писать на бумаге. Он будто проник под мой кров, в каждый предмет в моем доме, даже в воздух за его стенами... и будто даже в меня самого. Будто мое лицо стало теперь ему тесной маской. К зеркалу вдруг стало страшно подойти.

Подобно пьянице, перебравшему накануне и клянущемуся больше не брать в рот ни капли, я намерен отказаться от дальнейших изысканий в области странных сочинений. Вне всякого сомнения, это — лишь временная клятва, и достаточно скоро мои старые привычки возвратятся. Но — только не в преддверии этого утра!

Парковые марионетки

Несколькими днями позднее, глубокой ночью.

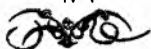
Похоже, началось все письмом, а кончится полноправной хроникой моих впечатлений от столкновения с Нифескюрьялом. Ко мне снова вернулось душевное спокойствие — я не боюсь писать это имя открыто, да и с зеркалом былых проблем нет. Остается надеяться, что спокойный сон — без страха за вторжение в мое сознание извне — тоже вернется. Слишком много странностей за короткий промежуток времени: лишаящий всякой работоспособности страх свил себе тесное гнездо где-то в районе солнечного сплетения, и я чувствую себя так, будто, побывав на некоем банкете, съел источник ужаса вместе с обильной трапезой — и теперь не могу переварить его. Это странно — в последнее время я с трудом заставляю себя есть,



ибо пища мнится мне отвратной на вид и вкус! Как будто мало того, что, когда я касаюсь дверной ручки, я надеваю перчатки, дабы избежать прямого контакта с этим детищем мерзостно-материального мира: всякая вещь, всякая субстанция, в том числе и мое данное от рождения тело, трепещет в дьявольском танце метаморфоз — вот что я теперь чувствую! Но даже не это хуже всего — ведь вдобавок я теперь *вижу* нечто, сокрытое за образами знакомой реальности. Мой взгляд минует покрывала овеществления — и всюду встречает эту пульсирующую в самой глубине тварь, цветом подобную тому памяtnому оттенку из кошмарного сна: темному, болотно-зеленому! Как же мне теперь есть, как касаться вещей? Я обрек себя на нервную суетливость, мой взгляд постоянно бежит, не задерживаясь ни на чем, — любая задержка сулит противоестественное зрелище преображения материи внутри материи, метаморфического биения, — хотя о каких метаморфозах может идти речь, когда дрожащий облик, по сути, принадлежит всегда *одному*? Я стал слышать голоса, произносящие невнятные слова, — голоса, которые исходят не изо ртов проходящих мимо людей, но с самого дна их мозга. Вначале это был еле различимый шепот, но теперь слова столь чисты, столь выразительны!

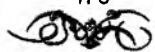
Эта восходящая волна хаоса достигла своей кульминации вечером — и после обрушилась вниз. Хочется верить, что моя своевременная реакция спасла меня от непоправимого.

Итак, вот события этого кошмарного вечера в хронологическом порядке (как бы мне хотелось,



чтобы все это действительно оказалось страшным сном, вымыслом с рукописных страниц!). Все началось в парке, расположенном на порядочном расстоянии от моего дома. Был уже поздний вечер, но я все еще бродил по асфальтовым дорожкам, змеящимся по зеленому островку в сердце города,— и почему-то казалось, что я уже был в этом самом месте этим самым вечером, что все это уже происходило со мной. Путь был освещен шарами света, балансирующими на тонких стальных столбах; еще одна светящаяся сфера глядела сверху, из великого моря черноты. Трава по сторонам тропинки тонула в тени, а шелестящие над головой листья деревьев все были одного мутно-зеленого цвета.

Поплутав немного, я вышел на лужайку, где, кажется, собрался поглазеть на какое-то позднее увеселительное представление. По периметру лужайки висели гирлянды бумажных фонариков разных цветов, на траве стояли ряды скамеек. Взгляды зрителей были устремлены на высокую, ярко освещенную будку — вроде той, что используют в кукольных представлениях, с пестрыми рисунками по бокам и шторками в окошке наверху. Сейчас шторки были раздвинуты, и две фигурки, напоминающие клоунов, вертелись и прыгали в ярком свете, льющемся из будки. Они кланялись, скрипели и неуклюже колотили друг друга плюшевыми дубинками, зажатыми в маленьких мягких ручках. Вдруг они замерли в самый разгар боя и медленно повернулись лицом к публике. Казалось, что куклы смотрят на то место, где стоял я, за последним рядом скамеек. Их бесформенные



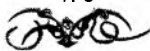
головки склонились, стекляшки глаз поймали мой взгляд.

Потом я заметил, что остальные делали то же самое: все повернулись на своих скамейках и приморозили меня к месту своими пустыми лицами и мертвыми кукольными глазами. И, хоть их губы совсем не двигались, они не были безгласны. Слышимых голосов было гораздо больше, чем сидящих передо мной людей. Эти голоса я уже встречал прежде — они твердили бессмыслицу в пучинах дум прохожих, с которыми я сталкивался на улице: то были истинно внутренние демоны, о которых человечество даже не подозревало.

Слова звучали вначале медленно и приглушенно: монотонные фразы переплетались одна с другой, как последовательности фуги. И я начал разбирать их... а потом голоса окрепли, умножились, набрали силу, распевая:

— В комнатах или в домах, по ту сторону стен... в темных пучинах и высоко в облаках, при свете луны... в северных травах и в южных цветущих садах, в чреве мерцающих звезд и в просветах, что скрыты за областью тьмы... в плоти, в костях, в звуке ветра, что веет и здесь, и в далеких мирах, в каждом лице человека — живущего или давно обращенного в прах...

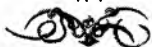
Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я снова обрел способность двигаться, прежде чем я, пятясь, отступил к дорожке, а голоса вокруг меня монотонно твердили проклятую мантру, фонарики раскачивались на ветру меж ветвей... Однако слышал я один-единственный голос — и различал



один лишь цвет, пока искал дорогу домой, бредя сквозь зеленелую мглу ночи.

Я знал, что делать. Собрав в подвале старые доски, я бросил их в камин и открыл дымоход. Как только пламя разгорелось, я опустил в него написанный болотистыми чернилами манускрипт. В этот момент на меня снизошло откровение — теперь я видел, чья подпись была на нем, чья рука исписала эти страницы и спрятала их почти век назад. Автор повествования раздробил идола и швырнул обломки в океан, но отпечаток этой древней патины остался на нем. Темно-зеленой плесенью он проник на бумагу и остался в ней, выжидая момента, чтобы заползти в другую потерянную душу, которая не смогла вовремя разглядеть, в сколь беспросветную чащу забрела. Как вовремя я осознал!.. В пользу моих доводов послужил цвет дыма, все еще плывущего от бумажного пепла.

Я пишу эти слова, сидя у камина. Пламя умерло, но дым от обугленных страниц висит в очаге, не желая подниматься вверх по трубе и таять в ночи. Возможно, дымоход забит. Да, уверен, причина в этом. Все остальное — обман, иллюзия. Этот дым цвета гнилого лишая не принял образ идола — образ, который невозможно осознать за один взгляд, но который отрачивает множество рук, лап, голов, глаз, втягивает их обратно в тело и вновь отрачивает — уже в другой конфигурации... Этот образ не высасывает что-то из меня и не заменяет его чем-то *другим*, а это *другое* не выплескивается темно-зеленым на страницы моих рукописей. Карандаш в моей руке не растет, а рука не делается все меньше и меньше...



Видите, нет в камине ничего. Дым улетучился, ушел в небо через трубу. И в небе ничего нет — кроме, конечно же, луны, полной и яркой. Но ее, луну, не затмевает пенящаяся хаотическая чернь, заставляющая трепетать хрупкие кости мира. Нет никакого кипящего скверного потока, поглощающего луны, солнца и звезды. Нет этой противоречащей самой себе и разрастающейся, словно опухоль, общности всех существ и предметов, нет болотистой гадости, что протекает в жилах всей Вселенной. Нифескюръял — это не тайное имя всего сущего. И нет его ни в комнатах, ни в домах, ни за их стенами — нет под землей и высоко в облаках — нет в северных травах и южных садах — нет в каждой звезде и в пустоте между ними — нет в крови и костях — нет в душах и телах — нет в бдительных ветрах этого и других миров — нет под лицами живых и мертвых.

Я не встречу смерть в кошмарном сне.



ГОЛОС ДЕМОНА

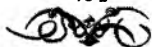
СНОВИДЦЫ В НОРТАУНЕ

I

Бывают такие люди, что требуют свидетелей своей гибели. Провести последние часы в одиночестве — не в их правилах, и они ищут зрителей, достойных зрелища. Тех, кто запомнит их последний выход на сцену жизни; тех, в чьих глазах, словно в зеркалах, они успеют поймать отражение собственной мрачной славы. Конечно, могут быть задействованы и иные мотивы — неясные и странные для любого смертного. Именно о них, а также о былом знакомце — назовем его Джек Куинн — я хотел бы поговорить.

Началось все, как я привык думать, одной поздней ночью в обшарпанных, но просторных апартаментах, что мы снимали с ним на пару неподалеку от города, где нам довелось учиться.

Я спал, и тут голос из темноты вызвал меня из отмеченного лихорадочным клеймом мира моих сновидений. Что-то тяжелое опустилось на край матраса, и странный аромат заполнил комнату — нечто среднее между едким табаком и запахом осенней ночи. Крохотный красный огонек взлетел по дуге к вершине темной фигуры и там вдруг



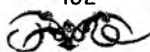
засиял ярче, слабо освещая нижнюю часть лица. Куинн улыбался и курил в темноте. Пребывая в ореоле тишины, он сидел, скрестив ноги, скрытый под длиннополым пальто, наброшенным на его плечи подобно шкуре какого-то зверя. Пальто пахло прелью октябрей. Не просто какого-то одного октября, который я легко мог бы вспомнить, — нет, одного из многих.

Я подумал, что Джек, должно быть, пьян или дрейфует в далеких высотах-глубинах ночных дум. Когда он наконец заговорил, его голос определенно звучал так, будто он где-то долго странствовал — и только-только вернулся. То был голос, дрожащий от внутреннего напряжения, прерывающийся. И было в нем нечто более значительное, чем простая и понятная примесь опьянения.

Он сказал, что принимал участие в *собрании* — что бы это ни значило. О других его участниках он подробно не обмолвился, называл их «теми, другими». То было своего рода философское общество — так он мне сказал; довольно-таки колоритное, судя по его словам. Собрания проводились в полночные часы. Возможно, они все принимали наркотики, дабы достигнуть некоего странного «просветленного» состояния.

Я встал с кровати и включил свет. Облик Куинна являл собой хаос — одежда еще более помятая, чем обычно, раскрасневшееся лицо, длинные рыжие волосы причудливо спутаны.

— Ну и где конкретно ты был этой ночью? — спросил я с неподдельным (и явно ожидаемым) любопытством.



У меня промелькнула мысль, что Куинн бродил где-то там, в Нортауне,— название, опять-таки, вымышленное, как и все имена в моем рассказе.

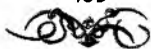
— Да много где,— уклончиво ответил он, посмеиваясь сквозь сигаретный дым.— Но ты, скорее всего, не поймешь. Ладно, спать пора.

— Ну, как знаешь,— хмыкнул я в ответ, прибегая свои претензии по поводу этого непрошеного полуночного визита на потом.

Оставляя за собой дымный шлейф, Куинн пошел в свою комнату. За ним закрылась дверь.

Вот так и вступило в свою заключительную фазу эзотерическое восхождение Куинна. На самом деле до той ночи я мало что о нем знал. Мы учились на разных курсах — я на антропологии, а он... боюсь, я и сейчас не до конца уверен, в чем же заключалась его программа. Так или иначе, наши графики редко пересекались. Тем не менее наблюдение за повседневностью Куинна разжигало любопытство. Эта его хаотичность, заметная по поведенческим, не обещала хороших отношений, но хотя бы вносила некую интригу в скучный быт.

Он часто стал заявляться домой ночью, неизменно — с каким-то нарочитым шумом. После той ночи его скрытность по отношению ко мне усилилась. Дверь в его комнату закрывалась, и все, что я после слышал,— скрип пружин старого матраса под его весом. Казалось, Куинн не раздевается перед отходом ко сну — даже не снимает пальто, становившееся все более потертым и скомканным день ото дня. Мучаясь временной бессонницей, я посвящал часы бессмысленного бдения прослушке звуков из соседней комнаты. Несся оттуда порой



и какой-то странный шум, совсем не похожий на привычные шорохи ночи; да и спал Куинн беспокойно — всхлипывал во сне, со свистом выдыхал, как при сильном испуге, говорил с кем-то — едва ли не рычал на каких-то совсем уж звериных нотах. Сон его будто состоял сплошь из неведомых потрясений. Порой спокойствие ночи и вовсе нарушалось серией пронзительных криков, за которыми следовал вопль, сделавший бы честь любой древнегреческой сирене, и я вскакивал в постели. Вопль этот вбирал в себя всю звуковую палитру ужаса, на какую только способен человек... но были в нем и благоговейно-оргазмические ноты, будто все те пытки, что снисходили на Куинна во снах, он принимал добровольно.

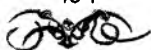
— Ты там умер и в ад загремел? — крикнул я однажды ночью через дверь своей спальни.

Крик еще звенел у меня в ушах.

— Спи дальше! — ответил он хриплым голосом человека, не до конца поднятого из колодцев сна.

Из-под двери его спальни поплыл запах раскуренной сигареты.

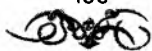
Порой после этих ночных всплесков я садился в кровати и наблюдал за тем, как неспешно восходит солнце за моим восточным окном. Дни того октября текли песком сквозь пальцы, складываясь в недели, а беспокойство в соседней спальне вдруг начало оказывать странное влияние на мой собственный сон. Вскоре Куинн перестал быть единственным в нашей квартирке, кого донимали кошмары. Волны эйдетического ужаса захлестывали меня во сне, но наутро от них оставалась лишь смутная память.



Но днем мимолетно ухваченные сцены сна вдруг возвращались — на короткий, но яркий срок, будто я открывал по ошибке какую-то запретную дверь, видел что-то, для моих глаз не предназначенное, и спешно ее захлопывал, порождая громкий, постепенно затухающий в сознании звук. В конце концов мой внутренний цензор видений и сам усоп, и я в трудноуловимых подробностях вспомнил один свой сон, каждая сцена которого была окрашена болезненно-кислотными красками.

Мне снилась небольшая публичная библиотека в Нортауне, куда по долгу учебы мне иногда приходилось наведываться. Но во сне том я был не просто посетителем, а одним из менторов — единственным, похоже, кто дежурил в пустом здании. Я просто сидел, благодушно озирая полки с книгами, и убеждал себя, что не бездельничаю, а выполняю пусть рутинную, но от того не менее важную работу. По законам сна долго так продлиться не могло, хотя ситуация уже приобрела оттенок нескончаемости.

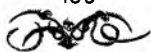
Этот статус-кво был нарушен запиской на клочке бумаги, которую я вдруг заприметил на поверхности приведенного в идеальный порядок стола: пошел новый виток сна. Записка оказалась запросом на книгу и была оставлена читателем, чья личность для меня осталась загадкой — ибо я не видел никого, кто мог бы положить ее туда. Моей сновидческой досаде насчет этой бумажки не было предела — вдруг она была там еще до того, как я сел за стол, а я ее взял и упустил? С осознанием возможной провинности пришло несоизмеримое беспокойство. Воображаемая угроза



неясной природы повисла надо мной. Без промедления я стал набирать номер хранилища, чтобы попросить дежурного доставить книгу... но я был по-настоящему один в этой снящейся мне библиотеке, и никто не ответил на отчаянный призыв самого, казалось мне, неотложного характера. Горение каких-то мнимых сроков повергало меня в экзальтированный ужас, и я, схватив бумажку-запрос, побежал за книгой сам.

По пути мне открылось, что телефонная линия была мертва. Провод, кем-то содранный со стены, лежал на полу таким потрепанным рабовладельческим хлыстом. Дрожа, я заглянул в бумажку, желая узнать название книги и каталожный номер. Первое не задержалось в моей памяти — но оно почти наверняка было связано с городом (пригородом, если быть точным), где жили мы с Куинном.

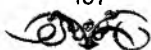
Я продолжил бег по нескончаемому коридору, насквозь прошитому бесчисленными узкими проходами меж книжных стеллажей — столь высоких, что, когда я отыскивал нужный, мне пришлось карабкаться по огромной приставной лестнице, чтобы добраться до требуемого тома. Вцепившись дрожащими руками в последнюю ступеньку, я принялся искать указанный в бумажке номер — или хотя бы какой-нибудь забытый глиф, что, по логике сна, скрывался за тем набором букв и цифр. Как и номер, найденная в конце концов книга безнадежно стерлась из моей памяти — ее состояние, цвет и размер забылись, когда я миновал барьер между сном и явью. Возможно, я даже выронил ее — но все это было не столь важно.



Куда важнее был маленький черный проем, возникший на месте изъятого с полки тома. Я вгляделся в него, каким-то образом зная, что этим я выполняю часть ритуала, связанного со взятием отсюда книги. Взгляд мой уходил все глубже... и сон вступил в новую фазу.

Там было окно. Или какая-то трещина в стене, затянутая эластичной мембраной, защищающей мир-во-сне, в котором был я, от мира-во-сне по ту сторону стеллажа. Там был какой-то пейзаж — лучшего термина я не подберу: некая живая картина в узкой прямоугольной рамке. Но этот пейзаж не имел земли и неба — этих двух привычных рубежей восприятия; там вообще, по-моему, не было никаких объектов, никаких даже форм жизни, подобных или же не-подобных земным. Просто бесконечное пространство — мера глубины, мера расстояния, ни намек на когерентность. Скорее странная кондиция, нежели странное существование; скорее отсутствие координат — попробуйте ухватить координаты миража или радуги! — чем их наличие. Мой взгляд совершенно точно натыкался на некие элементы, могущие быть отличенными один от другого, но раскрыть суть их взаимодействия было никак нельзя. По сути, я вглядывался в глубину того иллюзорного пятна, что порой возникает где-то на краешке глаза и пропадает, стоит нам повернуть к нему голову, не оставляя даже намека на то, что мы вообще что-то видели.

Описать мои ощущения от зримого можно только рисуя сцены, потенциально способные вызвать хотя бы слабое подобие схожих чувств: мучительно-хаотический смерч уплывающих в темноту



цветов спектра; бездна, на дне которой влажно поблескивают щупальца; инопланетная пустыня, плавающая в тускло-алом диапазоне, обращенная к небу с мириадами звезд цвета сухой кости. На руку увиденному играла еще и та болезненная обостренность чувств, какую человек испытывает лишь во сне, где логика не работает, но берут верх чувства, интуиция, невыразимые догадки и бессистемные знания. Мой сновидческий опыт будто забросил меня на страницы чудовищной вселенской энциклопедии, тающей в огненном коконе из обмана и мимикрического преобразования.

Только в самом конце сна я узрел цветные фигуры, растекающиеся и пребывающие в движении. Не могу сказать, были ли они чем-то определенным или просто абстракциями. Только они и казались живыми в своенравной бездне, повергшей меня в замешательство. Следить за ними, впрочем, не было приятно — колебания их цветных телес отдавали бездумностью, словно они, не имея ног, все же вышагивали внутри клетки, из которой могли в любой момент преспокойно сбежать. Эти призраки повергли меня в такую панику, что я пробудился.

Странно, но, хоть сон и не имел никакого отношения к моему соседу по комнате, проснулся я, хрипло взывая к нему. Но он не ответил — будучи где-то еще, но не здесь.

* * *

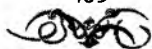
Сон этот я пересказал по двум причинам: во-первых — чтобы показать характер моей внутрен-



ней жизни в течение этого времени, а во-вторых — чтобы обеспечить какой-никакой контекст, исходя из которого я дал оценку тому, что обнаружил на следующий день в комнате Куинна.

Вернувшись в тот день с занятий, я, убедившись, что соседа нет, зашел в его комнату, чтобы пролить свет на источник донимавших его кошмаров. Дотошно копаться в его хлеву мне не пришлось — почти сразу же я заметил на столе тетрадь с обложкой цвета мрамора. Включив настольную лампу, дабы разогнать царивший в плотно зашторенной комнате мрак, я просмотрел первые несколько страниц. То был своего рода дневник психопрактик, и он отсылал меня к обществу, упомянутому Куинном несколько дней назад. Записи были посвящены медитациям и «духовному росту», пестрили эзотерической терминологией, которую я никак не воспроизведу, ибо сама тетрадь утеряна, — но, насколько я помню, описывали они прогресс Куинна на пути к своего рода «просветлению», рисовали робкие попытки наблюдения за тем, что, скорее всего, являлось сугубо иллюзорным миром.

Куинн вступил в какую-то декадентскую группу с философским уклоном, этакую маргиналию. Смысл жизни они видели в духовном самоистязании, свои угасающие чувства подпитывали оккультным лихачеством, *глядя в хрустальные глаза ада*, если прямо цитировать записи Куинна; эти слова я запомнил только лишь потому, что повторены они были не раз, будто являлись неким командным кодом. Как я и подозревал, замешаны были галлюциногены: разумеется, фанатики



были свято уверены в том, что вступают в контакт с метафизическими формами жизни. Их главной целью было выйти за пределы данной реальности в поисках более высоких состояний бытия, но чересчур хитроумным, вымученным методом; в первый раз я сталкивался со столь тернистым объездом на пути к просветлению — сквозь кощунственный фатализм и самоотречение, ведущее к испытанию кошмарами неназванной природы. Возможно, именно они питали их трепет перед главной целью, мне видевшейся лишь заигрыванием с личными демонами и стремлением к устрашающему господству над собственно самим страхом.

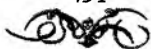
Интересные, однако, вещи нашлись в тетради Куинна! Но интригующей сверх всех остальных мне показалась последняя запись — краткая, почти полностью запомнившаяся мне. В ней, как и во многих других, Куинн обращался к самому себе во втором лице с различными обрывочными советами и предостережениями. Большая часть их была неразборчива, так как зиждилась на положениях, чуждых обывательскому рассудку. Однако у слов Куинна был определенный любопытный смысл, не ускользнувший от меня и при первом прочтении, и при последующих. То, что я приведу ниже, прекрасно отражает характер его наставлений самому себе.

До сей поры твой прогресс был медленным, но верным. Вчера ночью ты видел Область и теперь знаешь, на что она похожа, — трепещущее блистание, поле ядовитых цветов, блестящая внутренняя кожа запрет-



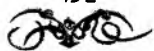
ного плода. Теперь, когда ты все ближе подступаешь к Области,— просыпайся! Забудь о своих вычурных фантазиях и учись двигаться как слепой зверь, каким должен стать. Слушай, чувствуй, обоняй Область. Прокладывай путь сквозь тернии. Ты сам знаешь, на что способны тамошние обитатели, едва поймут, что ты им снишься. Будь осторожен. Не останавливайся на одном месте несколько ночей подряд. Выйди — да хоть бы и в тот же Нортаун. Блуждай, ходи, вышагивай, сомнамбулируй, если потребуется. Замри и смотри — но только недолго. Будь безрассудно осторожен. Улови восхитительный аромат страха — и задуши его.

Я прочитал этот краткий отрывок не единожды, и с каждым новым разом он все меньше напоминал размышления чрезмерно впечатлительного сектанта, все больше — странный взгляд на знакомые и понятные мне, в общем-то, вещи. Таким образом я служил своей цели, ибо чувствительность моей психики позволила наладить тонкую связь с духовным началом Куинна, даже попасть в тонкости его настроения. И, судя по последней записи в тетради, предстоящие дни, в некотором роде, имели решающее значение — быть может, сугубо психологическое. Тем не менее другие варианты развития событий уже выстроились в моей голове — и едва это случилось, вопрос разрешился. Произошло это в следующую же ночь, за считанные часы. Заход за последнюю черту имел место — возможно, этого было никак не избежать — среди ночной жизни Нортауна, во всем ее жалком и чудном великолепии.



Номинально пригород, Нортаун, тем не менее, не был вынесен за черту того большого города, где находился наш с Куинном университет. Для полунического студента единственной здешней достопримечательностью служило недорогое жилье всех видов и расцветок — пусть и не всегда привлекательное внешне. Однако для нас с Куинном существовал еще один мотив: мы были вполне способны оценить скрытые преимущества сонного пригорода. В силу своего необычного положения Нортаун впитал в себя часть аляповатого городского гламура, только в меньших масштабах и в более скромных условиях. На его долю перепало порядочно ресторанов с экзотической кухней, ночных клубов со спорной репутацией и других заведений, чье беззаботное существование с точки зрения законности виделось крайне сомнительным.

Но в дополнение к этим второсортным эпикурейским искушениям Нортаун пекся и о менее «земных» интересах, какую бы смехотворную форму они здесь ни принимали. Его окрестности служили своего рода нерестилищем для субкультур и маргинальных движений (полагаю, сподвижники-фанатики Куинна, кем бы они ни были, происходили из пригорода, были его постоянными жителями). Вдоль семи кварталов коммерческой части Нортауна можно было случайно наткнуться в витрине на объявления о «прочтении будущего» и «приватных лекциях о духовных очагах человеческого тела»; прогуливаясь по определенным

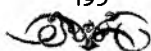


улочкам и случайно подняв глаза — на подозрительного вида оконца второго этажа, обклеенные изнутри бумажками с символами, понятными только посвященным. Чем-то общий настрой этих улиц перекликался с атмосферой моего ранее описанного сна — иные местные закоулки напоминали тот проем в книжной полке. Та же темнота с внутренней тайной жизнью.

А вот что в Нортауне действительно было важно — так это то, что многие здешние заведения оставались открытыми круглосуточно. Вероятно, именно по этой причине Куинн тяготел к нему. И теперь я знал, что несколько следующих ночей он планирует провести здесь, на пестрых нортаунских тротуарах.

Куинн покинул квартиру незадолго до темноты. Сквозь окно я наблюдал, как он огибает угол дома и поднимается вверх по улице, в сторону делового района Нортауна. Выждав, я последовал за ним. Я предполагал, что если моему плану по слежке за передвижениями Куинна и суждено провалиться, то это будет вопрос нескольких ближайших минут. Было разумно заподозрить за Куинном некую сверхчувствительность, что могла бы предупредить его о моем непрошеном вторжении в игру. В то же время я не напрасно верил в то, что Куинн несказанно желал обрести свидетеля своего краха. Так что все шло гладко до самых главных улиц Нортауна.

Там, впереди, высотки окружившей Нортаун метрополии титанами нависали над приземистыми постройками сателлита. Тусклое солнце почти зашло, очерняя их силуэты. Низинный анклав

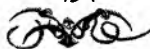


Нортауна лежал теперь в их тени — игрушечный городок рядом с настоящим. Но разница в размерах не мешала праздному люду стекаться и сюда, на электрические вспышки вывесок всех цветов спектра; даже довольно-таки промозглый осенний вечер не мог остановить эту снедаемую безотчетной скукой толпу, в которой мне куда проще было затеряться и остаться незаметным.

Я почти потерял Куинна на мгновение, когда он, отделившись от вялых пешеходных рядов, завернул в магазинчик на северной стороне улицы. Я остановился кварталом ниже, у витрины комиссионного магазина одежды, и шарил по ней взглядом до тех пор, пока он снова не появился снаружи, с газетой в одной руке и плоской пачкой сигарет в другой. В неоновом свечении было видно, как Куинн прячет сигареты в карман пальто.

Отойдя на несколько шагов, Куинн перебежал улицу. Я разглядел, что его целью был ресторан с укрепленным на вывеске полуколышком из букв греческого алфавита. Он сел за столик у окна — что было мне, конечно же, на руку, — развернул газету, дал какую-то отмашку официантке, подошедшей к нему с блокнотиком. По крайней мере на некоторое время слежка облегчилась. Мне совсем не улыбалось мотаться за Куинном всю ночь по магазинчикам и забегаловкам. Я надеялся, что в конечном итоге его поведение станет более... показательным. Но пока что я просто играл роль его тени.

Пока Куинн трапезничал, я сменил свой наблюдательный пост на лавку привозных восточных



товаров. Там было большое панорамное окно, и следить через него было одно удовольствие. К сожалению, я оказался единственным посетителем этого занюханного местечка, и три раза костлявая карга-продащица подходила ко мне и спрашивала, буду ли я что-нибудь покупать.

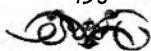
— Просто смотрю, — отмахнулся я, отводя ненадолго взгляд от окна и делая вид, что мне интересны расставленные кругом бесполезные сувениры и подделки под арабскую бижутерию.

В конечном итоге карга заняла свое место у кассы, спрятав правую руку под прилавок.

Безо всякой причины меня вдруг стали раздражать царивший в лавке пряный запах и обилие медных гравюр. Я решил вернуться на улицу, к переполненным, но подозрительно тихим тротуарам.

Спустя где-то полчаса, примерно без четверти восемь, Куинн вышел из ресторана. Со своего места — чуть ниже по улице, на другой стороне, — я проследил, как он сложил свою газету и аккуратно пристроил в ближайший почтовый ящик. Закурил новую сигарету. Возобновил свой ход. Я дал ему пройти полквартила, потом — перебежал на его сторону. Все еще не происходило ничего необычного, но какое-то обещание грядущих странностей будто бы витало в воздухе осенней ночи.

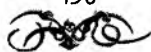
Куинн все шел и шел сквозь тьму и неон нортаунских улиц, лишившись, как казалось, всякой определенной цели. Его шаг стал менее целеустремленным, чем прежде, и он больше не смотрел уверенно вперед, а бесцельно глазел по сторонам, будто в



этой части города был впервые... или будто окрестности эти как-то изменились за то время, что он здесь не был. В мятом пальто, с растрепанными волосами, Куинн производил впечатление человека, ошарашенного тем, что его окружало. Замерев, он уставился на покатые крыши ближних домов, будто ожидая, что вся вязкая масса черного осеннего неба вдруг обрушится на них и потечет вниз. По рассеянности он налетел на какую-то компанию и умудрился потерять сигарету — та, разбрасывая гаснущие искорки, упала на асфальт.

Дойдя до темнеющей десятиэтажки с подсвеченным фойе, Куинн вдруг исчез, и я даже не сразу сообразил, что он спустился по идущей вдоль одного из ее боков лестнице, уходившей куда-то под улицу. Насколько я мог судить из укрытия, там, внизу, было тоже что-то вроде кафешки — скорее всего, вполне обычной, но мое воображение импульсивно населило ее всяческими странными личностями, чей вид один мог заставить содрогнуться. Передо мной встал неожиданный вопрос — стоит ли следовать за Куинном и разрушать иллюзию его одинокой мистической одиссеи? Вдруг именно здесь проходили его встречи с загадочным обществом? Если я заявлюсь туда — возможно, буду вовлечен в их тайное действо... Что ж, была не была. Осторожно поравнявшись с лестницей, я присел и заглянул в пыльное окошко, лишь верхним краем выступавшее над тротуаром. Да, что-то вроде бара. Куинн был внутри, сидел в отдаленном углу... один.

— Любишь подглядывать? — осведомился кто-то у меня за спиной.



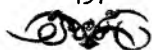
— Окна — зеркала бездуховности,— добавил второй голос.

Я обернулся. Двое, что предстали моим глазам, походили на профессоров из университета — но точно не с кафедры антропологии, где я знал всех. Вместе с ними я и спустился в бар. Войди я один — было бы куда заметнее: так что с этими почтенными учеными мужами мне даже повезло.

Внутри оказалось темно, людно и гораздо просторнее, чем на первый, «снаружный» взгляд. Я сел подальше от Куинна, у самой двери. Обстановка тут была предельно простая — что-то вроде неотреставрированного подвала или ангара. С балок потолка свисали какие-то штуки, напоминавшие ремни для правки бритв. К моему столу подошла довольно симпатичная девушка, и я даже не сразу понял, что она официантка. Отсутствие униформы делало ее неотличимой от простой посетительницы.

Порядка часа я спокойно сидел и потягивал свою выпивку, развернувшись на стуле так, чтобы было видно Куинна,— при почти полном наклоне вперед это мне вполне удавалось. Мой сосед явно нервничал. Даже в своей кружке — скорее всего, то был простой кофе, а не что-то крепкое — не находил он утешения: его глаза, казалось, тщательно исследуют каждый дюйм зала в поисках чего-то. Его нервные взгляды однажды почти сосредоточились на моем собственном лице, и мне тоже невольно пришлось осторожничать.

Незадолго до того, как мы с Куинном покинули это место, на подмостки у стены поднялась девчонка с гитарой. Когда она умостила на стуле и

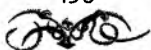


приготовилась играть, кто-то включил единственную подсветку на полу. Та, как я заметил, представляла собой подвижный диск, разделенный на четыре секции — красную, синюю, зеленую и прозрачную. Сейчас диск был настроен так, чтобы свет шел только через прозрачное стеклышко.

Никак себя не представив, гитаристка после меланхоличного вступления затянула незнакомую мне песню. Впрочем, в ее плаксивом сиреническом исполнении я вряд ли признал бы даже какой-нибудь популярный хит. Все, что я мог сказать о песне: жалобная, пронизанная какой-то нездешней гармонией, будто вдохновленная некими экзотическими гротесками... или так только казалось.

Выслушав жидкие аплодисменты, девчонка завела что-то новое, поначалу мало отличающееся от первого номера. Минуту я вслушивался в странные ноты, и тут произошло непредвиденное — момент смятения, — и мгновения спустя я снова оказался на улице.

Видимо, это все было случайностью — пока она выводила припев об утерянной любви, кто-то у подмостков вздумал раскрутить диск подсветки. Зал мигом обратился в калейдоскоп. Роящиеся цвета заструились по фигуре певицы, по сидящим за соседними столиками посетителям. Песнь все тянулась, ее вялый темп противоречил танцу красных, синих, зеленых пятен, и было что-то мрачноватое в этом визуальном беспорядке, в его неуместной текучей радостности. На краткий миг хаос красок затмился — когда между мной и подмостками встала фигура спешащего, спотыкаю-

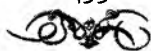


щегося человека. Запоздало я осознал, что это был Куинн, — и сам рванулся с места.

Мне стоило немалых трудов нагнать его, давящегося очередной сигаретой, в темном конце квартала. Следуя за ним во мраке, я миновал поочередно вспыхивающий набор букв очередной вывески: Э-С-С-Е-Н-С-Л-А-У-Н-Ж, ЛАУНЖ, ЛАУНЖ; они пролетели мимо — и канули во тьму, уступая место МЕДЕЕ. Все наши следующие останки отпечатывались в моем смятенном сознании поляроидными кадрами, наскоро производимыми обезумевшим фотографом.

Куинн забегает в стрип-бар. Лазерная установка вырисовывает в дымном воздухе причудливые образы, сшитые вспышками потрескивающего стробоскопа. Искусственная белизна на секунду заливает бетонные стены: периоды черноты — словно материализованное безвременье в желудке Левиафана. Я проталкиваюсь сквозь ряды, стараюсь найти его, кто-то кладет руку мне на плечо, я ее сбрасываю. Там, у шеста, плавно, величественно, самозабвенно нарезает гипнотические круги девушка в прозрачной накидке — блески отражают безумство света. Куинн у ее ног, внизу — молещик близ идола. Куинн не видит меня. Куинн, похоже, вообще ничего не видит — рука с сигаретой прикрывает глаза, плечи мелко дрожат, и я так и не понимаю, пугает ли его это светопредставление или очаровывает.

Вот он снова спасается бегством от блистательной фантазмагии, и я следую за ним. Куинн врывается в книжную лавку — обычную, а не какого-нибудь оккультного толка. Куинн потерянно

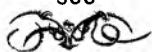


озируется внутри музыкального магазина — на улицу выведен динамик, изрыгающий плохо зарифмованное безумие. Куинн и аркадные автоматы — самая короткая наша остановка за сегодняшнюю ночь... Так, перепрыгивая со вспышки на вспышку, с кадра на кадр, он становится все более подозрительным... нет, не совсем верное слово: все более зорким. Он более не бежал, но шаг его то и дело сбивался; со всех сторон в этой ночи, пронизанной потоками искусственной иллюминации, на него будто накатывали волны неких несказанных побуждений, повергая в дрожь неопределенности. Сменилось все: его манера движений, жесты, темп; этот Куинн не походил на себя прежнего, порой я вообще сомневался, что это тот самый Джек Куинн... и утвердился бы в своей ошибке, если бы не его трудноповторимый эксцентричный вид. *Может статься, подумал я, он наконец-то догадался, ощутил или почувствовал, что за ним «хвост». Может, теперь ему не требуется свидетель или документировщик — дальше уже только его личный ад.*

А может, совсем не во мне дело.

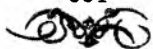
Он что-то искал. Искал среди моря неона и берегов из бетона. Какой-то сигнал, ориентир, маяк, что могло бы направить его этой холодной и пахучей октябрьской ночью. Но вряд ли он нашел свой указатель, а если и нашел — то понял неправильно, ибо последствия могли бы быть иными, случись все так.

Бдительность Куинн потерял в свою предпоследнюю остановку той ночью. Время клонилось к полуночи. Мы достигли последнего квартала делово-



го района Нортауна, северных границ пригорода, крайними своими домами вливавшегося в город. Было тут беспросветно — и в прямом, и в переносном смысле. По обе стороны улицы стоял ряд жилых домов, высота которых порой резко менялась. Многие заведения в этой части города не пеклись о наружном освещении, даже если таковое имелось — не работало. Но отсутствие иллюминации редко означало, что заведение закрыто на ночь, судя хотя бы по машинам, что подруливали и отъезжали от бордюров у потемневших магазинов, баров, частных кинотеатров и прочих, и прочих. Количество случайных пешеходов в этом предместье, казалось, сократилось до набора определенных лиц специфических вкусов и устремлений. Уличное движение тоже поредело, и было что-то на редкость мрачное и злое в тех немногих помянутых паркующихся авто. Вообще, двигались ли они? Не в причудливом ли сне оказался я, не привиделись ли мне все эти световые откровения, сменяющиеся угрюмыми чернотами? Весь этот пейзаж — он будто пришел откуда-то еще, откуда-то извне. Через улицу я уставился на старое здание — еще один бар? еще один приватный клуб? — и мне вдруг почудилось, что оно как-то странно звучит: шум шел не из-за стен, а из источника далече, и было в нем даже что-то зримое — своего рода вибрация, наполнявшая ночной воздух. И все же это было просто старое здание. Не более и не менее. Стоило взглянуть — и шумы утихли, а воздух перестал еле заметно дрожать. Реальность победила.

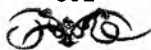
Слишком уж маленьким был этот клуб или бар — войдя внутрь, я никак не смог бы скрыть



свое присутствие. Но Куинн, не колеблясь, зашел, и мне осталось только выжидать. Хотя сейчас мне кажется, что, по меньшей мере, интересно было бы узнать, что же связывало его с этим заведением и с его посетителями. Но прошлое — в прошлом. До сей поры я знаю лишь одно — и это меня все так же удивляет: вышел оттуда Куинн изрядно набравшимся. Я-то полагал, он собирается сохранить трезвость до самого утра. Даже то, что в баре-подземке он пил кофе, указывало на его «сухой» настрой. Так или иначе, что-то заставило его пересмотреть планы или вовсе позабыть о них.

Теперь мне требовалось куда меньше осторожности — до смешного легко оставаться незаметным, следуя за тем, кто едва ли может видеть тротуар, по которому идет. Мимо нас, разбрасывая красные и синие всполохи, проехала полицейская машина, но Куинн не обратил на нее внимания. Он остановился, но лишь для того, чтобы зажечь новую сигарету. Не такая уж и простая задачка на ветру, что превратил его расстегнутое пальто в дикие, полощущиеся за спиной крылья. Возможно, именно этот ветер выступал той своеобразной направляющей силой, что вела нас к конечной точке, к самому краю Нортауна, где несколько точечных источников света разгоняли тьму.

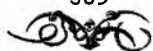
Там была вывеска кинотеатра. У нее мы снова столкнулись с патрульной машиной. Позади нее стоял еще один автомобиль, массивный и дорогой, с глубокой вмятиной в сияющем борту. Неподалеку от бордюра стоял знак запрета парковки, смятый в подобие буквы L. Долговязый полицейский осматривал поврежденную городскую соб-



ственность, в то время как владелец роскошной машины, на чьей совести и была, похоже, гибель знака, стоял в стороне. Куинн удостоил их лишь мимолетного взгляда, направляясь к кинотеатру. Вскоре и я последовал за ним, успев расслышать, как горе-водитель говорит полицейскому: «Что-то ярко окрашенное... в сторону от фар... свернул, не успел притормозить... куда-то исчезло, не знаю, что это было».

Вестибюль кинотеатра некогда, видимо, имел черты барочной элегантности, но сейчас изящная лепнина посерела от слоя многолетней пыли, а лампочки огромной люстры горели через одну, выдаваясь из облупившихся декоративных завитков. Стекланный прилавок по правую руку от меня, когда-то, несомненно, заполненный яркими коробками конфет, был переоборудован — судя по всему, уже давно — в стенд с порнографическими журналами.

Зайдя в одну из длинного ряда дверей, я постоял некоторое время в коридоре позади зала. Несколько мужчин здесь переговаривались между собой и курили, бросая пепел на пол и размазывая его подошвами. Их голоса почти заглушал звук фильма, восходящий сюда от колонок в центре и блуждающий меж черных стен. Я заглянул в зал, освещенный экраном: немногочисленные посетители сидели, в основном, по одному, в побитых временем креслах. Я заметил Куинна — он сидел почти вплотную к экрану, в первом ряду, рядом с огороженным шторками и подсвеченным табличкой выходом. Казалось, он дремал, а не смотрел фильм, и я без опасений занял место в нескольких рядах от него.

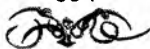


К тому времени Куинн, казалось, потерял остатки былой бодрости, запасенной для этой ночи. В темноте зала я начал клевать носом и вскоре заснул. Куинну это, похоже, удалось раньше.

Долго я не проспал — вряд ли больше нескольких минут, — но сон все же увидел. Не кошмар, нет. В нем была тьма, голос... но ничего более. Голос Куинна. Он звал меня из какого-то неведомого далека, неисчислимого в привычных нам величинах, будто бы из другого, чуждого мира. Его слова были искажены, будто миновали такие среды, что превращали человеческий голос в звероподобный визг — наполовину придушенный, наполовину озлобленный, словно его обладателя кто-то неспешно и методично истязал. Вот что, помимо несколько раз повторенного собственного имени, разобрал я в переливах этого истошного крика:

«Не уследил за ними... в Области... где ты? помоги нам!.. они тоже спят... и я им снюсь... они *меняют* своими снами все, что им снится!..»

Я пробудился — и первое, что я увидел, была бесформенная разноцветная масса, будто сошедшая с экрана кинотеатра, кипевшая полуаморфным облаком там, где сидел Куинн. С ним происходило что-то странное — окруженный этой субстанцией, словно облаком, он, дрожа всем телом, *стремительно уменьшался в размерах*. Полы его пальто трепыхались под сиденьем. Голова стремительно уходила в плечи, и вот уже копна рыжих волос мелькнула *ниже* их уровня. Обвисли опустевшие рукава. В последнем усилии подскочили в воздух ноги — и то, что еще осталось от Куинна, метнулось к выходу и вывалилось за прикрывавшую его



шторку. Пульсирующую переливчатую ауру, словно прилипший комок водорослей, выдернуло следом за этим недоразумением.

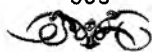
Я, наверное, все еще сплю, пришла мысль, и это — продолжение сна, пострёма, осознанное сновидение, в котором реальность искажена. Но даже если и так — теперь-то я точно проснулся. Темный зал был реален. Подлокотники кресла под руками отлично ощущались. Собравшись с мыслями, я поднялся, прошел к выходу и заглянул за шторку, за которой считанные мгновения назад скрылось мое видение.

Глазам предстала цементная лестница, ведущая к металлической двери, захлопнувшейся только-только. На одной из срединных ступенек лежал знакомый ботинок — видимо, Куинн потерял его в безумной спешке. Куда он побежал? От кого? Только об этом я теперь и думал, невзирая на общую странность всей ситуации, отринув всякие каноны, по которым можно было разграничить зримое и привидевшееся.

Я постоял у двери в нерешительности. Ведь все, что нужно, чтобы убедиться в том, что все это мне привиделось, — открыть ее и выйти наружу.

Но, поступив так, я окончательно убедился в том, что вся цепочка событий этой ночи служила для Куинна лишь случайным трамплином в какое-то иномирье, и с каждой секундой возможность вернуть его обратно тает.

Площадь перед кинотеатром не была освещена... но и темной ее назвать не получалось. В узком проходе между кинотеатром и соседним зданием — видимо, именно туда ускользнул Куинн — что-то шумело и светилось.



Как будто зловещее миниатюрное солнце, зажатое меж двух стен, восходило, разбрасывая лучи этого смутно знакомого колеблющегося света, чьи странные потоки все более крепили, все сильнее и ярче проявлялись. Чем интенсивнее он становился, тем отчетливее я слышал крик — крик Куинна из моего сна. Я позвал его в ответ, но ступить навстречу этой пульсирующей многоцветной опухоли не решился — столь силен был мой страх. Словно радуга, прошедшая сквозь призму, в которой всякий натуральный цвет претерпел отвратительные изменения, словно Аврора сумасшедшего блеска, словно язва на теле реальности, сквозь поры которой изливалось гниение другого, чужого мира, это явление никак не поддавалось внятному описанию — любые выпретенные образы меркли перед его видом, не говоря уже о банальной мистическо-окультиной тарабарщине.

И миг этого явления был краток, хоть фантазмагоричность его и заставила мое сознание поверить, что свет этот застыл, замерз навечно. Одарив меня последней вспышкой, сияние иссякло, будто питающий его неведомый источник был резко перекрыт где-то там, в мире, которому оно принадлежало. Крик тоже прервался. Осторожно я вошел в проход, где был Куинн, но все закончилось. Я не был дилетантом в схождениях со сверхъестественным, но сейчас был буквально ошарашен.

Впрочем, кое-что осталось на память — кусок выжженного асфальта, с которого исчезли редкие ростки сорняков и весь мусор, коим изобильно была усеяна округа. Быть может,

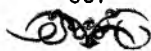


именно с этого места причудливый световой объект был вырван, изъят, унесен прочь, оставив после себя мертвый след. Мне даже почудилось, будто отметина слабо посверкивала... возможно, это была лишь игра воображения, но форма ее походила на человеческий силуэт — искаженный настолько, что его легко можно было перепутать с чем-то совершенно другим. Так или иначе, что бы здесь ни было мгновение назад, ныне оно уже не существовало.

Вокруг этого клейма осталось много мусора — размытые временем газеты, прогнившие насквозь бумажные пакеты, сонм окурков. И только один предмет казался здесь лишним. Он был почти новым, хотя какая-то сила, несомненно, изрядно покорибила его. Подняв эту плоскую картонную коробочку, я вытряхнул из нее на ладонь две уцелевшие, совсем-совсем новые сигареты.

3

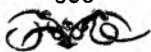
Куинн не вернулся более в наш дом. Через несколько дней я сообщил об его исчезновении в правоохранительные органы Нортауна. Перед этим я порвал его тетрадь — в приступе чистой паранойи: мне показалось, что, если полицейские найдут ее в ходе обыска, мне станут задавать весьма неудобные вопросы. Не очень-то мне и хотелось говорить с ними о том, во что они попросту не поверят, особенно о ритуале последней ночи. Осмелюсь я — на меня бы пали ошибочные подозрения. К счастью, с сыском в Нортауне дела оказались так себе.



После исчезновения Куинна я сразу стал подыскивать себе другую квартиру. Хотя мое соседство с ним и казалось делом навсегда закрытым, он не перестал являться мне в кошмарах, лишая меня спокойного сна. Его призрак, как мне казалось, все еще бродил меж комнат.

Несмотря на то что фигура из моих снов совсем не походила на пропавшего Джека Куинна — да и на человека вообще, — я знал, что это он. Его форма менялась — точнее, ее изменяли те калейдоскопические бестии. Разыгрывая сцену из какого-то ада в духе Босха, демоны-мучители окружали и терзали свою жертву. Они заставляли Куинна претерпевать отвратительную серию преобразований, насмешничали над воплями проклятой души, придумывали из него что-то новое или делали так, чтобы он давился собственным старым. Под конец их цель стала очевидна: жертва ступень за ступенью приближалась к их состоянию и в итоге становилась одной из них: самые страшные и навязчивые видения становились явью. В какой-то момент я перестал узнавать в этой текучей человеческой глине черты Куинна и заметил только, что появилась еще одна переливчатая тварь, занявшая место среди себе подобных, вступившая в их резвящийся круг.

Это был последний подобный сон, а потом я выехал из квартиры, и все для меня кончилось. Нет, сны мне, конечно же, все еще снятся, но они обычные, и от них я не вскакиваю посреди ночи с колотящимся сердцем. Чего нельзя сказать о моем

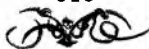


новом соседе, с которым мы делим адски тесную (зато дешевую) конурку. Раз или два он пытался достучаться до меня, описывая свои странные ночные видения, но я не проявил к ним ни малейшего интереса. Я, будущий солдат редехущей армии антропологов, должен блюсти определенную дистанцию с теми, кого собираюсь изучать. Редкостный мне достался тип — стоит стать с ними на короткой ноге, как их поведение изменяется так, что процесс изучения становится неосуществим. Но, в любом случае, компанейские отношения — совсем не то, что нужно этим первопроходцам альтернативных реальностей. Чего они желают — так это, как и в случае Джека Куинна, обрести свидетелей собственной гибели, собственного низвержения в бездну кошмара. Они хотят, чтобы на их добровольный спуск в ад сыскался стоящий летописец. Я готов играть для них эту роль, коль скоро она удовлетворяет моим интересам, хотя порой чувствую за собой легкий намек на вину. Ведь, по правде говоря, я — паразит: живу за счет недуга, что сокрушает их, сам при том остаюсь цел и невредим. В роли, которую я для них играю, есть что-то от вуайеризма. Ведь это в моих силах — спасти хоть кого-нибудь! Если бы только я мог протянуть им руку, когда они уже на самом краю... но мне остается лишь гадать, как назвать мою собственную болезнь, в угоду которой я неизменно, снова и снова, позволяю им обрушиться вниз.

ПРОИСШЕСТВИЕ В МЮЛЕНБЕРГЕ

Если мир вещей на деле — совсем не то, чем нам кажется (и он не устает нам об этом напоминать), то разумно предположить, что многие из нас игнорируют эту истину, чтобы уберечь устоявшийся порядок от распада. Не все, конечно, — но большинство, а большинство всегда имеет решающее значение. Кому-то же из оставшегося нечетко обозначенного меньшинства в этой неясной и жуткой статистике суждено навеки сгинуть в царстве навяждений — без возможности вернуться к нам. А тем, кто все же остается, надо полагать, невыразимо трудно уберечь свое видение мира от разрушения, от точечных размываний, что могут по случаю привести к грандиозному искажению всей картины.

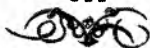
Знавал я человека, что изо дня в день утверждал: всякая осязаемая форма однажды была замещена дешевыми подделками, и никто этого не заметил. Деревья стали из фанеры, дома — из разноцветного поролона. Да что там — целые местности стали просто утрамбованным нагромождением заколок для волос, а его собственная плоть, по



его же словам,— шпаклевочным гипсом. Стоит ли говорить, что знакомство это не продлилось долго и на суть моей истории практически не влияет. Отгородившись от людей одиночеством — ведь они все, как он верил, добровольно приняли этот кошмарную подмену,— тот чудак удалился в собственное, сугубо личное иномирье. И пускай его откровения противоречивы в частностях, не ошибался он в главном: реальность лжива. До самого мозга новообретенных фальшивых костей из папье-маше проняла его эта истина, эта аксиома.

Говоря о себе, я должен признаться, что миф о естественной Вселенной — той, что придерживается определенной преемственности, хотим мы того или нет,— поблек в моих глазах и постепенно вытеснился галлюцинаторной трактовкой феномена Творения. Форма, не могущая предложить ничего, кроме постулируемой осязательности, отступила на второй план; мысль, эта мглистая область незамутненных смыслов, обрела власть и влияние. Это было в те дни, когда эзотерическое знание довлело в моем мировоззрении, и я готов был заплатить многим за него. Отсюда и произошел мой интерес к человеку, звавшемуся Клаусом Клингманом. Наш краткий, но взаимовыгодный союз — сквозь посредства слишком извращенные, чтоб о них вспоминать,— произрос оттуда же.

Без сомнения, Клингман был одним из немногих истинно просветленных и не раз доказывал это в ходе различных психопрактик и экспериментов. Известность обрели Некромант Немо, Магистр Марлоу и Мастер Маринетти — но под этими яркими личинами всякий раз скрывался один лишь



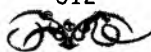
Клаус Клингман. Высшим своим достижением он считал не сценический успех, а безоговорочное принятие идеи о нематериальной природе вещей. По Клингману, мир вокруг нас был не просто чем-то иным, замаскированным,— он вообще вряд ли существовал.

Клингман жил на огромном чердаке ангара, доставшегося по наследству, и зачастую именно там я и заставал его, меряющего шагами аскетично обставленное помещение. Восседаая в своем антикварном кресле и вслушиваясь в скрип прогнивших стропил, он вечно смотрел куда-то вдаль, куда бранным физическим оболочкам его посетителей доступ был заказан. Страдалец, чью жизнь разъедали фантазии и частая выпивка,— вот кем он был.

— Текучесть... извечная текучесть бытия! — кричал он в тусклый лик спешащих на смену умирающему дню сумерек, и в такие моменты мне казалось, что он — живое воплощение своих мистических идей — вот-вот удивительным образом отринет собственное тело, эту безумно сложную атомарную структуру, и ярчайшим фейерверком исчезнет из мира живых, уйдет в Великое Ничто.

Мы с ним не раз обсуждали опасности — как личного, так и общемирового характера,— связанные с принятием жизненных ориентиров духовидца.

— Мир зиждется на деликатнейшего рода химии,— провозглашал он.— Само слово — *химия*: что оно значит? Что-то смешать, соединить, вплести одно в другое... Таких вещей человечество боится!

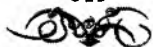


И ведь верно: уже тогда я понимал, что планы Клингмана сопряжены с опасностями. Стоило солнцу по ту сторону огромных ангарных окон закатиться за город, я начинал бояться.

— Худший кошмар нашей расы, — взывал Клингман, указывая на меня, — это обесмысливание! Падение приоритетов! Переоценка ценностей! Ничто с этим не сравнится — даже полное забвение покажется сладкой негой. И ты, конечно же, понимаешь, почему... почему именно это — хуже всего. Все эти плодящиеся невротики, все эти загруженные умы — я почти слышу звуки, что они производят: будто трансформаторы работают во мраке. Я почти *вижу* их — они будто мишура, вспыхивающая на солнце. Каждую секунду им приходится напрягаться изо всех сил, чтобы небо было небом, а земля — землей, чтобы мертвые не восставали, а логика привычного мира не нарушалась, чтобы все было на своих местах. Каков труд! Какая изматывающая задача! Стоит ли удивляться тому, что все они, однажды услышав ласковый шепоток в голове, призывающий сложить с себя такое бремя, не могут устоять перед соблазном? Их мысли начинают дрейфовать, влекомые этим мистическим магнетизмом, лица начинают меняться, тени обретают голос. И рано или поздно небо над ними тает, словно воск, и стекает вниз. Но, сам знаешь, еще не все потеряно — всепоглощающий ужас отделяет их от этой участи. Стоит ли удивляться тому, что они продолжают бороться, невзирая на любую цену?

— А ты? — спросил я.

— Я?..



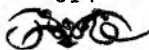
— Да, не ты ли по-своему также поддерживаешь сохранность бытия?

— Никак нет,— ответил он, улыбаясь в своем кресле, будто на троне.— Я счастливчик. Паразит хаоса, личинка порока. Там, где я,— там *всегда* царит кошмар, и это по-своему приносит облегчение. Я привык пребывать в бреде истории. И под *историей* я понимаю события и даже целые эпохи, что начисто стерлись из памяти человечества. Из разговоров с умершими чего только не почерпнешь... они-то помнят все, что живые забыли. Знают то, чего живые никогда не смогли бы узнать. Им ведома истинная неустойчивость сущего. Взять хотя бы это происшествие в старом Мюленберге. Они рассказали мне обо всем одним летним вечером, и я слушал их, потому что меня никто нигде не ждал, мне некуда было идти... тени расселись по углам моей комнаты; помню колокола, собор, шелест кассетной пленки... годы с одна тысяча триста шестьдесят пятого по одна тысяча триста девятосто девятой... помню собор, колокола! Никто не знает... а они знают все... и то, что было раньше, и ту эпоху ужаса, что грядет!

Клингман расплылся в улыбке, засмеялся — его последние слова, похоже, были адресованы более самому себе, чем кому-то еще. В надежде вывести его из темных закоулков собственного разума, я позвал:

— Клаус, что это за город — Мюленберг? Что за собор?

— Я помню собор. Я *вижу* собор. Колоссальные своды. Центральная арка нависает над нами. В темных углах сокрыты резные гравюры... зверье

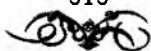


и уродцы, люди в пастях у демонов. Ты снова записываешь?.. Хорошо, это хорошо, пиши. Кто знает, что из этого всего ты запомнишь? Вдруг твоя память и вовсе не справится? Неважно, мы уже там... мы сидим в соборе, среди приглушенных звуков... а там, за окнами, на город наползает сумрак.

Сумрак, как поведал мне Клинтман, окутал Мюленберг одним осенним днем, когда облака, равномерно укрывшие город и его округу, затмили солнечный свет и привели лес, тростниковые фермы и застывшие у самого горизонта ветряные мельницы в гнетуще-унылый вид. В высоких каменных пределах Мюленберга никого, казалось, особо не беспокоило, что узкие улицы, привычно обрастающие в это время дня тенями остроконечных крыш и выступающих фронтонов, были все еще погружены в теплый полумрак, что превратил яркие купеческие вывески в нечто достойное заброшенного города, а лица людей — в слепки из бледной глины. А на центральной площади, где скрещивались, подобно мечам, тени от шпилей-близнецов собора, ратуши и бойниц высокой крепости, возвышавшейся на подступах к городу, царила лишь непотревоженная серость.

О чем же думали горожане? Почему не заметили, как попоран был древний уклад вещей? Когда состоялось то разделение, что пустило их мирок в свободное плавание по странным волнам?

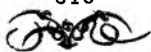
В блаженном неведении пребывали они, занимаясь каждый своим делом, пока неправомерно затянувшиеся пепельные сумерки покушались на те часы, что, будучи достоянием вечера,



четко проводят границу между днем и ночью. Зажглись одно за другим окна, создавая видимость, что приход ночи неизбежен. Казалось, вот-вот наступит тот момент, когда естественный порядок избавит город от преподнесенного этим странным осенним днем затяжного заката, — и темнота была бы облегченно принята всеми, от бедняков до богачей Мюленберга, ибо в этих жутких застойных сумерках никто не решался обратиться к извилистым улочкам города. Даже привратник сбежал со своего ночного поста, и, когда колокола аббатства стали бить вечерню, каждый удар проносился подобно сигналу тревоги по городу, замершему в ирреальном свечении сумрака.

Изыеденные страхом, жители стали запахивать ставни, гасить лампы и ложиться в кровати, надеясь, что все придет в порядок. Кто-то бдел со свечой, наслаждаясь утраченной роскошью теней. Пара-тройка странников, чей быт не был привязан к городу, вторглись в Мюленберг чрез неохраняемые ворота и пошли по городским дорогам, все время глядя на бледнеющее небо и гадая, куда же идти теперь.

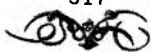
Проводя ли часы во снах или же на бессменных вахтах, все как один жители Мюленберга были обеспокоены чем-то в своем отечестве, как если бы некая инаковость просочилась в атмосферу их города, их жилищ... возможно даже, их душ. Воздух будто потяжелел и стал хуже поддаваться, заполоненный некими формами, которые глаз отказывался воспринимать иначе как посредством случайных мельтешений и в мгновение ока пропа-



дающих фантомов. Суть этих форм была едва ли доступна взгляду.

Когда часы в высокой башне ратуши подтвердили, что ночи пришел конец, кто-то растворил ставни, даже отважился выйти на улицу. Но небо все еще нависало над головами взвихрением подсвеченной пыли. Тут и там по всему городу люди сбивались в перешептывающиеся кучки. Вскоре с соборного аналоя высказали первые робкие домыслы, призванные успокоить паству: видимо, там, на небесах, идет борьба, что и повлияло на устои зримого мира. Кто-то, конечно же, упомянул о каре Господней и об искушениях дьявола. Язычники провели тайные встречи в своих клоаках и дрожащими голосами помянули древних богов, что были преданы забвению до поры, а теперь прощупывали себе страшную дорогу обратно в мир. По-своему каждая подобная трактовка была верна — но ни одной из них не под силу было унять ужас, простершийся над Мюленбергом.

Отданные во власть затянувшихся сумерек, смущенные и напуганные чьим-то призрачным вторжением, жители города чувствовали, как их тихая, устоявшаяся жизнь летит под откос. Повторяющийся бой башенных часов звучал как издевка. Пришло время странных мыслей и диких решений: например, пошли слухи о самом старом дереве в саду аббатства — дескать, в его искривленной фигуре произошли некие изменения, а ветви стали жить собственной жизнью, обвисая дрожащими плетями. В конце концов монахи облили дерево лампадным маслом и подожгли — сполохи огня танцевали на их напуганных лицах. Фонтан



в одном из внутренних дворов печально прославился тем, что якобы обрел невиданную глубину, несоразмерную с положением дна. В конце концов и сам собор опустел, ибо молящихся пугали странно движущиеся вдоль резных панелей силуэты и дрейфующие в дерганом свете тысяч свечей бесформенные призраки.

По всему городу места и вещи свидетельствовали о пересмотре основы основ материи: так, рельефный камень утратил твердость и потёк, забытая садовая тачка частично впиталась в вязкую дорожную грязь, кочерга увязла в кирпичной кладке очага, драгоценные украшения слились с их обладателями, а тела мертвых — с деревом гробов, в которых покоились. Потом пришло время и лиц жителей Мюленберга — первые изменения были довольно-таки робкими и незаметными, но позже набрали столь большую силу, что угадать за ними первоначальный облик не виделось возможным. Горожане перестали друг друга узнавать... но, что характернее, вскоре они перестали узнавать себя. Да и нужда в этом пропала — их всех затянул сумеречный парасомнический водоворот, в конце концов перемешавший их тела с воцарившейся темнотой.

И именно в этой темноте души Мюленберга бахрхтались и сопротивлялись... и в конце концов наградой им стало пробуждение. Звезды и высокая луна осветили ночь, и город, похоже, вернулся к ним прежним. А недавнее испытание, выпавшее на их долю, столь ужасное в своем начале, развитии и завершении, стерлось из их памяти начисто.



— ...Начисто? — эхом откликнулся я.

— Разумеется,— кивнул Клингман.— Все эти ужасные воспоминания остались позади, во тьме. Они не осмелились вернуться за ними.

— Но твой рассказ,— запротестовал я.— Все, что я записал сегодня...

— Что я тебе говорил? Это тайна. Конфиденциальная информация. Вырванная страница истории. Рано или поздно каждая живая душа Мюленберга обрела память о том случае в деталях. Им пришлось просто возвратиться туда, где они ее оставили,— в потемки послесмертия.

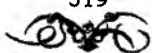
Я вспомнил о смертопоклоннической вере Клингмана. Той вере, которую я всегда старался разделить, невзирая на спорные моменты. Но это было уж слишком.

— Тогда эту историю ничем не подтвердить. Никак не проверить. Я думал, ты хотя бы вызовешь парочку духов. Прежде ты меня не разочаровывал.

— Не разочарую и сегодня. Держи в уме вот что: я знаю всех мертвецов Мюленберга... и не только их. Всех тех, кто познал вечный сон во всей его суетности,— тоже. Я говорил с ними так же, как сейчас — с тобой. Столько с ними связано воспоминаний... Столько пьяной болтовни...

— Как сегодня? — откровенно поддел я его.

— Пожалуй,— серьезно ответил он,— в чем-то даже — реальнее, ярче! И кстати, сегодня своей цели я добился. Чтобы излечить тебя от сомнений, нужно, чтобы сомнения были. До этого самого момента — уж прости, что говорю прямо,— ты показал себя крайне бесталанным скептиком. Ты



верил всей чертовщине с малейшим намеком на доказательство. *Беспрецедентная* доверчивость. Но сегодня ты усомнился — значит, готов и к избавлению от сомнений. Разве не я твердил тебе все время, что есть риск? Ты *пишешь* историю — что ж, твое право, считай ее моим тебе подарком, — но знай, забыть написанное очень сложно. Память чернил цепкая. Я просветил тебя. В самое подходящее время — мир застыл на мгновение, но скоро поток хлынет снова. Много чего будет смыто во имя возобновления жизни. Помни: текучесть бытия, она — везде, она — *всегда*.

Когда я ушел от него в тот вечер, сетуя на потерянное в этом его логове-ангаре время, Клингман смеялся, как сумасшедший. Таким я его и запомнил — ссутулившимся, в потертom кресле, с раскрасневшимся перекошенным лицом, полурыдающим-полухохочущим. Тяжесть раскрытых тайн, похоже, довела его до эндшпиля, до той точки, где личность попросту распадается.

И тем не менее, я взаправду недооценил слова Клауса Клингмана. Мне были явлены доказательства — и я жалею, что узрел их. Но никто, кроме меня, не помнит ту пору, в которую ночь вдруг не сменилась рассветом. Когда это только-только началось, было больше разумных, чем апокалиптических, объяснений: затмение, причуды геомагнитного поля, необычное атмосферное явление. Но позже эти отговорки утратили всякую силу и уместность. Как уже случалось прежде, мы были благополучно возвращены в свой ненадежный мир, который для меня теперь не более чем призрак, мимолетная тень, приукрашенная пустота.



Как и обещал мне Клингман, мое прозрение произошло в одиночестве.

Потому что никто больше не вспоминает панику, захлестнувшую мир, когда звезды и луна вдруг растворились в черноте небес. Никто не помнит, как следом за этим искусственное освещение погасло и тушевалось, а привычные вещи стали превращаться в нечто кошмарное и бессмысленное. Никто не помнит, как мрак обрел плотность, поглотил и растворил те немногие источники света, что еще оставались... и обратился к нам.

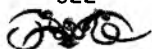
Только мертвым ведомо, сколь много подобных ужасных откровений ждет нас во тьме. Только мы с Клаусом Клингманом сохранили память о случившемся.

Вот только Клауса я нигде не могу найти. Едва та страшная, мучительно долгая ночь подошла к концу и грянул алый рассвет, я пошел навестить его. Но ангар, в котором он жил, пустовал — на воротах висело объявление об аренде, а на чердаке не было ничего, кроме старой разваливающейся мебели и нескольких пустых бутылок. Быть может, в той темноте, к коей он всегда питал странную симпатию, Клингман наконец-то обрел себя.

Разумеется, я не призываю вас верить мне. Там, где нет сомнений, нет и не может быть никакой веры. Мое знание не есть великая тайна, оно не может ничего изменить. Просто так мне это видится, а способность видеть — это все, что у нас есть.

В ТЕНИ ИНОГО МИРА

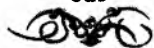
Не раз в моей жизни случалось так, что я, будучи в самых разных местах, вдруг обнаруживал, что иду сквозь сумерки по улице, ограненной рядами деревьев, и те тихо покачивают ветвями,— улице, погруженной в дрему старых домов. При таких усыпляющих бдительность okazиях мир вокруг мнится умиротворенным, уместным, ласкающим расслабленный взгляд. Солнце, покидая пейзаж, закатываясь за далекие крыши домов, последними бликами вспыхивает в оконных стеклах, опалает газоны, дрожит на самых краешках листьев, и возвышенное образует с низменным дивный союз, вытесняя все чуждое из зримых владений. Но присутствие иных пластов реальности всегда ощутимо — пусть и не всегда заметно: кавалькады облаков скрывают странные формы, а глубоко в тумане живет своей тайной жизнью мир привидений, коим повелевают сущности, чья природа и чье происхождение суть загадка. И вскоре с лиц этих ладно уложенных улочек спадают маски — и становится явным тот факт, что они, по сути, пролегают среди причудливых ландшафтов, в недрах



огромной гулкой бездны, где даже простые дома и деревья вдруг обретают неявную суть, где само бескрайнее небо, залитое светом солнца, — лишь замыленное оконце с извилистой трещиной в нем, сквозь которую кто-нибудь, быть может, разглядит впотьмах, что предвещает эти пустые улицы, эти аккуратные ряды деревьев, эти погруженные в сон старые дома.

Однажды, вышагивая по такой вот улице, я остановился у одиноко стоящего дома на небольшом удалении от городской черты. Остановила меня перед этим открытием дня сама дорога, что вдруг сузилась передо мной до утоптанной тропы, взбирающейся по горбатуму склону навстречу лесополосе.

Как и у других подобных ему домов (а я таких повидал множество: темные силуэты на фоне бледного вечеряющего неба), в облике этого было что-то от миража, нечто зыбко-химерическое, заставляющее усомниться в его реальности. Несмотря на все чернеющие углы, на темные своды крыши и острый навес над подъездом, на изношенные деревянные ступени, дом выглядел так, будто его построили из чего-то небывалого. Из пара. Из чьих-то снов. Из чего-то такого, что только видится твердым веществом. И этим его сходство с наваждением не заканчивалось. Его нынешний вид был будто *спроецирован* поверх чего-то, что домом никак не являлось. Вместо внутренних перекрытий и стропил было так легко представить кости гигантского зверя, вместо грубой отделки — дубовую шкуру, на которую все эти дымоходы, черепица, окна и дверные проемы легли такими воз-

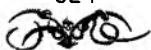


растными отметинами, заработанными древним чудовищем в течение жизни и своими пестротой и нелепостью извратившими его облик. Стоило ли удивляться тому, что от такого стыда монстр, отринув реальность, прикинулся лишь тенью дома на горизонте — дома, не лишенного кошмарной красоты и несбыточной надежды?

Как и ранее, я попробовал представить себе незримый интерьер дома местом справления некоего безымянного празднества. Виной тому была моя глубокая убежденность в том, что внутренний мир этих жилищ придерживался своеобразного торжественного запустения. Вообразите себе вечеринку в комнате, где никого нет, шум веселья из-под заколоченной двери — и, быть может, поймете, что я имею в виду. Правда, одна, особая черта дома указывала на то, что мои предвосхищения ошибочны.

А именно — башенка, пристроенная к одной из сторон дома и возвышающаяся над крышей подобием маяка. Ее вид ощутимо снижал градус отрешенности, ценимый мной в таких вот домах, — участок под самой конусовидной крышей башенки охватывало кольцо из больших окон, явно не входивших в первоначальный план постройки и прорубленных совсем недавно. Но если кто-то в доме и захотел больше окон, то явно не ради лучшей освещенности внутренних убранств — ибо на всех трех этажах и на башенке они были наглухо закрыты ставнями.

Собственно, в таком состоянии я и ожидал застать дом. С его теперешним хозяином, Рэймондом Спейром, я переписывался уже довольно долго.



— Я думал, вы придете гораздо раньше, — заявил Спейр, отворяя дверь. — Уже почти стемнело, и мне казалось, вы поняли, что лишь в определенные часы...

— Прошу прощения. Но вот я здесь. Можно войти?

Спейр отошел в сторону и театральным жестом пригласил внутрь — будто зазывая на одно из тех представлений сомнительного рода, коими он порядочно заработал на жизнь.

Из чистой любви к искусству мистификации он взял фамилию знаменитого визионера и художника¹, — утверждая даже, что взаправду имеет некое кровное или духовное родство с известным чудаком. Но я исправно отыгрывал роль скептика — как и в своих письмах к Спейру: этим я, собственно, завоевал его доверие. Иного пути к возможности засвидетельствовать определенные явления (которые, как я понял из сторонних источников, неизвестных падкому на иллюзии Спейру, точно заслуживают моего внимания) не существовало. Сам же хозяин дома удивил меня своим довольно-таки пролетарским внешним видом, с трудом соотносимым с его репутацией шоумена и гения лицедейства.

— Вы все тут оставили точно в таком виде, как было до вас? — спросил я, имея в виду покойного прежнего владельца, чье имя Спейр мне никог-

¹ Имеется в виду Остин Озман Спейр (1886—1956) — английский художник и оккультист, создатель культа Zos Kia, основанного на вере в уникальное восприятие каждого индивидуума и заложенные в человеческой природе паранормальные способности.



да не раскрывал... хотя я и без него обо всем был осведомлен.

— В общем и целом — да. Он был прекрасным домовладельцем. С учетом всех обстоятельств...

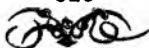
На преувеличении поймать Спейра в данном случае, увы, не выходило: интерьер дома был прямо-таки подозрительно безупречен. Большая зала, в которой мы засели, как и все прочие здешние комнаты и коридоры, источала атмосферу уютно-ухаженого мавзолея, в котором мертвые взаправду способны обрести покой. Мебель была громоздкой и архаичной, но на ней не лежала гнетущая тяжесть лет, и из шкафов не неслись вопли запертых скелетов. Даже царивший в доме напускной полумрак — спасибо закрытым ставням — не усугублял положения. Часы, чье размеренное тиканье несло из соседней комнаты, не порождали зловещего эха, отскакивающего от темных полированных половиц к высокому, без единой паутинки, потолку. Ничто здесь не внушало страха перед подвальными монстрами и безумными мансардными призраками. Ничто в здешнем убранстве, если не считать эзотерической облачной картины в раме на стене и расставленных по полкам диковин из коллекции Спейра, не производило странного впечатления.

— Вполне невинная атмосфера, — озвучил мою мысль Спейр, хоть в этом и не было особой нужды.

— Да, до одури невинная. Это входило в его намерения?

Спейр рассмеялся.

— По правде говоря, именно это входило в его намерения. Безвредная духовная пустошь. Стерильная, безопасная...



— ...безвредная для его гения.

— Вы, я гляжу, все понимаете. Ему было свойственно рисковать, а не опускать руки. Но если почитать дневники — сразу станет понятно, на какие муки обрекали его эти удивительные способности... эта его сверхчувствительность. Ему жизненно необходимо было такое вот стерильное местечко... вот только душа его вечно требовала зрелища. Он раз за разом в дневниках описывает свое состояние как «перегрузку», доводящую до иступления. Иронично, не правда ли?

— Ужасно, по-моему, — ответил я.

— О, конечно же. И сегодня нам выпадет шанс испытать весь ужас. Перед тем как окончательно стемнеет, я хочу показать вам его мастерскую.

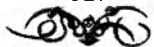
— Окончательно стемнеет? — переспросил я. — Да тут и так мало света из-за этих ставен на окнах.

— Они очень уместны, поверьте, — мягко ответил Рэймонд.

Упомянутая Спейром мастерская располагалась, как мне следовало догадаться, на самом верху башни в западной части дома. Туда можно было добраться только по шаткой винтовой лестнице — предварительно поднявшись по скрипучим ступеням на чердак. Спейр завозился с ключом, отпирающим низкую деревянную дверь, но вскоре мы смогли войти.

Именно рабочий кабинет — вернее, теперь уже его остатки — представляла собой эта комнатка.

— Похоже, что незадолго до конца он решил уничтожить часть работ и станок, — объяснил Спейр, указывая на валяющийся повсюду мусор, состоящий, главным образом, из осколков стекла,



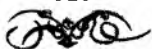
окрашенных и странным образом перекрученных. Иные работы уцелели — те, что были при-слонены к стене или лежали на столе. Нашлись и незавершенные — они крепились на деревянных мольбертах, словно картины на доработке: причудливые трансформации их поверхностей так и не были доведены до конца. Из этих листов пре-ображенного стекла были вырезаны различные фигуры, и к каждой крепился маленький ярлык с пометкой, похожей на восточный иероглиф. Такие же символы большего размера были оттиснуты на деревянных ставнях, прилаженных к окнам по всему помещению.

— Даже притворяться не стану, что понимаю всю эту символику, — признал Спейр, — но ее на-значение очевидно. Поглядите, что происходит, когда я снимаю эти ярлыки.

На моих глазах он прошел по комнате, срывая пометки-глифы¹ с отлитых в стекле хроматических аберраций². Не потребовалось много времени, что-бы я заметил изменения в общей *атмосфере* ком-наты — как если бы в ясный день на солнце вдруг напозла туча. До этого округлая комната как бы купалась в скрученном цветовом калейдоскопе — естественное освещение неуловимо рассеивалось

¹ *Глифами* называют целый класс графических пред-ставлений единиц письменной речи (идеограмм и т. д.), ис-пользуемых, как правило, в искусственно созданных алфа-витах и зачастую вдохновленных восточной символикой.

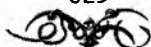
² *Хроматические аберрации* — оптические отклонения, приводящие к тому, что в изображениях неокрашенных предметов появляется окрашенность. Зависят от показате-ля преломления стекла и длин волн.



стараниями странных затемненных стекол; эффект был чисто декоративным, эстетическим, он не затрагивал ни в коей мере физику спектра. Теперь же что-то необычное творилось со светом — он проявлял новые, непривычные свойства, и зримое уступало трансцендентному. Из студии эксцентричного художника мы будто перенеслись в украшенный витражами собор... намоленность коего, впрочем, пострадала от некоего осквернительного акта. Сквозь причудливо выгнутые линзы — подвешенные под потолком, прислоненные к скруглявшейся стене с заделанными окнами, лежащие на полу — я увидел вдруг некие размытые формы, будто боровшиеся за право обрести видимость, претворить свои причудливые очертания в жизнь. Была ли их природа загробной или же демонической — или, быть может, чем-то средним, — я не ведал, но независимо от нее они обретали сущность не только в видимости и осязаемости, но и в размерах — набухая, пульсируя, напластовываясь на образ привычного нам мира и затмевая его.

— Возможно, — сказал я, обращаясь к Спейру, — это сугубо спиритический эффект, достигаемый...

Но не успел я закончить свою мысль, как Спейр судорожно заметался по комнате, возвращая ярлыки на стеклянные диковины — и загоняя тем самым расползающиеся формы обратно в состояние трепетной призрачности, заставляя их выцветать и исчезать. Мастерская погрузилась в прежнее состояние радужной стерильности. Спейр вывел меня наружу, запер за собой дверь, и вместе мы спустились на первый этаж.

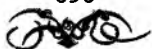


Потом он провел меня по менее примечательным комнатам. Везде нас встречали неизменно законопаченные окна и повсеместно выхолощенный дух. Будто некогда отсюда была изгнана некая мощная темная сила — и в очищенном доме не осталось ни святости, ни бесовства, лишь эта первозданно-созидательная атмосфера, в которую страшный гений прежнего владельца погрузился, дабы практиковать науку кошмаров.

Мы несколько часов провели в небольшой, ярко освещенной библиотеке. Здешнее окно скрывали не ставни, а занавеси, и мне показалось, что за ней различим мрак ночи. Но стоило мне положить руку на выглядевшую податливой поверхность портьеры, как я почувствовал жесткость — будто прикоснулся к гробу сквозь бархатистую обивку. Под портьерой скрывались ставни из темного дерева — уверен, если бы имелась возможность их распахнуть, моим глазам предстала бы одна из светлейших ночей среди всех когда-либо мною виденных.

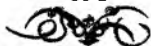
В течение некоторого времени Спейр зачитывал мне отрывки из дневников — первоначально записи велись в виде шифра, но он смог раскусить его. Я сидел и слушал его голос, столь уместный для рассказа о чудесах, натренированный обширнейшей практикой зазывания публики на мистические фрик-шоу. В этот раз от меня не укрылись серьезность и искренность его тона... и диссонирующие обертоны страха, прорезавшие его обычно невозмутимый поспешный говорок.

— «Мы спим», — читал он, — «среди теней иных миров. Тени эти — бесплотное вещество, облегаю-



щее нас, они — основной материал, которому мы придаем форму разума. И хоть мы создаем то, что видим, нам пока не дано творить свою суть. Потому, осознавая, что живем в мире непознанного, мы страдаем от кошмаров. Какими ужасными эти призраки и демоны кажутся в глазах смертного, которому удалось узреть то, что извечно сопровождает нас! Каким ужасным казался бы нам истинный облик тех, что свободно перемещаются по миру, вползают в самые уютные комнаты наших домов, резвятся в том световом аду, что во имя сохранения здравого рассудка мы называем просто „небом“! Только увидев их, мы по-настоящему проснемся — но лишь затем, чтобы увидеть новый сон, спасающий нас от кошмара, который когда-нибудь настигнет даже ту часть нас, что безнадежно усыплена».

Так как я лицеизреел легшие в основу этой гипотезы явления, то не избежал очарования ее элегантностью, даже без оглядки на оригинальность. Все наши кошмары — внешние ли, внутренние — она вписывала в систему, не могущую не вызывать восхищения. Однако в конечном счете это было лишь утешающее объяснение, вызванное какой-то душевной травмой — притом совершенно эту травму не отражающее. Откровением или бредом называть попытки разума встать между ощущениями души и чудовищной тайной? Здесь интерес представляла не истина и не суть эксперимента (который, даже если и был поставлен неправильно, все равно давал впечатляющие результаты), а приверженность этой тайне и основополагающему, священному даже страху, что она навлекала, —



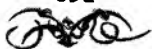
так, по крайней мере, казалось мне. Как раз здесь теоретик кошмара не преуспел, угодив под нож доводов разума — которые, в конце концов, его спасти не смогли. С другой стороны, все эти великолепные глифы, на смысл которых Рэймонд не смог пролить свет, все эти загадочные грубые поделки из стекла — они представляли собой реальную силу, противостоящую безумию, навлекаемому тайной, — и пусть никакой эзотерический анализ не в силах объяснить, как это все работает. Как было известно прежнему владельцу дома, наша жизнь и вправду протекает в тени иного мира. Он подогнал свое жилище под его стандарты — желая отгородиться от него или же, наоборот, приобщиться... но в любом случае этот мир одержал над ним победу прежде, чем теоретик кошмара смог накрепко захлопнуть окно, сквозь которое очевидными становились беспросветность и мрачное на смешничество бытия.

— У меня вопрос, — сказал я, с сожалением глядя, как Спейр закрывает покоившийся на коленях дневник. — Оттисками тех глифов украшены только ставни в башне. Не объясните, почему их нет на всех остальных?..

Спейр подвел меня к окну и отодвинул занавеску. С большой осторожностью он отвел одну из створок — на то малое расстояние, что позволяло увидеть ее торец. Стало очевидным, что нечто контрастного цвета и текстуры образовывало прослойку меж двух панелей темного дерева.

— Они выгравированы на листах стекла, помещенных внутрь каждой створки, — пояснил Спейр.

— И те, в башне?..



— Да. Не знаю, был ли дополнительный набор символов осторожничаньем или просто излишком...

Его голос вдруг сбавил тон, а потом и вовсе умолк — хотя пауза, казалось, не подразумевала со стороны Спейра никакой задумчивости.

— Ну да,— подсказал я,— предосторожность или излишек.

На мгновение он ожил:

— То есть я хотел сказать, являются ли символы дополнительным средством против...

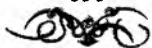
И в этот момент рассудок его окончательно отдалился, ушел в глубины его мозга, оставив меня единственным зрителем драматической развязки действия.

— Спейр,— позвал я его, заставив голос звучать нормально.

— Спейр,— повторил он, но каким-то не своим голосом.

Звуки, издаваемые им, скорее напоминали отголосок, чем живую речь. На мгновение я усомнился — как можно было верить Рэймонду Спейру, зная его любовь к пугалкам из картона и привидениям из тряпья и желатиновой слизи? И все же насколько более изящными и искусными были эффекты текущего представления — как будто он манипулировал самой атмосферой вокруг нас, дергая за ниточки света и тени.

— Этот луч, он так ярок,— произнес он этим новым западающим, неровным голосом.— Он вонзается в стекло,— с этими словами он положил руку на створку ставен,— и тени направляются к... к...

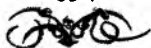


Со стороны казалось, что Спейр не столько отворял ставни, сколько пытался захлопнуть створку, распаивающуюся все сильнее и сильнее, позволяющую странному сиянию постепенно просачиваться внутрь. Но прямо на моих глазах он сдался, позволив сторонней силе направлять свои действия.

— ...сливаются в единое во мне,— несколько раз повторил он, шагая от окна к окну и методично отворяя ставни в некоем ритуальном трансе.

Зачарованный, я смотрел, как он обходит весь первый этаж до последней комнаты,— автомат из плоти и крови, запрограммированный человек. Покончив здесь, он поднялся по лестнице, и его шаги зазвучали уже на втором этаже: чем выше он взбирался, тем слабее я их различал. Последнее, что мне удалось четко уловить,— далекий хлопок деревянной двери о косяк: Рэймонд добрался до комнаты в башне.

Сосредоточившись на странно изменившемся поведении Рэймонда, я не сразу обратил внимание на его последствия. Длилось это недолго — теперь я попросту не в силах был игнорировать фосфорный блеск, подсвечивающий ставни изнутри. То светились стекла — в каждой комнате, в каждом окне; обходя этаж, я зашел в библиотеку и коснулся тронутого временем дерева одной из створок. Странное покалывание взобралось по моим пальцам на ладонь, охватило ее — я почувствовал, что мое тело будто превращается в вибрирующее отражение на глади потревоженной воды или оплывающей от жара зеркальной поверхности. Из-за этих вызванных неведомой силой ощущений — их

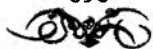


мне вряд ли доведется изгнать из памяти — я не сразу заметил то, что разыгрывалось за окном.

Несколько мгновений я воспринимал лишь ландшафт, окруживший дом: степь, опустошенный мир, безотрадно возлежавший под сияющим куполом небес. Лишь потом в мое восприятие вползли фрагменты каких-то сторонних, накладывающихся изображений — будто на зримый образ лег сплетенный из горячего бреда космический гобелен.

Окна, которые — за неимением более точного термина — я вынужден назвать заколдованными, сослужили свою службу. Образы, передаваемые ими, шли из призрачного мира, обручившего безумие с метафизикой. По мере их прояснения я наблюдал за закоулками, что обычно недоступны земному зрению, за слиянием плоскостей объектов, чья природа сама по себе исключает всякое сочетание, — как не может слиться плоть с неодушевленной материей, с собственным окружением. Но именно это происходило у меня на глазах — как оказалось, были на Земле места, где подобные закономерности попирались явно и открыто! То был мир ночного кошмара — но, сомнений нет, великолепный мир.

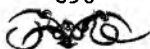
Свет солнца, облекая некие экзотические города, вплавлялся в лица людей, что были лишь масками для насекомоподобных тварей; на камнях мостовой ночных античных улиц вдруг открывались глаза; темные галереи пустующих музеев обрастали призрачными формами, сошедшими с помутневшего слоя краски старинных картин; земля у края вод порождала новые биологиче-



ские звенья эволюции, и уединенные острова давали приют видам, не имевшим подобных за пределами мира грез. Джунгли кишели звероподобными фигурами, чья жизнь была отгорожена липким изобилием флоры и протекала в спертой, овеществленной духоте. Пустыни оживали поразительными мелодиями, чье звучание подчиняло себе мир вещей и управляло им; дышали подземелья, в чьих недрах трупный прах поколений срастался в кораллоподобные скульптуры — мешанину конечностей, вспученной плоти, зрительных органов, рассеянно сканировавших темноту.

Мое собственное зрение вдруг укрылось под веки, отгораживая меня от этих образов на мгновение. И в тот краткий миг я повторно прочувствовал *стерильный* дух этого дома, его «невинную атмосферу». Именно тогда я понял, что дом этот был, возможно, единственным местом на Земле — или даже во всей Вселенной,— что излечилось от бушевавшей повсеместно фантомной чумы. Достижение это — быть может, бесполезное или даже недостойное — теперь пробуждало во мне чувство великого восхищения, какое мог бы вызвать Великий Молох, изваянный с изобретательностью и вдохновением.

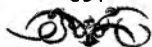
И мое восхищение усилилось, когда я последовал по пути Спейра и поднялся по боковой лестнице на второй этаж. Поскольку здесь комната следовала за комнатой через лабиринт взаимосвязанных дверей, которые Спейр оставил открытыми, казалось, будто влияние окон обостряется, представляя все большую угрозу дому и его жителям. Что проявилось в окнах этажом ниже сце-



нами вторжения спектральных чудовищ в привычную действительность, здесь дошло до точки усугубленного реальностного распада: иномирье стало доминировать. Срывая маски, разбрасывая каменные преграды, оно распространяло свое извращающее влияние прихотливо, воплощая самые лихорадочные стремления, диктуя метаморфозы, что напрочь вытесняли знакомый порядок вещей.

До того как подняться на третий этаж, я некоторым образом подготовился к тому, что мог бы там застать,— памятуя, что дальнейшее восхождение лишь нарастит силу и концентрацию законных явлений. Каждый оконный проем теперь являл собой обрамленную фантасмагорию смешанных и радикально преобразованных форм и цветов, невероятных глубин и расстояний, гротескных мутаций аномального толка; в каждом окне бушевали капризный хаос и небывальщина. И, минуя пустые и странным образом утратившие непрозрачность комнаты последнего этажа, я все больше убеждался, что сам дом сейчас возносился в иную вселенную.

Понятия не имею, сколько времени я восторгался этим бунтом материи, бьющим наотмашь по незащищенному рассудку,— знаю лишь, что из транса меня вывел трепет перед вхождением в самую высокую комнату, мастерскую в башне, черепную коробку этого дома-зверя с пестрой шкурой. Взираясь по винтовой лестнице, я обнаружил, что Спейр открыл восьмиугольное слуховое окно, казавшееся теперь пристально смотрящим глазом божества. Пробираясь сквозь лабиринт

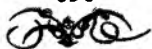


безумных цветовых иллюзий и оживших теней, я шел на голос... вернее, лишь на дрожащее эхо голоса, ибо звук здесь искажался даже пуще света. Встав на последнюю ступень перед дверью в мастерскую, я прислушался к звучащим неведомо откуда гулким словам:

— Теперь тени восходят к звездам — движутся во мне, во всем сущем. Их великолепие должно пронизать каждую вещь, каждое место, что обустроено по образу и подобию их — и нас... Этот дом — мерзость, вакуум, пустота. Ничто не должно противиться... противиться...

И с каждым повторением этого последнего слова усиливалась борьба — эхоподобный неземной голос исчезал, вытесняемый настоящим голосом Спейра. В конце концов Рэймонд, похоже, восстановил полный контроль над собой. Настала пауза — краткое затишье, что я уделил обдумыванию дальнейших сомнительных сценариев, согласно которым я мог действовать или же оставаться безучастным. Все ли было кончено для запертого в мастерской человека? Не могла ли смерть быть разумной ценой за опыт, что предшествовал кончине предыдущего хозяина дома? Весь мой багаж запретных знаний не смог склонить меня в сторону того или иного решения — не от него зависели те сиюсекундные откровения, что обрушились на меня, когда я застыл, взявшись за дверную ручку, застыл в ожидании толчка, случая, который мог бы решить все. В тот момент единственным доступным мне чувством была непреодолимая, кошмарная предрешенность.

Из-за двери раздался низкий, утробный смех — звучание его нарастало с приближением смеюще-



гося. Но он не отпугнул меня — я не шелохнулся, лишь сжал плотнее ручку, весь во власти видений: звезды среди огромных теней... странные заоконные миры... беспрерывная вселенская катастрофа.

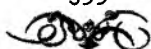
Что-то тихонько прошелестело у самых моих ног — опустив глаза, я увидел несколько небольших прямоугольников, выступающих из-под двери развернутым веером, словно карты. Склонившись, я поднял один из них и уставился бездумно-пораженно на украшавший его таинственный символ. Пересчитал остальные — их было столько же, сколько окон в круглой мастерской. Значит, все печати сняты.

Подумав о той силе, что высвободилась теперь, когда все защиты спали и ничто более не препятствует воздействиям снаружи, я позвал Спейра — не питая, впрочем, надежд на то, что прежний Спейр еще существует. Но низкий смех вдруг смолк, и затем — *уверен* — я услышал голос Рэймонда Спейра.

— *Окна!* — кричал тот. — *Они затягивают меня, к звездам и теням!*

Все мои попытки открыть дверь ни к чему не привели: в комнату я так и не попал, ибо неведомая сила надежно запечатала ее. Вряд ли я мог еще чем-то помочь Спейру. Его голос исчезал, затихая, проваливаясь в небытие.

Мне остается только гадать, какими были его последние секунды — там, в кольце окон, выходящих на миры, не поддающиеся никакому описанию. Той ночью тайна доверилась лишь Спейру — не знаю, было ли то волей случая или прихотью



плана. Я остался в стороне, но некая малая часть опыта могла быть сохранена мною — и, коли я того желал, мне нужно было попросту покинуть этот дом.

Моя догадка оказалась верной, ибо, едва я вышел в ночь и повернулся к дому, мне открылось, что комнаты его не пустовали более. Как оказалось, работали окна в обе стороны — и внутрь, и наружу; и теперь все то, что я видел снаружи, будучи в его стенах, стало частью его внутреннего убранства. Дом целиком перешел в собственность иномирных сил. Перед ним я простоял до самого рассвета — до того, как цветистые фантомы ночи растворились в прохладном свете утра.

Несколько лет спустя мне выпал случай повторно посетить дом. Я застал его пустым и покинутым, как и предполагалось. В проемах больше не было ни рам, ни стекол. Как меня просветили в близлежащем городке, дом заработал дурную славу, и мимо него уже не первый год никто не ходил. Мудро избегая манящей бездны ада, жители городка придерживались собственных улочек, собственных парков и собственных старых жилищ. А что им еще оставалось? Откуда им знать, что их дома незримо обжиты без их ведома? Они не видят — *не хотят* видеть — тот мир теней, с которым соприкасаются каждый миг своих кратких беспечных жизней. Но я уверен, что порой, когда пробивает тревожный сумрачный час, даже они ощущают его присутствие.

КУКОЛКИ

Ранним утром, за несколько часов до восхода солнца, меня разбудил доктор Дюблан. Он стоял у подножия моей кровати и дергал за многочисленные покрывала, и в полудреме мне показалось на секунду, что по моему ложу прыгает какой-то неизвестный науке зверек. Потом я увидел трясущуюся руку в перчатке — спасибо свету фонаря за окном; следом признал и фигуру самого доктора, в пальто и шляпе.

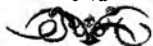
Я зажег торшер на тумбочке и сел, глядя столь хорошо известному нарушителю спокойствия в лицо.

— Что случилось? — недовольно спросил я.

— Прошу прощения, — произнес он довольно-таки нетерпеливым тоном. — Хочу вас познакомиться кое с кем. Думаю, вам пойдет на пользу.

— Ну, раз вы так считаете... А можно как-нибудь попозже? Я и так плохо сплю — уж кому, как не вам, это знать.

— Верно, но я знаю кое-что еще, — парировал он, не скрывая раздражения. — Тот, кого я хочу вам представить, очень скоро покинет страну, так что в нашем случае время — на вес золота.



— Все же...

— Ну да, я знаю. Ваши психозы. Вот, примите это.

Доктор Дюблан вложил мне в ладонь две кругленькие таблетки. Я закинул их в рот и запил водой из стакана на тумбочке, стоявшего рядом с будильником, мягко потрескивающим из-за какой-то странной поломки механизма. Мой взгляд, по обыкновению, застыл на плавно движущейся секундной стрелке, но доктор Дюблан поспешил вывести меня из транса:

— Поднимайтесь, мы уходим. Внизу ждет такси.

Я стал поспешно одеваться — с невеселыми мыслями о том, что с водителем, скорее всего, придется в итоге расплачиваться мне.

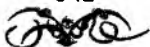
Доктор Дюблан провел меня к машине, стоявшей в переулке позади моего дома. Слабый свет ее фар почти не наносил урона окружающей темноте. Бок о бок мы проследовали к ней по щербатой мостовой, сквозь облачка пара, струящегося из-под канализационных люков. В проеме меж близко сдвинутых крыш я увидел луну, и мне показалось, что прямо на моих глазах ее фазы слегка поменялись, будто желтый шар обрел чуть большую завершенность, чем прежде. Доктор перехватил мой взгляд:

— С луной все в порядке, если вас это беспокоит.

— Но она вроде как поменялась.

Издав раздраженный рык, доктор распахнул дверцу и усадил меня в машину.

Водитель, казалось, медитировал до нашего прихода — реакции от него доктор добился не сра-



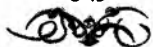
зу. Лишь после того, как он несколько раз повторил адрес, на который нам нужно было попасть, таксист обратил к нему свое тонкое, крысиное личико. Некоторое время мы ехали молча сквозь безлюдные улицы — в поздний час мир за окном автомобиля казался нагромождением колеблющихся в отдалении теней. Тронув меня за руку, док произнес:

— Не волнуйтесь, если от таблеток, что я вам дал, не будет быстрого эффекта.

— Я спокоен, док,— заверил я его, ответом послужил сомневающийся взгляд.— И знаете, мне будет еще спокойнее, если вы все же скажете, куда это мы мчим в такое время. Неужели все настолько серьезно? Или это какая-то тайна?

— Никакой тайны,— отмахнулся доктор Дюблан.— Мы едем повидать одного моего бывшего пациента. Не могу сказать, что в его случае лечение прошло стопроцентно успешно... остались кое-какие огорчительные проявления. Он тоже доктор — не тая скажу, блестящий ученый,— но вы его зовите просто мистер Хват. Хочу еще, чтобы вы загодя ознакомились немного с его работами. Покажем вам небольшой фильм. Зрелище необыкновенное... и, возможно, полезное — для вас, я имею в виду. Это все, что я могу сказать на данный момент.

Я кивнул, сделав вид, что меня удовлетворило такое объяснение. Потом — заметил, как далеко нас занесло, почти на другой конец города, если вообще возможно доехать столь быстро из одного конца в другой. Часы я надеть забыл и теперь жалел о своей несобранности — чувство дезори-

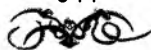


ентации усилилось. Район, который мы сейчас проезжали, был нижайшего пошиба — даже сияние луны не позволяло обмануться на этот счет. Попадались поля, превращенные в свалки под открытым небом, посверкивающие битым стеклом и смятым металлом; здания, осыпающиеся до самого скелетоподобного каркаса; изуродованные временем скучившиеся дома, какой пониже, какой повыше. Даже когда я смотрел на них сквозь стекло, они, казалось, продолжали зримо разрушаться, облезать прямо в тусклом свете луны. Острые крыши и трубы вытянулись к небу. Уложенные неровно, с прорехами и выступами, темные кирпичи фасадов походили на опухоли. Здешние улицы вообще напоминали какой-то инопланетный ландшафт. Хоть попадались горящие окна, единственной увиденной живой душой был растрепанный бездомный, сидевший у столба дорожного знака.

— Извините, доктор,— сказал я,— но это как-то уж слишком.

— Потерпите,— ответил он,— мы почти на месте. Вот в этот переулочек,— обратился он к водителю,— сверните.

Машина подскочила, когда мы вписались в узкий проезд. По обе стороны от нас тянулись высокие деревянные заборы, за которыми высились какие-то громадные частные дома (похоже, такие же старые и потрепанные, как и те, мимо которых мы ехали раньше). Фары такси неважнецки справлялись с освещением тесной маленькой аллеи, которая, казалось, становилась тем уже, чем дальше по ней мы продвигались. Води-



тель вдруг резко затормозил, дабы не переехать привалившегося к забору старика с бутылкой в руке.

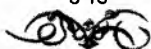
— Вот здесь мы и остановимся,— сказал док мне.— Ждите нас,— это он бросил водителю.

— Доктор,— я поймал его за рукав прежде, чем он открыл дверь,— а не слишком ли дорого...

— Вы бы больше волновались о том, как отсюда назад поедете,— громко выдал он.— От этого района все стараются держаться подальше, а диспетчеры привыкли сбрасывать поступающие отсюда вызовы. Я ведь прав? — окликнул он таксиста, но тот, похоже, возвратился в свою нирвану.— Пойдемте,— сказал док.— Он нас подождет. Вон туда.

Мы дошли до забора, и док сдвинул несколько штакетин, сколоченных в своего рода воротца на направляющих. Когда мы очутились по ту сторону, он аккуратно задвинул их за собой. Глазам нашим предстал небольшой дворик — до неприличия замусоренный и целиком отданный во власть бессветья — и дом, надо полагать, самого мистера Хвата. Дом казался непомерно большим, крыша вся щетинилась острыми башенками со слуховыми оконцами, в свете луны туда-сюда качался на фоне неба темный силуэт флюгера, очертаниями напоминавший какое-то животное. Луна, к слову, хоть и светила по-прежнему ярко, успела будто как-то исхудать, истончиться, *поизноситься*, как и все в этом районишке.

— И вовсе она не изменилась,— заверил меня доктор.



Он держал за ручку распахнутую дверь черного хода и жестом зазывал войти в дом.

— Там внутри хоть кто-то есть? — уточнил я.

— Дверь незаперта. Видите, как сильно он нас ждет?

— По-моему, и свет не горит..

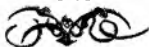
— Мистер Хват экономит на всем. У него есть расходы поважнее счетов за свет. Человек он всяко не бедный — но весьма экстраординарный. Идите сюда. На крыльце аккуратней. Ступеньки тут совсем не такие крепкие, как раньше.

Как только я встал рядом с доком, он достал из кармана пальто фонарик и высветил перед нами дорожку в темные глубины дома. Луч внутри так и заплясал, угодив в паутину, затянувшую угол под самым потолком, потом выпутался и побежал по голым потрескавшимся стенам, со стен спрыгнул на вставшие дыбом половицы — и заплясал на них замысловатый джиттербаг. На мгновение он высветил два довольно-таки потрепанных чемодана у первой ступеньки лестничного пролета, потом плавно скользнул вверх, задел перила и рассеялся где-то этажом выше — там, откуда неслись какие-то скребущие звуки, будто расхаживал зверь с длинными когтями на лапах.

— Мистер Хват держит домашнее животное? — вполголоса спросил я.

— Почему бы и нет? Впрочем, не думаю, что это оно.

Мы углубились в дом, миновав множество комнат — к счастью, свободных от мебелировки. Порой под ногами хрустело, ломаясь, стекло, и я умудрился случайно пнуть пустую бутылку — она



недовольно загремела по незастеленному полу. Достигнув противоположного конца дома, мы вошли в длинный коридор с несколькими дверными проемами по бокам. Все двери были закрыты, но где-то за ними, похоже, и скрывался источник звуков, похожих на те, что слышали мы на втором этаже.

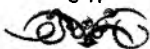
К этому странному поскребыванию вдруг прибавился неспешный скрип шагов на лестнице. Последняя дверь в конце коридора вдруг открылась, пуская в проем чахлое, нехотя потеснившее мрак свечение. В его ореоле появился круглобокий коротышка — и вальяжно махнул нам рукой.

— Поздно вы. Очень-очень поздно, — журил он, пока мы спускались вниз, в подвал. У него оказался высокий, но подпорченный хрипотцой голос. — Я уже собирался уходить.

— Примите мои глубочайшие извинения, — ответил доктор Дюблан, и слова эти из его уст прозвучали совершенно искренне. — Мистер Хват, позвольте вам представить...

— Довольно. Вы же понимаете, мне сейчас не до этих формальностей. Давайте сразу к делу. У меня каждая секунда расписана.

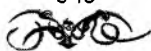
Подвал встретил нас дрожащим свечным сиянием — армия стеариновых столбиков, где-то все еще высоких и где-то совсем уже расплывшихся, выстроилась прямо на грязном полу. На столе в центре подвала стоял старинный кинопроектор, к стене перед ним был подвешен экран. Проектор был подключен к чему-то вроде небольшого электрического генератора, гудевшего под столом.



— Тут есть стулья, можете присесть, — сказал мистер Хват, укрепляя пленку на катушке проектора. Потом он впервые за все время обратился напрямую ко мне: — Не знаю, объяснил ли вам доктор хоть что-нибудь из того, что я сейчас вам покажу. Если и да — то, скорее всего, ничтожно мало.

— Верно, мало, но так и надо, — вмешался доктор Дюблан. — Думаю, если вы просто поставите пленку, моя цель будет достигнута, без всяких объяснений. Что плохого с ним будет от просмотра фильма?

Мистер Хват промолчал в ответ. Задув парутройку свечек и убавив тем самым освещение, он включил проектор — на поверку механизм довольно шумный. Я даже заволновался, что разговоры в фильме — или даже сам его звук в принципе — утонут в этом жужжании и дребезжании, да вдобавок еще гудении генератора на полу. Но вскоре я понял, что у фильма никакого звука нет, — то была невзыскательно снятая хроника с грубой текстурой кадра, примитивным освещением и практически полным отсутствием сценария. Она запечатлела течение научного эксперимента в лабораторных условиях — хоть и сразу об этом заключить было нельзя, интерьер в кадре никак не походил на лабораторный: это были голые стены подвала если не того же самого, то — весьма и весьма похожего на тот, в котором я сейчас находился. Предметом съемки был мужчина — небритый, потрепанный, лежащий без сознания у серой отсыревшей стены. Спустя некоторое время он пошевелился, будто выходя из



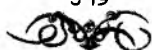
глубокого обморока,— но не так, как можно было бы ожидать от человека, владеющего собственным телом. Его спазматические порывы лично мне казались проявлением чего-то, что действует *изнутри* его тела... но при этом — против его воли. Вот в мгновение ока содрогнулась его нога, стала вздыматься и опадать грудь. Голову стало мотать из стороны в сторону... а потом кожа на ней натянулась и порвалась.

Из зарослей жирных волос вздыбилась тонкая, как палка, штуковина. Скальп мужчины натянулся еще сильнее, и в воздух брызнули мотки темных жилистых щупалец, алчно впившихся в воздух внешнего мира. На конце каждого отдельного жгута щелкали маленькие узкие клешни. Наконец *это* выбралось из деформированного черепа, помогая себе множеством конечностей,— раскрылись мизерные полупрозрачные крылья, распахнулись и затрепетали, блестящие и явно бесполезные, не способные к полету. Тварь обратила головку к камере и уставилась в объектив злыми глазками. Защелкал псевдоклюв, обрамляющий пасть,— существо будто пыталось сказать что-то снимающему.

— Доктор Дюблан,— шепотом обратился я,— боюсь, что...

— Вот именно! — зашипел он на меня.— *Бойтесь!* Но я намерен освободить вас от страха — именно поэтому вы здесь!

Настала очередь моих недоверчивых взглядов в его сторону. Да, от меня никогда не укрывалось, что док тяготел к нетрадиционным формам лечения, но наше присутствие в этом подвале — холод-



ном болоте теней, в котором свечи мерцали, как огоньки светляков,— по-моему, не шло на пользу ни мне, ни ему, если вообще можно было говорить о какой-либо пользе в нашем случае.

— Хоть бы раз послушали меня,— заметил я.

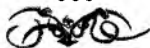
— Тссс. Смотрите фильм.

Тут, кстати, шел к концу. Вылупившись из своего носителя, существо вскоре принялось жадно пожирать его — оставляя от мужчины лишь кучку костей в ворохе грязной сброшенной одежды. Идеально выскобленный череп потерянно лежал на боку в стороне. Тварь, до того жилистая, стала раздутой и мясистой, ни дать ни взять — раскормленный хозяевами пёс. Под конец в кадре появилась сеть, брошенная на гигантскую гадину откуда-то со стороны и оттащившая ее прочь, за пределы досягаемости объектива. Белизна заполнила экран, жужжание пленки смолкло.

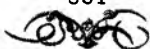
— Что думаете? — спросил доктор.

Поняв, что я все еще под впечатлением от увиденного, он щелкнул пальцами у меня перед глазами. Я моргнул, а потом обратил на него взгляд, ошеломленно молча. Воспользовавшись моментом, док начал с грехом пополам пояснять мне заснятый на пленке кошмар:

— Вы должны понять вот что: целостность материальных форм — чепуха, не говоря уж об их духовном наполнении. В увиденном вами нет ничего ужасного, но вы боитесь, потому что такую волю диктуют вам предрассудки, все ваши заблуждения о подлунном мире. Именно они в значительной мере и препятствуют терапии и излечению. Вы попросили меня избавить вас от тревог о том,



что мир не управляется никакими законами,— в то же время глубоко внутри себя понимая, что просто узнали неприглядную правду. Рассудок, с его извечной жаждой новых ощущений и новых способов восприятия, мог подвести вас — и любого другого на вашем месте — в любой момент! Уверен, вы многому научитесь у мистера Хвата. Конечно, я все еще признаю, что у его работы есть некоторые неприглядные стороны, но редкие и бесценные знания, полученные в процессе, по-моему, окупают все последствия. Его исследование ушло в те области, где многочисленные и разноплановые формы естественного бытия демонстрируют способность к самым неожиданным взаимодействиям... к таким проявлениям, что, признаться, считались невозможными. У него в голове в определенный момент все смешалось, конечно же... слишком много закрытых путей вдруг стали открытыми. Интересно, как мы порой понятия не имеем о тех искушениях и пороках, что развиваются в ходе подобных работ.. об этом неожиданном бесконтрольном гедонизме. Ох уж эти заявки на всемогущество и невыносимая снисходительность! Но, раз испугавшись, мистер Хват отступился от собственных полномочий, хотя вся эта небывальщина уже крепко вошла в его жизнь, стала отчасти привычной. Худший вид рабства — но с каким пылом убеждения он твердил о достигнутой эйфории, обо всех явленных невероятных открытиях — обывательскому пониманию такое попросту не дано! Все кончилось тем, что он потребовал у меня освобождения от такой жизни — от жизни, ставшей, по его собственным словам,



тяжелой и безнадежной. Собственно, вы мне говорили то же самое — разница лишь в том, что корни ваших проблем и проблем мистера Хвата лежат в абсолютно противоположных плоскостях. Нужно найти некую золотую середину... установить фазу баланса. Теперь-то это совершенно очевидно! Вот поэтому я свел вас вместе. Что бы вы себе там ни думали, это — единственная причина.

— Думаю,— прервал я доктора,— что мистер Хват от нас куда-то сбежал. Лично я надеюсь, что мы видели его в последний раз.

Доктор Дюблан улыбнулся:

— Что вы, он еще в доме. Будьте уверены. Пойдемте наверх.

И правда мистера Хвата не пришлось долго искать. Вернувшись в коридор с дверями по бокам, мы увидели, что одна из них распахнута. Ничего не объясняя, доктор Дюблан подтащил меня к ней, чтобы и я смог увидеть, что же произошло внутри, в маленькой пустой комнатке с дощатым полом.

Там была всего одна оплывшая свеча — ее пламя тускло освещало круглое лицо мистера Хвата, бесформенной грудой лежащего в дальнем углу комнаты. Пот градом катился по нему, хоть в комнате и гулял холод. Глаза мистера Хвата были полуприкрыты в своеобразной изможденной истоме. Что-то было не так с его ртом — он будто пытался накрашивать губы, но переусердствовал, превратив их в небрежную клоунскую ухмылку. На полу рядом с ним лежала, судя по всему, тварь, заснятая на ту пленку,— вернее, уже ее останки, расплюснутые и выпотрошенные.

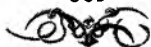


— Ты заставил меня слишком долго ждать! — вдруг закричал Хват, открывая глаза и предпринимая неудачную попытку распрямиться. — Ты не смог помочь мне и теперь изводишь ожиданием!

— Именно для того, чтобы помочь тебе, я сюда приехал, — сказал доктор, пристально глядя на изувеченное тело твари на полу. Поняв, что я смотрю на него, док вернулся в реальность: — Я пытаюсь помочь вам обоим единственно возможным способом. Расскажите ему, мистер Хват. Расскажите, как вы вывели этих удивительных существ. Расскажите, какие необычайные ощущения они вам приносят.

Мистер Хват запустил руку в карман брюк, вытащил большой носовой платок и вытер рот. На его лице цвела улыбка идиота, он шатался, словно пьяный, — ему стоило немалых трудов твердо встать на ноги. Теперь его тело казалось еще более раздутым и ожиревшим, чем прежде, — и оттого даже не вполне человеческим. Запихнув платок в один карман, он пошарил в другом.

— Придется слишком вдаваться в детали, — его голос звучал на редкость благодушно. — Что тут можно сказать? В основном это все упирается глубоко в психологию. Потому-то я и сотрудничаю с вами, доктор. А все прочее — некоторые химические соединения, провоцирующие универсальный процесс трансфигурации... так называемое «чудо творения» во всех его проявлениях. Катализатор вводится в организм субъекта инъекционным способом или же перорально... — Раздуваясь от показной гордости, мистер Хват вытянул из



кармана ладонь и раскрыл ее, демонстрируя две кругленькие таблетки... или что-то, что только походило на таблетки.

— Личинки богов,— произнес он с оттенком благоговения.

Я резко развернулся к доктору Дюблану:

— Те таблетки, что вы мне дали...

— Только так можно было добиться каких-то успехов. Я старался помочь вам обоим...

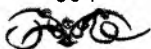
— Я предвидел такой ход событий,— сказал мистер Хват, выходя из своего транса.— Не стоило тебя вообще в это вовлекать. Неужто не понимаешь, сколько накладок возникает даже без привлечения твоих пациентов? Одно дело — тот бездомный сумасброд, коих тут, в округе, достаточно, а этот парень — совсем другое. Мне жаль, что я тебя просветил. Что ж, мои чемоданы упакованы, с остальным разбирайтесь сами, доктор Дюблан. Теперь это ваша работа. Мне же пора идти.

Мистер Хват вышел из комнаты, и несколько мгновений спустя до нас долетело эхо захлопнувшейся двери. Доктор продолжал пристально наблюдать за мной — похоже, выжидая какой-то реакции. И еще он чутко вслушивался в звуки, исходившие из комнат на этом этаже. Звуки чьих-то беспокойных лапок.

— Понимаешь теперь? — спросил док.— Мистер Хват — не единственный, кто ждал долго... слишком долго. Странно, куколки уже должны начать...

Я запустил руку в карман и вытащил два кругляша:

— Никогда особо не доверял вашим методам,— сообщив это, я бросил куколки доктору Дюблану, и



тот молча поймал их. — Не возражаете, если я пойду домой один?

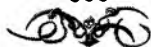
Похоже, док не возражал. Похоже, в ходе лечения мистера Хвата док и сам превратился в безнадежного психопата. Уходя прочь, я слышал, как по дому разносится его беспокойный топот, — оставшись в том коридоре, он бегал от одной двери к другой, хлопал ими и жалобно-восторженно причитал:

— Ну вот и вы, мои красоточки. Ну вот и вы!

И хоть с доктором, похоже, все было уже ясно, его терапия дала мне свои смутно-полезные плоды. По крайней мере я получил представление о том, какие бесы могли подстергать меня на жизненной дороге. Наступали первые минуты туманного утра, и, когда такси, вырвав из переуллка, покатило прочь из упаднического района, я почувствовал себя так, будто наконец вошел в ту благословенную фазу, о которой доктор Дюблан упомянул; будто ступил за ту черту баланса между бездной кошмара и рациональной твердью, исполненной соблазнов и подталкивающей к небытию. Меня захлестнуло великое ощущение избавления — мне вдруг показалось, что я могу вести безмятежное существование замороженного зрителя, для которого безумные угрозы Творца — пустой звук, а шум и хаос двух миров: внешнего и внутреннего — не более чем объекты для наблюдения.

Но ощущение это быстро улетучилось. Подлинная панацея от невзгод переменчивого бытия встречается чрезвычайно редко.

— Не могли бы вы ехать чуть побыстрее? — спросил я у водителя, потому что от мелькавшего



за окном упадка казалось, что мы так и не покинули пределы мрачного района мистера Хвата.

Реальный мир снова оплывал и изменялся, готовый вырваться из своего тонкого кокона и перекинуться в нечто неопределенное. Даже бледное утреннее солнце будто бы утратило свои выверенные пропорции.

Доехав до дома, я отсчитал таксисту кругленькую сумму за поездку в два конца с ожиданием, вздохнул и вернулся в кровать. На следующий день я взялся за поиски нового лечащего врача.

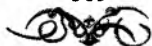


**ГОЛОС ТОГО,
КТО ГРЕЗИТ НАЯВУ**

ШКОЛА ТЬМЫ

Наставник Карнейро снова вел занятия.

Этот факт стал мне известен, когда я брел из кинотеатра домой. Час был поздний, и я подумал — почему бы не срезать через школьную территорию? Одна мысль зацепилась за другую, весьма характерную для моих ночных прогулок: желаю ли я знать правду о своем существовании, постичь собственную суть, прежде чем улечься гнить в могилу или облаком вонючего смога воспарить из трубы крематория. Ничего удивительного — всю мою жизнь я, похоже, провел, выискивая самые разные варианты ответа на свой фундаментальный вопрос. Пожалуй, ближе всего к сути я подобрался еще в школе, на уроках наставника Карнейро. Много лет уж прошло с тех пор, но мне до сих пор кажется, что если кто-то и мог поведать об истинной сути вещей, так только он. Неясно, правда, чего именно я ожидал в ту ночь... просто мне вдруг захотелось оставить улицу — с ее яркими огнями — и пройти мимо здания школы, погруженного в сгустившуюся темноту. Хотя был, пожалуй, один здравый повод — стоял холод, а полы пальто

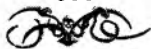


моего сводила вместе единственная избежавшая невзгод пуговица, да и ей вряд ли оставалось долго жить. Казалось бы, чем короче будет мой путь из кинотеатра, тем лучше.

И я ступил на территорию школы — как если бы то был лишь большой парк, зажатый в теснину окружающих улиц. Деревья росли близ друг друга, и за ними самого здания школы было не видеть. *Подними голову* — приказал мне кто-то, и я почти слышал этот голос из темноты. И как только я исполнил сей приказ — явились моим глазам нагие ветви без единого листика, подобно кованой решетке, за коей было видно небо, столь ясное и столь пасмурное в то же время. Там, в вышине, полная луна сияла среди облачной гущи, в недрах которой клубилась чернота — словно некие нечистоты излились на раскинувшееся полотно неба, породив эти рваные темные тучи.

И мне привиделось, что в одном месте гуща эта простерлась вниз, к деревьям, — долгая дымная капля будто сползала по стене ночи. Но то был лишь дым — густой и грязный, завивавшийся в небо. На небольшом отдалении — там, впереди, на заросших площадках школы, — я увидел дрожащее пламя костра, разожженного среди деревьев. Вонь горевшего мусора по мере приближения становилась сильнее. Выступили очертания деформированного металлического барабана, извергавшего дым, и фигуры людей, стоявших по ту сторону кострища. Но не только они явились мне — и я, в свою очередь, стал виден им.

— Занятия проходят снова! — крикнул мне кто-то из них. — Он все же вернулся!



Вестимо, то были ученики — но из-за пляшущих бликов согревающего их огня я никак не мог толком рассмотреть их лиц: из-за смрадного дыма, вздымающегося из ярко-стальных недр облезлого от жара барабана виделись они закоптелыми, нечеткими.

— Посмотри,— сказал другой ученик, указывая в сторону школы.

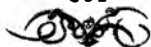
Массивный контур здания был черен, лишь несколько окон слали тусклый отсвет сквозь сад деревьев. Над крышей высились столбы нескольких дымоходов, подперев пегое брюхо неба.

Задул ветер, громким гулом тревожа наш слух, вдыхая жизнь в плещущееся в старом барабане пламя. Сквозь этот шум попытался я докричаться до них:

— Дано ли было задание?

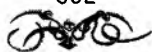
Они то ли не слышали, то ли проигнорировали меня. Мне пришлось повторить вопрос — но они лишь пожали плечами. И я покинул этот круг, оставив их толпиться у костра, в убеждении, что никто из них не решится пойти со мной. Ветер умер, и я услышал, как кто-то бросил — «чокнутый», но, как я понял, обращено это было не ко мне и сказано не в отношении меня.

Наставник Карнейро не отложился должным образом в моей памяти. Долгое время я не посещал занятия, ну а потом некая болезнь — по словам одного из моих одноклассников, некий серьезный, жуткий недуг — удалила его от нас. Все что помнилось — образ худощавого джентльмена в темном костюме, со смуглым лицом и густым иностранным акцентом. *Он по роду португалец*, говаривал



другой мой одноклассник, но много где жил, почти что везде. В моей памяти всплыл дословно один рефрен, изрекаемый этим его тихим, дремучим голосом. *Поднимите головы*, говорил он, обычно обращаясь к тому из нас, кто утрачивал внимание к схемам и диаграммам, выводимым его рукой на доске. *Поднимите головы. Не будете внимательно слушать — ничему не научитесь, ничем и будете.* Были среди учеников такие, кому подобные воззвания никогда не требовались: маленькая группка преданных слушателей, внимавшая каждому его штриху, что появлялся на поверхности доски — и исчезал под тряпкой единственно для того, чтобы минутой позже воспроизвестись снова — с незначительной вариацией.

И, хоть я и не могу утверждать, что его зачастую запутанные схемы не были связаны непосредственно с нашим учебным курсом, в них однозначно крылись некие элементы стороннего — их я даже не пытался отразить в своем конспекте. Это были либо неизъяснимые массивы абстрактных символов, либо фигуры, подвергнутые модификациям: разнообразные многоугольники с несимметричными сторонами, трапеции с несходящимися линиями, полукрути с двойной или тройной косой чертой поперек и многочисленные иные примеры обезображенной и искаженной научной нотации. В сущности довольно примитивные, эти символы принадлежали скорее магии, нежели математике. Наставник выводил их легкой рукой, будто то был родной ему алфавит. В большинстве случаев символы эти лишь обрамляли сухую теорию — но подобное обрамление как-то влияло на смысл обрам-

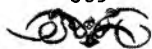


ляемого. Однажды кто-то из учеников спросил, так ли уж нужно украшать материал урока чем-то явно излишним, озадачивающим, сбивающим с толку.

— Нужно, — ответил Карнейро, — ибо истинный Наставник обязан делиться *всем*.

...По мере моего продвижения по школьному двору я подмечал изменения, имевшие место явно после моего последнего визита сюда. Деревья теперь выглядели иначе, и слабый лунный свет, пробивавшийся сквозь ветви, обличал сей факт. Они отощали и скрючились, словно увечные кости, так и не сросшиеся должным образом. Их кора отслаивалась в сонме мест, и потому не одна лишь опаль хрустела у меня под ногами, но и темные прелые лохмотья древесной кожи. Даже облака над школой стояли иные — истонченные и подгнившие. Школьный дух упадка будто бы распространился и на них. В воздухе витал аромат гниения — не какой-то там запах, но *аромат*, ибо именно нечто подобное освежает воздух ранней весны. Шел он, должно быть, от земли — под ногами то тут, то там попадался мне некий неопиcуемый мусор. Запах стал острее, когда явился я пред тускло-желтые окна школы, — у стен старого здания он был особенно силен.

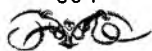
То было четырехэтажное строение, чьи потемневшие кирпичи были уложены в другой эре — во времена столь отличные от нынешних, что едва ли не чуждые, едва ли не принадлежащие иной истории, иному летосчислению, где день вполне мог быть ночью, а часы длиться неделями. Как же непросто было думать об этом месте как о чем-то



обыденном! Куда легче было внушить себе, что школу возвели по демонической смете, а кирпичи для нее брались из строений, ныне уже не существующих: разрушенных заводов, крошащихся тюрем, заброшенных детских домов, мавзолеев с долгим простоем. В самом деле, школа эта была тленной причудой здешней гнилой тверди — и именно в нее явился наставник Карнейро (много где живший, почти что — везде), дабы вести свои занятия.

Весь нижний этаж был уставлен свечами — слабыми и оплывающими. Самый верхний этаж скрывал мрак, и я заметил, что почти все его окна разбиты. Но на путь внутрь света хватало — и, пусть даже главный коридор не просматривался до конца, пусть даже стены были выпачканы чем-то, пахнущим так же, как наружная гниль и прель, я пошел вперед — ориентируясь на стены, но не касаясь их. Я шел, и по обе стороны от меня попадались дверные проемы — их либо заполнял мрак, либо закрывали широкие деревянные двери, побитые временем, облупившиеся. В конце концов мною найден был класс, где горел свет — не сильно ярче тусклого свечного, что не давал коридорам всецело погрузиться во тьму.

Потому-то внутри оказалось полно темных углов и мест, где нельзя было решительно ничего разглядеть; освещенные же участки казались нарисованными масляной краской на глянцеvitом холсте. За партами сидели ученики — по одному, не болтая. Класс не был полон — и у кафедры не стоял учитель. Доска была пуста: лишь меловые разводы указывали на то, что на ней что-то когда-то было.



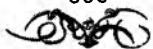
Я сел за парту у двери, ни на кого не глядя, — и меня никто не удостоил взгляда. В одном из карманов моего пальто сыскался огрызок карандаша, но писать было все равно не на чем. Я спокойно оглядел класс в поисках бумаги. Его видимые участки не могли предложить мне ничего, что позволило бы законспектировать сложный урок. К полкам по правую руку от меня я тянуться не хотел — слишком уж далеко, да и слишком силен был дрейфовавший над ними пряный парфюм распада.

В двух рядах слева от меня сидел человек со стопкой сложенных на парте общих тетрадей. Его руки покоились на этой стопке, а глаза за стеклами очков были обращены к пустующей кафедре... а может, и к самой доске. На проходы между рядами отведено было мало места, и потому я смог, подавшись через пустую, разделявшую нас парту, заговорить с ним.

— Прошу прощения, — шепотом позвал я, и он резко повернул голову в мою сторону. Его лицо изрыли оспины — их явно не было тогда, когда класс собрался последний раз. Глаза за толстыми стеклами стянул прищур. — Не поделитесь листиком?

Я был удивлен, когда он обратился взглядом к своим тетрадям и стал листать самую верхнюю в стопке. Я же тем временем объяснялся — да, к уроку я не готов должным образом, но ведь я и не знал, что занятия возобновились, — не случись мне возвращаться с позднего кинопоказа, не взбреди мне в голову срезать путь...

И пока я говорил, он дошел до самой последней тетради — страницы в ней были столь же плотно исписаны и исчерчены, сколь и во всех пре-



дыдущих. Я обратил внимание, что его конспекты уроков наставника Карнейро отличались от моих куда большей подробностью и скрупулезностью. К фигурам, которые мне виделись лишь своеобразным декором к преподаваемому материалу, были сделаны выкладки и пояснения. А у иных учеников, как открылось мне, записи были посвящены исключительно им — обрамлениям, а не обрамляемому.

— ...Очень жаль,— произнес он,— но у меня, похоже, чистых листов уже нет.

— Хорошо, тогда скажите мне, было ли задание?

— Очень может быть. С наставником Карнейро... никогда нельзя угадать наверняка. Он же португалец. Но бывал всюду — и знает все. По-моему, он сошел с ума. То, чему он учил нас, когда-нибудь доведет бы до неприятностей... ну и доведет, похоже. Но его ведь не волновало, что будет с ним — или с нами. По крайней мере с теми, что успевали у него лучше. То, что он преподавал... меры континуальных сил, время — как поток сточных вод, экскремент пространства, копрология творения, энурез самости... та грязь, которой связано все сущее, и конечный продукт из глубочайших бассейнов ночи — вот как он это называл...

— Что-то я не припомню таких понятий,— прервал его я.

— Ты — новичок. По правде сказать, казалось, ты не слушал. До сих пор не понимаешь, наверное, чему он учил. Но вскоре и тебя проймет — если уже не проняло. С этим никогда не угадаешь... но он умеет увлекать, наш наставник. И еще он всегда ко всему готов.



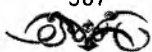
— Мне сказали, что он излечился от той болезни, из-за которой ушел. Что он вернулся к работе.

— О да, он вернулся. Всегда был готов. Но где-то, должно быть, нажил себе врагов. Знаешь ли ты, что его перевели в кабинет в другой части школы? Не могу сказать, где точно, — я не так долго с ним проучился, были такие, что и подольше. Честно говоря, мне без разницы, где урок. Разве не достаточно того, что мы здесь — в этом классе?

Я не ведал, что ответить ему, не понимал почти ничего из того, что этот человек пытался втолковать мне. Кабинет сменился? Что ж, хорошо, надо бы узнать, где урок сейчас. Вот только вряд ли остальные ученики будут полезнее этого, в очках, что уже успел отвернуться от меня. Да и потом, мне все еще нужна была бумага для конспектирования — но здесь, где все и вся вырождалось в окружающую темноту, ее было не достать.

Некоторое время я бродил по коридорам первого этажа, держась подальше от стен, что были, безусловно, покрыты темным веществом — душистой пьянящей эссенцией тысячелетней осенней линьки и гниения весенних почв, стекавшей сверху вниз и притуплявшей и без того тусклый свет в коридорах.

Мне послышалось эхо голосов, несшееся из той дальней части школы, где мне ни разу не доводилось раньше бывать. Слов нельзя было разобрать, но, похоже, выкрикивали какую-то одну и ту же фразу, раз за разом. Я пошел на эхо, по пути столкнувшись с кем-то, медленно бредущим в противоположном направлении. Этот кто-то был обряжен в грязную робу и был трудноотделим от теней,



взявших власть над школой в ту ночь. Когда мы поравнялись, я остановил его. С лица с тонкими чертами и шедшей пятнами кожей на меня безразлично уставилась пара желтоватых глаз. *Кто-то* потерял левый висок — посыпались сухие ороговевшие чешуйки.

— Не подскажите, где сейчас урок у наставника Карнейро? — спросил его я.

Несколько мгновений *кто-то* буравил меня взглядом, потом — ткнул пальцем вверх, указывая на потолок.

— Там,— изрек он.

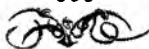
— На каком этаже?

— Последнем,— ответил он, будто даже немного удивленный моим незнанием.

— На последнем этаже — не один кабинет,— заметил я.

— А урок идет во всех сразу. Ничего не поделаешь. Но во всем остальном здании мне нужно поддерживать какой-никакой порядок. Не знаю, как у меня это получится — с ним-то наверху.— *Кто-то* окинул взглядом заляпанные стены и издал каркающий смешок.— Становится только хуже. И чем выше — тем сильнее действует на тебя. Прислушайся. Слышишь остальных? — Стеная на все лады, *кто-то* продолжил свой путь. Но, прежде чем начисто пропасть из поля моего зрения, он оглянулся через плечо и крикнул: — Может, захочешь с другим повидаться. С новеньким. Мало ли.

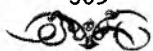
Но к тому моменту я понял, что все, что знал ранее — даже усвоенное на уроках наставника Карнейро,— покидает меня мало-помалу. Человек в грязной робе посылал меня на верхний этаж, но я



вспомнил, что, глядя на школу с улицы, не увидел там света: казалось, лишь неразбавленная, уплотненная темнота, суть полная абсценция света, занимала его. *Конечный продукт из глубочайших бассейнов ночи*, вспомнились мне слова ученика в очках. *Вот как он это называл.*

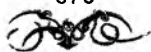
Смогу ли я ориентироваться там — я, давно уже не посещавший занятия? Я, чувствовавший себя абсолютным чужаком среди учащихся, коим, как выяснилось, был положен ранжир — совсем как в некоем тайном обществе с постепенным приобщением? Я не знал материал столь же хорошо, сколь, казалось, знали другие,— и уж точно не в том ключе, в каком это знание представлял себе сам наставник. Моя очередь примкнуть к рядам под командованием Карнейро еще не пришла. Мне недоступна была его теневая учебная доктрина, наука призрачных патологий, философия всеобщего поветрия, метафизика реальности, распадающейся на гниющие куски и воссоединяющейся под общим знаменателем распада. И прежде всего, я не знал самого наставника: тех мест, в которых он бывал, тех зрелищ, что были доступны его взгляду, тех опытов, что он ставил, тех законов, что он нарушал, тех бед, что он навлек, тех, кого он обратил против себя. Не ведал рока, что его чаяниями простерся над ним и над другими. И конечно же, я ничего не знал о том *новеньком*, что был упомянут человеком в грязной робе. А ведь он тоже мог быть наставником — ведь всегда есть последователи... как правило, плодящиеся из заклятых врагов.

Я замер внизу пролета, взбегающего на верхние этажи школы. С каждой ступенью голоса делались



громче, но не отчетливее. Первый марш ступеней показался мне нескончаемым, крутым, я едва мог видеть, куда ступаю, в отблесках из коридора. На лестничной клетке света почти не было, а стены вовсю сочились гнилью — гнилью не реальной и осязаемой, обладающей вязкостью и структурой, а призрачно-дымчатой, плотной лишь на вид, источаемой неким эпицентром бурного разложения, несущей ностальгический аромат осеннего распада, дух вешнего схода тающих снегов, обнажающих сущую неприглядность.

Я едва не проглядел фигуру, неподвижно стоящую в углу, — того самого новичка школы, чье присутствие было предсказано мне. Он был почти что наг, а кожа его была сплетена из тьмы — истинной экскрементной тьмы, заставлявшей его смешиваться с безвестностью лестничной клетки. На лице его залегли глубокие морщины, и был он дьявольски стар — лишь густой волос с вплетенными зубами и осколками костей остался молод. Вокруг шеи новичка вился тонкий ремешок — или, быть может, простой кусок бечевы, — унизанный маленькими черепами, когтями, отчлененными лапками и целыми усушенными тушками существ, которых я не мог назвать. И, хоть я стоял к этому древнему дикарю предельно близко, он не обратил на меня никакого внимания. Его большие, свирепые глаза смотрели ввысь, по дальнейшему пути полета; тонкие, изъеденные губы бормотали беззвучные слова на некоем языке тишины. Ни слова не смог уловить я, не смог — и потому оставил его.



Взойдя по оставшимся, уходящим в противоположную сторону ступеням, я достиг второго этажа. Чернота и распад стен ухудшались здесь — в темное бурление дыма можно было погрузить руку; свет мерк и складывал свои полномочия, бессильный перед этим субпродуктом упадочных миров, пред плацентарной тьмой миров только-только зарождающихся, пред фундаментальной заразой и великой Гнилью, в которой брали свое начало все вещи.

На лестнице, ведущей на третий этаж, я увидел молодого ученика, сидевшего на нижних ступенях, — одного из самых усердных последователей наставника. Он был погружен в свои мысли и не заметил меня, покуда я не заговорил.

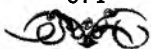
— Кабинет?.. — подчеркнуто-вопросительным тоном обратился я.

Он посмотрел на меня безмятежно.

— Наставник перенес болезнь, тяжелую болезнь. — Вот и все, что он сказал, перед тем как впасть в безответный, самозабвенный ступор.

Были и другие — сидевшие на ступеньках выше, на корточках ютящиеся на лестничной клетке. Голоса ходили по пролету вниз и вверх, повторяя в унисон размытую фразу, — но не ученикам, восседающим молча и зачарованно на ложе из страниц, вырванных из объемистых конспектов, они принадлежали. Исписанные странной символикой листы были опалью разбросаны повсюду. Они шуршали под моими ногами, когда я поднимался на последний этаж школы.

Вонь здесь больше не веяла ностальгическими воспоминаниями — то был жуткий чумной



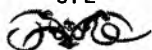
смад. Стены крыла антрацитная короста, уходящая в клубившийся у пола черный туман. Только в находившем себе путь сквозь разбитое окно лунном свете я мог различить хоть что-то. Только благодаря ему я различил *их* — лица-маски учеников, застывшие и бесчувственные. Тот, что стоял впереди всех, обратился ко мне:

— Наставник перенес тяжелую болезнь. Но он снова ведет занятия. Он мог стерпеть все и не боялся врагов. Он был повсюду. Сейчас у него — новый кабинет... где бы то ни было. — Возникла пауза, и в нее с готовностью ворвались голоса, призывающие и проклинаящие где-то там, в темноте, подобной плотно утрамбованной могильной земле. — Наставник умер ночью. Видишь? Он теперь с ней. Слышишь эти голоса? Они — для него. Все они — с ним, а он пребывает в ночи. Ночь укоренилась в нем, болезнь тьмы захлестнула его. Теперь он ступает только там, где тьма. Но тьма царит почти *езде*, когда наступают ночь. Вслушайся — наставник Карнейро вызывает к нам!

Я слушал — и заговор голосов наконец-то обрел ясность.

Подними голову, твердили они. *Подними голову*.

Клубы мрачного тумана низверглись к моим ногам, сконцентрировались где-то там, внизу. Какое-то время я был лишен способности двигаться, говорить, мыслить. Внутри меня все сделалось черным. Чернота трепетала в темном царстве моей души, а голоса твердили: *подними голову*. И я поднял, претерпевая нечто, что я никогда не был способен вытерпеть, что я *не готов* был вы-

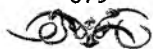


терпеть. Трепет мрака во мне не мог длиться вечно. Я не мог оставаться там, где я был, — я не мог смотреть туда, куда голоса указывали мне.

Тогда мрак хлынул из моего тела прочь, и я больше не был внутри школы — я стоял снаружи, будто пробудившись ото сна. Не оглядываясь, я вернулся на свой прежний путь, позабыв о том, что изъявлял желание срезать. Я миновал учеников, что все еще ютились у огня, плескавшегося в старом металлическом барабане. Они подкармливали пламя страницами из своих конспектов, до черноты испещренными причудливыми схемами и символами. Кто-то из них окликнул меня — *ты видел Португальца? Разузнал что-нибудь про задание?* Кто-то бросил еще пару слов на ветер — и потом они дружно рассмеялись. А я шагал прочь от школьной территории, двигаясь с такой поспешностью, что единственная пуговица моего пальто наконец расстегнулась. Но к тому времени я уже вышел на улицу. Школа осталась позади.

Шагая под фонарями, я держал полы пальто вместе и старался смотреть лишь на тротуар передо мной. Но голос — быть может, я вправду его слышал — приказал мне: *подними голову* — и если я и послушался его, то только на краткий миг. И в этот миг увидел я, что небо было свободно от облаков — и полная луна светила сквозь черное полотно неба, размытая по краям, будто лампа, поднявшаяся вдруг из липких вод глубочайших бассейнов ночи.

Конечный их продукт, вспомнил я, но то были лишь слова — без понимания. Как бы я ни желал



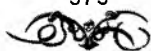
знать правду о своем существовании, постичь собственную суть прежде, чем улечься гнить в могилу или облаком вонючего смога воспарить из трубы крематория, желание это осталось неисполненным. Я ничего не узнал — и остался ничем. Но вместо разочарования я испытал огромное облегчение. Мой поиск истины был предопределен, и теперь ему пришел конец. И следующей ночью я снова пошел в кинотеатр... но на пути домой срезать не стал.

ШАРМ

Бродить поздними вечерами, посещая последние киносеансы, давно уже вошло у меня в привычку. Но в ту ночь, когда я решил наведаться в кинотеатр в той части города, где я прежде ни разу не бывал, что-то еще примешалось к этому обычаю. Меня вдруг увлекло некое предвосхищение чего-то нового, доселе не испытанного. Трудно сказать что-то определенное о том овладевшем мной чувстве, ибо оно, похоже, принадлежало моей обстановке в той же степени, что и мне.

Едва я ступил в ту неразведанную часть города, меня привлекла определенная особенность местности: самая обычная на первый взгляд, она была заключена в некий фантастический ореол, и все вокруг виделось мне одновременно и размытым, и предельно ясным.

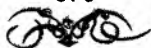
Несмотря на поздний час, окна магазинов, попадавшихся на пути, светились. Звезд не было, но огни этой вот улицы — сияющие вставочки, оправленные темной кладкой домов, — разгоняли тьму. Я остановился у витрины магазина игру-



шек и подивился нелепо-оживленной картине: заводные обезьянки судорожно хлопали в свои тарелки и подпрыгивали, выводила пируэты балерина на музыкальной шкатулке, исполнял гротескный танец чертик из табакерки. За этой суматохой, уместной скорее под рождественской елью, чем на полках витрины, простиралась темень и пустота торгового зала. Старик с отполированной лысиной и острыми бровями вдруг выступил оттуда и стал заводить игрушки по новой, поддерживая их нескончаемый танец. Наши глаза встретились... лицо его осталось непроницаемым.

Я двинулся по улице дальше, и замелькали новые окна — рамки маленьких неожиданно живописных миров, послабляющих городскую недружелюбную темень. Вот кондитерская с целой выставкой скульптур из глазури на зимнюю тематику: взбитые сутробы из крема, снежная пудра, льдинки из сахара и в самом центре этого холодного королевства — пара замороженных фигурок на вершине многоярусного свадебного торта. А за всем этим арктическим великолепием — мрак закрытого на ночь заведения.

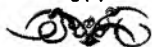
Встав у другого окна неподалеку, я задумался — открыт еще бутик, которому оно принадлежало, или же нет? В глубине зала замерли несколько неясных фигур — будто задний план выцветшей фотографии: они, похоже, были одного рода-племени с одетыми на удивление старомодно манекенами в витрине. Seriously — даже в их омытых глянцевым светом пластиковых лицах было что-то от умудренных выражений прошлого.



Как я заметил, никто не входил и не выходил из многочисленных дверей вдоль тротуаров. Тент из парусины, который нерадивый хозяин лавки забыл поднять на ночь, хлопал на ветру. Тем не менее, как я уже упоминал, витал здесь, куда ни кинь взгляд, некий оживленный дух. Острое предвосхищение наполнило меня. Схожие чувства мог бы испытать ребенок на ярмарке, где все такое многообещающее, пробуждающее самые необычные желания, сулящее близость чего-то пусть еще не имеющего точного определения в сознании, но оттого не менее заманчивого. Настроение это не оставило меня вскорости, оно лишь крепло — навязчивый импульс с неведомым источником.

Мой взгляд зацепился за вывеску кинотеатра — впрочем, не того, в который я хотел наведаться. Пусть буквы, складывающие название, были заметно повреждены и почти нечитаемы — в вывеску будто кто-то бросал камни, — я все же смог их разобрать. Кинотеатр носил название «Шарм».

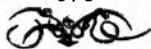
Только у самого входа я заметил, что двери были заколочены досками крест-накрест с приклеенными к ним предупреждениями — здание было признано аварийным. С поры закрытия уже, очевидно, прошло какое-то время — перегородки потрепала изменчивая погода, а предупреждающие бумажки выцвели. Но только я собрался продолжить путь, как увидел, что конторка тускло освещена — свет, что показался мне отражением соседнего уличного фонаря, шел изнутри. Кстати, под фонарем обнаружилась дву-



сторонняя плашка со словом ВХОД и стрелкой, направленной в сторону аллеи, отделявшей здание кинотеатра от всех остальных в этом квартале. Плянув туда, в эту неожиданную прореху в слитном полотне улицы, я увидел лишь длинную и узкую темную дорожку с каким-то пятном света в самом конце. Пятно имело странный фиолетовый оттенок — цвет оголенной сердечной мышцы — и находилось вроде бы над дверным проемом. *Сходить на последний сеанс? Не изменять же привычке*, напомнил я себе. Впрочем, ничто не смогло бы смутить меня в ту ночь — вперед меня влекло новое ярмарочное чувство, вдруг явившееся в этой части города, где я ни разу прежде не бывал.

Я не ошибся — фиолетовая лампа бросала свой артериальный свет на дверь, помеченную, как и на плашке, просто как ВХОД. Войдя внутрь, я очутился в плотном коридоре, где стены светились темно-розовым, — цвет уже не столько вырванного сердца, сколько извлеченного мозга. В конце коридора я увидел свое отражение в окошке кассы и на пути к нему отметил, что подступившие вплотную стены все затянуты паутиной... или чем-то, что напоминало паутину: клочки этого же материала то тут, то там попадались на полу. Когда я наступал на них, они не цеплялись за подошвы и не рвались, будто, подобно ущербным, иссекшимся волосам, росли из настеленной ковровой дорожки.

В окошке кассы никого не было — никого видимого за этой небольшой тонированной пурпуром перегородкой, в которой я отражался. Тем



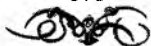
не менее билет торчал из-под ее края бумажным языком. Рядом с ним лежало несколько серых волосков.

— Вход свободный,— произнес мужчина, стоявший в дверях рядом с кассой. Его костюм отличался вкусом и аккуратностью, но лицо было неухоженное — встопорщенное какое-то, комковатое.— У кинотеатра новый владелец,— добавил он вежливым, несколько даже безучастным тоном.

— Вы администратор? — спросил я.

— Просто шел в уборную.

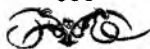
Без дальнейших комментариев он зашагал прочь, в коридорную темноту. Что-то осталось в воздухе на том месте, где он только что был: невесомая сетка опадающих паутинок или ниток, распавшаяся, едва я ступил в проход. Первое, что я увидел, была светящаяся табличка, оповещающая о входе в уборную. В царившей здесь темноте пришлось продвигаться крайне осторожно — только когда глаза пообвыклись, я смог найти дверь в зрительный зал кинотеатра. Впрочем, едва оказавшись внутри и встав на скошенный пол прохода, я снова растерялся. Зал был освещен замысловатой люстрой, подвешенной под самый потолок, да рядами ламп на стенах, и не было ничего удивительного в том, что все они были притушены,— вот только свет от них шел красноватый, напитывающий темноту кровью того болезненно-нутряного оттенка, что можно увидеть в анатомическом театре. Цвет аккуратно извлеченных и разложенных внутренностей — от розового к красному, от красного к фиолетовому:



цвет какого-то особого времени года — некой хирургической весны.

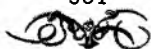
Но даже не он затруднил мое восприятие зрительного зала. С распознаванием отдельных деталей: проходов, мест, люстры, киноэкрана и портьер по его бокам — проблем не было, но вот соотнести их с предназначением почему-то не удавалось. Ничего сверх того, что я описал выше, моим глазам не представляло, но почему-то спинки сидений казались рядами кладбищенских надгробий, а проходы — бесконечно протянувшимися грязными туннелями старого бомбоубежища или неухоженного коллектора, вдобавок сужающимися по длине. Бледный лист киноэкрана представлялся запыленным окном в темном закрытом подвале или поверхностью зеркала, много лет провисевшего в заброшенном доме, люстра и светильники на стенах — темными кристаллами, вросшими в осклизлые стены безымянного грота. Иначе говоря, этот кинозал был просто виртуальной проекцией поверх сложного коллажа из других местечек с конкретными чертами — проекцией напрямую в мое восприятие. Видимым мною как будто овладело нечто неуловимое. И, чем дольше я находился здесь, привалившись к одной из стен, тем сильнее осознавал, что даже неискушенному восприятию здесь предлагался неощутимый пока что феномен, — быть может, чтобы понять его суть, мне нужно пробыть здесь до его вступления в полную силу?

Паутина была повсюду. Едва попав в кинотеатр, я заметил ее — на стенах, на полу. Теперь



же мне вдобавок открылось, что она сама по себе есть часть всего вокруг; что в природе ее я глубоко ошибся. Даже в тусклом малиновом сиянии я различал: она была *вплетена* в обивку кресел, а не лежала поверх нее. Сама структура ткани изменилась ее стараниями, превратившись из статичной в слабо колеблющуюся. То же самое творилось с киноэкраном — он и вовсе казался большой прямоугольной сетью, плотно сотканной и еле заметно ходившей вниз-вверх, вибрирующей от воздействия непонятной силы. «Возможно, этой еле заметной, но пронизывающей все вокруг дрожью обстановка кинотеатра указывает на иные предметы и места, совсем непохожие на этот простой зал, как облака, что постоянно изменяются, но сохраняют форму», — пришла мне в голову мысль. Казалось, все здесь подверглось этой лихорадке, ничто не контролировало свою форму, хотя из-за полумрака мне не видны были в достаточной мере потолок и дальние ряды, и о них я не мог ничего сказать наверняка.

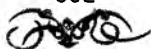
Едва я занял свое место в зале, усилилось то найденное необыкновенное чувство, и я впервые задумался о том, не оно ли первопричина того, что я здесь вижу. Оно нарастало с тех самых пор, как я увидел вывеску «Шарма», — казалось, вот-вот наступит мое полное и безоговорочное приобщение к чему-то, что выжидало в самом буквальном смысле за четвертой стеной. Привело это к тому, что сейчас я ощущал себя до одури равнодушным к чему-либо, кроме завершения (или конечного акта?) этого процесса, этого странного и неожиданного ночного приключения. В этом измененном



своём состоянии я едва ли пекся о возможных последствиях.

Не особо взволновало меня и повеявшее морозцем ощущение чьего-то близкого присутствия. Странно — садясь, я был совершенно уверен, что место рядом со мной пустовало... как и следующее за ним, как и, собственно, весь мой ряд и оба ряда позади и впереди меня. Если бы кто-то зашел следом, я не смог бы упустить из виду его появление. И все же я спиной чувствовал чей-то давящий дух — к слову, лишь добавлявший очков моему иррациональному воодушевлению. Оглядевшись в легком недоумении, я не увидел никого за собой — ни на сиденье сзади, ни вообще где-либо наверху вплоть до самой дальней стены зала. Но взгляд мой все равно замер на пустующем месте — от него исходила концентрированная *аура* присутствия. Ткань обивки кресла — со всей той внутренней матрицей циркулирующих заодно волокон — вдруг приобрела объем, собираясь в некое подобие лица, лица старухи с застывшей лукавой гримасой, обрамленного встопорщенными жгутами волос. Не лик человека — усмехающаяся маска злодеяния, алчная до раздразив и разрушений, сотканная из нитей, сшивающих внутреннее убранство кинозала в единое целое.

Конечно же, никакие это были не нити, а именно что волосы. Это открытие — наряду с образами надгробий и коллекторов, подменивших собой спинки сидений и проходы между рядами, — заставило меня воспрянуть: еще один элемент мозаики, ведущей к развязке моего ночного



паломничества, встал на место. Но тут ко мне обратились — и, как и старушечье лицо, проступившее на ткани, мое приподнятое настроение улетучилось.

— Как посмотреть на тебя — так ты ее, похоже, увидел.

Через одно место от меня сидел мужчина. Не тот, которого я встретил ранее, — у этого лицо было почти нормальным. Вот только весь его костюм был в волосах, явно ему не принадлежавших.

— Ну так как? Видел ее? — спросил он.

— Не уверен, что видел, — ответил я.

Его голос звучал так, будто вот-вот готов был сорваться на смех, сползти в похохатывающую истерику:

— Вот доведется с ней поближе пообщаться — точно сомневаться не будешь.

— Погодите, там, сзади, что-то произошло, а потом появились вы...

— Уж прости, — сказал он. — Знаешь, что у этого кинотеатра недавно появился новый владелец?

— Да вот как-то не углядел.

— В смысле — «не углядел»?

— Снаружи — ни объявления, ни вывески.

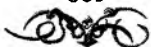
— О, никаких объявлений не будет.

— Должно же быть хоть что-то, — запротестовал я.

— Кое-что есть, — бодро отметил он, пальцами поглаживая щеку.

— Что именно? И еще эти волосы...

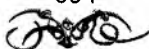
Но тут весь свет погас.



— Тихо,— прошептал мужчина.— Сейчас начнется.

Вскоре экран перед нами запылал во тьме всеми оттенками сирени, и кадры фильма — странного немого кино, будто пропускаемого сквозь микроскоп, словно бы и снятого в микромире, где актерами выступали невидимые невооруженным глазом существа,— замелькали на нем. Удивительное дело — по мере того как картинка прояснялась и упорядочивалась, набирало силу чувство *deja vu*. Будто где-то я нечто подобное уже видел и испытывал примерно те же, что и сейчас, чувства. Действие фильма подавалось от первого лица — будто сквозь чужие глаза зритель лицезрел истинное вырождение и зачумление. Обнажалась самая суть тех мест, коим, как мне казалось, были посвящены истинные материальные частицы кинотеатра,— те кладбища, переулки, грязные коридоры и подземные переходы, чей дух проник сюда и все извратил. Все то же самое — но без определенности: лишь самая основа тех мест, что так повлияли на кинотеатр, превратили его в фасад для отвода глаз, будучи притом сами лишь бутафорией более темных и опасных сфер: выжимка, в которую мы погружались все глубже и глубже.

Пурпурная болезненность цветовой гаммы все так же доминировала: камера двигалась сквозь воспаленно-розовые, синюшные и бледно-красные структуры, в анатомичности которых узнавались кое-как палаты пустых больниц и оставленные монастырские кельи — интерьеры преисподней, церемониальные залы шабашей.

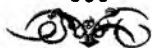


Пустоты в их студенистых стенах сочились чем-то, напоминающим прель лишайника; участки, истончившиеся до прозрачности, пульсировали, как если бы через них проходили вены. Безумие и смятение физиологии было воплощено в этих оживших кошмарах: сшитые тонкими серыми волосами бурдюки с внутренностями образовывали бессмысленные и нежизнеспособные формы, зловещими объедками анатомического исследования застрявшие в сладострастно подрагивающей волосяной паутине. И более — ничего в кадре: творения — и взгляд на них сквозь глаза самого творца, того самого хирурга, проектировщика и ткача паутины, марионеточника, сшивающего новую беспомощную куклу и отдающую ее во власть заказчика — скорее всего, того самого нового владельца кинотеатра. Сквозь глаза этого неизвестного мы, зрители, инспектировали проделанную работу.

Взгляд камеры стал меркнуть, и синюшная анатомическая вселенная ушла в фиолетовую тень. Когда изображение появилось снова, на экране был мужчина: лицо с поразительно живым, пристальным взглядом и нагое тело, выглядевшее так, словно его сковал жестокий паралич.

— Она показывает нам!.. — прошептал тот, кто сидел рядом. — Вот что она, эта бесчеловечная ведьма, сделала с ним! Он больше не осознает, кем является... только чувствует ее внутри себя.

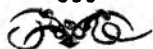
Я сидел как на иголках: вот она, столь ожидаемая мною развязка — совсем уже скоро! Мое возбуждение, пусть и окрашенное в легкую панику,



достигло предела. Лицо одержимого на экране — да, одержимость послужила бы хорошим объяснением — было знакомо мне: это тот самый мужчина, с которым я столкнулся у входа в кинозал. На узнавание потребовалось время, потому что теперь его плоть претерпела еще большие изменения, прошитая в тысяче мест толстыми жгутами волос. Глаза тоже преобразились — в них горела звериная свирепость, указывавшая на то, что он, похоже, взаправду служил теперь сосудом какому-то великому злу. Впрочем, было в них что-то отчаянно протестующее против окончательного превращения, — понимание собственной одержимости и мольба об избавлении, и в последующие несколько минут это мое наблюдение подтвердилось.

Ибо мужчина на экране вновь обрел себя — пусть на краткий миг, пусть только частично. Огромное усилие читалось в его дрожащем лице, но результат был довольно-таки скромнен — лишь рот распахнулся, готовясь к крику. Конечно, звука не последовало — экран был способен лишь на музыку изображений, передавая сквозь глаза смотрящего то, что увиденным быть не должно. Этот диссонанс в восприятии и вытряхнул меня из кокона зародившегося предвосхищения, рассыпавшегося в труху; и затем я понял, что *все же слышу крик, — он доносится из той части зала, где, по логике, должна быть будка киномеханика.*

Я попробовал обратиться к соседу, но он проигнорировал мои воззвания. Он, казалось, вообще ничего не слышал — и не видел того, что проис-

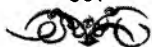


ходило с ним и вокруг него. Длинные и жесткие, как проволока, волосы, вырастали из ткани обивки кресла, оплетая ему руки и проходя плоть насквозь, и я никак не мог его об этом предупредить. Оставив вскоре все надежды, я поднялся. Те волосы, что успели доползти до меня, натянулись в попытке удержать, но я пошел вперед — и они порвались, как порвалась бы выбившаяся из одежды нитка, зацепившаяся за гвоздь.

Никто в зале не последовал моему примеру — всех слишком занимал мужчина на экране, вновь потерявший способность кричать и низвергнутый обратно в паралитическую тишину. Пройдя по проходу, я посмотрел туда, где должна была быть будка киномеханика. Будки не было — в той стороне над рядами сидений возвышался лишь силуэт, напоминающий старуху с распущенными длинными косами. Ее глаза горели во тьме двумя фиолетовыми угольками, исполненными жестокости и злорадства, от которых на лист киноэкрана падали две воронки цвета чистейшей сирени.

Выйдя из кинозала в темный коридор, я пошел вперед, ориентируясь на светящиеся буквы над уборной — они сияли неестественно ярко. А вот лампа над входом не горела, да и знак ВХОД пропал. Даже плашка и буквы на вывеске, слагающие слово «ШАРМ», куда-то исчезли. Выходит, это был самый последний киносеанс. Впредь кинотеатр будет закрыт для общественности — почему-то я был твердо уверен в этом.

Наверняка закрылись — пусть лишь только на эту ночь — и все магазины на улице, которую, как



и эту часть города, я никогда доселе не посещал. Несмотря на поздний час горевшие прежде витрины и вывески все как одна стояли погашенные. За ними, в глубине темных торговых залов — нет, мне не показалось, — неизменно присутствовал еще более темный силуэт. Силуэт старухи с источающими сияние глазами и чудовищной копной распущенных волос.

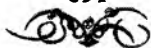


ГОЛОС ТЕХ, КТО ЮН

ВИЗАНТИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Визит патера Сивича

В каком бы уголке нашего старика-дома я ни укрывался — приход священника чувствовал всегда. Даже в самых дальних комнатах верхнего этажа, закрытых и помещенных для меня под запрет, меня настигало совершенно определенное чувство. Атмосфера дома вдруг как-то менялась, сперва на довольно-таки тревожную, потом — на довольно-таки привлекательную. Как будто некое новое присутствие вторгалось в наполненный отзвуками воздух, в свет хмурого утра, лежащего на темное дерево половиц и выпцветшие морщины старинных обоев, и я вдруг осознавал, что попал в центр разворачивающегося кругом меня незримого действия. Мои ранние представления о великом племени священнослужителей простыми не являлись — напротив, в своих запутаннейших лабиринтах они совмещали извечно противостоящие друг другу ощущение беспредметного страха и странное чувство принадлежности. Чем больше думаю я о прошлом, тем более важным мне видится то чувство, что предвляло приход патера,—



равнозначным по важности самому визиту. И я не питаю стыда к себе из-за того, что намеренно длил эти одинокие минуты.

Большую часть дня я пребывал в уединении в своей комнате, за своими обыкновенными детскими занятиями, приводившими хорошо заправленную койку в совершеннейший беспорядок. Затачивая карандаш в сотый раз и стирая толстый серый ластик в ничто, я почти признавал за собой поражение: бумага бросала мне вызов, сокрыв в своей одноцветной текстуре сонм незаметных ловушек, призванных помешать мне достичь цели. Но сей мятежный настрой снизошел на меня не так давно — как и разрыв в доверительных отношениях между мной и моей творческой лабораторией.

Завершенная часть рисунка являла собой животрепещущую фантазию о внутреннем убранстве некоего монастыря, с туннелями и сводчатыми пенетралиями¹, не претендующую притом на подробность путеводителя. Тем не менее предельная точность отдельных частей картины значила много для меня. Например, ряд колонн, резко сужающихся в перспективе, убывающей во мрак. И конечно же, тот *некто*, спрятавшийся за одной из колонн и смотрящий из тени: видны лишь силуэт, лицо и прижатая к серому столбу рука. Руку я отрисовал с надлежащей тщательностью, но,

¹ Пенетралия (лат. *penetralia* — внутренняя часть) — у католиков название той части храма, куда допускаются только служители церкви и где хранятся святыни и священные реликвии.

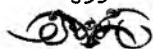


когда дело дошло до страха, искажающего лицо смотрящего, никакие потуги не давали желаемого эффекта. Я хотел нарисовать безумное лицо человека, застывшего перед собственным роком, неизбежной гибелью, но карандаш меня не слушался. В глазах вместо требуемого испуга читалась какая-то кретиническая озабоченность. После перерисовки и вовсе стало казаться, что мужчина нисколько не испуган, а этак по-дружески улыбается наступающей смерти.

Можно понять, почему я позволил себе отвлечься на визит патера Сивича. Острие карандаша замерло на бумаге, взгляд мой стрельнул туда-сюда, проверяя углы, занавес и приоткрытый шкаф на предмет чего-то, что явилось поиграть со мной в прятки. Я услышал методичную поступь в коридоре, она остановилась у двери моей спальни, а потом голос отца, приглушенный цельнодеревянной панелью, приказал мне спуститься вниз и встретить нашего посетителя.

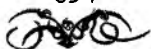
Внизу мне была уготовлена еще одна ловушка — западня обманутых ожиданий. Я-то думал, что гостем нашим снова стал патер Орн, часто заходящий к нам и бывший своего рода духовным наставником и другом нашей семьи. Но, спустившись по лестнице и увидев странный черный плащ и черную же шляпу на вешалке у входной двери — такая давняя неразлучная пара, так они вместе смотрелись, — я понял, что ошибаюсь.

Из гостиной доносился мягкий отзвук разговора. Шелестяще-сонные ноты в нем были на



совести патера Сивича — он скорее шептал, чем говорил вслух. Вольготно восседал он в самом широком кресле — к нему-то и провела меня мать почти сразу. Пока меня представляли, я молчал, да и несколько захватывающих минут после провел, не решаясь раскрыть рот. Патер Сивич решил, что в эту восторженную немоту меня вогнала его причудливая трость,— о чем и сказал; в его голосе вдруг прорезался иностранный акцент, на который до этого я не обращал внимания. Он протянул ее мне, и я повертел в руках этот вытянутый грозный деревянный шпиль. На самом деле очаровал меня не он, а патер собственной персоной — особенно тот факт, что кожа на его круглом лице была будто присыпана меловой пылью.

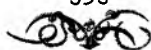
Меня усадили в кресло напротив, но я устроился так, чтобы взгляд падал немного под углом. Собственно, одним лишь взглядом я и мог участвовать в беседе — смысла слов, полусонной музыкой заполонивших гостиную, я не понимал. Моя сосредоточенность на лице священника полностью изгнала меня из мира хороших манер и вежливых разговоров. Причина была не только в этой его гипсовой бледности и припорошенности, но и в странной незаконченности и обезличенности черт — я будто смотрел на недоделанный слепок из мастерской кукольника. Патер Сивич улыбался, щурился и проявлял иную мелкую активность лицевых мышц, но все это смотрелось чужеродно. Что-то важное, что-то человеческое отсутствовало в выражении его лица, что-то первоначально наполняющее любую нашу гримасу смыслом и неподражаемостью. Образно выража-



ясь, он был будто из муки слеппен, а не из плоти и крови.

В какой-то момент мои родители нашли предлог оставить меня наедине с патером Сивичем — видимо давая его жречески-торжественному влиянию целиком возыметь надо мной верх: их подчеркнутая светскость тому явно мешала. Такой поворот не удивил меня нисколько, ибо втайне мать и отец надеялись, что когда-нибудь я поступлю в семинарию и облачусь в темный пурпур рясы тайнослужителя.

В первые секунды нашего с патером одиночного пребывания в комнате мы просто смотрели друг на друга — как если бы наше знакомство только-только состоялось. И вскоре произошло нечто весьма интересное: лицо патера Сивича изменилось, одухотворившись и очеловечившись — как если бы то живое начало, что доселе было погребено под меловыми наслоениями гипсовой плоти, наконец прорезалось наружу. Ожили глаза, уголки губ, зацвел румянец на щеках. Но бесследно это преображение не прошло: оживление черт лица вытянуло последние живые ноты из его голоса. Теперь каждое слово из его уст звучало так, будто патер был безнадежно болен и цеплялся за этот мир лишь таблетками да молитвами. О чем он говорил — сказать точно не могу, но помню, что каким-то образом были упомянуты мои рисунки. Патер Орн их тоже видел, но не припомню, чтобы он когда-нибудь выказал хоть каплю восхищения ими, однако оказалось, что их живописная природа как-то стала предметом разговора двух духовных коллег. Патер Сивич говорил о моем творче-

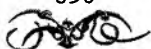


стве очень уклончиво и обходительно — будто то была некая чрезвычайно деликатная тема, угрожавшая благополучию нашего знакомства. Я так и не уловил, чем же был вызван такой интерес к моим каракулям, но этот вопрос частично уточнился, когда из складок рясы патер извлек небольшую книжицу.

Обложка книжицы выглядела так, будто была сделана из лакированного дерева, испещренного волнистым узором. Хрупкая на вид, в моих руках — да, патер Сивич без промедлений вручил мне ее — она обрела вдруг осязаемость и крепость. На обложке не было ни слова — лишь две черные полосы пересекались, образуя крест. Приглядевшись повнимательнее, я заметил, что на концах поперечной перекладины есть два маленьких волнистых расширения, напоминающих ручки с пальчиками. Да и вертикальная полоса венчалась маленьким шариком — выходил своеобразный палочник, тонкий человечек.

По указанию патера Сивича я открыл книгу наугад и пролистал несколько невероятно тонких страниц, больше походивших на слои живой ткани, чем на мертвую бумагу. Казалось, их было столь много, что, листая их вот так, одну за одной, никак нельзя было достичь конца или же начала. Священник попросил меня быть осторожным и не повредить хрупкие листки, ибо книга была очень древней и невероятно ценной.

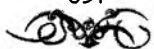
Язык, на котором книга была написана, не укладывался в моей голове и не подлежал опознанию. Даже сейчас память ничего не проясняет — есть лишь то еще детское убеждение, что написана она



была на каком-то экзотическом древнем наречии. Но обилие иллюстраций кое-что проясняло: благодаря этим искусным гравюрам я почти мог читать книжицу, посвященную, как оказалось, одной старой-престарой, затертой теме: спасению через мучения.

По мнению патера Сивича, именно этот священный ужас мог разжечь во мне интерес. *Лишь немногие, пояснил он, в действительности осознают священное назначение подобных изображений страдания людского, то богоугодное начало, к коему дороги мук плоти всегда вели. Ибо создание и даже простое созерцание этих свидетельств божественного безумия суть одно из величайших, к великому сожалению — утраченных, искусств.* После он пустился в рассказ о библиотеке в какой-то древней стране, но я его почти не слушал. Мое внимание избрало иной путь, мой взгляд глубоко погружался в густой ландшафт зримых гравюр. Одна сцена запомнилась мне особо, вобрав в себя фактическую суть книги.

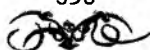
Центральной фигурой был мужчина — бородастый и изможденный аскет, стоящий на коленях с преклоненной головой и сложенными руками. В этой окостенелой мольбе он застыл, а вокруг него плясали демоны-истязатели — на удивление эффектно изображенные, благодаря или вопреки грубой технике без детализации. Выбивался из общего стиля лишь припавший на корточки бес, из чьего единственного глаза росли на стебельках пучки глаз поменьше, с гротескными кустистыми ресницами. Глаза же бородастого аскета были своеобразным центром композиции — снежно-белые



на темном лице, с двумя крохотными точечками зрачков, обращенными ввысь. Что же в этом образе пробуждало во мне такое чувство, что нельзя было назвать просто страхом, просто печалью, просто благоговением? Сцена ужасающе вдохновляла, и я старался запомнить ее фотографически, вплоть до мельчайших черточек.

Я держал эту страницу жесткой хваткой, зажав между указательным и большим пальцами, когда патер Сивич неожиданно резко вырвал книгу у меня из рук. Оказалось, в гостиную возвратились мои родители. Взгляд патера был обращен к ним, он не глядя прятал книжицу обратно в складки рясы — потому, видимо, и не заметил, что тонкая страница осталась в моих пальцах. Я поспешил опустить руки вниз и зажать между колен. Он не заметил потери... но я не обманывался насчет того, что большая сила, стоящая за маленькой книжицей, примирится с такой потерей. Взгляд патера Сивича потух, лицо вновь стало скучным и невыразительным, цвет лица уподобился штукатурке — я был в безопасности.

Вскоре после этого священник стал собираться. С восхищением я наблюдал, как он, стоя в фойе, облачается в свой плащ, поправляет широкополую шляпу, подпирает массивное тело тростью. Перед отбытием он пригласил нас погостить как-нибудь у него, и мы пообещали по случаю воспользоваться гостеприимством. Пока мать прижимала меня к своей длинной и худой ноге, отец придерживал священнику дверь. Снаружи солнечный день сменился ветреной хмуриью, и хмуриья эта поглотила фигуру уходящего священника.



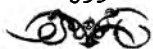
Возвращение патера Сивича

Извлеченная из книжицы священника страница, как я вскоре понял, не решила проблем с вдохновением, вопреки всем надеждам. Да, у нее был определенный потенциал, определенный заряд энергии, но, как мне открылось, жуткая икона не делилась своим благословением с чужаками. Я тогда не подозревал, что священная гравюра будет обладать столь скрытной натурой, ибо куда сильнее был увлечен перспективой тех художественных уроков, что мог у нее почерпнуть. Я чаял передать часть ее силы моему безликому страдальцу за колонной — но, увы, рисунок мой так и остался незавершенным. Никаких уроков, никакого слепого заимствования: до смешного пустой холст я был не в силах украсить абсолютным ужасом на грани звериного.

Впрочем, гравюра таки повлияла на меня.

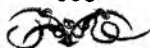
Меня и патера Сивича связал некий духовный мост, и я уже не мог оградить себя от осознания некоторых сокровенных тайн священника. Вскоре его образ в моем мозгу стал плотно ассоциироваться с неповеданными, особенными историями, что несли на себе отпечаток легенд поистине космических масштабов. Без сомнения, с ним были связаны определенные предания, а объем его знаний поистине ужасал. Я решил следить за его судьбой самым внимательным образом, и такую задачу существенно облегчила тонкая страница, вырванная из его сакральной книги.

Я всюду носил ее с собой, обернув в выпрошенный у матери лоскут ткани. Первые мои



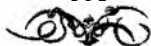
визионерские опыты носили сбивчивый характер — слишком много с моей стороны требовалось психических усилий, к коим я не вполне был готов. Первые мои видения были далеки от законченности и совершенства — быстро рассеивались, распадалась на бессмысленные фрагменты. В одном из них я застал патера Сивича в гостях у какой-то другой семьи в весьма угрюмых апартаментах, в коих анемичный священник побледнел едва ли не до полупрозрачности. В других подобной четкости ждать было напрасно: все давалось мне полупониманиями, туманом, облеченным в антропоморфную форму. Легче давалось подсматривать тогда, когда патер Сивич был один или в компании кого-то одного. Долгий его разговор с патером Орном был уловлен мной во всей полноте, с потерей лишь цвета: видение было в жуткой синюшности фотографического негатива — да звука: общение священников проходило в мертвой тишине, сопровождаемое лишь пантомимическими жестами.

А в темные часы ночи, когда вся остальная епархия, по-видимому, спала, патер поднимался со своей узкой кровати, садился за стол у окна и листал книжицу — страницу за страницей, останавливаясь лишь иногда и, по-видимому, зачитывая вслух какие-то выдержки. На подсознательном уровне я понимал, что книга излагала его собственную биографию, хронику поистине ужасных событий. По тому, как складывались его губы, по движениям языка меж рядов безукоризненных зубов, я вроде как даже мог кое-что прочесть, уловить тот или иной фрагмент из жизни этого чувственника.



И — о, боги! — какой же насыщенной была его жизнь, невероятно начавшаяся, прошедшая сквозь цепь невообразимых событий; какой же долгой и неизбывной она обещала быть — в своем предрешенном многообразии, растянутая на неопределенное количество лет! Многое из того, что перенес патер Сивич, читалось на его лице — но многое было и сокрыто в тени, которую не мог разогнать свет одинокой лампы, падающий на его рабочий стол; не могли того изведать и созвездия, чей яркий свет был вознесен высоко-высоко в ночное небо за его окном.

Когда патер Сивич вернулся на далекую родину, я потерял с ним всякую связь, и вскоре моя жизнь вернулась в привычное русло. Бесплодному лету пришел конец, начался учебный год, вновь придвинулись вплотную гнетущие тайны осеннего сезона. Но впечатление от видений жизни патера Сивича не до конца выветрилось из моей головы. В разгар осеннего семестра мы начали рисовать тыквы толстыми оранжевыми карандашами с тупым грифелем, ножницами с затупленными лезвиями мы стали вырезать черных кошек из черной же бумаги. Поддавшись безнадежному стремлению к новизне, я вырезал не очередную кошку, а человекообразный силуэт, за что даже получил похвалу от учительницы, но стоило мне снабдить мою черную фигуру белым монашеским воротничком и грубо раззявленным кричащим ртом, как последовало возмущение и порицание. Случилось это незадолго до того, как из школьных будней меня вырвала трехдневная болезнь, в тече-

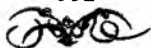


ние которой я лежал, обливаясь потом, и бредил о заокеанских похождениях патера Сивича.

В шляпе, плаще, с тростью, старый священник резво вышагивал вдоль узкой темной улицы — в каком-то очень древнем городе, в какой-то очень древней стране: видение, достойное талантливо-го иллюстратора средневековых сказаний. К счастью, сам город: серпантин дорожек, искаженный отблеск фонарей, путаница шпилей и башенок, тончайший серп месяца, который, казалось, принадлежал лишь этому месту на всей Земле и никакому другому, — не выдал себя ни именем, ни положением, хоть и всяко требовал хоть какого-то обозначения. То, что пришло мне на ум тогда, было древним и звучным, но после многих минувших лет все так же кажется мне неуместным и ошибочным. Потому оставляю его при себе.

Патер Сивич нырнул в узкую нишу между двумя темными домами, что привела его к идущей вдоль низких стен грунтовой дороге. По ней он дошел до небольшого дворика, высоко огороженного со всех сторон и освещенного одним тусклым фонарем в самом центре. Ненадолго патер остановился, переводя дыхание, — лицо мокрое, болезненно-желтое из-за отсвета. Где-то там, в сердце садика, спрятался проход, и на пути к нему священник все сетовал на то, как отдален и как темен этот квартал старого города.

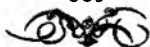
Теперь он спускался по лестнице из тесаного камня, сбегавшей ниже уровня улицы; затем короткий туннель привел его к другой лестнице, витками спирали зарывавшейся вниз, в полнейшую черноту подземелья. Священник, явно зная путь,



канул в эту черноту — чтобы вынырнуть в огромной круглой зале. Вниз от этой залы, соединенные золочеными балюстрадами, уходили спирально закрученные лестницы и террасы, образуя невероятную, высокую башню, утопленную в подземное нутро города своим острием, терявшимся далеко внизу, от которого переплетением сияющих паутинок отходили тонкие лучи света.

Каждый уровень этой башни ветвился затененными проходами, за которыми явно крылись какие-то помещения; и если это и была библиотека, предназначенная для книг вроде той, что священник извлек из обшлага плаща, то ее фонд исчислялся, должно быть, сотнями тысяч сакральных томов, упрятанных в соты неведомой протяженности и запутанности. Патер Сивич замер, явно выжидая кого-то, кому была доверена забота об этом хранилище. И вот из тени снизу восстала ему навстречу некая массивная фигура... распавшаяся вскоре на три отдельных силуэта.

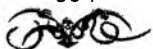
Триада, представшая пред священником, выглядела связкой из трех похожих близнецов, на чьих одинаковых лицах было написано почти карикатурное спокойствие. Они были одеты в темные рясы, как и сам патер. Их глаза были большими и умиротворенными. Когда священник протянул книгу тому, что стоял в середине, мелькнула длань — белая, как перчатка. Центральная фигура возложила руку на обложку книги, следом за ней это сделал хранитель слева, за ним — силуэт справа. Так они застыли, все трое, на какое-то время, будто принимая некие безгласные полномочия. Их головы качнулись навстречу друг другу,



и одновременно с этим атмосфера круглой залы, исполосованной хаотичными лучами подземной звезды, изменилась. Изменилась почти неуловимо — лишь тень презрения (или все же — отвращения?) промелькнула в скрещенных взглядах больших глаз хранителей.

Они убрали руки с книги и обратили взгляды на священника, уже сделавшего несколько шагов прочь от этих гневных теней. Но как только патер начал поворачиваться к ним спиной, его вдруг остановила некая сила — как если бы он услышал резкий оклик со стороны и замер в испуге. Его бледное, мучнистое лицо парило над черным воротником плаща, отчего-то поднимаясь все выше. Но не голова священника отделилась от тела — само тело вознеслось ввысь. Повисли в воздухе, в отрыве от земли, мыски его черных туфель. Упала наземь, породив гулкое эхо, трость, выпущенная из руки, — на черном полу залы она выглядела лишь прутиком, в лучшем случае — брошенным карандашиком. Спланировала следом его черная широкополая шляпа, слетевшая, едва массивное тело патера Сивича стало поворачиваться в воздухе, закутываясь в полы собственного плаща, словно в кокон. Я увидел его воздетые руки — пальцы прижаты ко лбу, словно в отчаянной молитве. Его лицо...

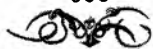
Его лицо было последним, что я видел, ибо в следующую секунду патер низвергся вниз, сквозь бесчисленные балюстрады башни, превратившись в крохотную темную точку, скользящую вдоль хтонической громады — и вскоре потерявшуюся в глубинах. Троица хранителей отступила



назад, в тень, и круглая зала опустела. Видение померкло.

Моя лихорадка ухудшалась все три дня, но затем, на исходе поздней ночи, вдруг отступила. Измотанный бредовыми бдениями, похороненный под тройным слоем одеял, принесенных матерью, я мучился невозможностью погрузиться в забытие. Мать оставила меня, полагая, что я наконец уснул, но от тенет Морфея я был бесконечно далек. Единственным источником света, разгонявшим тьму в комнате, была луна за окном. Сквозь смеженные веки я внимал ей, упрекая в странных грехах, пока наконец не заметил, что все занавески в комнате были плотно запахнуты, а тусклый свет у подножия моей кровати шел не от луны, а от адской ауры — или же ангельского ореола? — парящего над прозрачной фигурой патера Сивича.

Я слабо приподнялся в молчаливом приветствии, вложив в это движение все убывающие силы, но он никак не откликнулся, и на одно мучительное мгновение мне показалось, что не он здесь призрак, а я. С трудом удалось мне поднять свинцовые веки: в награду за это усилие моему обостренному лихорадкой зрению явилось во всем великолепии лицо привидения. Я ухватил каждую деталь, каждую черту, каждый отпечаток, жизнью наложенный на сей лик. Фантастическая судьба этого человека достигла своего апогея в этом нынешнем призрачном выражении — в маске застывшего, окаменелого страха. Все то, что чувствовала и видела эта потерянная душа, я вдруг осознал и принял в полной мере — в тот короткий, трагичный миг.



И вдруг, с усилием, сопоставимым с мощью планеты, вращающей свою подвешенную во тьме космоса гниющую тушу, призрак разомкнул губы — и произнес, не обращаясь ни к кому, кроме себя, будто повторяя собственный смертный приговор вслед за судьей:

— Не в единстве данном возвращенная, книга нарушает закон. Книга... нарушает... закон.

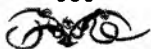
И с последними словами этого странного послания лицо призрака усохло, как брошенная в огонь бумага, и обратилось в ничто — будто Творец решил избавиться наконец от последних набросков бесперспективной работы.

С этим избавлением я почувствовал себя значительно лучше. Но оставалось еще кое-что. Оставалось то, ради чего жестокая рука судьбы заставила меня пройти через все это. И потому я не лег спать до тех пор, пока мой рисунок не был закончен.

Наконец-то я обрел то самое лицо, что так долго искал.

Постскриптум

Вскоре после той ночи я посетил церковь. Посетил сугубо по собственному желанию — несомненно, мои родители сочли сие за добрый знак пробуждающейся сознательности. Однако перво-степенной целью моей была величественная серебристая цистерна со святой водой, у которой я наполнил маленькую бутылку. Цистерна стояла не в самой молельной зале, а в предбаннике, и я извинился и перед родителями, и перед священником за то, что, фактически, в самой святой святых не

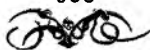


побывал. С благословениями я поспешил домой, где извлек из ящика стола закутанную в лоскут ткани страницу из книги патера Сивича. Снеся ее в ванную наверху, я закрыл за собой дверь и поместил тонкий листочек в слив раковины, бросив прощальный взгляд на величественную гравюру. Мне невольно пришла на ум мысль — смогу ли я чем-то загладить свой вандализм. Быть может, стоило предложить на хранение библиотеке что-то свое. Но потом вспомнилась мне судьба патера Сивича, и я вымел эту мысль из головы. Откупорив бутылку, я полил торчащий из слива лист святой водой. Тот мгновенно зашипел, будто помещенный в сильнейшую кислоту, обдал меня неприятно пахнущим паром — кислой миррой таинства и отрицания... и, наконец, растворился целиком. Все было кончено. В зеркале над раковиной я увидел отражение собственного лица: на нем цвела улыбка глубокого удовлетворения.

РАССКАЗ МИСС ПЛАРР

Стояла ранняя весна — самое начало сезона, — когда явилась мисс Пларр и стала жить вместе с нами. Ей надлежало вести дела семьи, пока моя мать противостояла некому трудноопределимому недугу (пусть затяжному, зато не фатальному), а отец был в командировке. Она явилась в один из тех исполненных тумана и моросящего дождя дней, какие часто выпадают на начало года — неизменно откладываясь в моей памяти весточками этого замечательного времени. Поскольку мать сама выписала себе строгий постельный режим, а отца рядом не было, пришлось мне отвечать на этот вкрадчивый, настоятельный стук в нашу дверь, эхом пролетевший сквозь галерею комнат, отзвуком своим добравшийся до самых укромных уголков верхних этажей дома.

Потянув на себя витую металлическую ручку двери — непомерно большую в моей ребяческой ладони, — я выглянул наружу и увидел ее. Она стояла спиной ко мне и пристально вглядывалась в клубящийся туман, ее черные волосы блеснули в отсветах из прихожей. Даже когда она

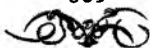


стала медленно поворачиваться, я не смог отвести взгляда от этой иссиня-черной копны волос — уложенной с тщанием и долговременным трудом, но все же каким-то образом восстающей против навязанного ей порядка. То тут, то там выбивались из плена заколок поблескивающие власяные нити. Ничего удивительного не было в том, что, когда она взглянула на меня сверху вниз и заговорила, ее голос шел будто из туманного далека:

— Меня зовут...

— Знаю,— произнес я.

В тот момент меня волновало не столько ее имя, заученное благодаря усердным разглагольствованиям отца, сколько необычное чувство, вселяемое ее присутствием. Даже войдя в дом, она чуть оглядывалась в сторону распахнутой двери — будто наблюдая за чем-то снаружи, будто чего-то напряженно выжидая. Было видно, что к ориентации в хаосе лиц и разнообразных причуд нашего мира мисс Пларр шла долгим путем. Ей свойственна была некая загадочность, запятанная глубоко в необычную атмосферу этого весеннего вечера, вдруг отодвинувшего на второй план все привычные черты времени года и отличившегося потусторонним запустением, по-своему роскошным, с темными рваными тучами, довлеющими над пустынными, едва ли не впавшими в спячку окрестностями. Даже те звуки, в которые мисс Пларр вслушивалась, казалось, были придушены воцарившимся угрюмым полумраком, раздавлены сводами неба цвета серой каменной кладки.



Хоть мягкие и отстраненные манеры мисс Пларр отвечали запросам того душного времени, ее место в нашей семье долгое время было неопределенным.

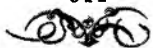
На самых первых порах мы чаще слышали ее, чем видели. Обязанности — в приказном ли, в добровольном ли порядке исполняемые, — обрели мисс Пларр на рутинные блуждания по гулким коридорам и комнатам дома. Редко когда звук ее шагов по старым половицам прерывался: днем и ночью это негромкое стаккато указывало на местонахождение нашей расторопной экономки. Просыпаясь утром, я слышал, как мисс Пларр ходит этажом выше — или же ниже — моей спальни; и вечером, возвращаясь из школы и отправляясь по обыкновению в библиотеку, я всегда заставлял удаляющийся, спешащий в соседнюю комнату перестук ее каблучков по паркету. Даже поздней ночью, когда сам дом заявлял о себе целым оркестром скрипов и вздохов, мисс Пларр задавала его дряхлым симфониям ритм своими хождениями вверх-вниз по лестнице — где-то там, за дверью в мою комнату.

Однажды я встал посреди ночи, чувствуя себя разбуженным, но ни единого звука, способного нарушить мой сон, не различил. Уснуть снова мне почему-то так и не удалось; в общем, я выскользнул из постели, тихо отворил дверь моей комнаты на несколько дюймов и выглянул в темень коридора. В самом его конце было окно — квадрат, высветленный лиловым лунным сиянием; а на фоне того окна — мисс Пларр: силуэт столь же черный, сколь и ее собранные в экзотичный бутон ночного



цветка волосы. Она была столь увлечена чем-то за окном, что вряд ли почувствовала мой взгляд... а я, в свою очередь, не мог не ощутить силу ее присутствия.

На следующий день я начал работать над серией эскизов. Художества мои зародились каракулями на полях школьных учебников, но быстро приобрели большие масштабы и амбиции. Зная, что любой творческий процесс суть таинство, я не так уж и удивился тому, что среди рисунков моих не проскочил ни разу четкий образ мисс Пларр — или какого-либо иного лица, в ассоциациях или символах отображающего реальность. Вместо этого эскизы иллюстрировали быт некоего странного королевства с жестокими порядками. В плену необычных настроений и образов я изобразил мрачное бытие с нависшей над ним тучей — или, быть может, мглой, — в глубине которой сокрыт был сонм невероятных мудрено-фантастических конструкций. Из первоосновы этой плодотворной мглы вздымались соцветия вышин, сочетающих черты замка и склепа, объединяющих дворцовые шпили с мавзольной лабиринтностью. Были и скопления зданий поменьше — кривеньких ветвящихся пристроек с грацией темницы, отведенной неизлечимому рецидивисту. Конечно, никакого гениального исполнения от меня ожидать нельзя было: как и избранная тема, техника моя была варварской. Мне не удалось хотя б и отчасти заложить в эти грозные образы ощущение звучания, неотъемлемо сопровождавшего эти мрачные декорации в моем видении; да и я сам, признаться, едва ли



был в состоянии представить себе эти звуки хоть сколько-нибудь ясно. Тем не менее я понимал их связь с этими картинками — и с мисс Пларр, ибо именно она вдохновляла двумерную безрадостную вселенную моих рисунков.

Хоть я и не собирался показывать ей эскизы, кое-что указывало на то, что она не раз их тайком рассматривала. Они лежали довольно-таки открыто на столе в моей спальне, и я не предпринимал никаких усилий к сокрытию своей работы. От меня не укрывалось, что порядок их как-то нарушается в мое отсутствие, — некое неясное подозрение зарождалось во мне; и однажды, вернувшись из школы одним серым днем, я обнаружил вернейший признак присутствия мисс Пларр — длинную прядь черных волос, будто на память оставленную меж двух моих рисунков.

Мне захотелось сразу же поговорить с ней по поводу этого непрошеного визита — не потому, что он меня возмутил, а единственно с целью приобщиться, попробовать понять источник той тревожной атмосферы, которую она привнесла в наш быт. Однако к тому времени ее было уже не так легко сыскать — на смену беспокойной беготне по дому пришли ритуалы потише да поскрытнее.

Нигде в доме ее, казалось, не было, и я отправился прямо к отведенной ей комнате — ранее уважаемой как некое личное святилище, но та встретила меня распахнутой настежь дверью и внутренней пустотой. Ступив внутрь комнаты и оглядевшись, я понял, что мисс Пларр здесь не жила — может



статься, не пробыла в комнате и минутки. Решив продолжить поиски где-нибудь еще, я развернулся... и столкнулся с ней.

Мисс Пларр молча стояла в дверях, глядя в никуда. И я вдруг мигом утратил свой задор, осознав, что теперь я без спросу вторгся в чужое жилище, и никакие доводы насчет того, что она первая так поступила, не помогут. Впрочем, о наших взаимных прегрешениях ни слова в итоге не было произнесено — достигнув некоего молчаливого взаимопонимания, мы с ней беспомощно дрейфовали в море невысказанных упреков и подозрений. В конце концов мисс Пларр спасла нас обоих — произнесла слова, прибереженные, похоже, для подходящего момента:

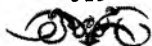
— Я говорила с твоей матерью. Мы решили, что нужно подтянуть тебя по трудным предметам. Я тобой займусь.

Я не то кивнул, не то открестился каким-то схожим жестом согласия.

— Что ж, хорошо, — изрекла она. — Начнем завтра.

И удалилась — без излишнего шума, оставив после себя лишь гулкий отзвук слов, повисший в необжитой комнате... *пустовавшей*, коль скоро мое собственное скромное присутствие окончательно затмила беспросветная тень мисс Пларр.

Грядущие занятия, так или иначе, взаправду могли помочь мне разобраться в самом трудном предмете — в самой мисс Пларр, а особенно — в том, что же за место она заняла в нашей семье.

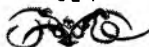


Уроки стали проходить в помещении, которое мисс Пларр, видимо, выбрала как наиболее подходящее для подобной цели, хотя не каждому такой выбор был бы очевиден: чердак — под самой крышей, в задней части дома, со скошенным потолком, из которого выпирали прогнившие балки. Напоминал он трюм какого-то древнего морского судна, могущего унести нас в неизвестном направлении. Наши тела оведали щупальца холодных сквозняков, находивших себе путь внутрь сквозь перекошенные рамы с извечно дребезжащими листами стёкол. Свет, при котором шли мои занятия, предоставлен был увядающим весенним небом за окном — при малом содействии старой масляной лампы, что мисс Пларр повесила на гвоздь, вбитый в одно из чердачных стропил (до сих пор дивлюсь, где же она раскопала такую древность). В этом оплывшем сиянии я различил в углу ворох старого тряпья, сложенный наподобие подстилки, и близ него — чемодан, с которым мисс Пларр приехала.

Единственной мебелью здесь был низкий стол, что служил мне партой, и невысокий хилый стул — гости из моего раннего детства, видимо, сызнава обнаруженные моей учительницей в ходе многочисленных экспедиций по всему старому дому. Сидя в центре чердака, я внимал затхлой величественности моего окружения.

— В такое место, — утверждала мисс Пларр, — люди приходят, чтобы обрести знание величайшей важности.

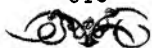
И я слушал ее, пока она расхаживала по чердаку в сопровождении гулко перестука шагов, с указ-



кой в руке, к которой не прилагалась доска, чтобы можно было хоть на что-то указывать: впрочем, и без всякой доски она прочла для меня несколько весьма увлекательных лекций.

Не буду даже пытаться восстановить оригинальные ее речи — просто помню, что мисс Пларр была особо обеспокоена моими знаниями из области истории и географии, притом вскользь поминала иногда философию и физику. Она читала свои лекции по памяти, ни разу не сбиваясь в перечислении бесконечных фактов, коих не смогло предоставить мне традиционное образование. Нить ее рассуждений вилась столь же извилисто, сколь и запутанная траектория ее шагов по холодному полу чердака: ухватить ее — и свободно следовать от одной опорной точки к другой — давалось мне поначалу непросто. Но в конце концов я обрел понимание иных тем ее хаотизированного курса.

К примеру, она возвращалась снова и снова к самым ранним проявлениям человеческой жизни, к миру, опирающемуся лишь на самый примитивный закон, — не считая того, что она загадочно окрестила «внутренностными ритуалами». Спекулятивность изложения она всячески поддерживала: в обсуждении более поздних периодов истории ценила натуралистичность материала прежде моих возрастных рамок — так я узнал о злодеяниях, прославивших царя Персии, о массовой резне вековой давности в Бразилии, об определенных методах казни, практикуемых в разных частях света, от коих официальная история предпочитает стыдливо отвести взгляд.

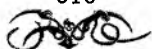


Иногда мисс Пларр водила указкой по воздуху, будто художник — кистью по холсту, и тогда я знакомился с землями, несшими отпечаток дикости и чуждости. Как правило, то были острова, окутанные туманами и омываемые водами полярных морей, края бесплодных скал, обточенных нестихающими ветрами, необъятные просторы, поглощающие без остатка всякое чувство реальности, помраченные миры, усеянные мертвыми городами, душные пекла джунглей, где сам свет солнца напоминает обволакивающую хлористую слизь.

Увы, вскоре пришла пора, когда уроки мисс Пларр, некогда преисполненные новизны и увлекательности, стали скучными, многократно повторяющими самих себя. Все чаще я ерзал на своем углу стула или склонял голову на миниатюрную парту. Однажды ее речь прервалась, она подошла ко мне и вонзила острие указки мне в плечо. Подняв взгляд, я увидел лишь горящие где-то наверху глаза в гнезде черных волос, плавающим в безрадостном свете чердачного окна.

— В таком месте, — прошептала мисс Пларр, — нужно знать, как правильно себя вести.

Острые указки отстранилось, скользнуло по моей шее, и мисс Пларр подошла к окну. Снаружи стоял непроглядный туман — одна из наименее откровенных одежд весны. Пейзаж являлся как сквозь мутную корку льда — галлюцинаторный, весь из еле уловимых намеков. Сама обратившись в размытую фигуру, мисс Пларр смотрела на законный теневой мир — и будто прислушивалась к нему.



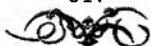
— Знаешь ли ты, как звучит то, что жалит воздух? — спросила она, зажав перед собой указку и покачивая ей из стороны в сторону.

Я понял, о чем она, — и согласно кивнул. Но дело было не только в том, что она вдруг преуспела как учитель, *донеся до меня смысл слов: просто теперь и я слышал этот странный звук, вторгавшийся в тишину чердака. То был далекий звук, скрытый шумом мороси,— будто где-то, над какими-то огромными пространствами, вращались огромные лопасти, будто, рассекая стылые ветра, резко взмахивали чьи-то крылья, будто длинные кнуты хлестали во тьме. Я сам теперь слышал, как звучит то, что жалит воздух,— обретаясь где-то там, за гранью восприятия. Звук становился все громче... и наконец мисс Пларр выронила указку и прижала ладони к ушам.*

— На сегодня — достаточно! — вскрикнула она.

И больше — ни на следующий день, ни когда-либо снова в моей жизни — она не провела со мной ни одного урока.

Однако занятия будто бы продолжились — приняв иную форму. Проведенное на чердаке время словно надломило во мне что-то, и некоторое время я был даже не в состоянии встать с постели. Мисс Пларр, по моим наблюдениям, тоже страдала от некоего недуга одновременно со мной, укрепляя и усложняя ту нематериальную связь, что уже протянулась между нами. Будто бы мой собственный упадок сил перешел отчасти и к ней — ступал ей вослед, за эхом ее



шагов по дому, что настигало мой обостренный болезнью слух. Мисс Плarr вернулась к своим неприкаянным хождениям, так и не сумев дать себе передышку.

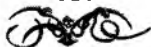
Когда она навещалась в мою комнату — визиты стали частыми и всегда заставляли меня врасплох, — я воочию наблюдал ее поэтапный распад, психический и физический. Ее волосы теперь сбегали свободной волной на плечи, небывало перекрученные, напоминавшие кошмарную, грязную сеть рыбака. От ее мирских манер не осталось и следа, и мои отношения с ней грозили риском приобщения к областям крайне сомнительного характера.

Однажды днем я оправился от дремоты и обнаружил, что все рисунки, на которые она вдохновила меня, порваны — обрывки усеяли пол моей комнаты. Но эта примитивная попытка экзорцизма не возымела никакого действия, ибо поздно той же ночью я обнаружил, что она сидит на моей кровати, склонившись ко мне, и ее волосы щеко-чут мне лицо.

— Расскажи мне про эти звуки, — потребовала она. — Ты делал это, чтобы напугать меня, не так ли?

Однажды мне даже показалась, что связь наша разрушилась, и я наконец-то пошел на поправку... но, как только я, как подсказывали ощущения, почти совсем оправился, мисс Плarr вернулась.

— Ты, похоже, выздоровел, — сказала она с вымученной веселостью, зайдя в мою комнату. —

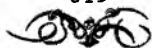


Одевайся тогда. Мне нужно кое-что купить, и я хочу, чтобы ты пошел со мной и помог мне.

Я мог бы воспротивиться — сказать, что выходить в такой день на улицу грозит мне одним лишь рецидивом болезни, ибо в воздухе висела тяжелая весенняя сырость, а за окном моей спальни было столько тумана, что дальше собственного носа я вряд ли бы увидел что-нибудь... но мисс Пларр была уже потеряна для мира рациональных решений, да и мог ли я сопротивляться этому ее роковому гипнотизму, этой ее решимости?

— Что до тумана, — сказала она, хоть я и не упомянул о нем вслух, — думаю, мы сможем найти дорогу.

С простодушием ребенка я последовал за мисс Пларр в сгустившуюся мглу. Пройдя всего несколько шагов, мы уже упустили из виду дом, а земля под нашими ногами стала казаться укутанной в слой бледной, податливой паутины. Но она взяла меня за руку — и двинулась дальше, полагаясь на какие-то свои внутренние ощущения, которые помалу передались и мне... наставив нас обоих на странный путь. По мере нашего углубления в туман я стал различать обрисовывающиеся то тут, то там фигуры — темные формы, прораставшие сквозь более ничем не сдерживаемую влажную взвесь. И когда я сжал руку мисс Пларр крепче — та будто бы теряла свою силу, *растворяясь* в дымке, — формы эти обрели четкость. Как если бы Левиафан поднимался из-под толщи вод — вначале лишь темный силуэт, затем зримая тварь, — так и это кошмарное царство граненых структур выплывало из мглы.

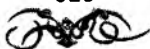


Эти формы — куда обширнее и сложнее, чем на моих рисунках, — выдавались вперед: лишённые упорядоченности кристаллические соединения, угловатые и многогранные памятники поверх безымянных захоронений. Это действительно был мертвый город, и все его жители были погребены прямо в стенах — или же их просто не было. Своего рода улицы проходили сквозь этот архитектурный хаос, петляя среди однобоких зданий, скорее *нарощенных*, чем построенных; и весь этот дерганый, нервный, полный изломов динамизм пейзажа таил в себе какую-то скрытую угрозу, сулил расправой почище тех, что описывала мне мисс Пларр, углубляясь в историю человеческой жестокости. Теперь я даже понял, *почему* туман будто стремится скрыть подобные места от глаз, и непроглядные густые тучи неизменно способствуют ему в этом.

Но в явленном по-прежнему осталось тайное: где-то здесь проводилась некая церемония, шел сокрытый ритуал. Указывали на это пробуждающие смутные чувства звуки — придушенное многоголосье эха, отскакивающего от темничных стен, свист хлыстов в слепящей темноте. Туман захватывал их, приглушал и растворял, но скрыть — не мог.

— Ты слышишь? — спросила мисс Пларр, хоть к тому времени звучание достигло ощутимой четкости. — Из мест, куда мы не в силах заглянуть, несутся эти звуки. Так звучит *то, что жалит воздух*.

И взгляд ее будто бы обратился к тем местам, а волосы ее смешались с туманом, становясь с



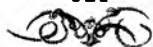
ним единым целым. Наконец она отпустила мою руку — и побрела дальше, без малейшего принуждения. Она-то уже давно знала, что вырисовывалось в конце ее пути, что ждало ее прибытия. Возможно, она полагала, что это как-то можно передать кому-то другому... или хотя бы заручиться компанией. Но истинные ее компаньоны были где-то там, вдали, заждавшиеся ее прихода. И все же я был удостоен чести стать наследником ее видений.

Туман плотно облек ее — а когда расступился, мисс Пларр исчезла. А уже спустя несколько мгновений я понял, что нахожусь посреди улицы... всего в нескольких кварталах от дома.

Вскоре после ее пропажи все в нашей семье вернулось в прежнее русло — с плеч матери спала ноша псевдоболести, а командировка отца закончилась. Девушка, казалось, оставила дом, не считая нужным даже уведомить нас, — такой поворот событий порядком удивил мать.

— Вот ведь ветреное создание, — отозвалась она о нашей бывшей экономке.

И я не стал возражать... просто потому, что мне нечего было сказать о том ветре, что подхватил мисс Пларр и унес прочь. По правде говоря, ни единым своим словом я не в состоянии прояснить ситуацию. Не тянет меня углубляться в тайну этого случая — знать не хочу, что осталось после мисс Пларр там, на чердаке. Для меня это место теперь вроде проклятого, но за минувшие годы я несколько раз заезжал туда... в те ран-



невесенние вечера, когда даже уши не закрыть, — все равно не избавиться от этих звуков, что отгорожены туманом и вплетены в шум мороси, этих отголосков перебранки бесформенных призраков, что обретаются в мирах темных и навек покинутых.

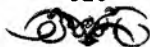


ЗВУК НАШИХ ИМЕН

ТЕНЬ НА ДНЕ ВСЕЛЕННОЙ

Перед тем как грянули эти страшные события, природа взбунтовалась.

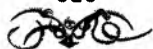
Мы ощущали ее горячечный протест везде — и в городе, и за его пределами. А мистер Марбл, надо полагать, чувствовал особенно тонко: исхаживая путь от города до поселка, он постигал приметы сезона глубже и острее и на основе этих постижений выстраивал прогнозы, в которые никто тогда не верил. На календаре в моей обители картинка сменилась под стать ходу времени: хрупко-коричневые снопы кукурузы на фоне сельского дома и амбара, сад — весь в красной листве, а над всем этим — темное-темное небо. Но, как мне кажется, красоту подобных идиллий извечно и исподволь подтачивает некая порча — неопределенная, уловимая лишь на самых кончиках наших ощущений. Что-то странное и скрытное вдруг пробралось во сны селян и заговорило — тонким, не сулящим ничего хорошего голоском. В воздухе разлилась горечь скисшего кагора, листья деревьев заиграли необычайно яркими красками, что в городе, что в лесу: даже звезды, казалось, засветились ночами



по-новому — дерганным, болезненным светом, будто зараженным этой земной лихорадкой природы. А вот огороженное шатким забором поле за городом, к которому были обращены окнами окраинные дома, стояло незыблемо, и луна неизменно высвечивала в самом его центре фигуру молчаливого сторожа остроконечных кукурузных стеблей — одинокое пугало с раскинутыми в сторону, как у распятого, руками и поникшей, будто во сне, головой.

Гулявший в поле ветер трепал заплатанную материю, свистел в прорехах фланелевых рукавов. Но только пугало было подвластно ему, и только оно благодаря ему выглядело живым на всем огромном поле — ибо желтые стебли кукурузы кругом стояли недвижимо, и даже ветки деревьев в чащах вдалеке не смели шелохнуться, погруженные в вечерний транс. Иные очевидцы брали на себя смелость утверждать, что видели, как пугало самовольно обращало безликую голову к небу и вздымало руки, будто в молитве, или что ноги его порой судорожно дергались, как у висельника. Разыгравшееся в поле безымянное действо той ночью, как выяснилось, видели многие, но лишь единицы решились, сохранив в памяти видение, посетить проклятое место следующим пасмурным утром — в их числе был и я.

Неприкаянно бродили мы по полю, оглядывая погибший урожай, и искали следы бесовского разгула, обходя по большой дуге пугало — будто то был сам Бог на кресте в поношенном костюме. Наши поиски ни к чему не привели, и мы вернулись в город сконфуженными. Небо укрылось за



свинцом облаков, лишая нас света,— а в нем мы так нуждались после беспокойной ночи! Серело кругом все: и стены ферм, и даже плющ, обвивший их кладку, выцветший и ссохшийся, подобно венам мертвеца. Застывшая серость, будучи лишь частью картины на фоне ярких цветов леса и трав, не могла дозвезть, но казалось, что буйство красок служит временной маской чему-то, чья истинная гамма еще более безотраднa и губительна.

В такой обстановке трудно было примириться с нарастающими страхами, а тут еще открылось, что земля на поле, в особенности — близ шеста пугала, была теплой, что совсем нехарактерно для этого времени года. Пошла молва о том, что за странный гул, заполонивший воздух, в ответе были не цикады, а некий невиданный источник под землей.

К вечеру, когда уже начало смеркаться, на поле остались лишь несколько человек, включая старого фермера, которому принадлежал этот дурнославный кусок земли. Мы не удивились, когда старик подошел к пугалу и стал рвать его на куски,— что-то подобное, некое иррациональное и притом сильное желание, назревало уже давно. И мы с воодушевлением присоединились — вырвали соломенные руки, стащили одежду,— и нашим глазам предстал остов: зрелище странное и нежданное.

Остов чучела, как нам казалось, должен был состоять из двух сколоченных крест-накрест жердей. Набивщик пугал позже заверял нас, что не использовал никаких непривычных материалов в этой своей работе, однако та фигура, что явилась

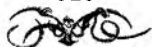


нам, была совершенно другой. То был черный, будто бы обугленный человекообразный силуэт. Он выглядел так, словно вырос из земли и облепил жерди черным мхом: в искривленной этой его черноте угадывались деформации дерева, сраженного молнией. Даже в сумерках эта чернь выделялась, привлекала взгляд абсолютным отсутствием какого-либо цвета, кроме истинно черного. Как мы быстро поняли, стоять напротив этой фигуры было все равно что находиться на краю темной бездны, которую не пронзает ни взгляд, ни луч, ни фонарь. На ощупь темная масса оказалась и вовсе будто вода: никакого ощущения реального, овеществленного. Руки тех, кто ощупывал фигуру, словно проходили над последом теплого темного пламени, чей источник непрерывно передвигался, ведомый кем-то или чем-то живым. Терпеть это ощущение долго ни у кого не выходило — энтузиасты один за другим отходили в сторону, подальше от странного пугала.

— Дьявольской этой штуке не место на моей земле,— заявил старик-фермер и направился к амбару.

Как и все мы, он потирал ладони друг о дружку, словно в попытке стереть ощущения от прикосновений к пугалу.

Возвратился он с охалкой садовых инструментов. Задача виделась предельно простой: почва на поле была податлива, и нескольких взмахов большой лопаты хватило бы для того, чтобы добраться до основания шеста. Но подкоп сделать так и не получилось, а когда старик попробовал срубить пугало с шеста, лезвие топора увязло,



будто угодив в трясину. Сколько мы не тянули за рукоять — топор так и не вышел. Пришлось оставить его.

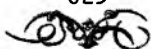
— Будто следом за ним увязаете, — пробормотал фермер, но мы едва ли расслышали его из-за гула. Он усилился — поле окружил рой пчел: усилился аккуратно тогда, когда мы попытались избавиться от черного пугала.

Мы покидали поле в безлунной тьме, обуреваемые сомнениями и страхами, перешептываясь и думая, что же будет дальше. Мы говорили шепотом... но никто не мог сказать, почему.

Великое полотно ночи опустилось на пейзаж, затмевая поле старого фермера. Многие в городе не спали в те мрачные часы. Почти в каждом доме сквозь занавески на окнах был виден мягкий свет. Наши жилища казались игрушечными на фоне циклопической тени, павшей на город. Над крышами домов висели уличные фонари — маленькие рукотворные луны среди густой листвы вязов, дубов и клёнов.

Следующим утром, не вполне оправившись от новой порции плохих сновидений, мы вернулись на поле. Старик-фермер ждал нас там. Пугало исчезло — на том месте, где оно раньше было, осталась лишь глубокая яма, сделанная нами в попытках добраться до основания шеста. Впрочем, за ночь она зримо углубилась — дно воронки ушло вниз и потерялось во мраке.

— Провалилось под землю, — подытожил фермер. — Вы аккуратнее-то на самый край ступайте, а то не ровен час — соскользнете...



Мы окружили яму и принялись вглядываться, пытаюсь увидеть дно,— какое там! Даже солнце было бессильно. Никаких идей по поводу произошедшего высказано не было. Кто-то взялся за лопаты, видимо намереваясь забросать яму землей, но фермер остановил их:

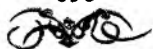
— Зряшное дело.— Подняв большой камень, старик швырнул его в воронку. Мы ждали и ждали эха; мы припали к земле и слушали, но всё что мы смогли услышать — отдалённый гул, напоминающий жужжание целого роя невидимых насекомых. В конце концов мы накрыли яму досками и возвели из раскиданных комьев земли ограду.

— Быть может, весной у нас появится шанс,— сказал кто-то, но старик лишь усмехнулся:

— Никакой толковой весны у нас не будет с этой прогретой землей.

...Город накрыло настоящее сновидческое бедствие — природа прокралась в наши отдыхающие умы и наполнила их образами кишашей в глубине почв жизни и гниющих цветочных полей. Во снах нас вовлекли в пышный карнавал увядания — даже воздух являлся нам красной взвесью трупных паров: морщинистая маска распада, вся в пятнах и рубцах, подстерегала всюду. Ее гротескные ужимки читались на коре и узорах увядших листьев. Хрупкая кожа кукурузных стеблей и мертвых семян растрескалась на множество ее кривых усмешек. Ее безумные, кровоточащие цвета окрасили наш быт.

Несмотря на грубую осязаемость, за занавесом в самом сердце сновидений оставалось нечто призрачное. Оно двигалось в тени, присутствуя,

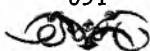


пронизывало реальность — но не принадлежало к ней. Мы не могли угадать его за-предельный источник — нечто приходило из той сферы, о которой нам рассказывала осенняя ночь, когда лоскутные поля лежат под лунным светом и дикий дух проникает в суть вещей, когда веет из сырой бездны и вязкого мрака великим весенним пове-трием — и в холодной пустоте пространства под бледным пристальным взглядом луны является болезненный лик со впалыми щеками и пустыми глазницами.

И именно к луне наш ищущий утешения взгляд с надеждой обращался, когда мы просыпались в страхе, переполненные чувством болезни, ощущением того, что иная жизнь прорастает в нас, пытаясь обрести последнее воплощение в телах, которые мы всегда считали своими.

Для нас было облегчением узнать, что кошмары одолевают весь город, а не отдельных его жителей. Нам больше не нужно было скрывать свое беспокойство при встрече на улицах под пышными тенями деревьев, которые не сбросили свою пеструю листву, это свое издевательское оперение странного времени года. Мы стали довольно-таки эксцентричным обществом, для которого приход дня не означал конца ночных треволнений.

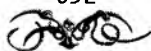
И конечно же, мистер Марбл, этот точильщик, что предсказал приход беды за несколько недель до того, как ее симптомы нахлынули разом, стоял особняком. Он все так же утверждал, что листья — это страницы некой тайной книги, чьи багряно-золотистые шифры можно было при желании прочитать.



— Вы взгляните на них, — призывал он. — Не на эти отдельные цвета — на общую картину. Эти листья... они же мертвы, но что-то в них живет сейчас, что-то хочет прорваться наружу. *Картина* — неужто вы не видите ее?

Мы увидели... но позже, много позже. Детали картины проявились не только в хроматических узорах листвы, их можно было найти везде — на влажных стенках в погребах, где среди сырой и неровной кладки нет-нет да и мелькнет отвратная карикатура на человеческое лицо; на половицах, в запутанных и ссохшихся корнях деревьев, выбивающихся из земли... С одной стороны, можно было подумать, что помянутая Марблом картина — этакая гравюра на знакомую бытовую тему, но сколь много чуждого, сколь много того инородно-сновидческого проявлялось в ней.

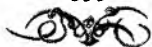
И вскоре мы вслед за Марблом-точильщиком научились читать великую книгу осеннего многоцветья — хоть он и по-прежнему оставался искуснее всех нас. Даже при теперешнем положении дел он остался в стороне — каким всегда и слыл из-за своих странных речей и чудаковатых загадок. Детям Марбл любил загадывать такую: *ночью по ветру летает, вертолет напоминает*. Тем же, кто был постарше, — такую: *рук не имея, сцапать может, лиц не имея, корчит рожи*. Его терпели — в конце концов, он хорошо выполнял свою работу и никогда не пытался взять с нас больше, чем требовалось, но ныне мы все чаще стали замечать, каким сделался Марбл рассеянным и отрешенным. Над точильным камнем, брызжущим



искрами прямо в лицо, корпел некто с маской неизбытности, застывшей на лице, и с лихорадочным блеском в глазах. Общества этого незнакомца мы вынести не могли.

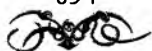
Конечно, изменения мы поспешили объявить временными — точильщик всегда отличался странностями: так, вестимо, ныне его посетила какая-то новая, до того не проявлявшаяся. На том и порешили, — но стоило Марблу пропасть с улиц совсем, как наши страхи возобновились; а тут еще и небывалые знамения вокруг нас, будто празднуя его исчезновение, стали набирать силу. В сумерках, на фоне темного неба, листва запылала фосфорным огнем, и к началу осени в реальности этого чуда уже почти никто не сомневался. От разноцветных листьев исходило мягкое свечение, создавая несвоевременную ночную радугу, которая везде рассыпала свои призрачные краски и окрашивала ночь в бесчисленные тона: золотистый персиковый и тыквенно-оранжевый, желтый медовый и янтарно-виновый, яблочный красный и сливово-фиолетовый. Наливавшееся внутри листьев сияние бросало отсветы на тротуары улиц, на поля, на наши испуганные лица. Все искрилось в фейерверке новой осени.

Запершись по своим домам, мы приникли к окнам. Никто не удивился, когда стало понятно, кто бродит по городу в тот радужный канун, участвуя в безумном торжестве. Одержимец темного празднования шествовал по городу в трансе, с большим церемониальным ножом в руке, чьи острые края вспыхивали тысячами блестящих



искр. Его видели одиноко стоящим под кленами, в калейдоскопе огней, пляшущих на его лице и на потрепанной одежде. Его замечали во дворах наших домов — черное пугало, сшитое из обрывков теней. Его видели крадущимся вдоль высоких деревянных заборов, ныне пребывающих в трепетном свечении. Наконец, он был замечен на определенном перекрестке улиц в центре города.

К тому времени мы знали, что должно произойти. Жрец прибыл за жертвой: настал канун всех канунов, и страшная потусторонняя тварь явилась, дабы взыскать с нас. Она выросла из земли на фермерском поле, из бездны, которую мы трусливо закрыли доской и присыпали грязью в жалкой попытке отгородиться от действительности. Ненасытное нечто готовилось получить желаемое — и мы, хоть и объятые страхом, чувствовали также обиду и возмущение. То должна была быть не слепая жатва, а разумный обмен — забранное полагалось возместить однажды! Да, всяко грядут времена вечной тьмы, когда жизни всех нас оборвутся и мы вернемся в землю, нашу прародительницу и кормилицу, но явление, которому мы ныне противостояли, виделось не чем иным, как несвоевременной алчной жатвой, нарушающей наше соглашение с природой и землей. Мы не могли предусмотреть его или догадаться о нем, и если здесь имел место некий естественный закон, то больше он походил на предательство или злостный обман со стороны самого мироздания. Все что нам оставалось — задаваться вопросом: что же творится? Имеем ли мы дело с чем-то от



мира сего или же нет? Почему бы этому чему-то не запрятаться глубоко в суть природных явлений, скрыться за маской осеннего упадка, притворившись законом бытия?

Как бы там ни было, ответы на эти вопросы имели для нас наименьшее значение в ту ночь, когда жрец с наточенным секачом, подчиненный неведомой силе, вышел на главную улицу. Деревья засияли почти нестерпимым для глаз светом, а знойный воздух заполнился звуками, напоминавшими отрывистые смешки. Наша участь читалась во взглядах мистера Марбла, переползавших с одного дома на другой, и мы, не обманываясь, понимали, что будет кровь, много крови, что именно ее — в неуточненных объемах — требовало новое ужасающее божество.

Как и любая тварь человеческая в ожидании расправы, каждый из нас молился об избавлении, надеялся, что суровая участь как-нибудь обойдет стороной, заберет кого-то другого. Все мы трусливо взывали о том, чтобы смерть взяла ближнего вместо нас самих. Но позор наш не продлился долго: с улицы наружу нас стали звать те, кто по тем или иным причинам не попал домой.

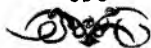
— Он ушел, — сказал кто-то.

— Мы видели, как он углубился в чащу, — раздалось следом.

— Он поднял свой нож, но рука дрожала, словно он боролся с собой...

— ...и в конце концов он ушел...

— ...шагая будто против ветра, наклонился вперед, и каждый шаг давался ему с трудом... Боже, я так боялась, что он вернется на главную улицу!



— А я,— сказал мужчина, прибывший позднее всех,— если бы он все-таки задержался, так вот, я бы подошел к нему и сказал бы: бери меня, пощади остальных. Кровь есть кровь.

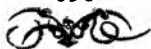
Но ни от кого не укрылась фальшь в его словах.

Несколько часов прошло, и мы сгрудились на главной улице, выжидая, не вернется ли мистер Марбл. Деревья окрест нас исчезли в собственном излучении, и в ночи воцарился покой — всякий звук умер. Так и не дождавшись никого, мы с опаской расползлись обратно по домам, из комнат которых будто выветрился дух зла, и вскоре город спал, не видя снов. Почему-то мы уверились в том, что в остаток *этой* ночи с нами уже ничего не произойдет.

Но на рассвете открылось, что кое-что все-таки случилось. Земля под ногами стала холодной. Деревья стояли обнаженные, а опаль покоилась на земле, как будто отсроченная смерть настигла каждый листик и яростно пожрала. Обыскав весь городок и окрестности, мы убедились, что странный сезон миновал... а вскоре на поле нашли тело мистера Марбла.

Точильщик, вытянувшись, лежал лицом вниз в куче грязи перед развалившимся пугалом. Когда мы перевернули его, он уставился на нас глазами столь же бесцветными, сколь само это пепельно-серое утро. Кисть левой руки была отсечена ножом — тем самым острым секачом, который он по-прежнему сжимал в руке правой.

Кровь растеклась по земле и почернела, запекшись на теле самоубийцы. Но те из нас, кто подни-

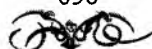


мал это обмякшее, почти ничего не весившее тело, вскоре поняли, что никакая это не кровь. Пальцы наши погружались лишь в легкую зримую тьму — послед твари, овладевшей погибшим и унесшей его в свою чертову берлогу. Но ведь мистер Марбл всегда был куда ближе к природе, чем мы... Отдав последнюю почесть, мы опустили его тело в самую глубокую могилу — и забросали землей.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕСНИ МЕРТВОГО СНОВИДЦА

ГРЕЗЫ ЛУНАТИКАМ	5
Проказник (<i>перевод Н. Кудрявцева</i>)	7
Les Fleurs (<i>перевод Н. Кудрявцева</i>)	29
Последнее приключение Алисы (<i>перевод Н. Кудрявцева</i>).	42
Сон манекена (<i>перевод В. Женевского</i>)	69
Трилогия никталопов (<i>перевод Н. Кудрявцева</i>)	
Химик	93
Испей же в честь меня одними лишь глазами лабиринтными	112
Глаз рыси	128
Заметки о том, как писать ужасы: рассказ (<i>перевод Н. Кудрявцева</i>)	141
ГРЕЗЫ БЕССОННЫМ	171
Сочельники тетушки Элиз (<i>перевод Н. Кудрявцева</i>)	173
Утерянное искусство сумерек (<i>перевод Н. Кудрявцева</i>)	185
Проблемы доктора Тьсса (<i>Перевод Г. Шокина</i>)	212
Маскарад мёртвого мечника (<i>Перевод Г. Шокина</i>).	229
Доктор Вок и мистер Вейч (<i>Перевод Г. Шокина</i>)	258
Лекции профессора Никто о мистическом ужасе (<i>Перевод Г. Шокина</i>)	272
ГРЕЗЫ УСОПШИМ (<i>Перевод Г. Шокина</i>)	281
Лечебница доктора Локриана	283
Секта идиота	297
Великий фестиваль личин	312
Лунная соната	323
Дневник З. А. Кулисье	335
Вастариен	345



ТЕРАТОГРАФ: ЕГО ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВО

Перевод Г. Шокина

Вступление	369
ГОЛОС ТЕХ, КТО ПРОКЛЯТ	371
Последнее пиршество Арлекина	373
Очки в футляре	427
Цветение бездны	445
Нифескюръял	458
ГОЛОС ДЕМОНА	479
Сновидцы в Нортауне	481
Происшествие в Мюленберге.	510
В тени иного мира	522
Куколки	541
ГОЛОС ТОГО, КТО ГРЕЗИТ НАЯВУ	557
Школа тьмы.	559
Шарм	575
ГОЛОС ТЕХ, КТО ЮН	589
Византийская библиотека	591
Рассказ Мисс Пларр.	608
ЗВУК НАШИХ ИМЕН	623
Тень на дне вселенной.	625

Литературно-художественное издание



16+

ТОМАС ЛИГОТТИ

ПЕСНИ МЕРТВОГО СНОВИДЦА ТЕРАТОГРАФ

Ведущий редактор *Николай Кудрявцев*
Редактор *Александра Демченко*
Художественный редактор *Юлия Межова*
Технический редактор *Валентина Беляева*
Компьютерная верстка *Ольги Савельевой*
Корректор *Валентина Леснова*

Подписано в печать 18.01.2018.
Формат 84 × 108 ¹/₃₂ Усл. печ. л. 33,6.
Тираж 2500 экз. Заказ № 909.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 1: 953000 — книги, брошюры

ООО «Издательство АСТ»
129085, г. Москва, Звездный бульвар,
д. 21, строение 1, комната 39

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ТРЕХКРАТНЫЙ ЛАУРЕАТ ПРЕМИЙ БРЭМА СТОКЕРА
ЛАУРЕАТ БРИТАНСКОЙ ПРЕМИИ ФЭНТЕЗИ
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ГИЛЬДИИ УЖАСА

ТОМАС ЛИГОТТИ — ЕДИНСТВЕННЫЙ ИЗ ПИСАТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ В ЖАНРЕ УЖАСОВ, КОГО ПРИ ЖИЗНИ ИЗДАЛИ В ПРЕСТИЖНОЙ СЕРИИ «PENGUIN CLASSICS», ТЕМ САМЫМ ОФИЦИАЛЬНО ВКЛЮЧИВ В АМЕРИКАНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАНОН. ЕГО ЧАСТО НАЗЫВАЮТ ИСТИННЫМ ПРЕЕМНИКОМ ЭДГАРА ПО И ГОВАРДА ЛАВКРАФТА, А ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ СРАВНИВАЮТ С РАССКАЗАМИ ФРАНЦА КАФКИ, БРУНО ШУЛЬЦА И ВЛАДИМИРА НАБОКОВА.

КНИГИ ЛИГОТТИ ПОВЛИЯЛИ НА МНОЖЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ, СТАЛИ ИСТОЧНИКОМ ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ ПЕРВОГО СЕЗОНА СЕРИАЛА «НАСТОЯЩИЙ ДЕТЕКТИВ», ПОСЛУЖИВ ОСНОВОЙ ДЛЯ МОНОЛОГОВ РАСТА КОУЛА В ИСПОЛНЕНИИ МЭТТЬЮ МАККОНАХИ. СБОРНИКИ «ПЕСНИ МЕРТВОГО СНОВИДЦА» И «ТЕРАТОГРАФ: ЕГО ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВО» НАВСЕГДА ВПИСАЛИ ИМЯ ЛИГОТТИ В ПАНТЕОН ЛИТЕРАТУРЫ УЖАСОВ, ПОЛУЧИВ ВЫСОЧАЙШИЕ ОЦЕНКИ КАК КРИТИКОВ, ТАК И ЧИТАТЕЛЕЙ. РАСПАДАЮЩИЕСЯ ГОРОДА, ИНЫЕ ПРОСТРАНСТВА, ДРЕВНИЙ И НЕПОЗНАВАЕМЫЙ УЖАС, ИЗЫСКАННАЯ ПРОЗА, И РАСКАЛЫВАЮЩАЯСЯ РЕАЛЬНОСТЬ, В ТРЕЩИНАХ КОТОРОЙ МОЖНО РАЗГЛЯДЕТЬ ПОДЛИННУЮ ТЬМУ БЕЗДНЫ — ВСЕ ЭТО РАССКАЗЫ ТОМАСА ЛИГОТТИ, ЖИВОЙ ЛЕГЕНДЫ ХОРРОРА.

ЭТО САМАЯ ВАЖНАЯ КНИГА В ЖАНРЕ УЖАСОВ ЗА ЦЕЛОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ.
Рэмзи Кэмпбелл о «Песнях мертвого сновидца»

ПОСТАВЬТЕ ЭТОТ ТОМ НА ПОЛКУ МЕЖДУ Г. Ф. ЛАВКРАФТОМ И ЭДГАРОМ АЛЛАНОМ ПО. ИМЕННО ТАМ ЕГО МЕСТО.

МАЙКЛ СУЭЗВИК

ТОМАС ЛИГОТТИ. ГЕНИЙ. ПИСАТЕЛЬ, СТОЛЬ ЖЕ НЕПОВТОРИМЫЙ, КАК ПО ИЛИ ЛАВКРАФТ

АДАМ НЭВИЛЛ

ТЕКСТЫ ЛИГОТТИ — ТАК ЖЕ, КАК РАССКАЗЫ ПО ИЛИ НАБОКОВА, ПИСАТЕЛЕЙ, КОТОРЫХ ОН БОЛЕЕ ВСЕГО НАПОМИНАЕТ, — ЭТО ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ПРОДУМАННЫЕ, ПОДЛИННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА.

THE GUARDIAN

СОН МОЖЕТ ПОКИНУТЬ ВАС НАВСЕГДА ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ЭТОЙ КНИГИ, НО ПОВЕРЬТЕ, ОНА ТОГО СТОИТ.

VANITY FAIR

ЛИГОТТИ — ЭТО БЛЕСТЯЩИЙ СТИЛИСТ И, ПО СРАВНЕНИЮ С ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ, ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАССКАЗЫ УЖАСОВ БЕЗОБИДНЫ, КАК ЗАВОДНЫЕ ИГРУШКИ.

THE SEATTLE TIMES

ISBN 978-5-17-092145-4

 www.astrel-spb.ru



9 785170 921454